# Н. ТЕЛЕШОВ

## Записки писателя

воспоминания
и
рассказы
о прошлом

## Рассказы

Н. ТЕЛЕШОВ
Записки писателя
Рассказы

# Н. ТЕЛЕШОВ

## *Записки писателя*

## *Рассказы*




МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА». 1987

Т 31
84 Р 7

Вступительная статья
К. Пантелеевой

Иллюстрации на обложке, титуле и шмуцтитулах
С. Ермолова

Т $\frac{4702010200—1331}{080(02)—87}$ 1331—87

## *Н. Д. ТЕЛЕШОВ*
## *(1867—1957)*

Имя Николая Дмитриевича Телешова теснейшим образом связано с именами русских писателей-реалистов конца XIX — начала XX века. Он был другом А. П. Чехова и А. М. Горького; в день 25-летия литературной деятельности его приветствовал Л. Н. Толстой.

Творчество Телешова развивалось в период ожесточенной классовой борьбы. Исчерпывающую характеристику этому периоду дал В. И. Ленин в 1905 году. В статье «Социализм и крестьянство» он писал:

«В современной России не две борющиеся силы заполняют содержание революции, а две различных и разнородных социальных войны: одна в недрах современного самодержавно-крепостнического строя, другая в недрах будущего уже рождающегося на наших глазах буржуазно-демократического строя. Одна — общенародная борьба за свободу (за свободу буржуазного общества), за демократию, т. е. за самодержавие народа, другая — классовая борьба пролетариата с буржуазией за социалистическое устройство общества»[1].

Родоначальником нового метода в литературе, метода социалистического реализма, явился А. М. Горький, выразивший в своих произведениях весь пафос борьбы за преобразование жизни. Вокруг Горького группировались все передовые литературные силы — писатели-реалисты, не сумевшие до конца понять смысла назревших перемен, но ясно осознавшие саму необходимость перемены. Они не показывали в своих произведениях образов революционных борцов, но беспощадно критиковали старое общество, подгнившие устои самодержавия. Среди этих писателей были В. Г. Короленко и Д. Н. Мамин-Сибиряк, В. В. Вересаев и

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 11, с. 282—283.

А. И. Куприн, И. А. Бунин и Леонид Андреев. В эту плеяду входит и Н. Д. Телешов.

Н. Д. Телешов находился в гуще литературной борьбы. Своим творчеством, правдивым, свободным, он продолжал лучшие традиции русской классической литературы. Общественный долг писателя он видел в служении народу, в защите обездоленных и угнетенных.

Н. Д. Телешов родился 29 октября (11 ноября) 1867 года в Москве в купеческой семье. Предки его — крестьяне Владимирской губернии, некогда бывшие крепостными, но сумевшие выкупиться. «Может быть, именно от предков и жива во мне уверенность, что без свободы нет ни настоящего счастья, ни настоящей жизни ни для человека, ни для человечества»,— писал Телешов в автобиографии.

Первые рассказы его — «Петух», «Перемена», «Ответ» и другие — печатались в мелких периодических изданиях 80—90-х годов (журналы «Радуга», «Россия», «Артист», «Детское чтение», «Семья» и др.).

Ранние рассказы Телешова как по тематике, так и по выполнению напоминают ранние рассказы Чехова. Подобно Чехову, Телешов выступает врагом мещанства, врагом зоологического существования. Образы мещан-интеллигентов в его рассказах 80-х годов убедительны и ярки. Однако Телешов еще далек от мысли о необходимости борьбы с той жизнью, которая порождает мещанство. Он считает недостаток жизненной активности лишь личным пороком человека и не пытается обосновать его общественно-историческими условиями. И здесь он, конечно, уступает Чехову. Но Телешов, пусть с меньшей силой таланта, стремился обратить внимание читателя на те же явления действительности, которые с такой беспощадностью вскрывал А. П. Чехов. Уже в первом сборнике своих произведений он показал себя верным последователем лучших традиций русской классической литературы с ее вниманием к «маленькому человеку» и ненавистью к миру «сытых».

Гораздо большее общественное значение имеет другая группа рассказов, вошедших в сборник «На тройках» и составившая впоследствии циклы «По Сибири» и «Переселенцы». Рассказы эти явились итогом предпринятого Телешовым длительного путешествия по Западной Сибири.

После выхода в свет сборника «На тройках» Телешов становится известным в литературных кругах писателем. Истинное же признание и любовь широкого читателя он заслужил с момента выхода в свет его второго крупного сборника очерков «За Урал». Это впечатления очевидца, результат непосредственных наблюдений писателя во время его путешествия по Уралу и Сибири.

Путешествие это, предпринятое по совету А. П. Чехова, рекомендовавшего молодому писателю глубже вглядываться в жизнь, изучать ее не только по книгам, но и в общении с самим народом России, дало Телешову богатейший материал о жизни простого народа. «Перешагнув границу Европы», писатель впервые столкнулся с переселенцами».

Об ужасающей нужде, о невзгодах мужицкой жизни и поведал Телешов в очерках и рассказах, объединенных впоследствии в цикл «Переселенцы». Он поставил «переселенческую тему» в центре всего своего творчества 90-х годов. Подобно тому как Достоевский в свое время открыл «каторгу каторжную», Телешов запечатлел не менее страшную каторгу переселенческую.

В годы, предшествующие первой русской революции, Телешов работает над целым рядом произведений, в которых он ставит и пытается решить вопрос о том, кто виноват в общественном неустройстве и почему в жизни «жертвами» являются умные и талантливые люди. Критика писателем общественного неустройства, порождающего «жертв жизни», в значительной степени усиливает передовые тенденции его творчества. Если в 90-е годы в рассказах его и появляются простые люди, протестующие против «порядков» современной им жизни, то протест их, как правило, пассивен, бесцелен, направлен прежде всего против отдельных представителей «власть имущих» («Против обычая», «Сухая беда»). В произведениях Телешова 900-х годов герои протестуют уже против всей общественной системы, которая представляется им воплощением «неправды».

В 1903 году писатель создает замечательное произведение «Между двух берегов», где, говоря о предгрозовом затишье в России, выражает уверенность в торжестве света над тьмой. Он говорит о трагической судьбе великих писателей земли Русской, «народных печальников» — Достоевского, Кольцова, Шевченко, Никитина и других, загубленных царским самодержавием. Писатель выражает в этом произведении свою глубокую веру в великое будущее России, в которой имеются «самородки-люди, один другого интересней, один другого значительней — мечтатели, мыслители, поэты, изобретатели, и... все они от земли, от корней самого народа!».

Глубоким революционным пафосом проникнуты произведения Телешова, написанные им в годы революции 1905 года. Симпатии писателя целиком на стороне восставшего народа. В эти годы он пишет рассказ «Слепцы», за который, по его словам, едва не поплатился ссылкой.

Главный герой рассказа, слепой старик, бродящий с внуками по дорогам и поющий сказ о Егории Хоробром, вырастает в сим-

волический образ русского народа, способного перенести любые испытания, но не согнуться.

Главной задачей рассказа «Петля» (1905) стал показ внутреннего разложения самодержавия, показ гнилости бывших прежде столь прочных устоев.

Последующие произведения Телешова свидетельствуют, что он остался на передовых позициях и после революции 1905 года, когда особенно свирепствовала реакция и когда многие из его товарищей изменили своим прежним демократическим идеалам. Главным героем его произведений, как и раньше, является «маленький человек», его переживания. Телешов пишет в эти годы небольшие психологические этюды, в которых создает целую галерею разнообразных народных характеров.

Он находит в себе мужество выступать с резким обличением «братопродавцев и предателей» («Цветок папоротника», 1907), которым нет и никогда не может быть прощения. Писатель недвусмысленно называет предателем всякого, кто отказывается от борьбы за униженного и измученного человека, всякого, кто думает лишь о своем благополучии, отрекаясь от всего, что близко и дорого простым людям. Такая постановка вопроса после революции 1905 года была достаточно смелой и свидетельствовала о неутомимом стремлении Телешова по-прежнему служить своим пером трудовому народу своей страны.

Творчество Н. Д. Телешова характеризуется теми же основными чертами, которые отличают критический реализм XX века. Глубокая демократичность, интерес к судьбе простого человека, резко отрицательное отношение к «прожигателям жизни», поиск новых, «положительных явлений и образов, как правило органически связанных с изображением жизни трудовых слоев города и деревни... нотки бодрости, оптимизма» [1] — все это качества, присущие и произведениям Телешова.

Отмечая несомненную талантливость писателя, русская критика особенно ценила искренность и простоту его манеры изложения, ценила, что в годы расцвета декадентства в России произведения Телешова являлись одними из немногих, хранивших и продолжавших лучшие традиции русского реализма.

* * *

Человек большой жизненной энергии, Телешов принимал активнейшее участие в целом ряде общественных мероприятий, являя собой, таким образом, образец неутомимого общественного деятеля. Он долгое время был председателем кассы взаимо-

---

[1] История русской литературы, т. 10.— М.-Л., Академия наук СССР, 1954, с. 415.

помощи литераторов и ученых, участвовал в создании Книгоиздательства товарищества писателей, имевшего целью защиту писателей от эксплуатации со стороны издателей. Однако важнейшая заслуга его — в организации литературного кружка «Среда» и музея МХАТа.

Литературный кружок «Среда» сыграл огромную роль в деле объединения молодых литературных сил. Это объединение произошло на почве реалистической направленности творчества участников «Среды», ставивших своей задачей продолжать и развивать лучшие традиции русской классической литературы. Кружок этот был литературно-культурным центром, куда сходились пути крупнейших художников эпохи. Сюда входили почти все выдающиеся писатели-реалисты тех лет: М. Горький, А. Серафимович, И. Бунин, В. Вересаев, А. Куприн, Л. Андреев и многие другие. На заседаниях «Среды» бывал А. Чехов, всегда внимательно следивший за ее деятельностью, здесь побывали В. Короленко и Д. Мамин-Сибиряк. К «Среде» примыкали не только литераторы, но и представители других областей искусства: музыканты, певцы, художники. Частыми гостями здесь были С. Рахманинов, Ф. Шаляпин, И. Левитан, В. Поленов. Таким образом, «Среда» группировала вокруг себя все прогрессивные силы искусства того времени. Особенно же большое значение имела она для писателей. Они перед выпуском в свет своего произведения читали его участникам «Среды» и выслушивали нелицеприятную критику.

Н. Д. Телешов вспоминает, что первое чтение пьесы М. Горького «На дне» состоялось именно на «Среде», что без обсуждения участниками «Среды» Л. Андреев ни одного своего произведения не хотел считать законченным. С большой теплотой вспоминал о «Средах» А. С. Серафимович: «Когда оборачиваюсь назад, в прошлое, ярким воспоминанием проступают, ярким и ласковым, «Среды» Н. Д. Телешова. У него по средам собирались писатели, читали свои произведения, обсуждали их. Я попал на «Среду», когда возвратился из царской ссылки в Мезень. Здесь я встретил столько ласкового товарищеского внимания со стороны учредителя «Среды» Н. Д. Телешова и ее членов, что сибирский мороз стал оттаивать».

В годы разгула реакции в политической жизни страны, в годы распространения в литературе всякого рода антиреалистических направлений, пытавшихся ниспровергнуть реализм, телешовский кружок оставался верным славным традициям русской классической литературы. Участники «Среды» активно вмешивались в события общественной жизни. Отсюда вышел протест московских литераторов против зверств полиции, жестоко расправ-

лявшейся с мирными демонстрантами, пытавшимися «заявить свое несочувствие существующему бюрократическому строю» в декабре 1904 года. В этом протесте писатели открыто заявляли, что «существующий режим более терпим быть не может». На протяжении почти пятнадцати лет существования этого кружка в Москве не было ни одного крупного литературного и культурного начинания, в котором «Среда» так или иначе не принимала бы участия. И не случайно «недреманное око» (так часто называли тогда царскую охранку) считало членов этого кружка «неблагонадежными».

Участие А. М. Горького в «Среде» придавало ее деятельности еще более прогрессивный характер. Из произведений «Среды» великий писатель формировал свои сборники «Знание», сыгравшие немалую роль в революции 1905 года и, по словам В. И. Ленина, «стремившиеся концентрировать лучшие силы художественной литературы»[1].

Телешов вспоминает, как в 1905 году участниками «Среды» была издана «Книга рассказов и стихотворений», все вырученные деньги с которой целиком были переданы забастовочному комитету почтово-телеграфных служащих. Подобных примеров можно привести довольно много. Под протестами против злоупотреблений властей стояли подписи известнейших писателей и общественных деятелей, и не считаться с ними царское правительство не могло.

Крупнейшей заслугой Телешова следует считать также создание им музея Московского Художественного театра. В это дело писатель вложил весь свой организаторский талант, всю свою энергию. Более четверти века отдал Телешов Московскому Художественному театру, кропотливо собирая музейный материал, восстанавливающий его историю.

После Великой Октябрьской социалистической революции писатель принимает большое участие в организации книгоиздательства для детей. Его «Елка Митрича» — одна из первых детских книг, вышедших в нашей стране после Октября. Начиная с 20-х годов писатель работает над своими мемуарами. Первой ласточкой явились напечатанные в 1926 году в журнале «Красная новь» воспоминания о «Среде». А. М. Горький одобрительно отнесся к этой работе. Он писал Телешову из Сорренто: «Славно вы написали, но мало... Ваши «Среды» имели очень большое значение для всех нас, литераторов той эпохи».

Писатель работает над «Записками» в течение всей дальнейшей жизни, в каждое издание внося все новые и новые исправления и дополнения. Одна за другой выходят его книги: «Все про-

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 48, с. 3.

ходит» (1927), «Литературные воспоминания» (1931), наконец, разбросанный по отдельным газетам, журналам и книгам материал собран был в «Записки писателя» (1943).

«Записки писателя» принадлежат к мемуарной литературе и живо восстанавливают перед нами наряду с литературной и бытовой историю общественно-политических отношений Москвы конца XIX — начала XX века. Телешову довелось прожить большую и интересную жизнь. Его юношеские годы совпали с деятельностью таких корифеев слова, как Тургенев, Чернышевский, Салтыков-Щедрин, Достоевский; он был современником Льва Толстого, Островского, другом Чехова и Горького.

Почти 90 лет прожил Телешов, и на его глазах совершались грандиозные перемены в жизни страны, неузнаваемо менялся и сам облик Москвы, столицы Советского государства. Старый писатель, чувствуя свою моральную ответственность перед славными именами, ушедшими в прошлое, не мог не рассказать о них молодому поколению.

В своих мемуарах Телешов рассказывает о встречах со многими замечательными людьми, дает их общественные и бытовые характеристики. Многое из того, что мы знаем о Чехове, Горьком, Л. Андрееве, Бунине, Вересаеве, Куприне и других, почерпнуто из книги Телешова.

Воссоздавая облик А. П. Чехова, писатель подчеркивает чеховскую простоту и непосредственное личное обаяние его натуры. Это человек, кровно болеющий за родное ему литературное дело.

Телешов говорит о пристальном вглядывании Чехова в жизнь, о его умении наблюдать. Этой же наблюдательности учил он и молодых писателей, «с ласковым вниманием следя за их успехами в литературе». С глубокой благодарностью вспоминает Телешов о той роли, которую сыграл Чехов в его жизни, посоветовав ему не «сидеть в четырех стенах и вытягивать из себя свои произведения», а поехать куда-нибудь далеко, «верст за тысячу, за две, за три». Телешов так и поступил, отправившись в путешествие по Западной Сибири.

Другим своим литературным наставником и учителем Телешов считает А. М. Горького, которому также отводится значительное место в его воспоминаниях. Он говорит о влиянии ранних произведений Горького на русскую общественность, замечая, что «появление Горького в литературе произвело общественную встряску», рассказывает о его кипучей общественной деятельности, о неутомимой энергии. Почти всеми своими крупными общественными начинаниями «Среда» была обязана революционизирующему влиянию Горького.

В своих воспоминаниях Телешов показывает яркий талант Куприна, твердость и нерушимость взглядов Вересаева, противоречивую, но обаятельную натуру Леонида Андреева. Он первый подробно и обстоятельно рассказал о начале литературной деятельности Скитальца, о его мятежном характере, о дерзком вызове, с которым поэт бросал в лицо разжиревшей буржуазной публике слова, полные гнева и ненависти:

Я к вам явился возвестить:
Жизнь казни вашей ждет!
Жизнь хочет вам нещадно мстить —
Она за мной идет!..

Писателя равно интересуют и мелкие бытовые факты из биографии того или иного человека, и большая общественная деятельность его. Портреты великих людей, данные в «Записках», не следует, разумеется, считать исчерпывающе полными. Писатель стремится к документальной точности и говорит лишь о том, свидетелем чему был он сам. В его характеристиках нет строгой логической завершенности. Как правило, они строятся по принципу хронологической последовательности.

Следует подчеркнуть также то, что Телешов с равным вниманием и обстоятельностью говорит как о всемирно известных деятелях литературы, так и о неизвестных самоучках. И объясняется это просто: писатель-демократ проникнут глубочайшим уважением ко всем, кто работает на благо своего народа, своей литературы. Всякий честный труженик, будь он одарен огромным талантом или просто скромными способностями, заслуживает, по его мнению, самого глубокого уважения за свою преданность литературе, за любовь к ней. Об этом уважении свидетельствует его замечательная книга, одной из задач которой является восстановление справедливости по отношению к тем, кто имеет право на внимание, хотя и запоздалое.

Интересны характеристики участников «Суриковского кружка», писателей из народа: «За малыми исключениями все они были бедняками или тружениками, которые боролись с нуждой, боролись за каждый день своего существования, за каждую копейку, и тем не менее увлекались литературой; они почитали глубоко и искренне больших писателей, стремились сами быть выразителями художественных настроений, поскольку им это позволяло весьма малое их образование».

Телешов обстоятельно характеризует талантливых русских народных поэтов, мучительно, с трудом пробивавших себе дорогу в условиях царизма. Труден был путь в литературу портного И. А. Белоусова, который, «отработав день в качестве портного,

по ночам, когда в доме все засыпали, писал свои песни, свои думы, свои стихи». Трагична судьба крестьянского поэта, страстного книголюба А. И. Слюзова, погибшего в нищете и безвестности. С великим трудом пробивал дорогу в литературу С. Д. Дрожжин, которого только революция спасла от нищеты. Писатель вспоминает и еще о многих славных именах, теперь частично уже забытых, но блиставших в свое время живой непосредственностью чувств, а иногда и яркой талантливостью своих произведений. И все они верили в грядущее освобождение народа от рабства, от темноты и бесправия, верили в силу народа, в его разум. Вот почему в их творчестве преобладают мажорные тона.

Значительное место в своих мемуарах Телешов отводит воспоминаниям о театральной жизни столицы. Он рассказывает о великих артистах Малого театра — М. Н. Ермоловой и Г. Н. Федотовой, о их большом мастерстве и о той школе, какой явился для молодежи тех лет Малый театр. Он повествует и о молодых годах МХАТа, и о той новой струе, которую внес театр в русское сценическое искусство.

В художественном отношении «Записки» также своеобразное явление. Это рассказ не обо всем, с чем в жизни встречался писатель, а о главном, существенном. При этом он оставляет в тени себя, стараясь писать лишь о том, каковы были люди, которых он близко знал и любил. Это качество его мемуаров в значительной степени отличает их от множества других произведений этого жанра, представляющих собой скорее обширные автобиографии, где воспоминания даются только попутно.

Телешову довелось встречаться со многими интересными людьми, но пишет он только о тех, кто искренне и бескорыстно любил свое дело, кто служил литературе, отдавая ей все силы, всю свою жизнь. Важно отметить также, что в своих мемуарах Телешов избегает «черной краски», бытовых анекдотов из жизни знаменитостей, всегда так привлекавших мемуаристов. Он стремится не к точному бытовому портрету, а к созданию образа человека, отбрасывая все, что было в его облике случайным.

Воспоминания о замечательных людях Телешов выделил в отдельные главы, так что книга строится по тематическому принципу. Спокойно повествует писатель о минувшем, как бы беседуя с современным читателем. Он постоянно указывает на современное восприятие того или иного явления. Говоря о старой Москве, он называет улицы ее, тут же замечая, что именно находится здесь в настоящее время. Этим усиливается доступность «Записок» для самых широких кругов читателей. Они с одинаковым интересом читаются и ученым-литературоведом или искусствоведом, и историком, и рядовым читателем как в нашей стране, так

и за рубежом. В них Телешов наглядно доказал свое глубочайшее убеждение, что «быть русским писателем есть великое счастье в жизни».

«Записки писателя» имеют не только литературную, но и историческую ценность. Живо и интересно нарисованы в них картины старой Москвы, с ее своеобразными обычаями и неписаными законами. Писатель не забывает указать и на кричащие социальные противоречия, особенно явственно ощущавшиеся как в самом расположении кварталов и улиц древней русской столицы, так и во внешнем виде ее жителей: с одной стороны — Хитровка с ее вечно полуголодным, оборванным людом, с другой — роскошные рестораны, предназначенные для гуляний и отдыха «денежной публики». Многое из того, о чем пишет Телешов, кануло в вечность, но, живо восстанавливая в памяти картины быта и нравов дореволюционной Москвы, писатель учит еще большей любви к Родине, к своему народу.

Воспоминания Телешова ценны своей объективностью, жизненной достоверностью, богатством деталей, необыкновенной добросовестностью в передаче событий и обрисовке людей, в умении дать читателю почувствовать атмосферу эпохи и характер сложного переплетения личного и общезначимого в событиях и лицах. Они характеризуются истинным демократизмом.

Телешов пришел в советскую литературу из русской классической литературы и стал нашим современником. Его творчество — мост между произведениями XIX века и сегодняшним днем. В 1924 году Телешов говорил о своем поколении: «Мы были современниками великого общественного подъема и на всех путях жизни старались поддерживать и поддерживали этот подъем, не давали гаснуть огню и в меру наших сил мы укладывали в общую громаду, в общее здание камень за камнем. Как бы ни были скромны силы каждого из нас, но мы жили и делали каждый, что мог, что было в наших средствах. Мы верили в силу единения и труда, в торжество революционной свободы».

Писательская деятельность Телешова может служить примером упорного, кропотливого труда, примером строгой взыскательности и истинного мастерства. Однако эта деятельность не исчерпывает всего значения Телешова для русской культуры. «Масштабы деятельности человека,— писал о Телешове В. Г. Лидин,— определяются не только тем, что создал человек,— будь то духовные или материальные ценности, но и тем, как прожил человек свою жизнь, какое значение имела его личность для современников и что сделано для того, чтобы побуждать современников к лучшему и совершенному». Именно с этой точки зрения и оценивается нашим поколением значение деятельности Николая Дмитриевича Телешова.

*К. Пантелеева*



# Записки писателя

## воспоминания и рассказы о прошлом

*Посвящено*
*памяти*
*Елены Андреевны*
*Телешовой,*
*верного друга*
*всей долгой жизни моей.*

*Н. Телешов*
*28 февраля 1943 года*

## *Памятник Пушкину*

Когда я был еще подростком, мне посчастливилось быть свидетелем небывалого до того времени события и торжества. В центре Москвы, во главе Тверского бульвара, перед широкой Страстной, ныне Пушкинской, площадью, в 1880 году 6 июня открывался памятник Пушкину — первый памятник писателю.

Обычно памятники воздвигались на улицах Москвы только царям. И это отметил присутствовавший на торжестве Островский. Возглашая тост за русскую литературу, он метко сказал:

— Сегодня на нашей улице — праздник!

Хорошо помню красивую голову маститого писателя Тургенева с пышными седыми волосами, стоявшего у подножия монумента, с которого торжественно только что сдернули серое покрывало. Помню восторг всей громадной толпы народа, в гуще которого находился и я, тринадцатилетний юнец, восторженный поклонник поэта. Помню бывших тут же на празднике писателей — Майкова, Полонского, Писемского, Островского. Помню и сухощавую, сутулившуюся фигуру Достоевского и необычайное впечатление от произнесенной им речи, о которой на другой день говорила вся Москва.

Речь эта была сказана не здесь, на площади, у памятника, а в Колонном зале нынешнего Дома союзов. Возглашая тост за русскую литературу, он говорил:

— Пушкин раскрыл нам русское сердце и показал нам, что оно неудержимо стремится к всемирности и всечеловечности... Он первый дал нам прозреть наше значение в семье европейских народов...

Вечером в торжественном концерте, состоявшемся при участии огромного оркестра и знаменитых артистов, Достоевский, выйдя на эстраду, сутулясь и ставши как-то немножко боком к публике, прочитал пушкинского «Пророка» резко и страстно:

— Восстань, пророк!..

И закончил с необычайно высоким нервным подъемом:

— Глаголом жги сердца людей!..

Полагаю, что никто и никогда не читал этих вдохновенных строк так, как произнес их не актер, не профессиональный чтец, а писатель, проникнутый искренним и восторженным отношением к памяти величайшего русского поэта..

Создатель памятника, одного из лучших по простоте, красоте и выразительности, Александр Михайлович Опекушин был выходцем из простого народа, из крепостной крестьянской семьи, сперва — самоучка, затем признанный художник и, наконец, академик.

Вспоминаются мне также и увлекательные разговоры и рассказы о многолюдном банкете в связи с торжествами, где я тогда в качестве постороннего юнца присутствовать, конечно, не мог, где Катков, когда-то близкий Белинскому, но потом резко изменивший свои политические взгляды, протянул было к Тургеневу свой бокал, чтобы чокнуться. Но тот отвернулся.

Тургенев на этом торжестве говорил:

— Будем надеяться, что всякий наш потомок, с любовью остановившийся перед изваянием Пушкина и понимающий значение этой любви, тем самым докажет, что он, подобно Пушкину, стал более русским и более образованным, более свободным человеком.

На гранитном пьедестале памятника помещены были в крупном барельефе слова Пушкина, искаженные цензурой. Насколько помнится, было написано так:

И долго буду тем народу я любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что прелестью стихов я был полезен...

И только теперь, в советское время, эту надпись заменили подлинными словами поэта:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Разница в надписи весьма существенная.

Не знаю, остался ли кто-нибудь в живых из свидетелей этого великого торжества и праздника литературы, этого первого чествования памяти русского писателя, который «в свой жестокий век восславил свободу» и верил, что «Россия вспрянет ото сна и на обломках самовластья» напишет имена тех, кто боролся и погиб за будущее счастье народа.

Эти дни открытия памятника Пушкину остаются для меня одними из самых радостных и светлых, хотя все это и было семьдесят пять лет тому назад.

## *В писательских кружках*

*Первые шаги и знакомства.— Тихомировский кружок и «Детское чтение».— Литературно-художественный кружок.— Н. В. Давыдов.*

### I

Мне не было еще и семнадцати лет, когда в журнале «Радуга» в 1884 году было напечатано мое первое стихотворение. За первым последовало второе и третье, затем в той же «Радуге» и других небольших журналах начали появляться прозаические мои очерки. Я тогда был далек от литературного мира и никогда еще не встречался лично ни с одним писателем. Рукописи свои я посылал в редакции по почте; за напечатание их мне денег не платили,— да я и не спрашивал. Первый, кто пожелал меня видеть, был Скрипицын, редактор журнала «Россия», где был напечатан мой рассказ.

«Что же вы не приходите получить гонорар?» — писал он мне в открытке, назначая для свидания ближайший день и час.

В редакции я нашел единственного человека, угрюмо сидевшего за пустым столом,— высокого, костлявого, обросшего волосами.

— Дела нашего издания очень печальны,— сказал мне Скрипицын, подавая руку.— Получите гонорар за ваш рассказ, пока еще не поздно. Надеюсь, вы будете продолжать писать, и я надеюсь встречать ваше имя в печати. Нужно только работать над собой. А пока вот вам деньги. Не взыщите, что мало. Больше не могу.

Он передал мне пятнадцать рублей, взял с меня расписку в получении и пожелал успехов.

— Вам сколько платят в иных местах?

Я признался, что никто и нигде мне ничего не платил.

— Значит, это первый гонорар? Очень рад, коли так. Когда будете получать много, вспомните, что первый гонорар, грошовый, вам заплатил Скрипицын.

Он снова подал мне руку на прощание и добавил:

— А мы дня через два закрываемся... Навсегда.

Первый гонорар — это нечто особое и значительное в жизни писателя, особенно если этому писателю всего семнадцать-восемнадцать лет. Первый гонорар — это до некоторой степени признание, это уже какая-то оценка, как бы незначительна она ни была. Получение гонорара было для меня сущим праздником. Возвращаясь домой, я на радостях купил матери цветок, отцу туфли, брату папирос. Первый гонорар исчез, но я все-таки был очень счастлив.

Конечно, прав был Скрипицын: необходимо было работать и вырабатывать стиль. Произведения Лермонтова и Тургенева были в то время для меня любимыми образцами стиля, в которые я вчитывался, вдумывался и любовался ими. Из современных писателей того времени на меня влияли сильные, яркие рассказы Гаршина и стихи Надсона, а с 1885 года у меня появился внезапно новый любимец: в мартовской книге «Русской мысли» я прочитал рассказ неизвестного мне автора Вл. Короленко «Сон Макара». Он произвел на меня такое сильное впечатление своей художественной простотой, тонким юмором, картинами Крайнего Севера и неведомым бытом тайги с ее беспросветной мужицкой жизнью, полной тягости и гонений! По словам Короленко, Макара всю жизнь гоняли старосты и старшины, заседатели и исправники, требуя подати, гоняли попы, требуя ругу; гоняли его нужда и голод, дожди и засухи, гоняла и злая тайга... Я перечитывал целиком рассказ, потом отдельные куски из него и думал: «Вот этот писатель станет непременно большим человеком!» И мало-помалу это в скором времени начало осуществляться. Его «Лес шумит», «Слепой музыкант» упрочили за ним репутацию крупного таланта в художественной литературе. В дальнейшем начались его значительные выступления и в общественной жизни.

Первым из писателей, с которым я познакомился, был Д. А. Мансфельд, редактор «Радуги», известный

в свое время автор многочисленных водевилей и переделок заграничных пьес на русский лад. Это был человек практический. Он сообщил мне, что с нового года будет издавать помимо «Радуги» ежемесячный журнал «Эпоха», и предложил мне написать роман или большую повесть. Когда же я, окрыленный успехом у Скрипицына, спросил об условиях, то Мансфельд искренне изумился:

— Условия?.. Какие же могут быть условия? Для молодого человека честь напечатания в толстом журнале, рядом с такими именами, как Чаев, Немирович-Данченко, Сумбатов,— вы ни во что не ставите? Вот когда мы упрочим наш новый журнал, тогда, конечно, все придет, все будет, а пока...

Пока он взял с меня обещание быть на днях в каком-то небольшом театре, где будет поставлена его новая пьеса «Разрушение Помпеи», и поддержать вызовами автора, по возможности после второго акта.

Дать роман или повесть я ему не обещал, так как не был уверен, что могу сдержать обещание, но быть на «Разрушении Помпеи» обещал твердо. Название казалось мне сильно драматическим, и было интересно посмотреть, как водевильный писатель сладил с такой несвойственной ему темой. Но пьеса оказалась чрезвычайно веселой, вернее говоря — потешной. Ничего «помпейского» в ней не было; был ряд смешных положений из жизни тогдашней провинциальной сцены. Публика хохотала, и автор был вызван, как сам того желал, именно после второго акта.

Все это, вместе взятое, заставило меня призадуматься кое над чем. Писателей в жизни я представлял себе несколько иными. Но я был еще очень молод и верил только в очень высокое.

Жил я в то время у отца, на Валовой улице, в доме типично старомосковском, с антресолями, с темными закоулками, скрипучими лестницами и низкими потолками. В мои две комнатки, на самой макушке дома, вела именно такая скрипучая внутренняя лестница прямо из сеней с черного хода. Вытянувшись во весь рост и подняв руку, я свободно доставал пальцами потолок, поэтому, когда собиралось несколько человек курящих, через час все сидели в дыму и разговаривали точно сквозь сетку, так что приходилось несколько раз в вечер отворять широкие

форточки, через которые уходило не столько дыма, сколько тепла.

Самым старым моим спутником в литературной жизни был Сергей Дмитриевич Разумовский, с которым мы дружили с девятилетнего возраста.

С раннего детства он увлекался театром. Помню, как на даче, еще мальчишками, мы устраивали любительские спектакли у себя на террасе, разделяя зрительный зал и «сцену» простыней на веревочке или одеялом. Разумовский и брат мой, Сергей, которые были старше меня на три года, играли каких-то молодых франтов, а я, как младший, должен был изображать в этой пьесе кухарку, потому что «актрис» у нас было чрезвычайно мало и ни у одной из них не было охоты принять на себя столь ничтожную роль.

К нему же, Разумовскому, я обращался всегда и с моими начинаниями, и с первыми литературными опытами, как к старшему. В то время он писал книгу о Гамлете и готовился к драматургии. В дальнейшем он писал немало пьес, в их числе «Юную бурю» и другие, шедшие на разных сценах, не исключая и Малого театра.

Другим моим старинным спутником был И. А. Белоусов, переводивший Тараса Шевченко и печатавший в небольших журналах, преимущественно провинциальных, свои простые, ласковые стихи о труде и природе.

Познакомился я с Иваном Алексеевичем Белоусовым очень давно, в восьмидесятых годах. Литературного знакомства у меня не было никакого, хотя я уже напечатал несколько вещей в «Радуге». Познакомились мы и сошлись с Белоусовым как-то сразу, с первой встречи, да так и остались друзьями на целые полвека.

Вскоре я познакомился еще с одним поэтом-самоучкой, как их тогда называли. Не вспомню в точности, как все это произошло, но только однажды ко мне явился какой-то человек в синей рубашке с косым воротом, а поверх рубашки в длинном черном сюртуке, весьма поношенном, с болтающимися ниже колен фалдами, и назвался Слюзовым. Он предложил мне участвовать в сборнике начинающих поэтов, который будет издан на средства самих же авторов,

с общей пользой по распродаже книги, и в качестве участников назвал мне три-четыре фамилии, ничего в то время никому не говорившие, в том числе и фамилию Белоусова. А через несколько дней пришел ко мне познакомиться и сам Белоусов, которому Слюзов назвал меня как будущего участника книги, такого же, как и все другие, безыменного поэта.

Когда мы познакомились и обговорились, то решили, что в сборнике участвовать надо. А через несколько месяцев, в 1887 году, после долгой и упорной возни, доставившей мне много неведомых до того времени мук, но также и неведомых наслаждений, книга была издана под названием «Искреннее слово». В ней было сто десять страниц, участвовало девять авторов, в одинаковой степени никому не известных, и стоила она пятьдесят копеек. Напечатали, кажется, шестьсот экземпляров, а продали не более двухсот; остальные роздали самим авторам на предмет уничтожения, так как в газетах нас жестоко изругали, и дело было закончено. Несмотря, однако, на неудачу, все девять участников остались друг другом довольны. С некоторыми из них знакомство мое продолжалось еще долгое время, а с иными перешло в прочную дружбу; с Белоусовым до его глубокой старости и смерти, со Слюзовым до ранней его могилы.

Время от времени у меня стала собираться молодежь, начинавшая писать — кто стихи, кто прозу. Определенных дней у нас не было установлено, а собирались мы, когда случится. Сначала это была маленькая группа в несколько человек. У нас читали, пели, декламировали. Затем группа стала расширяться.

Благодаря Белоусову я познакомился с А. П. Чеховым и с В. А. Гиляровским. Кроме того, познакомился с семьей Тихомировых, издателей журнала «Детское чтение», переименованного впоследствии в «Юную Россию», а у них — со многими писателями с известными именами.

## II

В начале девяностых годов в Москве, на Тверской, помещалась редакция журналов «Детское чтение» и «Педагогический листок». Здесь в просторной

комнате за письменным столом сидел, обычно в дневные служебные часы, угрюмый старик невысокого роста, одетый в суконную блузу из кавказской овечьей шерсти и подпоясанный широким ремнем. Полуседые курчавые волосы, мохнатая с проседью борода и напускная строгость делали добрейшего по душе человека почти свирепым, чего на самом деле совершенно не было, и очень деловым, чего, говоря по совести, на деле тоже как будто не было. Но работник он был честный, усердный и необыкновенно преданный интересам редакции, в которой работал и которую считал своим домом.

При встречах он имел обыкновение целоваться. Но и целуясь, он бывал суров и угрюм, не раздвигал сомкнутых бровей и не выпускал из рук дымящейся толстой, как палец, папиросы.

— Мы вас любим, молодой друг,— говорил он обыкновенно, усаживая меня возле своего стола.— А вы что же к нам по субботам редко приходите на дружеские беседы? И для «Детского чтения» пишете мало. Надо больше писать. Для молодого поколения, для будущих граждан надо много работать. Ну, что принесли?

Это был Николай Александрович Соловьев-Несмелов, автор многих народных и детских рассказов, а также полной биографии поэта Сурикова, его личного близкого друга,— добрейший и честнейший человек, скромный и бескорыстный. Днем, во время служебных занятий, он был деловитым, как я уже сказал, почти до сухости, а по субботним вечерам, когда мы все чаще и чаще стали встречаться, мечтательным добряком, любившим время от времени пошутить и посмеяться. Но странно, что веселость его была какая-то тоже мечтательная, как будто грустью обвеянная. Он любил называть себя «скитальцем родной земли», верил в народ и в людей вообще, в молодежь в особенности, почитая ее как «благородную душой». И если приходилось иногда в ком-нибудь разочаровываться, то он говорил:

— Ну, это его кто-нибудь сбил. Сам он не мог так думать и поступать.

Для молодых писателей Николай Александрович был истинным другом.

— В гору! В гору, молодой человек! — говаривал он по вечерам на субботниках.— Кто не идет в гору, тот пропадает. Работайте, пробивайтесь! Но идите только в гору, а не под гору. Жизнь сильна девятым валом. В затишье — не жизнь, а прозябание. Высокое творческое слово, юное, яркое, пусть ведет вас, молодой друг, на те высоты, откуда открываются широкие горизонты глубокого духа, реальной жизненной правды, истинной красоты и неложного добра.

Подобные слова были нередки во время беседы, и для Соловьева-Несмелова они были очень характерны. Они обнаруживали его действительные взгляды. Эти самые слова написаны им на его портрете, подаренном мне «в знак дружеского расположения».

Когда мне было предложено написать рассказ для «Детского чтения», я невольно спросил Тихомирова:

— А как нужно писать для детей?

Старик улыбнулся.

— Прежде всего,— ответил он,— надо забыть, что пишешь для детей, и не подделываться под детского читателя. Чем проще, тем лучше.

А Соловьев-Несмелов добавил:

— Нужно, чтобы у автора и мысли были чистые и душа чистая. Больше ничего не требуется. Все остальное само придет. Избегайте сюсюканья, дети это не любят; они чуткие.

По субботним вечерам редакционная комната, где занимался днем Соловьев-Несмелов, обращалась в столовую, где часам к одиннадцати накрывался стол. Народу собиралось почти всегда много. Бывали артисты, художники, педагоги, журналисты, но преимущественно писатели, сотрудники «Детского чтения», как москвичи, так и приезжие, в преобладающей окраске «Русских ведомостей» и «Русской мысли» того времени.

В. А. Гольцев и В. М. Лавров от «Русской мысли» и А. П. Лукин (псевдоним «Скромный наблюдатель») от «Русских ведомостей» бывали у Тихомировых очень часто, а Гольцев без пропусков каждую субботу; он был здесь ближайшим другом и совершенно своим человеком. Бывали профессора Московского университета, народные учительницы и учителя, театральные критики и разного рода общественные

ные деятели, в большинстве случаев с известными, а иногда и громкими именами. Из писателей нередко можно было встретить Н. Н. Златовратского, уже пережившего свою большую славу и популярность, К. М. Станюковича, знаменитого своими морскими рассказами, драматурга П. М. Невежина, М. Н. Альбова, К. С. Баранцевича, критика Скабичевского, Вас. И. Немировича-Данченко с лихими черными баками и всегда с «Георгием» на груди. Здесь же, в редакции, обычно останавливались и гостили, когда приезжали из Петербурга, Д. Н. Мамин-Сибиряк и В. П. Острогорский, редактор большого журнала «Мир божий», о котором в застольных беседах он иначе не говорил, как «мой мир», а про секретаря редакции, Богдановича, носившего редкое имя Ангел Иванович, говорил так:

— Это я поручу своему Ангелу, он уж сделает, что нужно.

И над ним, по почину Гольцева, стали шутить:

— Кто же он «сам» после этого, сей муж седовласый, если про мир божий он говорит: «мой мир», а с поручениями рассылает «ангелов»?

Эта дружеская, незлобивая шутка доставляла старику видимое удовольствие, так как редактором он был только официальным, для цензуры и администрации, и в сущности влияния на жизнь и судьбы журнала не имел; в этом отношении его «ангел» был значительнее его самого.

У старика было какое-то излюбленное стихотворение, очень странное, сочиненное, если не ошибаюсь, им самим, которое он любил читать, когда бывал в духе, или даже напевать его тихонько на ухо своему случайному соседу за ужином. Начиналось оно очень торжественно:

В жизни важно только важное.
С ним и след вперед идти...
По тому пути отважные
Не погибнут на пути!..
А когда дела неважные человека обойдут,
То и самые отважные человека не спасут.

Что было дальше, я не вспомню, но заканчивалось стихотворение так:

Очень жалко окаянного,
Что погиб во цвете лет.

Сами Тихомировы, устроители субботников,— Елена Николаевна и Дмитрий Иванович, очень известный и популярный педагог своего времени, руководитель педагогических курсов, составитель знаменитого «Букваря» и многих книг и хрестоматий,— были люди старые и одинокие, очень приветливые и доброжелательные. По крайней мере лично я от них, кроме хорошего, ничего не видел. Они ввели меня, в то время чужака в литературе, в свое редакционное гнездо, где я перевидал большинство известностей того времени и не без пользы переслушал множество серьезных речей и споров, а также шуток, веселых острот и талантливых каламбуров; а остроумная шутка бывает иной раз значительней длинной речи.

Рослый, здоровый старик, седой как лунь, с густыми и пышными волосами, с окладистой белой бородой и румяным лицом, Дмитрий Иванович Тихомиров одевался у себя на субботах обычно, как и Соловьев-Несмелов, в суконную блузу с ремнем, вроде «толстовки», так же, как и тот, при встречах со многими приветливо целовался, но был строже, важнее и влиятельнее своего тихого друга.

Первая часть вечера бывала обычно весьма немноголюдна и проходила сравнительно вяло; ранние гости разбивались на группы и обособленно разговаривали, пока не съезжались остальные. Но бывали и оживленные вечера с самого начала, когда кто-нибудь из артистов пел или играл на рояле или на скрипке. Из певцов, я вспоминаю, выступал нередко артист Большого театра С. Г. Власов, модный в то время бас, и тенор Успенский. Чтецов было немало, но в памяти остался только один, профессор Эварницкий Дмитрий Иванович, правоверный украинец, с веселыми запорожскими рассказами, которые я слушал, бывало, всегда с удовольствием. Невольно запомнился мне и образ казака, встречавшийся чуть ли не во всех его рассказах почему-то в одном и том же излюбленном виде, а именно: «в однiй сорочцi i без штанiв».

Когда И. Е. Репин работал над своей знаменитой картиной «Письмо запорожцев турецкому султану», Эварницкий долго и усердно позировал ему для образа писаря.

Умер Эварницкий летом 1940 года в Днепропет-

ровске, где он принимал самое живое и непосредственное участие в создании большого художественно-краеведческого музея и много потрудился над собиранием его коллекций. В 1931 году мне довелось быть у него в музее; он сам водил меня по залам, рассказывал о коллекциях и, не без прежнего юмора, сообщал некоторые бытовые подробности.

Вспоминается, как на одном из вечеров в 1895 году у Тихомировых пел незнакомый молодой человек, очаровавший всех прелестным тенором; голос его был исключительной красоты. Все заинтересовались: «Кто это? Что за артист? Из какого театра?» Но оказалось, что это не артист, а молодой юрист, один из помощников знаменитого адвоката Ф. Н. Плевако, и что фамилия его Собинов. Через год он уже выступал в Большом театре, очаровал всю театральную Москву и быстро сделался знаменитостью.

В большинстве случаев настоящий субботник открывался лишь ближе к полуночи, когда гости стекались в столовую и усаживались за ужин. К этому времени подъезжали люди из театров, концертов и заседаний, и за длиннейшим столом мало-помалу становилось тесно. Вот тут-то и начиналось самое настоящее. Сообщались все новости за последние дни и даже часы; зачастую — то, чего не прочитаешь ни в одной газете. Если кто из присутствующих имел где-нибудь успех за минувшую неделю, это отмечалось и дружески подчеркивалось; если кого-нибудь обидели в цензуре или в администрации, об этом сообщалось вслух и тут же порицалось или жестоко вышучивалось. Общественная жизнь, административные сюрпризы, вопросы литературы — все имело здесь свои отклики, и так как в беседах участвовали представители лучших в то время журналов и газет, то все это было интересно и нередко значительно и ценно. Самый серьезный отзыв сменялся иногда вдруг остроумным экспромтом или забавным рассказом, на что были мастера — в первом случае В. А. Гиляровский, а во втором В. Е. Ермилов, прирожденный комик и юморист, хотя был педагог по специальности, писал серьезные статьи и издавал книжки.

Перу Ермилова принадлежали многочисленные педагогические, критические и театральные статьи, рассеянные по разным изданиям. Были у него и от-

дельные книги: «В борьбе с рутиной», сказка для детей «Хрюшка-свинка, золотая щетинка», очень нравившаяся в свое время. Издавал недолго Ермилов малоудачный еженедельный журнал, стараясь придать ему демократический оттенок. Назывался этот журнал «Народное благо», но в писательской среде, по шуточному определению Гольцева, слыл под названием «Ермишина блажь» — журнал «не-дельный».

В общем, Ермилов был типичный «неудачник» девяностых годов, человек, не лишенный таланта, демократически настроенный, искренне желавший быть полезным, но — неудачник, только типа не мрачного, а его веселой разновидности. В юности Ермилова несколько раз исключали из университета за «вредные идеи», и он долгое время был на правах так называемого «вечного студента», ходил в народ, на крестьянские работы, агитировал, попадался, «отсиживал»,— и вновь из неудачного пахаря становился студентом впредь до новых университетских «беспорядков». Уже в зрелом возрасте он пытался стать актером, так как очень любил театр и сцену. Ему даже был дан дебют в Малом театре в роли городничего в «Ревизоре», но судьба неудачника ярко определилась и здесь.

Ужин или, вернее сказать, общая беседа затягивалась обычно часов до трех ночи. Здесь бывало всего понемногу: и несколько застольных речей по поводу текущих событий, и множество новостей с обменом мнений, а также почти всегда рассказы, потом шутки, стихи и экспромты. Ермилов Владимир Евграфович умел рассказывать веселые сценки на злобу дня, иногда действительно очень злые и остроумные. Между прочим, помню, как однажды он вызвался спеть «Камаринского», известную плясовую русскую песню. Зазвучал рояль, послышался знакомый всем разудалый мотив. Невозможно было ожидать того впечатления, которое Ермилов произведет этой плясовой песней на все собрание и, в частности, на меня. Он придал ей такой драматический оттенок, так ловко замедлял, когда нужно, темп и с таким чувством передавал о похождениях и о судьбе этого несчастного всероссийского человека и о его семье, что становилось жутко слушать о том, как «на улице Варваринской спит Касьян, мужик камаринский; све-

жей крови струйки алые покрывают щеки впалые... Февраля двадцать девятого целый штоф вина проклятого влил Касьян в утробу грешную, позабыв жену сердешную... Бабе снится, что в веселом кабаке пьяный муж ее несется в трепаке, и руками и плечами шевелит, а гармоника пилит, пилит, пилит...» В полицейском участке, куда попал, наконец, Касьян, «у именинника из кармана два полтинника вдруг со звоном покатилися и сквозь землю провалилися...»

Этот «Камаринский» был, вероятно, лучшим номером из всех исполнений Ермилова, самым значительным и действительно интересным и трогательным. Ермилов умел придавать ему общественное звучание.

Тихомировы охотно поддерживали знакомство не только с писателями известными, но и с молодыми, едва начавшими, из которых многие сотрудничали в «Детском чтении». Среди них были в то время Н. И. Тимковский, Т. Л. Щепкина-Куперник, С. Т. Семенов, В. Н. Ладыженский, А. А. Федоров-Давыдов, И. А. Белоусов и братья Бунины, с которыми я только что познакомился. Старший Бунин, Юлий Алексеевич, был заведующим редакцией журнала «Вестник воспитания». Начавшееся между мною и Юлием Буниным знакомство привело нас обоих к теснейшей дружбе в течение двадцати пяти лет — вплоть до его смерти в июле 1921 года. Младший Бунин, Иван Алексеевич, хотя и помещал свои стихи и рассказы в журналах, но известен в то время был еще очень мало. Для первого знакомства он подарил мне только что вышедшую книжку Лонгфелло «Песнь о Гайавате» в его переводе, напечатанную очень серо и плохо в каком-то захудалом провинциальном издательстве, да и самые стихи не были еще так хорошо отделаны, как это удалось ему впоследствии, в зрелом возрасте, когда «Песнь о Гайавате» вышла в издательстве «Знание» с отличными рисунками. Этот перевод, сделанный уже опытной рукой настоящего мастера, справедливо считается лучшим из существующих.

Из тех, кого я встретил в тихомировском кружке, оказалось только двое моих прежних знакомых: Белоусов и Гиляровский. Остальные были люди для меня новые, однако я совсем не почувствовал себя сре-

ди них чужим. Я сразу попал точно в давно знакомую семью, дружески настроенную,— так со стороны Тихомировых было встречено мое первое появление у них, да и Соловьев-Несмелов весь вечер подводил меня то к одному, то к другому, знакомя, называл меня по имени и добавлял в виде рекомендации свое обычное определение: «Вот наш друг молодой».

С Владимиром Алексеевичем Гиляровским я познакомился значительно раньше, за несколько лет до этого, на свадьбе у Белоусова. В то время это был крепыш и силач, весельчак, остряк и затейник, с поступками оригинальными и весьма неожиданными. Еще молодым человеком он ушел в народ — по тогдашнему увлечению, нанялся простым рабочим на волжском заводе, потом в кавказской армии воевал с турками и получил за храбрость «Георгия», потом оказался актером где-то на провинциальной сцене. И газетный репортер, и поэт, и автор хлестких фельетонов из общественной жизни, Владимир Алексеевич, или, как обычно звали его многочисленные приятели, Дядя Гиляй (один из его литературных псевдонимов), был человеком таких разнообразных качеств, что не зря про него говорилось, будто он «и швец, и жнец, и в дуду игрец». Ни перед какими превратностями судьбы Гиляй не опускал головы. Его рассказы из жизни рабочих, собранные в книжку и изданные на средства самого автора, зарезала тогдашняя цензура и предала сожжению во дворе полицейского дома близ Сретенского бульвара. Он рассердился, что писателю не дают заниматься своим прямым делом, и в ответ открыл контору объявлений и разразился необычайной по тем временам рекламой. Он напечатал величиной в серебряный рубль круглые яркие радужные значки с клеем на обороте и лепил их повсюду, где можно и где нельзя — на стекла знакомых магазинов, на стенные календари в конторах и банках, на пролетки извозчиков, и даже в Кремле, на царь-пушке и на царь-колоколе, сверкали эти огненные «объявления» о конторе объявлений Гиляровского. Потом он основал «Русское гимнастическое общество», где был председателем, и сам же прыгал там через «кобылку», показывая пример молодежи, дрался на эспадронах, поднимал над головой на железной кочерге двоих приятелей,

повисших по обе стороны этой кочерги, и вообще показывал чудеса ловкости и силы. А сила у него была редкостная, исключительная. Потом, неведомо почему, внезапно исчез и оказался на Балканах, в Сербии, где в своих корреспонденциях вывел тогдашнего короля Милана «на свежую воду», раскрыв всю его интригу и доказав, что знаменитое покушение на Милана было подстроено самим же Миланом для личных королевских целей, чтобы показнить в свое удовольствие балканских либералов. Это разоблачение подхватили европейские газеты, и Гиляровскому едва удалось унести из Белграда свою голову. Всегда чем-нибудь занятый и торопливый, с полными карманами всяких записок и бумаг, весело похлопывающий в то же время пальцами по серебряной табакерке, предлагая всем окружающим, знакомым и незнакомым, понюхать какого-то особенного табаку в небывалой смеси, известной только ему одному, Гиляй щедро расточал направо и налево экспромты по всякому поводу, иногда очень ловко и остроумно укладывая в два или четыре стиха ответ на целые тирады, только что услышанные. Когда только что появилась толстовская пьеса «Власть тьмы», Гиляй сострил:

В России две напасти:
Внизу — власть тьмы,
А наверху — тьма власти.

И в 1905 году, во время вооруженного восстания, он всех бодрил своим спокойным отношением к смерти, своим полусерьезным, полушутливым экспромтом:

Пусть смерть пугает робкий свет,
Но нас бояться не принудит:
Пока мы живы — смерти нет,
А смерть придет — так нас не будет!

Во время разгула реакции при Александре III, когда полицейский произвол был выше всяких законов и когда полицейский же смотритель в Японии ударил шашкой по голове царского наследника, будущего царя Николая II, во время его путешествия, Гиляровский отозвался на это восклицанием:

Цесаревич Николай,
Если царствовать придется,
То почаще вспоминай,
Что полиция — дерется.

Одновременно дружил Гиляй и с художниками, знаменитыми и начинающими, с писателями и актерами, с пожарными и с беговыми наездниками, с жокеями и с клоунами из цирка, с европейскими знаменитостями и с пропойцами Хитрова рынка — «бывшими людьми». У него не было просто «знакомых», у него были только «приятели». Всегда и со всеми он был на «ты». В течение нескольких лет издавал он газету «Листок спорта», где, между прочим, удачно предсказывал накануне бегов и скачек, какие лошади должны завтра взять призы на состязаниях, за что и носил одно время прозвище «Лошадиный Брюс». В этом «Листке спорта» мало-помалу переучаствовали почти все его приятели-беллетристы; даже и я, не причастный ни в какой мере к спорту, напечатал у него в газете рассказ о петушиных боях, на которые нарочно для этого ходил смотреть в один из грязных замоскворецких трактиров.

За годы революции Гиляровский написал несколько интересных книг: это личные воспоминания о спутниках, о разных встречах и знакомствах; рассказы о старой Москве.

Умер Гиляровский в 1935 году в глубокой старости: ему было восемьдесят два года.

В тихомировском кружке я продолжал бывать довольно часто, и Тихомировы время от времени приезжали ко мне вместе с Соловьевым-Несмеловым, который иногда читал у нас свои новые рассказы. Приезжал вместе с ним иногда и Эварницкий, как всегда, интересно и весело рассказывавший о Запорожье и запорожцах.

Помимо этого мало-помалу стал образовываться у меня сам собою небольшой новый кружок более или менее молодых товарищей. Почти все мы бывали по субботам у Тихомировых, где приходилось больше слушать других, а на своих собраниях мы принадлежали сами себе. Говорили и спорили о новой литературе, о новых писателях, русских и иностранных, говорили об искусстве. К нашей маленькой молодой группе стали примыкать понемногу и новые лица, как братья Бунины, как Михеев Василий Михайлович — человек с обширным знакомством среди литераторов и крупных художников, писатель Николай Иванович Тимковский и доктор Голоушев Сер-

гей Сергеевич, беззаветно преданный театру, живописи, литературе и сам пытавшийся быть и писателем, и художником, и критиком. По московским кружкам и группам он был уже известен: в качестве художника — как «Сергеевич», в качестве литератора — как «Сергей Глаголь» и как Голоушев — в качестве любителя и знатока искусства и увлекательного оратора. Однажды под своим портретом он написал мне стихи, где использовал все три имени свои — художника, литератора и гражданина.

Немножко здравый смысл нарушив,
В одном лице, но все втроем
Привет тебе горячий шлем:
«Глаголь» — «Сергеич» — «Голоушев».

Обычно он сообщал нам много интересного про художников, про их новинки, стремления, про их выставки, про новые течения в искусстве, а Михеев нередко рассказывал о новых пьесах Ибсена, начавшего тогда сильно интересовать и волновать общество, и о других иностранных писателях, чьи произведения еще не были переведены на русский язык, и мы знакомились с ними ранее других по пересказам и отрывкам. Юлий Бунин держал нас в курсе общественных событий. Эта небольшая товарищеская группа и явилась основой того кружка, которому суждено было впоследствии сыграть заметную роль под названием «Московской литературной среды» и объединить большинство самых видных и крупных писателей девяностых и девятисотых годов.

С течением времени и с развитием «Среды», куда отхлынула значительная часть литературной молодежи, а также с возникновением в Москве Литературно-художественного кружка, объединившего в своих стенах людей разнообразных направлений, и за смертью Соловьева-Несмелова, тихомировские субботники мало-помалу утратили свое былое значение и затихли.

## III

Артистическая и литературная Москва с большими надеждами и нетерпением ожидала открытия Литературно-художественного кружка. Всем хотелось

иметь свой уголок, свой дом и приют, где было бы возможно чувствовать себя свободно, отдыхать и общаться со своими людьми, с товарищами по стремлениям, попросту и без церемоний, как в своей семье.

Наконец, осенью 1899 года кружок был открыт в чрезвычайно скромном помещении на углу Воздвиженки (улица Калинина) и Кисловского переулка. Оно состояло из большого квадратного зала, из узкой и длинной столовой, переделанной из бывшей оранжереи, и еще из одной комнаты в подвале, где был устроен буфет и в стену было вставлено дно огромной дубовой бочки, высотой до потолка, с крупной надписью: «in pivo veritas» — шуточный перифраз известной латинской поговорки об «истине».

Во главе дирекции стали: популярный адвокат, знаток и любитель искусства А. И. Урусов, директор Малого театра, артист и драматург А. И. Южин-Сумбатов, редактор журнала «Русская мысль» В. А. Гольцев, академик-архитектор Ф. О. Шехтель и другие представители литературы, театров, художеств, музыки и общественности.

Малый театр пришел сюда, кажется, in corpore, со всеми своими знаменитостями. По крайней мере, привычно было встретить там по субботам М. Н. Ермолову, Г. Н. Федотову, Н. А. Никулину, не говоря уже о мужчинах-артистах. Большой театр был также представлен лучшими своими артистками как оперы, так и балета. Газеты и журналы дали своих редакторов и виднейших сотрудников; актеры казенных и частных театров, известные адвокаты, врачи, педагоги, выдающиеся художники, архитекторы, профессора университета, консерватории и филармонии, общественные деятели — все они, по словам лермонтовского стихотворения,

Все промелькнули перед нами,
Все побывали тут.

Такое обилие выдающихся имен и лиц вряд ли когда раньше можно было встретить одновременно и притом в такой товарищески-семейной обстановке, без «чинов и претензий». Публика бросилась в кружок, чтобы видеть всю эту «знать» и побывать среди них запросто. Но дирекция была строга и беспощадна, посторонних не принимала, кто бы они ни были,

и только изредка, каким-нибудь особым случаем, почти что чудом, забредал сюда на вечер гость, не иначе как чей-нибудь очень близкий знакомый и рекомендованный несколькими влиятельными членами. Но эта строгость соблюдалась только в течение первого года, потом стало все проще. Здесь чувствовали себя все как дома, вполне непринужденно, по-товарищески, поэтому нередко среди вечера вдруг составлялся то внезапный концерт, то хор из выдающихся солистов оперы, то беседа, то просто товарищеский ужин, где все, сидевшие за очень длинным столом в бывшей оранжерее, объявлялись председателем «между собою знакомыми», независимо от того, были они раньше друг с другом знакомы или не были. Бывало все необычайно просто и непринужденно. Во время ужина вставали, произносили речи, тосты, шутили, острили, спорили, смеялись. Здесь же за ужином велись иногда и деловые разговоры, устраивались деловые встречи. Был здесь и карточный столик — один на весь кружок; стоял он в подвале, возле пивной бочки, и за ним сиживали преферансисты и винтеры, нередко с громкими артистическими именами. Было весело и приятно, особенно в первые месяцы. Все перезнакомились между собой, все чувствовали, что устроился, наконец, общий дом, где можно отдыхать, быть свободным и проводить время, как захочется. Особенно интересно бывало по субботам, когда в кружке собиралось много народа и сидели чуть не до утра.

Но как ни желателен был отдых в такой исключительной и интересной компании, как ни приятны были общие встречи и развлечения, все-таки писательская группа, по своей малочисленности, была одинока. В собраниях кружка еще не было той атмосферы общественности, которую он приобрел с годами, и не было той интимности, какую ждали и искали писатели для своих товарищеских встреч и бесед.

Небольшая группа моих личных литературных друзей продолжала, как и раньше, время от времени собираться у меня в квартире и делиться всякими новостями и впечатлениями. Почти каждый раз кто-нибудь из писателей читал у нас свое новое произведение, о котором присутствующие товарищи давали тут же свои откровенные отзывы. Посторонних нико-

го не бывало в эти дни, и высказываться вполне искренне и без стеснений никто не мешал. А это было очень нужно тогда, потому что большинство из нас были еще молодыми людьми и только что начинали выходить на дорогу. Мы нисколько не разочаровывались в кружке: напротив, любили бывать там по субботам, желали ему всякого блага и успеха и чем могли содействовали ему. Но того, что было нам необходимо, он дать нам в то время еще не мог. Он дал нам многое, но несколько позже.

В течение своей двадцатилетней жизни Литературно-художественный кружок несколько раз менял помещение, чтобы расширить площадь: был недолгое время на Мясницкой (теперь ул. Кирова), был на Тверской (ул. Горького), но главный расцвет его был на Большой Дмитровке (теперь ул. Пушкина). Здесь с течением времени была собрана содержательная и большая библиотека, со множеством автографов знаменитых и известных людей. Картины лучших русских современных художников и живописные портреты украшали многочисленные комнаты. В залах устраивались выставки, концерты, спектакли, балы, а также дебаты по вопросам искусства, общественности и политики. Почти все общественные организации Москвы, у которых не было своего помещения,— а таковых было множество,— получали приют в кружке для своих заседаний и собраний, всегда без отказа и без всякой платы. Здесь же обычно справлялись торжественные юбилеи и давались банкеты заезжим знаменитостям. Почетным гостем кружка был, между прочим, Эмиль Верхарн в 1913 году. С эстрады в мраморном зале он читал свои стихотворения.

Незанятых вечеров в кружке почти не бывало, но особенно наполнялся он по субботам. Иной раз в один и тот же вечер — в одной комнате происходит отчетное собрание какого-нибудь просветительного общества, в другой идет горячая схватка реалистов с декадентами, в третьей рассматривается проект закона о печати, поданный в Государственную думу, или составляется группою лиц записка об авторском праве. В это же время в концертном зале с какой-нибудь благотворительной целью поют и декламируют, или показывают спектакль, или танцуют до рас-

света. А в столовых суетятся официанты в зеленых мундирах с золочеными пуговицами, подавая кому кружку пива с белым хохлом пены, кому шампанское в никелированном ведерце со льдом, одному — стерлядь или рябчика, другому — бутерброд с колбасой или стакан чаю. Такие крайности во вкусах и аппетитах, а главное, в «валюте» блюд за одним и тем же столом, уживались отлично и безобидно, не возбуждая ни в ком неудовольствий.

Близ полуночи, когда в кружок со всех концов Москвы стекались отыгравшие спектакль артисты, редакторы и писатели, окончившие дневной труд, секретари газет, через час отправлявшиеся на ночную работу — выпускать завтрашний номер, и разного рода таланты и их поклонники,— в залах кружка можно было встретить одновременно и черный сюртук, и серый пиджак, и домашнюю куртку с цветным воротничком рубашки, а рядом щегольской фрак с белоснежной накрахмаленной сорочкой и батистовым галстуком, строгую женскую фигуру в темной кофточке, наглухо застегнутой, нередко в очках и с подстриженными волосами. И тут же в столовой — приехавших с парадного концерта декольтированных артисток, с большими боа на плечах, с пышными прическами, со счастливыми улыбками, еще не успевших остыть от пережитого только что успеха и грома аплодисментов.

В специальных комнатах идет своя клубная жизнь: играют в карты и шахматы. Здесь преимущественно «члены-соревнователи», не имеющие квалификации деятелей искусств, вперемежку с актерами московских театров — нередко носителями прославленных имен. В нижних помещениях сражаются на бильярде. Читальный зал всегда полон народу. На столах разложены свежие столичные газеты и журналы, много также провинциальных изданий, имеются последние книжные новинки. Здесь — полная тишина; ходят бесшумно по мягким коврам и не разговаривают...

В кружке в 1904 году была образована особая комиссия памяти А. П. Чехова с целью выдавать ссуды и пособия нуждающимся артистам, писателям, художникам, музыкантам и вообще лицам, причастным к искусству. Через эту комиссию на дела помо-

щи кружком, судя по отчету, было выдано за пятнадцать лет 248 тысяч рублей. Если вчитаешься в те прошения, которые подавались в комиссию, то увидишь такую нужду, такое горе, что становится жутко. «Помогите, или мне придется вычеркнуть себя из списка существующих»,— пишет один из просителей. И другие также пишут: «Сплю на голых досках; есть нечего...», «Получил повестку, гонят с квартиры. Куда в мороз денусь с детьми?..», «Жена и двое детей, живем в Москве; работы нет; все, что было, продано и заложено...», «Без заработка, так обносился, что прийти совестно...», «Детей гонят из школы за невзнос платы...», «Лежу больной, не на что купить лекарства...» и т. д. И все это не пустые фразы. В громадном большинстве случаев, по проверке, горькие жалобы подтверждаются. И так мучатся и терпят горе люди искусства, люди, работающие нервами и тем более переносящие нужду. Известен ряд случаев, когда благодаря помощи, оказанной вовремя, люди становились на ноги и, пережив тяжкий период как болезни, так и безработицы, получали возможность продолжать снова свою деятельность.

Все это не выдумки, а факты, отмеченные в протоколах и напечатанные в свое время в отчетах. Ведь тогдашнее правительство не интересовалось ни судьбами, ни жизнью отдельных людей, и сами люди прибегали к самодеятельности, объединялись в группы и общества и помогали ослабевшим сочленам и сотоварищам. А правительство время от времени налагало руку на такие организации и закрывало их, как был закрыт, например, Союз писателей, закрыт Комитет грамотности за широкую издательскую деятельность.

Председателем дирекции кружка был долгое время А. И. Сумбатов — известный драматург, он же выдающийся актер Южин и директор Малого театра, много поработавший в интересах кружка и много сделавший для него, впоследствии — народный артист республики. Это был культурный и талантливый человек, с университетским образованием, прекрасный оратор, энергичный деятель и всем существом своим преданный искусству, умный, тактичный, окруженный всеобщим доверием и не однажды выручавший кружок от нависавших над ним бед.

На седьмом году существования московский Художественный театр, несмотря на признанное значение и на выдающийся артистический успех, переживал тяжелый денежный кризис. Чтобы спастись от краха, он решил выехать на гастроли за границу. Но для этого нужны были средства, которых не было. Нужны были двадцать пять тысяч рублей под вексель за сравнительно нетяжелые проценты. Но поиски таких условий оставались без успеха. Намечались некоторые заимодавцы, но они требовали огромных гарантий и, кроме того, кабальных процентов. Театру грозила гибель. Тогда театр обратился к кружку, и в заседании дирекции, в котором лично я принимал ближайшее участие, было в тот же вечер постановлено: выдать Художественному театру двадцать пять тысяч рублей без всяких процентов, и на срок неопределенный: пусть заплатит, когда сможет. Общее собрание членов кружка поддержало это постановление дирекции, и театр был спасен. А через год, вернувшись триумфатором из-за границы, Художественный театр выплатил кружку свой долг и остался по-прежнему сильным и славным. И только вексель его, подписанный крупнейшими артистами, остался как интересный документ в витрине музея МХАТ.

Когда Сумбатов, обремененный делами по управлению Малым театром, отказался от председательства в дирекции кружка, его место занял Валерий Яковлевич Брюсов, состоявший и ранее членом дирекции, известный и популярный писатель, автор многочисленных произведений в стихах и прозе, романов, пьес, критических статей, основатель общества «Свободная эстетика», в свое время вождь в лагере символистов, человек исключительной трудоспособности, широко образованный и даровитый, о котором А. М. Горький дал знаменательный отзыв: «Брюсов — это самый культурный писатель на Руси. Лучшей похвалы не знаю...»

Познакомился я с Брюсовым сравнительно поздно, уже в кружке, но знавал его как поэта давно. Он начал писать в половине девяностых годов и был одним из вожаков в группе новоявленных декадентов, решивших обратить на себя внимание во что бы то ни стало, прибегая иной раз к явно дерзостным вы-

ступлениям, не только не боясь насмешек, но как бы ища их,— лишь бы быть замеченными. Эта группа имела свой журнал «Весы» и издавала альманах «Северные цветы» и другие; в одном из таких сборников появилась однажды знаменитая «поэма» Брюсова, состоящая всего лишь из одной строчки:

О, закрой свои бледные ноги.

Публика хохотала над этой поэмой, но дело было сделано: на декадентские альманахи спрос значительно вырос.

Гиляровский и здесь не оставил без своего экспромта эту «поэму» в одну строчку. Он шутливо заявил, что у него тоже есть «поэма» в одну строчку, под заглавием «Рим» — про римского папу.

— Слушайте! Вот она:

Папа спит... И видит — маму...

Многие из декадентов, сотоварищей Брюсова, так и замерли на своих вычурных произведениях, а Валерий Яковлевич с годами все рос и становился крупной величиной. Его прежние сочинения вроде «Фиолетовые руки на эмалевой стене полусонно чертят звуки в звонкозвучной тишине»,— были уже давно оставлены. Новые мотивы звучали иначе. Его «Каменщик» был отмечен как серьезный отход от прежних настроений.

— Каменщик, каменщик, в фартуке белом,
Что ты там строишь? Кому?
— Эй, не мешай нам, мы заняты делом,
Строим мы, строим тюрьму...

— Каменщик, каменщик, долгие ночи
Кто ж проведет в ней без сна?
— Может быть, сын мой, такой же рабочий;
Тем наша доля полна.

— Каменщик, каменщик, вспомнит, пожалуй,
Тех он, кто нес кирпичи...
— Эй, берегись! Под лесами не балуй...
Знаем все сами, молчи!

Именно за эти годы, когда мне пришлось работать вместе с Брюсовым в кружке и постоянно встречаться, я узнал ближе и оценил этого интересного человека, «самого культурного писателя». Во время

империалистической войны он уехал на фронт корреспондентом от «Русских ведомостей». В 1919 году вступил в партию большевиков. Умер в 1924 году в расцвете творческих сил.

В помещении кружка собирались самые разнообразные литературные группы: символисты, реалисты, футуристы и многие иные. Все они имели возможность собираться в особых комнатах, где им никто не мешал и они никому не мешали. Время от времени они выступали и перед широкой публикой в исполнительском зале, где со сцены читали, пели или выкрикивали свои произведения.

Вспоминается поэтесса Лохвицкая с ее красивыми стихами, получившими даже Пушкинскую премию. Но в этих стихах, почти во всех, воспевается «жажда знойных наслаждений во тьме потушенных свечей». Успехом она пользовалась довольно большим, но в определенных буржуазно-богемских группах благодаря настроениям и моде того времени.

Был еще поэт, Емельянов-Коханский, сам себя называвший «первым русским декадентом». Он напечатал книгу стихов, почему-то на розовой бумаге, и посвятил ее, тоже неведомо почему, «самому себе и египетской царице Клеопатре». В этой книжке под названием «Обнаженные нервы» приложен был и портрет автора, изображенного в виде не то демона, не то херувима,— с огромными крыльями за плечами. Но более всего был он похож не на демона, а на летучую мышь. Перед империалистической войной поэтов всевозможных разновидностей стало достаточно много, и большинство из них было буквально опьянено собственным величием.

Немало в моей памяти появилось стихотворцев, которые, обладая известной одаренностью, после некоторых успехов объявляли себя великими талантами, новыми Пушкиными, а то иногда и «сверх-Пушкиными».

Я — гений, Игорь Северянин,
Своей победой упоен:
Я повсеградно оэкранен,
Я повсесердно утвержден!..
От Баязета к Порт-Артуру
Черту упорную провел,
Я покорил литературу,
Взорлил, гремящий, на престол!..

Я год назад сказал: «Я буду!»
Год отсверкал, и вот — я есть!..

И не он один воображал себя «на престоле литературы». Его стихи, или, как сам он называл их, «поэзы», собирали вокруг него поклонников и особенно поклонниц, и он читал перед ними эти поэзы с огромным успехом в больших аудиториях.

Для нас Державиным стал Пушкин,—
Нам надо новых голосов!

Сколько за мою долгую жизнь перевидел я таких «Пушкиных». Они возникали, шумели, хвалились, были горды и исчезали, как дым в небесах. «Год отсверкал» — и они были; но проходил десяток лет и... где все они, эти «великие и славные» и «гремящие»? Где они? Кто они?

Sic transit gloria mundi...

Так проходит земная слава. А Пушкин, наш великий Пушкин, остается, как и был, непревзойденным.

О таких самонадеянных поэтах он в свое время метко сказал, что они пишут, потом печатают и «в Лету — бух!».

## IV

Вспоминается мне еще один небольшой кружок, в квартире Николая Васильевича Давыдова, одного из близких друзей Л. Н. Толстого. Он был одно время председателем Московского окружного суда — пост в то время значительный. Но его симпатии, его знакомства и постоянное заступничество за людей неправительственного лагеря лишили его этого места, где он оказывал большую общественную поддержку «инакомыслящим». Это был высокого роста, очень красивый старик, с белыми усами и белыми волосами, подстриженными «бобриком». Он дал в свое время Льву Николаевичу Толстому темы для пьес «Власть тьмы» и «Живой труп», которые он взял из действительной жизни; последнюю — из судебного процесса по делу Гиммер. А когда «Живой труп» ставился в Художественном театре, он же передал

в архив театра копии всего подлинного дела со всеми судебными документами, которые в настоящее время хранятся в музее МХАТ. Он же сообщал Толстому сведения и давал материалы для романа «Воскресение». С 1888 года, являясь одним из деятельных членов возникшего тогда общества «Искусство и литература», Н. В. Давыдов был близок с К. С. Станиславским.

Оставшись вне судейской службы, Давыдов принял участие в Народном университете имени Шанявского в качестве профессора, кроме того, был председателем Литературно-театрального комитета при московском Малом театре. Поэтому у него и собирались по вечерам преимущественно профессора, литературоведы, как Матвей Никанорович Розанов, в советское время ставший академиком, члены редакции журнала «Вопросы философии и психологии», писатели и актеры. Здесь я встречался с В. Я. Брюсовым, с директором Малого театра А. И. Южиным-Сумбатовым, с молодым в то время профессором П. Н. Сакулиным. Именно здесь, на этих собраниях, зародились и возникли сначала посмертная толстовская выставка, а затем и толстовский музей, существующий и процветающий в настоящее время. Здесь же шли предварительные совещания по гоголевским юбилейным торжествам и по открытию ему в Москве памятника в 1909 году, на Арбатской площади. Здесь подготовлялась по мелочам, за вечерними беседами, демонстрация публичного признания русской литературы на Западе. Признание это ярко вылилось в приветствиях иностранцев на заседании в стенах Московского университета — от имени Института Франции, от Кэмбриджского университета, в речах профессоров Лиронделя и Легра, от академии Британской и Флорентийской, от Сорбонны, от университетов Бордо, Лиона, Вены, Цюриха, Рима, Женевы, от такого выдающегося критика и историка мировой литературы, как Брандес.

«За пределами славянского мира Гоголь простирает свою власть на все человечество» — так резюмировал в своей речи Вогюэ основной мотив всех иностранных приветствий.

Организацию гоголевских дней и проведение торжеств приняло на себя старейшее литературное об-

щество, справляющее в тот же год свое столетие,— Общество любителей российской словесности, где работал официальный комитет. Но в кабинете Н. В. Давыдова, за дружеской беседой, много подготовлялось заблаговременно; отсюда исходила не однажды инициатива тех или иных мероприятий. Гоголевская комиссия возглавлялась Давыдовым как председателем и работала дружно и энергично. В течение двух лет мне довелось принимать в ней ближайшее участие.

Может быть, не будет лишним, если я приведу некоторые отрывки из письма группы иностранных писателей и журналистов.

«Более всего поражает нас в русской литературе то необычайное сочувствие ко всему, что страдает, к униженным и оскорбленным, к пасынкам жизни всех классов и состояний,— писали они,— к людям, души которых еще живы, но как бы парализованы или изуродованы в водовороте жизни. И это особенное сочувствие, проникающее собою все, что есть наиболее выдающегося в русском искусстве, нисколько не является покровительством или даже жалостью. Оно есть скорее чувство кровного родства людей, которое держит тесно вместе членов семьи, равно в несчастии, как и в счастии; оно есть чувство истинного братства, которое объединяет все разнородное человечество. С такими качествами русская литература стала факелом, ярко светящим в самых темных углах русской национальной жизни. Но свет этого факела разлился далеко за пределы России,— он озарил собой всю Европу. И мы твердо верим, что народ, совершивший такую великую и мужественную работу в деле освобождения человеческого духа, сумеет также добиться полного и свободного развития в жизни, за которое он так долго боролся и страдал».

Каково было все это слышать верноподданным чиновникам, воображавшим, что жизнью и духом народа руководят исключительно только они!

С Н. В. Давыдовым у меня были и совместные работы. Одновременно к нему и ко мне обратились представители всероссийского студенчества с просьбой быть редакторами их литературного сборника. И мы долго работали над многочисленными рукопи-

сями, выделяя более интересные. Через год «Общестуденческий сборник» был издан. К нашему удовлетворению, несколько имен этих молодых участников удержались впоследствии в литературе и стали известными, но многие не пошли далее юношеских стишков и замолкли. А во время империалистической войны мы с Давыдовым не только редактировали, но и собрали большой том, при участии писателей и художников, в помощь пленным воинам, томившимся в неприятельских тюрьмах. Сколько благодарственных солдатских писем мы получили тогда через международную организацию — Комитет помощи русским военнопленным! В сборнике участвовали мои товарищи по «Среде», и в их числе А. М. Горький.

Общество русских драматических писателей и оперных композиторов, существовавшее с семидесятых годов, выдавало «Грибоедовскую премию» за лучшую пьесу сезона. Оно избирало ежегодно трех судей: один год из москвичей, на следующий год — из петербуржцев. В числе этих московских судей я работал в течение нескольких сроков и за многолетнюю работу был награжден, согласно уставу общества, именным золотым жетоном. Среди этой «тройки» я помню то Н. В. Давыдова, то знаменитую артистку Г. Н. Федотову, то академика М. Н. Розанова. Присуждение премий происходило в том же кабинете Н. В. Давыдова, увешанном по стенам интереснейшими группами и снимками литературно-театральной эпохи шестидесятых — девяностых годов, точно просившимися со стены прямо в хороший музей.

Помимо беллетристических очерков и рассказов, напечатанных отдельным томом, перу Н. В. Давыдова принадлежат интересные мемуары «Из прошлого», где рассказывается о близком знакомстве его с Толстым, Жемчужниковым, Кони и другими выдающимися людьми, о том, как он в Ясной Поляне режиссировал и впервые ставил пьесу «Плоды просвещения» и сам исполнял роль профессора в присутствии Льва Николаевича.

«Исполнение мною роли профессора, совершенно мне несвойственной,— рассказывал Давыдов,— было достаточно слабо, но Лев Николаевич очень похвалил мою игру, добавив, что я доставил ему большое удовольствие, тем более что он совершенно не узнал

в моем исполнении своего текста; так много нового я внес в свою роль, что было якобы на пользу пьесе. Должен сознаться, что Л. Н. был прав в одном отношении: я не знал роли, не успел выучить ее за хлопотами по режиссированию и возней с аксессуарами и реквизитом, ввиду чего мне пришлось, особенно в монологе профессора, фантазировать».

Умер Давыдов уже при Советской власти. Ему было в то время далеко за семьдесят лет, но он до последнего дня работал, читая лекции в бывшем Коммерческом институте и пополняя по вечерам свои мемуары воспоминаниями о крупных и интересных своих современниках.

## «Среда». Литературный кружок

*Члены «Среды» и новые товарищи.— Большой литературный вечер.— Шутки.— Протесты.— Издательство писателей.— Молодая «Среда».— Третейский суд.— Утраты «Среды» и ее конец.*

Мало-помалу наш товарищеский кружок начал расширяться. Пришел к нам писатель Семенов Сергей Терентьевич, автор крестьянских рассказов, отмеченных Л. Н. Толстым, который называл их «значительными, так как они касаются самого значительного сословия России — крестьянства, которое Семенов знает, как может знать его только крестьянин, живущий сам деревенской тягловой жизнью». Пришел поэт и романист Федоров Александр Митрофанович, живший в Одессе, но часто наезжавший в Москву. Затем стали бывать Гославский Евгений Петрович, Тимковский Николай Иванович. В это время издавалась в Москве газета «Курьер» под редакцией Я. А. Фейгина и И. Д. Новика, людей свежих и энергичных, которые пытались объединить всю нашу молодую группу. В этой же газете начал работать в качестве судебного репортера Леонид Николаевич Андреев, но его никто из нас еще не знал. Да он и сам в то время еще не знал, что он беллетрист.

Моя жена по специальности и по образованию своему — художник, окончила Московскую школу живописи, ваяния и зодчества; благодаря этому на наших вечеринках стали бывать нередко ее сотоварищи и другие знакомые художники. Иногда во время вечера они зарисовывали читающего автора или кого-нибудь из присутствующих писателей либо делали беглые иллюстративные наброски. Но все это, к сожалению, разбрелось по рукам, и лишь несколько набросков уцелело у меня да в Литературном музее,

куда я их давно отдал, когда музей был еще «Чеховским».

Бывал довольно часто Головин Александр Яковлевич — несомненный талант, но в силу тогдашних обстоятельств скромный работник у живописца Томашки, бравшего заказы по расписыванию потолков в домах богатых москвичей. В дальнейшем Головин был вытащен Константином Алексеевичем Коровиным в помощники декоратора Большого театра, в советское же время признан и возведен в народные артисты республики. Его произведения в значительном количестве собраны Третьяковской галереей. Бывали художники К. К. Первухин, Вл. Ил. Россинский, написавший впоследствии с Андреева портрет, один из самых удачных по сходству. Этот портрет связан со «Средою», приобретен был ею и висел у меня в кабинете, и в настоящее время передан мною в Литературный музей. Бывал у нас Васнецов Аполлинарий Михайлович, любивший изображать старую, древнюю Москву. Помимо своих художественных работ он писал статьи и беллетристические рассказы. Бывали художники: Эмилия Яковлевна Шанкс, В. Я. Тишин и Исаак Ильич Левитан. Впрочем, Левитан бывал только в начале организации кружка; вскоре он заболел и умер.

Через год кружок наш уже значительно разросся, и мы стали собираться регулярно каждую неделю — сначала по вторникам, а потом по средам, не избегая «Суббот» Художественного кружка, имевших для нас иной интерес и иную привлекательность.

В 1899 году я познакомился в Нижнем Новгороде (город Горький) с Алексеем Максимовичем Горьким, который очень заинтересовался нашим кружком и обещал быть у нас непременно.

С той поры он всегда, когда приезжал в Москву, бывал на наших «Средах». Ему нравились эти товарищеские собрания, где в интимном кругу молодые авторы сами читают свои новинки, еще не появившиеся в печати, а товарищи высказывают о прочитанном свои откровенные мнения. Все мы тогда были молоды, и дружеская поддержка была всем нам очень нужна и полезна.

«Хочется мне,— писал мне Горький из Арзамаса, куда был выслан из Нижнего,— чтобы вы поближе

привлекли к себе Андреева: славный он, по-моему, и талантливый».

Вскоре после этого Горький приехал в Москву и в первую же «Среду» привез к нам Андреева — молодого, красивого, стеснявшегося среди признанных писателей. Рекомендовал нам Горький и еще одного писателя для «Сред».

«Живет у вас в Москве человек интересный и талантливый: бывший певчий — Петров. Под стихами подписывается — Скиталец. Занятный малый. И стихи его такие, что — вот! Советую позвать его; будет полезен».

Не знаю, почему так случилось, но среди молодых писателей вдруг появилась тяга к Москве. Прежде притягивал к себе Петербург. Перебрались на жительство в Москву Евгений Николаевич Чириков и Александр Серафимович Попов, писавший под псевдонимом Серафимович, поселился Степан Гаврилович Петров (Скиталец), Викентий Викентьевич Смидович (Вересаев), драматург Сергей Александрович Алексеев (Найденов), нередко наезжал и гостил в Москве Александр Иванович Куприн, жил Леонид Николаевич Андреев, стали всегда зимовать в Москве Иван Алексеевич Бунин, Евгений Петрович Гославский, Николай Иванович Тимковский. Все они были членами нашей «Среды» и постоянными ее посетителями. Но не только молодежь была с нами. Были с нами и старшие писатели, как Петр Дмитриевич Боборыкин, Николай Николаевич Златовратский, Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк, Сергей Яковлевич Елпатьевский, Виктор Александрович Гольцев, профессор Алексей Евгеньевич Грузинский. Хотя и редкие гости, но все же бывали с нами Антон Павлович Чехов и Владимир Галактионович Короленко.

Через «Среды» проходили обычно в рукописях еще не опубликованные многие новинки писателей. В большинстве случаев читали сами авторы. Первое чтение знаменитой пьесы «На дне» происходило у нас; читал сам Горький.

Произведения Леонида Андреева, думаю, что почти все без исключения прочитывались автором на «Средах» и по-товарищески обсуждались. У нас было правило: говорить без стеснений. Это не значило, конечно, во что бы то ни стало огорчать автора. Но

если он бывал достоин порицания, то уже выслушивал всю горькую правду без снисхождения; разумеется, в тонах дружеских и не обидных, хотя решительных и беспощадных. Так случилось с рассказом Андреева «Буяниха», который, кажется, так и не был никогда напечатан. Так случилось с рассказом Куприна «Мебель», с одним рассказом Голоушева и некоторыми рассказами других писателей. Но эти резкие отзывы не портили наших добрых отношений, а, наоборот, сближали нас в действительно дружеский кружок. Посторонних никого не бывало на этих чтениях, и говорить можно было без стеснений; в публику эти мнения не выносились, и автор мог быть спокоен за свою репутацию, хотя бы товарищи и разнесли его, что называется, в пух и прах.

На «Средах» были читаны самими авторами многие пьесы Найденова, чуть не все рассказы и повести Бунина и большинство из его стихотворений, многие произведения Скитальца, Серафимовича и других, а Леонид Андреев, даже когда был за границей, присылал оттуда свои рукописи по почте и требовал мнения «Среды».

«Без этого,— писал он мне в письмах,— никакую свою вещь не могу считать законченной».

Бунин представлял собой одну из интересных фигур на «Среде». Высокий, стройный, с тонким, умным лицом, всегда хорошо и строго одетый, любивший культурное общество и хорошую литературу, много читавший и думавший, очень наблюдательный и способный ко всему, за что брался, легко схватывавший суть всякого дела, настойчивый в работе и острый на язык, он врожденное свое дарование отгранил до высокой степени. Литературные круги и группы, с их разнообразными взглядами, вкусами и искательством, все одинаково признавали за Буниным крупный талант, который с годами все рос и креп, и, когда он был избран в почетные академики, никто не удивился; даже недруги и завистники ворчливо называли его «слишком юным академиком», но и только. Наши собрания Бунин не пропускал никогда и вносил своим чтением, а также юмором и товарищескими остротами много оживления.

Это был человек, что называется,— непоседа. Его всегда тянуло куда-нибудь уехать. Подолгу задержи-

вался он только у себя на родине, в Орловской губернии, в Москве, в Одессе и в Ялте, а то из года в год бродил по свету и писал мне то из Константинополя, то из Парижа, из Палестины, с Капри, с острова Цейлона... Работать он мог очень много и долго: когда гостил он у меня летом на даче, то, бывало, целыми днями, затворившись, сидит и пишет; в это время не ест, не пьет, только работает; выбежит среди дня на минутку в сад подышать и опять за работу, пока не кончит. К произведениям своим всегда относился крайне строго, мучился над ними, отделывал, вычеркивал, выправлял и вначале нередко недооценивал их. Так, один из лучших своих рассказов — «Господин из Сан-Франциско» он не решался отдать мне, когда я составлял очередной сборник «Слово»; он считал рассказ достойным не более как для фельетона одесской газеты. Насилу я убедил его напечатать в «Слове», которое пользовалось среди читателей большим вниманием и спросом.

Старший брат Бунина — Юлий Алексеевич, тоже коренной член «Среды» и неуклонный ее посетитель, был значительно старше Ивана Алексеевича и относился к нему почти как отец. Влияние его на брата было огромное, начиная с детства. Ему, как человеку широко образованному, любившему, ценившему и понимавшему мировую литературу, Иван Алексеевич очень многим обязан в своем развитии. Любовь и дружба между братьями были неразрывные.

Скиталец — Степан Гаврилович Петров — не только читал у нас свои произведения, но приносил иногда свои знаменитые волжские гусли и пел под их звуки народные песни, что ему очень удавалось. Он засучивал по локоть рукава блузы — иного костюма он в то время не носил,— откидывал со лба пряди волос и, проговорив негромко: «Эй вы, гусли-мысли!», начинал петь. Голос его был крепкий, приятный, грудной и выразительный бас, очень подходящий именно к народным песням, которые он хорошо знал и хорошо чувствовал. И не удивительно, потому что он — сын крестьянина, бывшего крепостного, потом столяра и рабочего, потом вольного гусляра, два года бродившего с мальчиком-сыном по ярмаркам и распевавшего свои песни, что и отразилось на жизни и творчестве Скитальца. Исключенный за политиче-

скую неблагонадежность из последнего класса самарской семинарии, Петров, в поисках жизненного пути, бродил по югу России, служа то писцом в окружном суде, то певчим в церковных хорах, то в качестве певца и актера участвовал в украинской труппе Кропивницкого; вел в «Самарской газете» стихотворные фельетоны на злобу дня, вращался в студенческих революционных кружках, пока не встретился в 1898 году в Самаре с А. М. Горьким. Эта встреча, а затем и близость с Алексеем Максимовичем решили судьбу Скитальца; он примкнул к «Среде», в которой принимал ближайшее участие, а когда в 1902 году Горький взял в свои руки издательство «Знание», была издана первая книга Скитальца «Рассказы и песни». Его стихи, полные презрения к мещанству, звучали в свое время набатом, а прозаические произведения были насыщены не только революционным настроением, но нередко характерным для Скитальца бунтарским романтизмом.

Дал в наследство мне мой батюшка-гусляр
Гусли-мысли да веселых песен дар.
Гусляром быть доля выпала и мне —
Сеять песни по родимой стороне...

Так определял Скиталец свое юношеское призвание; в дальнейшем этот гусляр поет на иной лад:

Я вхожу во дворец к богачу
И ковры дорогие топчу:
Полны скуки, тоски и мольбы,
Там живут сытой жизни рабы...

Между прочим, Скиталец пел нам на «Среде» из горьковской пьесы «На дне» тюремную песню «Солнце всходит и заходит» ранее, чем мы услышали в Художественном театре. Это он достал и записал ее и передал театру для исполнения. Пел он также у нас впервые песню о Степане Разине и о персидской княжне, которую поют теперь всюду. Это Скиталец ее так популяризировал на своих гуслях; с его легкой руки она и полетела, по крайней мере по Москве, а из Москвы и — далее.

Вспоминается мне еще одна русская песня, которую довелось мне слышать при условиях совершенно особых. Ранней весной, в Черном море, на простой рыбацкой лодке выехали мы с дачи «Нюра» в Олеи-

зе, где жил тогда Горький, вчетвером: Скиталец, Горький, Шаляпин и я. На десятки верст вокруг не было ни одного человека. Солнце золотом сверкало в сильных и упругих вздымающихся и падающих синих волнах. Шаляпин запевал «Вниз по матушке по Волге», а Горький и Скиталец изображали хор; единственным слушателем был я, сидевший на руле. В то время как шаляпинский голос разносился по морскому простору и пел о «взбушевавшейся погодке», Скиталец на низких нотах, почти октавой, одновременно с запевалой и точно вперебой ему, призывал кого-то: «Грянем, грянем мы, ребята!..», а затем присоединялся сейчас же к общей песне, подхватывая мотив. Выходило необычайно интересно и хорошо. Тут было все, что по положению требуется от настоящего русского пения: запевала «затягивает», голоса «пристают», подголоски «подхватывают», один «заливается», другой «выносит»... Словом, все эти надлежащие глаголы были пущены в дело.

На фоне «Среды» одной из отметных фигур был Сергей Сергеевич Голоушев, врач-гинеколог по профессии, но в сущности литератор, театральный критик, художник, вся жизнь которого была в искусстве. По возрасту он был старше всех нас — кого на десять, кого на пятнадцать лет. Но разница эта не замечалась: всегда интересный, увлекающийся — что называется «живой человек»,— он мог быть товарищем и более юным, чем мы. Умер он в июне 1920 года, в возрасте, позволяющем назвать его стариком: ему было шестьдесят пять лет. Но все, кто знавал его, все его многочисленные товарищи по искусству, по общественности, по медицине и еще более многочисленные молодые ученики и ученицы по художеству и особенно по театру могут подтвердить, что в этом шестидесятипятилетнем муже горела молодая душа, и не только молодая, но юная. Зрелый и хороший ум его охватывал и анализировал явления, а горячее сердце, склонное к увлечениям, дополняло это понимание любовью к явлениям, самой искренней, молодой и настоящей, оттого и все его работы, театральные статьи, художественные оценки, монография художников и его студийные лекции по театральному искусству — все это полно увлечения, заражающего читателя, а еще более слушателя. Особенно увлека-

телен он был как оратор и менее всего заметен как беллетрист.

Однажды Голоушев прочитал нам на «Среде» только что написанный им рассказ на тему о любви; не помню его названия. Рассказ не показался интересным, и автору было высказано это откровенно. Он на секунду задумался.

— Я имел в виду случай как будто интересный и не шаблонный. Например, вот эта сцена. Или вот эта.

И он начал снова рассказывать. Обычное увлечение овладело им. И тот же самый рассказ загорелся и засверкал. Сжато, сильно, красиво и содержательно лилась его речь. И когда он кончил, нельзя было не сказать ему: «Почему же ты написал не так, как сейчас говоришь?» Он и сам это чувствовал и даже сознался:

— Вижу, что тот рассказ никуда не годится. Мне надо, должно быть, не писать рассказы, а рассказывать о них своими словами.

Высокого роста, худой, с широкими, несколько приподнятыми плечами, с русой бородкой, начинающей седеть, с высоким лбом и длинными, закинутыми назад русыми волосами, тоже не без серебряных нитей, почти всегда в длинном триковом сюртуке, который он носил обычно нараспашку; что-то красивое и что-то некрасивое было одновременно в его лице; в небольших серых и чуть раскосых глазах, особенно когда он смеялся, вспыхивало хитрое выражение, чего, однако, на самом деле не было совершенно ни в его натуре, ни в характере, ни в его отношениях к людям. Это был очень доброжелательный, очень милый, ко всему способный и талантливый человек, всем увлекающийся и многому легко поддающийся. Его облик я беру за последний десяток лет до его смерти. В общем, я знавал его с четверть века, когда он был уже московским врачом и художником, отбывшим ссылку на далеком севере за участие в партии «Народная воля» в семидесятых годах.

Художественная Москва хорошо знала Голоушева по его рецензиям, а театральная молодежь увлекалась его лекциями. Говорил он всегда содержательно и красиво и сам увлекался темой своей речи. Капитальным трудом его был текст к большому ил-

люстрированному изданию 1909 года «Художественная галерея Третьяковых», где Голоушев развернул историю русской живописи от шестидесятых годов до последних дней. Большой известностью пользуется также его монография «И. И. Левитан, его жизнь и творчество», изданная в 1913 году, и «Очерки по истории искусства в России».

Как-то раз, заехав ко мне, А. И. Куприн не застал меня дома и в ожидании целый час проговорил с моей женой. Когда я вернулся, он сказал:

— Вот славно мы без вас побеседовали! Теперь ведь, куда ни придешь, везде один разговор: «Ах, Бунин! Ах, Андреев!..» А мы хорошо и с удовольствием поговорили о лошадях.

Куприн вообще очень любил лошадей, а в это время в Москве было много всяких разговоров о беговом непобедимом жеребце Рассвете, внезапно и таинственно погибшем. Дело было темное; в газетах намекалось на умышленное отравление лошади конкурирующим коннозаводчиком.

И Куприн и моя жена, оба любившие животных, случайно напали на интересующую их тему и так разговорились, что Куприн обещал написать рассказ о рысаке. И вскоре действительно написал своего «Изумруда», вызвавшего восторженный отзыв Л. Н. Толстого.

В этом же роде был еще случай с Леонидом Андреевым. Однажды вечером он долго бродил у нас на даче по саду, любуясь звездным небом, а жена моя, интересовавшаяся в то время астрономией, рассказывала ему что-то о созвездиях.

— Вот и прекрасно! — воскликнул вдруг Леонид Николаевич.— Хорошая тема для пьесы: высоко на горе живет ученый-астроном, нелюдим, которому до земли нет никакого дела. А внизу, под горой, происходит революция, которой нет никакого дела до неба. Из этого я что-то сделаю. Не знаю — что, но напишу непременно!

И написал «К звездам».

Из писателей, не живших в Москве, изредка приезжал к нам Н. Г. Гарин-Михайловский, красавец с седой головой, выдающийся инженер и талантливый беллетрист, строитель Батумского порта, автор «Детства Темы» и многих повестей, корейских ска-

зок и др. В литературе он стал известен только в сорокалетнем возрасте, зато сразу завоевал внимание как читателей, так и прессы. Когда в «Русской мысли» появилась его повесть «Несколько лет в деревне», то такой чуткий и требовательный ценитель, как А. П. Чехов, отозвался о ней восторженно: «Раньше ничего подобного не было в литературе в этом роде по тону и, пожалуй, по искренности... Середка — сплошное наслаждение. Так верно, что хоть отбавляй». Одна из последних его повестей, «Инженеры», напечатанная в сборнике «Знание», была в отдельном издании арестована и изъята.

Таким образом, литературная молодежь того времени и писатели с определившимися именами в лице лучших своих представителей образовали крепкое литературное ядро. И ядру этому было имя — «Среда».

В декабре 1902 года Леониду Андрееву было поручено устроить литературный вечер в пользу Общества помощи учащимся женщинам. Он взялся и пригласил участвовать товарищей из той же «Среды. Сам он решил прочитать новый рассказ «Иностранец», Найденов — отрывок из пьесы «Жильцы», Бунин — «На край света», на мою долю досталась легенда «О трех юношах» и на долю Скитальца — стихи. Интерес к группе писателей из «Среды» в то время только что разрастался, и билеты брались бойко. Громадный Колонный зал бывшего Благородного собрания, теперешнего Дома союзов, был переполнен. Авторов, впервые появившихся перед публикой на эстраде, шумно и долго приветствовали; успех вечера ярко определился. По установившемуся обычаю, на больших вечерах, особенно в лучшем из московских помещений, исполнители одевались парадно: певицы — в бальных платьях, чтецы и музыканты — во фраках. Один только Скиталец, пришедший к самому концу вечера, явился в неизменной своей блузе и только вместо обыкновенного галстука размахнул по всей груди какой-то широкий синий бант. Ввиду опоздания ему достался самый последний, заключительный номер. И вот в раскаленную уже успехом вечера атмосферу, после скрипок, фраков, причесок и дамских декольте, вдруг врывается нечто новое, еще невиданное в этих стенах — на эстраду почти вбегает косматый, свирепого вида блузник, делает

движения, как бы собираясь засучивать рукава, быстрыми шагами подходит к самому краю помоста и, вскинув голову, громким голосом, на весь огромный зал, переполненный нарядной публикой, выбрасывает слова, точно камни:

...Пусть лежит у вас нá сердце тень!
Песнь моя не понравится вам:
Зазвенит она, словно кистень,
По пустым головам!
Я к вам явился возвестить:
Жизнь казни вашей ждет!
Жизнь хочет вам нещадно мстить —
Она за мной идет!..

Когда он кончил это стихотворение и замолк, то поднялся в зале не только стук, треск и гром, но буквально заревела буря. По словам газеты «Курьер», сохранившейся у меня в вырезке, «буря эта превратилась в настоящий ураган, когда Скиталец на бис прочел стихотворение «Нет, я не с вами».

Стены Благородного собрания, вероятно, в первый раз слышали такие песни и никогда не видели исполнителя в столь простом костюме...»

Так сообщала газета. Так это все и было на самом деле. Но в тогдашних газетах все-таки нельзя было написать обо всем, что случилось.

Я ненавижу глубоко, страстно
Всех вас; вы — жабы в гнилом болоте!—

так выкрикивал Скиталец в публику громовым голосом, потрясая над головой рукою и встряхивая волосами:

Мой бог — не ваш бог; ваш бог прощает...
А мой бог — мститель! Мой бог карает!
Мой бог предаст вас громам и карам,
Господь мой грянет грозой над вами
И оживит вас своим ударом!

Полицейский пристав, сидевший на дежурстве в первом ряду кресел, не дожидаясь конца, не поднялся, а вскочил и резко заявил, что прекращает концерт. Публика с криками бросилась с мест к эстраде, придвинулась вплотную, а молодежь полезла даже на самый помост, чтобы приветствовать автора; кричали: «Качать! Качать!..» Стук и топот, визг и крики, восторги и возмущение — все это оглушало, ничего

нельзя было разобрать. Полиция распорядилась гасить огни. И блестящий зал сразу потускнел. Одна за одной гасли огромные люстры, но народ не расходился и все кричал и стучал, вызывая Скитальца на бис. В зале становилось уже темно.

Наконец, полиция явилась в артистическую комнату, где для участвующих был сервирован чай.

— Немедленно покиньте помещение!

И когда удалили исполнителей, публика поневоле затихла и в полутьме побрела к своим шубам. Но на улице, возле подъезда, опять поднялись возгласы и крики.

Кончилось все это тем, что Скиталец уехал на Волгу, Общество помощи учащимся женщинам заработало с вечера хорошую сумму, а Леонид Андреев, как официальный устроитель вечера, подписавший афишу, внезапно был привлечен к ответственности в уголовном порядке за то, что не воспрепятствовал Скитальцу прочитать стихотворение, где пророчилась революция и гнев народный. Газету «Курьер» за то, что она на другой день поместила сочувственный отчет о вечере и напечатала стихотворение Скитальца «Гусляр», им прочитанное, запретили на несколько месяцев. В дальнейшем всех нас вызывали к следователю для допроса, а затем свидетелями в суд, где Андреев сидел на скамье подсудимых и чуть-чуть не пострадал неведомо за что.

— Писал Скиталец, читал Скиталец и прославился Скиталец, а меня хотят посадить либо выслать,— смеялся Леонид Николаевич уже в зале суда перед началом процесса.

Однако суд его оправдал.

В эту же зиму время от времени стал приезжать на «Среды» Федор Иванович Шаляпин, не только уже признанный, но и прославленный артист, певший в то время в Большом театре. Иногда он принимал участие в общей беседе, нередко любил пошутить, рассказать анекдот, иногда очень сильно прочитывал какой-нибудь драматический отрывок, выявляя и здесь высокое артистическое мастерство, и опять возвращался к шутке и балагурству. А то садился иногда за рояль и, сам себе аккомпанируя, начинал петь.

Помимо обычных наших постоянных собраний, время от времени устраивались так называемые вы-

ходные, или большие, «Среды», на которые съезжалось очень много народа. Мы не чуждались тогдашнего нового направления — декадентов, модернистов и иных,— и у нас можно было встретить на таких больших собраниях Брюсова, Бальмонта, Белого, Кречетова, Сологуба... Но мы считали их гостями, а не членами «Среды», и эти большие, или выходные, «Среды» делались уже не у меня в квартире, а либо у Андреева, либо у Голоушева. Все это заблаговременно обсуждалось «Средою» и никогда не носило случайного характера, а выполнялось в качестве постановления, нашим гостям, может быть, и неизвестного. На такие вечера приезжали и артисты, как В. И. Качалов, О. Л. Книппер-Чехова, Л. А. Сулержицкий, бывали известные адвокаты, врачи, художники, журналисты, издатели, профессора. Однако все они были чьими-нибудь личными знакомыми, случайных же людей, хотя бы и очень интересных, не допускали по причинам понятным: строгий отбор гарантировал и нас и наших гостей от недреманного ока — от развивавшегося в то время невероятного сыска. А недреманное око интересовалось «Средою» — это было нам хорошо и точно известно.

Не всегда на «Средах», или, вернее, не все время в течение вечеров, беседы бывали деловые и серьезные. Допускались у нас и шутки и смех. Были в ходу одно время всякие прозвища и куплеты. Помню, про андреевский рассказ «Бездна» кто-то пустил двустишие, и Андреев им очень утешался. Это случилось после того, как на него напали за эту «Бездну» и «Новое время» и Софья Андреевна Толстая, громившие молодого писателя. Сам же Леонид Андреев, улыбаясь, любил повторять среди приятелей пущенный каламбур:

Будьте любезны:
Не читайте «Бездны».

Про Скитальца тоже был сложен стишок. Не помню его целиком. В памяти удержалось только:

Юноша звал себя в мире Скитальцем,
И по трактирам скитался действительно...

Больше всех смеялся над этим сам же Скиталец, которого читатели представляли себе необычайно мрачным и страшным, так как сам о себе он писал в

стихотворениях: «Я и меч и вместе пламя», или: «Коли пить — пей ковшом; бить — так бей кистенем!»

Очень метко дали ему сравнение с тигром... из мехового магазина. «Он пугает, а мне не страшно»,— как говорил Л. Н. Толстой о творчестве Л. Андреева.

Прозвища давались только своим постоянным товарищам, и выбирать эти прозвища дозволялось только из действительных тогдашних названий московских улиц, площадей и переулков. Это называлось у нас «давать адреса». Делалось это открыто, то есть от прозванного не скрывался его «адрес», а объявлялся во всеуслышание и никогда «за спиной».

Например, Н. Н. Златовратскому дан был сначала такой адрес: «Старые Триумфальные ворота», но потом переменили на «Патриаршие пруды»; редактору «Русской мысли» В. А. Гольцеву дали адрес: «Девичье поле», но после изменили на «Бабий городок»; Н. И. Тимковский назывался «Зацепа»; театральный критик С. С. Голоушев — «Брёхов переулок»; Е. П. Гославский — за обычное безмолвие во время споров — «Большая Молчановка», а другой товарищ, Л. А. Хитрово, наоборот за пристрастие к речам — «Самотека»; Горький за своих босяков и героев «Дна» получил адрес знаменитой московской площади «Хитровка», покрытой ночлежками и притонами; Шаляпин был «Разгуляй». Старший Бунин — Юлий, работавший всю жизнь по редакциям, был «Старо-Газетный переулок»; младший — Иван Бунин, отчасти за свою худобу, отчасти за острословие, от которого иным приходилось солоно, назывался «Живодерка», а кроткий Белоусов — «Пречистенка»; А. С. Серафимович за свою лысину получил адрес «Кудрино»; В. В. Вересаев — за нерушимость взглядов — «Каменный мост»; Чириков — за высокий лоб — «Лобное место»; А. И. Куприн — за пристрастие к лошадям и цирку — «Конная площадь», а только что начавшему тогда Л. Н. Андрееву дали адрес «Большой Ново-Проектированный переулок», но его это не удовлетворило, и он просил дать ему возможность переменить адрес, или, как у нас называлось, «переехать» в другое место, хоть на «Ваганьково кладбище».

— Мало ли я вам про покойников писал,— говорил, бывало, Андреев.— У меня что ни рассказ, то

два-три покойника. Дайте мне адрес «Ваганьково». Я, кажется, заслужил.

Не сразу, но просьбу его все-таки уважили, и он успокоился.

Над этими адресами хохотал и потешался А. П. Чехов, когда однажды в его ялтинском кабинете мы рассказывали о них.

— А меня как прозвали? — с интересом спрашивал Антон Павлович, готовясь смеяться над собственным «адресом».

— Вас не тронули, вы без адреса.

— Ну, это нехорошо, это жалко,— разочарованно говорил он.— Это очень досадно. Приедете в Москву, непременно прозовите меня. Только без всяких церемоний. Чем смешнее, тем лучше. И напишите мне — как. Доставите удовольствие.

Когда он услыхал, что В. С. Миролюбову за его громадный рост дали адрес «Каланчевская площадь», то с улыбкой заметил:

— Глеб Успенский его тоже великолепно окрестил совершенно невероятным именем, но метко: «Пирамидальный буйвол». Вот это сказано!

Так, мешая дело с шутками и работу с пустяками, мы много лет дружно и хорошо жили. Время от времени возникали в нашей среде какие-нибудь неприятности и инциденты. То кого-нибудь арестовывали, то высылали; так, например, из Ялты градоначальник Думбадзе начал одно время изгонять административно всех приезжих писателей. Он выгнал из Ялты даже коренного ялтинца, доктора и писателя Елпатьевского, большого специалиста по легочным болезням, уважаемого и любимого общественного деятеля. Происходили иногда разного рода столкновения, о которых потом писали в газетах, рисовали по поводу них карикатуры; ничтожный сам по себе инцидент иногда раздували в событие, как, например, недоразумение между Горьким и публикой в Художественном театре.

Время было тревожное. Власти старались зажимать всем рты, чтобы молчали, но вынужденное молчание не было во власти «властей»: в воздухе парил уже «Буревестник», и мало-помалу приближался 1905 год.

«Среда» чутко реагировала на выдающиеся явления общественной жизни; отсюда нередко исходила инициатива всемосковского протеста по поводу особо возмутительных действий тогдашнего правительства. Составлялись протесты, покрывались многими подписями именитых общественных деятелей, писались петиции, читались публично резкие доклады. «Средою» издан был даже особый товарищеский сборник под скромным названием «Книга рассказов и стихотворений». Издан он был «на всякий случай». И случай этот вскоре представился: все вырученные деньги были целиком переданы в 1905 году забастовочному комитету на вспыхнувшую тогда знаменитую почтово-телеграфную забастовку, проведенную героически и имевшую большое влияние на появление тоже «знаменитого» манифеста об учреждении Государственной думы.

В сектор рукописей Института мировой литературы имени Горького передана подлинная рукопись одного из резких протестов писателей против зверств московской полиции. Заверенную копию я и цитирую как один из примеров:

«5 декабря 1904 года, в Москве, в то время, когда часть населения пыталась заявить свое несочувствие существующему бюрократическому строю, полиция, заранее собранная в огромном количестве и скрытая во дворах и иных помещениях, нападала как на демонстрантов, так и на случайную публику. Полицейские рубили народ отточенными шашками, причиняя тяжкие раны и даже увечья. Стреляли в упор в убегающих из револьверов, загоняли толпами в дворы, где беспрепятственно били и истязали беззащитных людей до потери сознания. Не разбирали ни пола, ни возраста. Избитых отводили в участки, и там избиение продолжалось. Магазины и подъезды по распоряжению полиции были закрыты, спасавшиеся от неистовых преследователей не имели возможности укрыться. Такому же насилию подверглись жители Москвы и 6 декабря, когда никакой демонстрации не было, и объектом полицейских избиений делалась ничего не ожидавшая публика.

Группа московских писателей, выражая как свои чувства, так и чувства сознательной части общества, глубоко возмущенная этими зверствами московской

администрации, высказывает насильникам свое отвращение и во всеуслышание заявляет, что эта действующая по произволу жестокая и грубая администрация лишний раз подтвердила, что существующий режим более терпим быть не может».

Под протестом подлинные подписи-автографы: Е. Чирикова, Л. Андреева, С. Петрова-Скитальца, Н. Телешова, И. Белоусова и других.

В конце 1902 года была сфотографирована Фишером группа из семи человек: Горький, Скиталец, Бунин, Андреев, Телешов, Чириков и Шаляпин. Эти снимки разошлись по всему миру. Не было, кажется, такого журнала, где бы не появились эти репродукции за всевозможными подписями. В одних заграничных изданиях называли группу «писателями», в иных изданиях — «русскими революционерами» и т. д. Русские иллюстрированные журналы буквально все, кроме ярко черносотенных, помещали у себя эту группу: это было как бы представление читателям авторского коллектива зарождавшегося тогда издательства «Знание» и сборников «Знание», имевших такое значительное отношение к 1905 году. Эти сборники были организованы Горьким у нас же, на одной из «Сред», когда Алексей Максимович, приехав на день в Москву, отбирал у нас рукописи для первого выпуска. В память этого начинания сборников Горький и предложил нам сняться товарищеской группой. Первый сборник был составлен исключительно из произведений членов «Среды».

Помимо сборников, «Знание» стало издавать отдельными томами рассказы и повести товарищей по «Среде». Так, изданная небольшая книжка рассказов Леонида Андреева создала популярность автору и содействовала быстрому его прославлению.

Важно отметить, что ни один автор не был связан никакими неустойками, никакими контрактами, никакими обязательными сроками, как это делалось буквально во всех иных издательствах. Здесь автор был совершенно свободен и независим.

Когда же через несколько лет издательство «Знание» закрылось, «Среда» немедленно попыталась заполнить этот пробел и организовала в Москве «Книгоиздательство писателей» с ярко выраженной тенден-

цией защиты авторов от издательской зависимости и нередко — кабалы. Над нашей затеей смеялись, потому что мы объявили: «От издания книги весь доход принадлежит автору, а не издателю». Возможно, что это было и ново и дерзко, но не было смешно и нелепо, потому что «Среда» доказывала все это на деле в течение десятка лет. Частные издатели и всякие скупщики авторских рукописей — эти «любители российской словесности», как называл их в шутку и с горя Мамин-Сибиряк,— сначала подсмеивались над нами. Но потом перестали смеяться.

«Книгоиздательство писателей» вначале вынуждено было именоваться официально «торговым домом на вере» под фирмою «Торговый дом Голубев и Махалов для производства в городе Москве операций по изданию и продаже книг как русских, так и иностранных писателей». Несмотря на всю нелепость, на всю вздорность такого наименования, учредителями дела стали четырнадцать человек, среди которых были: Белоусов, братья Бунины, Вересаев, Крашенинников, Серафимович, Телешов, Шмелев и другие. Близкое участие в изданиях принимали А. Н. Толстой, К. А. Тренев, И. А. Новиков... Первоначальный паевой капитал составлял всего лишь 3400 рублей — сумму, ничтожную для открытия издательского дела, и не только ничтожную, но смешную. С таким «капиталом» невозможно было, конечно, рассчитывать на издание хотя бы одного сколько-нибудь заметного имени. Но суть дела была не в капитале, а в составе новорожденного издательства, в составе этого «торгового дома», располагавшего согласием и сочувствием целого ряда имен, не только заметных, но и значительных в свое время. Вскоре «торговый дом» был переименован в «товарищество», целью которого официально объявлялось: «Прийти на помощь авторам в издании книг и избавить их от необходимости значительную часть дохода с издания отдавать издателям».

Как могло пройти в то время в печати такое заявление, а это было в 1912 году, мы сами удивлялись. Однако оно было напечатано черным по белому и разослано многим писателям для осведомления.

В этом объявлении говорилось не только о борьбе с эксплуататорами писательского труда, но и об условиях издания книг: издательство берет на себя весь

риск по изданию, а поступающий доход в первую очередь идет целиком на погашение расходов по напечатанию книги и по бумаге. В этом случае издательство удерживает в свою пользу на расходы по конторе, помещению, налогам и проч. только десять процентов с номинальной цены каждого экземпляра; весь же остальной доход идет автору, который в конечном счете, за вычетом производственных затрат, получает до сорока процентов с номинала каждого экземпляра книги. И все последующие издания производятся на тех же основаниях. Члены товарищества не пользуются никакими преимуществами по изданию своих книг; права их в этом отношении ничем не отличаются от прав посторонних лиц.

Все эти условия, к раздражению частных издателей и к радостному удивлению нашему, были беспрепятственно напечатаны и разосланы по адресам заинтересованных лиц и в результате привлекли к издательству много видных авторов, беллетристов и критиков: Горького, Короленко, Елпатьевского, Златовратского, Тренева, Найденова, Сергеева-Ценского, Серафимовича, Юшкевича, Новикова-Прибоя и многих других, помимо тех, кто входил в основную группу. Наследники А. П. Чехова, изверившиеся в частных издателях, отдали товариществу все шесть томов писем Чехова. Кроме того, издательство предприняло взамен прекратившихся сборников «Знание» выпуск сборников под названием «Слово», имевших в свое время, с 1910 по 1917 год, выдающийся успех. За ними гонялись книжные магазины почти так же, как и за сборниками «Знание». «Народно-школьная библиотека» и так называемая «Дешевая библиотека» в определенном подборе авторов и их произведений дополняли общественную роль «Книгоиздательства писателей». Насколько хороша или нехороша была эта роль, об этом судить не нам, участникам и созидателям дела. Председателями правления были в разное время, если не ошибаюсь, только двое: В. В. Вересаев и я.

Дело, над которым посмеивались крупные издатели, выросло так, что за короткое время стало уже невозможным закабалить писателя с известным именем на многие годы, а то и навсегда, как это нередко тогда случалось. Всякий писатель, в какой бы нужде он

ни находился, имел возможность издать свои книги не на условиях кабалы, а на основе товарищеской. И в этом была немалая общественная роль «Среды», объединившей определенную группу писателей и избавлявшей их, а также и многих иных литераторов, от скупщиков рукописей нуждающихся авторов, от этих писательских благодетелей, от этих «любителей российской словесности».

Личные отношения участников «Среды» между собою были вполне дружеские, во всяком случае среди большинства, и очень сердечные и искренние, особенно между некоторыми из нас. Близость была не только писательская или товарищеская, но часто и личная и семейная.

Хотя А. П. Чехов жил в Ялте, но всегда интересовался нашим кружком, и когда мы напечатали товарищеский сборник «Книга рассказов и стихотворений», Антон Павлович писал мне о нем:

«Я прочитал уже почти все — и многое мне понравилось, многое очаровало... «В сочельник» и «Песня о слепых», особенно к концу, показались мне необыкновенно хорошими, великолепными... Спасибо большое, большущее!.. Крепко жму руку... Поклон и привет завсегдатаям «Среды»...»

А когда в 1904 году Чехов приехал в Москву ставить свою последнюю пьесу — «Вишневый сад», то провел у меня, среди наших товарищей, весь вечер и просил писать ему о всех наших новостях и достижениях.

Начиная с 1909 года характер «Среды» коренным образом изменился. Собираться стали уже не у меня и не в частных квартирах, а в Литературно-художественном кружке, на Большой Дмитровке, переименованной теперь в Пушкинскую улицу. Здесь было отведено «Среде» хорошее помещение. Во главе этих собраний стал Юлий Бунин. В первую же зиму число участников настолько выросло благодаря молодым поэтам и молодым писателям, что большой запасный зал кружка еле вмещал всех желающих.

Среди участников была не только молодежь, но нередко посещали эти собрания и такие писатели, как А. Н. Толстой, Ив. А. Новиков, имена которых были уже достаточно известны в литературе. После чтений и прений устраивался обычно товарищеский чай с

речами, стихами, остротами и любопытными стихотворными «протоколами», иногда блестяще остроумными, которые сочинял тут же, не выходя из комнаты, экспромтом, М. П. Гальперин и прочитывал всему собранию о его сегодняшнем заседании, перечисляя чем-либо выделявшиеся в этот вечер имена, слова и случаи в несколько утрированном виде, что и делало их забавными и интересными; эти шутки были веселы и ничьему самолюбию не обидны.

Этот остроумный и приятный поэт в советское время много работал по драматургии, сочинял либретто для новых опер и оперетток и погиб совершенно случайно под колесами грузовика почти у самой своей квартиры в 1944 году.

Не всегда, однако, проходили эти чтения молодых писателей благополучно. Был, например, случай, когда один поэт из лагеря декадентов так резко разносил прочитанные стихи молодежи, что в заключение воскликнул:

— Топи их, пока они слепые!

Это необузданное восклицание вызвало в свою очередь ярую защиту молодых авторов со стороны Ивана Бунина, и вечер прошел в общем взволнованном настроении.

На этих молодых «Средах» вспоминаются мне некоторые особо заметные силы того времени, как поэтесса Ада Чумаченко, юный Валентин Костылев, ставший впоследствии известным писателем, беллетристы — В. Г. Лидин, Шмелев, Фомин, Ашукин, критик Юрий Соболев, художник Ап. М. Васнецов, являвшийся здесь в качестве беллетриста со своими рассказами, и Н. Г. Шкляр, выступавший обычно как благожелательный критик прочитанных произведений, и многие-многие, ставшие известными в советское время. Среди гостей и молчаливых слушателей, интересовавшихся молодыми авторами, вспоминаются тоже многие из видных людей, как, например, народный артист С. И. Мигай, в то время еще молодой студент-юрист, и другие молодые люди — учителя, врачи, журналисты, ставшие потом очень известными и даже крупными именами. В общем, молодая «Среда» отстаивала реалистическое направление, несмотря на моду и увлечение иными вкусами. Ветер декадентства

переставал бушевать, и нормальное отношение к литературе становилось мало-помалу необходимым.

Количество новых участников неимоверно росло. Зато старые товарищи стали бывать на собраниях все реже и реже. По нескольку раз в зиму они снова начали собираться то у меня, то изредка у Голоушева. Многих из прежних уже не стало: кто уехал за границу вследствие реакционного засилья, кто перебрался в Петербург или в иные города. Но, с другой стороны, за это же время были и хорошие пополнения: сблизились с нами Иван Иванович Попов, старый народоволец, невольный сибиряк, бывший редактор-издатель большой и влиятельной сибирской газеты «Восточное обозрение» и журнала «Сибирский сборник», и еще Иван Сергеевич Шмелев, человек талантливый и яркий, написавший немало сильных рассказов и повестей, в том числе «Человек из ресторана», печатавшихся в «Знании». С ними обоими установились быстро и прочно товарищеские отношения.

В связи с этой порой вспоминается тяжкое впечатление от известия об уходе из Ясной Поляны Льва Николаевича Толстого — одного из величайших людей своего времени. Это бегство в осеннюю черную ночь по глухим деревенским дорогам, окруженное в первые дни таинственностью, произвело потрясающее впечатление как среди нас, так и за границей, где имя Толстого пользовалось большим уважением.

Извещение о его болезни в пути, о его остановке на станции Астапово, наконец о его кончине — все это было не только волнующим, но в полной мере потрясающим событием. Телеграмма, напечатанная в газетах, о том, что 7—20 ноября 1910 года в 6 часов 05 минут утра в Астапове скончался Лев Николаевич Толстой, произвела страшное впечатление, хотя все уже были подготовлены к такому известию.

Радостно зашипели крайние реакционные ненавистники, духовные владыки, митрополиты, придворные приспешники, министры, чиновники и вся та злая рать, предавшая Толстого анафеме, отлучившая его от церкви; для него все эти отлучения и анафемы являлись только свидетельством и доказательством того, что голос его услышан и что неуязвимая броня пробита. Значительнейшее большинство людей той

эпохи смотрело иначе, чем люди придворного типа, для которых Толстой был только еретик и смутьян. Вряд ли в мире была такая страна, хотя бы с зарождающейся только культурой, где бы не было почитателей Льва Николаевича и где имя его не было бы окружено вниманием, любовью и уважением.

«Великий писатель земли русской» уже давно перестал говорить с одними избранниками, а заговорил со всем народом на языке простом и понятном всякому о вопросах, для всех насущных, коренящихся в самой жизни, стремясь слова свои связать с своими личными поступками. Отречение, отречение, отречение — вот вечный спутник искателей правды. А в поступках правдивых и смелых другие люди обычно чувствуют и видят себе укор. Вот почему так часто и так охотно осуждается многое, выходящее за пределы обыденного. И чем более отрекался Толстой от благ жизни, тем более вырастал из его жизни укор другим людям и тем больше сыпалось на него обвинений в неискренности со стороны чуждых ему темных сил, видевших свое счастье и благополучие только во власти, в богатстве и в насилии над другими людьми.

Терпеливо и внимательно читал он и выслушивал озлобленные выходки против него, нередко угрозы, оскорбления, даже проклятия и площадную брань, думая не о себе самом, но о тех, кто мог пострадать от этого — из-за него попасть в беду, в заключение или в ссылку, что нередко и случалось в те жестокие времена.

Многие тысячи людей со всего света обращались к Толстому лично и письменно; обращались к нему крестьяне с своими вековечными нуждами и вопросами, обращались всякие люди с делами, общественными и личными, обращались все, кому было трудно, или больно, или невыносимо жить...

Вспоминаются невольно замечательные слова А. М. Горького:

«Толстой — это целый мир... Не зная Толстого — нельзя считать себя знающим свою страну, нельзя считать себя культурным человеком».

И вот ушел от нас великий гражданин мира, как его называли в последнее время.

Свои размышления «О жизни и смерти» Лев Николаевич прислал мне для сборника «Друкарь», в поль-

зу тружеников печатного дела, который вышел в 1909 году под моей редакцией. Один из афоризмов он написал собственноручно под своим портретом, который также был помещен в «Друкаре» с его автографом.

Старой «Среды» в сущности уже более не существовало. Жива была новая, или молодая, «Среда» многочисленная, деятельная, в которой старые основатели «Сред» бывали скорее как гости и каждый ответственным был только за самого себя. Но в отдельности «старики» оставались друг с другом товарищами. Они теперь сплотились вокруг «Книгоиздательства писателей», войдя в совет и редакцию; почти все они были в составе дирекции Литературно-художественного кружка, в правлении «Общества деятелей периодической печати» и в суде чести при этом обществе, работали в правлении кассы взаимопомощи литераторов и ученых, где я был председателем около пятнадцати лет. Всегда было что-нибудь такое, что связывало нас и держало в каком-то единении. Даже во время войны «Среде» было поручено от всемосковского Дня печати составить сборник в помощь жертвам мировой бойни. И «Среда» выделила из своего состава трех редакторов: И. А. Бунина, В. В. Вересаева и Н. Д. Телешова, которые и составили этот сборник немедленно под названием «Клич», где участвовали лучшие современные писатели, крупные художники и знаменитые композиторы. Книга была распродана в три дня и дала чистой прибыли, согласно опубликованному отчету, тридцать четыре тысячи рублей. Эти деньги влились в общую, довольно значительную сумму, собранную Днем печати и распределенную, согласно постановлению общего собрания московского Дня печати, между национальными организациями, оказывавшими помощь пострадавшему от войны населению: армянскому, польскому, грузинскому, еврейскому, латышскому, литовскому, татарскому и украинскому — через Пироговское общество, в равной части каждой организации.

Немало выпало на мою долю трудов по составлению и изданию этого сборника, и недаром на первом экземпляре, полученном из типографии, сделана

надпись на книге рукою Вересаева: «Дорогому товарищу Н. Д. Телешову, на своих плечах вынесшему всю огромную работу по созданию «Клича». Под этим подписи: «Соредакторы: Ив. Бунин и В. Вересаев. 17 марта 1915».

Очень я дорожу этим признанием и берегу с любовью этот памятный экземпляр.

В течение четверти века не было, или почти не было, в Москве ни одного общественного дела, ни одного культурного начинания, где бы так или иначе не принимала горячего и ближайшего участия «Среда», если не как коллектив, то в лице своих отдельных членов. Авторитет «Среды» стоял высоко, и нередко к ней обращались общественные группы, когда возникали серьезные принципиальные конфликты и требовалось беспристрастное третейское решение. В таких случаях «Среда» указывала на одного из своих сотоварищей, и его избирали в судьи.

Вспоминается один сложный и тяжелый процесс.

Молодой поэт, из группы модернистов, был заподозрен в провокации, и на его голову посыпались обвинения в предательстве своих друзей. Началось все это с корреспонденции из Парижа, напечатанной в газете «Русские ведомости»; впутано было сюда же имя известного «всезная» по этой части Вл. Бурцева, который признавал, что за поэтом провокация налицо. Обвинение было настолько определенно, а намеки настолько прозрачны, что имя заподозренного называлось уже прямо, хотя в корреспонденции оно не фигурировало, и поэту многие перестали подавать руку, затем журналы прекратили прием в печатание его работ, затем ему было отказано в службе — он был педагогом. С потерей доброго имени пропали и средства к жизни. Защищаться возможности не было, потому что нельзя было подать жалобу в государственный так называемый «коронный» суд благодаря политически скользкой теме. Какое же правительство согласится, в самом деле, считать за преступление службу в своей политической агентуре и работу в ней рассматривать как позор для сотрудника? И в каком положении оказались бы свидетели, как сами, так и все те люди и кружки, о которых пришлось бы рассказать на суде!

Для сыска и для широкого предательства такой процесс был бы величайшим торжеством и праздником. А этого не мог желать никто.

Из создавшегося тупика выхода не было. Травля продолжалась, пока не составился «частный суд» — суд чести, при совершенно закрытых дверях. В состав суда входило семь лиц — представителей адвокатуры, литературы и общественности: трое со стороны «Русских ведомостей», во главе с Н. В. Давыдовым, и трое со стороны писателя: в их число входил и я, хотя писатель был далеко не из друзей нашей группы и даже не из числа моих знакомых. Суперарбитром был избран С. И. Филатов, в то время председатель совета присяжных поверенных — организации, облеченной высоким общественным доверием. Этим судьям вверялся вопрос о добром имени человека и, в связи с этим, несомненно, о его жизни и смерти,— настолько серьезно разыгрался и мучительно протекал этот скандал.

Процесс тянулся несколько месяцев — с осени до весны. Из показаний множества свидетелей, преимущественно из литературного и журнального мира, выяснились ужасающие картины сыска, гнета, подкупа, торговли головами людей. Эти показания навели на след одной «прекрасной дамы», стоявшей, несомненно, в центре доносов. Она жила где-то в имении, недалеко от Москвы. К ней и направили от суда доверенное лицо с просьбой приехать на заседание для дачи показаний по делу писателя в качестве простой свидетельницы. Она встретила посланника дерзко и объявила ему, чтоб он убирался сию минуту вон и никогда не приходил бы вторично, иначе она затравит его собаками.

По ходу дела для окончательного выяснения виновности или невиновности писателя стало неизбежным предложить ряд существенных вопросов как автору позорящих статей, напечатанных в газете, Белорусову, так и В. Л. Бурцеву, признававшему эти статьи правильными. Но оба они жили в Париже. Посылать вопросы и получать ответы через почту было равносильно открытию дверей и даже хуже, так как все письма, несомненно, были бы тайно читаны жандармерией. И суд вынужден был послать нарочного — верного человека с необходимыми вопросами

в Париж, добиться там личного свидания и привезти суду письменные же ответы. Это сложное поручение и затормозило течение процесса.

Обязанности судей были морально тяжелы и крайне ответственны: нельзя обелять виновного в гнусных предательствах, но нельзя и обвинять в таком деле по предположению, без явных доказательств. Были приняты все меры к выяснению истины. И после долгих, упорных и мучительных трудов суд пришел к заключению, что обвинение не подтвердилось решительно ничем. Доброе имя, а с ним, вероятно, и самая жизнь писателя были спасены.

Освободив литератора от тяготевших над ним обвинений, третейский суд в своем решении касается и поведения газеты: «В действиях редакции нет нарушения требований справедливости и добрых нравов; в деле нет никаких указаний на то, чтобы, печатая инкриминируемые статьи, редакция преследовала своекорыстные или вообще личные цели, руководилась намерениями, не отвечающими требованиям общей или литературной этики; редакция имела в виду не сенсацию, дающую газете внешний успех, а исследование явления, требовавшего серьезного общественного внимания; имелась в виду борьба с явлением, а не удары по отдельным лицам, не расправа с ними. И тем не менее, как показали обстоятельства дела, на долю [литератора] выпал тяжелый удар. Это было бы печально, но неизбежно, если бы удар был заслужен, но, как сказано выше, доказательств вины «не имелось и не имеется»... Поэтому третейский суд считает себя обязанным отметить в действиях редакции и то, что являет собой прискорбную неосторожность — прискорбную по тем тяжелым последствиям, какие повлек за собою обрушившийся на [литератора] удар. Репутация газеты «Русские ведомости» общеизвестна и создана долгими годами служения общественным интересам, но чем авторитетнее слово газеты, тем с большей осторожностью оно должно быть произносимо».

Из этого краткого отрывка очень пространной резолюции — почти в тысячу газетных строк — видно, с каким вниманием работал суд над всеми вопросами, над всеми подробностями этого крайне сложного, крайне щекотливого и ответственного дела.

В литературных кругах многие с волнением ожидали окончания этого затянувшегося процесса. Вот отрывок из письма ко мне Бориса Зайцева:

«Какая тяжесть свалилась с плеч с развязкой этой истории. Резолюция умна, основательна и, помоему, справедлива. Впечатление от нее — отрадное. Не зря волновались мы, не напрасно вы теряли время, силы и нервы на распутывание всего этого... Вы с такой добросовестностью и сердечностью отнеслись к горю почти неизвестного вам человека. Знаю, что, возможно, благодаря этому делу и вашему беспристрастию вы нажили кое-каких недоброжелателей... Но вы бесконечно выше закулисных влияний, и это подтвердилось вполне в деле слабого, но правого против сильных неправых...»

Члены «Среды» имели возможность влиять на самые разнообразные стороны жизни. Через Литературно-художественный кружок они помогали писателям, артистам, художникам и просто людям труда, впавшим в беду или крайность; через Общество периодической печати и литературы с его судом чести защищали права и достоинство отдельных деятелей науки и литературы, через кассу взаимопомощи литераторов и ученых собирались ими по трудовым грошам товарищеские средства, и члены кассы за четверть века работы в последние годы стали иметь возможность бесплатно учить своих детей, доживать более или менее сносно свой век на пенсии и даже лечиться и жить в Ессентуках, где было оборудовано помещение для приезжающих писателей, а в случае смерти осиротевшая семья члена кассы получала немедленно и без всяких хлопот поразрядную сумму денег.

Последнее собрание «Среды» состоялось в 1916 году. На нем приехавший из Петрограда Леонид Андреев знакомил нас со своей новой, последней пьесой — трагедией «Сампсон в оковах», которую в присутствии автора прочитал Голоушев. Ознакомление с пьесой не сопровождалось успехом, к которому привык Андреев в прежние годы, а он привез с собой на «Среду» нескольких петроградских приятелей. В их числе был Федор Сологуб (Тетерников), ранее никогда на «Среде» не бывавший. Обычное обсуждение прочитанного не налаживалось; что-то препятствовало этому. Может быть, разгар мировой войны и предчувствие

иных надвигающихся мировых событий делали героев библейской эпохи недостаточно яркими, но только общий разговор быстро перешел от пьесы к современным явлениям, и обсуждение пьесы так и не состоялось.

После этого вечера у нас ни одного собрания больше уже не было.

Вскоре «Среда» начала переживать потерю за потерей. Начиная с Андреева, умершего в 1919 году, стали сходить один за другим в могилу близкие товарищи. Не стало Юлия Бунина, Тимковского, Голоушева, Белоусова, Грузинского. В январе 1933 года умер старейший наш сочлен — Сергей Яковлевич Елпатьевский, один из типичнейших представителей литературы минувшего времени, не дотянувший всего лишь нескольких месяцев до своего восьмидесятилетия. Это был высокого роста, сухой, очень бодрый и подвижной старик, с отзывчивым и ласковым сердцем, с душою студента восьмидесятых годов, общественник, публицист и беллетрист, даровитый и умный человек, широко образованный, по специальности врач,— большой и очень опытный знаток легочных болезней. В свое время изведавший арест, тюрьму и ссылку по политическим делам, он отразил пережитые впечатления в своих очерках и рассказах, описывая людей, жаждущих воли, чьи жизни были загублены острогом и ссылкой, описывая длительные полярные ночи, великую жуть сибирского безлюдья, бесконечную тайгу с ее непрерывным, угрожающим, как рев расходившегося, растревоженного зверя, воем... Сын сельского священника, он оставил в литературе целый ряд интересных очерков о своем детстве в деревне среди крестьян, а также ряд характеристик и воспоминаний о выдающихся писателях, общественных деятелях и революционерах своего времени. Всегда внимательный к человеку, всегда ласковый и готовый помочь словом и делом, Елпатьевский был вечно в работе и заботе. В Ялте, где он жил много лет после освобождения, он организовал санатории и пункты бесплатной медицинской помощи для нуждающихся больных, каковых всегда стекалось в Крым бесчисленное множество.

Когда в Москве в 1905 году был созван знаменитый Всероссийский съезд врачей в память Пирогова, Елпатьевский избран был председателем этого съезда.

В 1936 году всех нас, советских людей, потрясла весть о безвременной смерти Алексея Максимовича Горького, человека и писателя огромного значения для нашей эпохи.

В 1938 году умер за границей Федор Иванович Шаляпин — сын вятского крестьянина, великий русский артист. Детство его прошло в бедности, в самых низах, почти в нищете. Одновременно с Горьким, еще не зная друг друга, они работали бок о бок в Саратове как грузчики. А в Казани, как рассказывал сам Шаляпин, «я был сапожником, а Горький — пекарем. И я и он по воскресным дням принимали участие в кулачных боях с татарами на замерзшем озере». Потом попробовали пристать к театру. Горький был принят как певчий, а Шаляпина забраковали. Впоследствии, когда к ним пришла большая слава, они были близкими друзьями.

В том же 1938 году умер Александр Иванович Куприн, незадолго перед тем вернувшийся из-за границы. Уехал он если и не очень молодым, но очень крепким и сильным физически, почти атлетом, а вернулся изможденным, потерявшим память, бессильным и безвольным инвалидом. Я был у него в гостинице «Метрополь» дня через три после его приезда. Это был уже не Куприн — человек яркого таланта, каковым мы привыкли его считать,— это было что-то мало похожее на прежнего Куприна, слабое, печальное и, видимо, умирающее. Говорил, вспоминал, перепутывал все, забывал имена прежних друзей. Чувствовалось, что в душе у него великий разлад с самим собою. Хочется ему откликнуться на что-то, и нет на это сил. Ушел я от него с невеселым чувством: было жаль сильного и яркого писателя, каким он уже перестал быть.

Литературный фонд пришел ему на помощь и устроил его под Москвою, в дачной местности Голицыно, на летний отдых. И вот что произошло там не с самим Куприным, а с тем, что называется душою Куприна. В доме отдыха Литфонда в августе 1937 года был организован товарищеский прием красноармейцев Пролетарской дивизии. Приехало человек двести. Наготовили им ватрушек, квасу, всякой сдобы, ягод, чтоб было исключительно только «свое» и ничего купленного. Сад был празднично убран. Везде флажки,

букеты и плакаты с девизами и стихами. Гости пришли с маршем и песнями. Пели, играли в горелки, плясали, гонялись взапуски, веселились. Некоторые из присутствовавших здесь писателей читали свои стихи: Лебедев-Кумач, Лахути. В ответ на это и красноармейцы читали свои произведения. Было весело и радостно. На этот праздник приглашен был и Куприн. На игровую площадку вынесли ему кресло, усадили с почетом, и он сидел и глядел на все почти молча. К нему подходили иногда военные, говорили, что знают и читают его книги, что рады видеть его в своей среде. Он кратко благодарил и сидел в глубокой задумчивости. Некоторым казалось, что до него как будто не доходит это общее товарищеское веселье. Но когда красноармейцы запели хором русские песни — «Вниз по матушке по Волге», про Степана Разина и персианку и другие, он совершенно переменился, точно вдруг ожил. А когда запели теперешнюю песню «Широка страна моя родная», Куприн сильно растрогался. Когда же отъезжающие красноармейцы хором выразили ему свой прощальный привет, он не выдержал. То, что в этот день переживал он молча и, казалось, безучастно, вдруг вырвалось наружу.

— Меня, великого грешника перед родиной, сама родина простила,— заговорил он сквозь искренние горячие слезы.— Сыны народа — сама армия меня простила. И я нашел, наконец, покой.

С этим примиряющим сознанием, что ни в одной стране не может быть такого единодушия между рядовыми бойцами и их командирами, между писателями и всеми трудящимися, что все они, кого он видел, была одна великая чуткая семья одного народа и в этой единой народной семье можно быть действительно счастливым,— с этим он и уехал в Ленинград, где вскоре и умер.

В конце июня 1941 года умер С. Г. Скиталец. Смерть его совпала с только что начавшейся Великой Отечественной войной. Отвезли его на Введенское кладбище. За очень короткий период болезни этот богатырь по сложению так исхудал и изменился, что узнать было нельзя. За месяц до смерти он говорил: «Хватит ли у меня сил преодолеть болезнь печени и сердца, пострадавших не от излишеств веселой жизни, которых не было, а оттого, что слишком много тя-

желого нес я на плечах своих, слишком много к сердцу принимал чужого горя и всю жизнь разделял горе вместе с народом...»

В мае 1942 года умер драматург С. Д. Разумовский в возрасте семидесяти восьми лет. После него, кроме его пьес, осталось большое количество неопубликованных работ.

В феврале 1943 года умерла жена моя, Елена Андреевна Телешова, принимавшая ближайшее участие в созидании и развитии нашего товарищеского кружка. Все ценили и уважали ее как близкого и дорогого человека, принимавшего горячее участие во всех событиях жизни «Среды». Она свободно читала на пяти европейских языках и была полезна многим товарищам в переводах зарубежных рецензий, нередко очень сочувственных и для писателей интересных.

В 1945 году умер еще один близкий товарищ, В. В. Вересаев, о котором я говорю подробнее в дальнейших строках.

В 1949 году умер А. С. Серафимович в возрасте восьмидесяти шести лет. После его смерти в конце концов от всей нашей «Среды» остался в живых только один я в нашей Советской стране. Я прожил долгую, интересную и счастливую жизнь благодаря друзьям и окружению талантливых людей.

Когда в 1924 году появились в печати мои первые, очень краткие очерки о минувших днях, впоследствии значительно расширенные, А. М. Горький писал мне из Сорренто:

«Славно вы написали, но мало... Ваши «Среды» имели очень большое значение для всех нас, литераторов той эпохи».

## *А. П. Чехов*

Немало было встреч у меня с Чеховым, немало бесед и разговоров, но при имени Антона Павловича всегда с особенной ясностью вспоминаются мне две наши встречи: самая первая и самая последняя, и два его образа: молодого, цветущего, полного жизни и затем — безнадежно больного, умирающего, накануне отъезда его за границу, откуда он уже не вернулся живым.

Я был еще юношей, лет двадцати, когда впервые встретился с ним, в то время тоже еще молодым человеком и писателем, только что замеченным. В ту осень 1887 года вышла его книга рассказов «В сумерках» — первая за подписью «Антон Чехов», а не «Чехонте», как раньше. Он только что вступил на настоящую литературную дорогу. Тогдашняя критика высокомерно молчала; даже «нововременский» зубоскал Буренин, сотрудник того же издательства, которое выпустило эту книжку, отметил ее появление таким четверостишием:

> Беллетристику-то — эх, увы!
> Пишут Минские да Чеховы,
> Баранцевичи да Альбовы;
> Почитаешь — станет жаль Бовы!

Несмотря на молчание критики, читатели живо интересовались молодым писателем и сумели верно понять Чехова и оценить сами, без посторонней помощи.

С рассказами Чехова, так называемыми «Пестрыми рассказами», мне пришлось познакомиться доволь-

но рано, почти в самом начале литературных выступлений Антона Павловича, когда он писал под разными веселыми псевдонимами в «Стрекозе», в «Осколках», в «Будильнике». Потом на моей памяти, на моих глазах, так сказать, он начал переходить от юмористических мелочей к серьезным художественным произведениям. В то время он был известен все еще попрежнему как Чехонте — автор коротеньких веселых рассказцев. И слышать о нем приходилось не что-нибудь существенное и серьезное, а больше пустячки да анекдотики, вроде того, например, будто Чехов, нуждаясь постоянно в веселых сюжетах и разных смешных положениях для героев, которых требовалось ему всегда множество, объявил дома, что станет платить за каждую выдумку смешного положения по десять копеек, а за полный сюжет для рассказа по двадцать копеек, или по двугривенному, как тогда говорилось. И один из братьев сделался будто бы усердным его поставщиком. Или рассказывалась такая история: в доме, где жили Чеховы, бельэтаж отдавался под балы и свадьбы, поэтому нередко в квартиру нижнего этажа сквозь потолок доносились звуки вальса, кадрили с галопом, польки-мазурки с назойливым топотом. Чеховская молодежь, если бывали все в духе, начинала шумно изображать из себя приглашенных гостей и весело танцевать под чужую музыку, на чужом пиру. Не отсюда ли вышел впоследствии известный рассказ «Свадьба» и затем водевиль на ту же тему?..

Далеко не сразу был он признан влиятельной критикой. Михайловский отозвался о нем холодно и небрежно, а Скабичевский почему-то пророчил, что Чехов непременно сопьется и умрет под забором.

Впоследствии, уже в девятисотых годах, в своих воспоминаниях о Чехове писатель А. И. Куприн, между прочим, приводит такие слова самого Антона Павловича обо мне: «Вы спросите Телешова сами: он вам расскажет, как мы с ним гуляли на свадьбе у Белоусова».

И действительно, мы именно гуляли. Свадьба была веселая, шумная, в просторном наемном доме, где-то на набережной Канавы; много было молодежи; веселились и танцевали почти без отдыха всю ночь. А потом ужинали — чуть не до утра.

В то время я был совершенно чужой в литератур-

ном мире. Не только не был ни с кем знаком, но ни с одним настоящим писателем даже не встречался. Знавал их только по книгам.

И вот, в разгаре свадебного шума, Белоусов подвел меня к высокому молодому человеку с красивым лицом, с русой бородкой и ясными, немного смешливыми глазами, будто улыбающимися:

— Чехов.

Я уже знал, читал и любил его рассказы, только что собранные в первую книжку. Слышал также, что Григорович, маститый старец и крупный писатель того времени, однажды сам пришел к Чехову — познакомиться с ним как с молодым собратом, которому пророчил большое и славное будущее, приветствуя в нем новый литературный талант, настоящий талант, выдвигающий его далеко из круга литераторов нового поколения.

И это внимание Григоровича, и личное впечатление от прочитанных рассказов, и первая в жизни встреча с настоящим писателем настроили меня восторженно. Хотелось сейчас же заговорить с ним о его книге, о том новом в литературе, что он дает, но Чехов предупредил меня иным, совершенно неожиданным вопросом:

— Вы в карты не играете? В стуколку?

— Нет.

— А со мной вот пришел Гиляровский. Жаждет поиграть в стуколку, да не знает — с кем. Вы знаете Гиляровского? Дядю Гиляя?.. Да вот и он! — как говорят актеры в самых бездарных водевилях.

Подошел Гиляровский — познакомились. Он был во фраке, с георгиевской ленточкой в петлице. В одной руке держал открытую серебряную табакерку, другой рукой посылал кому-то через всю комнату привет, говорил Чехову рассеянно что-то рифмованное и веселое и глядел на меня в то же время, но меня, кажется, не замечал, занятый чем-то иным. Не успели мы и двух слов сказать для первого знакомства, как загремела опять музыка, и меня, как молодого человека, утащили танцевать.

— Идите, идите. А то на нас барышни будут из-за вас обижаться,— сказал мне вслед Антон Павлович.

На этом, может быть, и кончилось бы наше знакомство, если бы Антон Павлович в конце ночи, после

торжественного свадебного ужина с мороженым и шампанским, не подошел ко мне и не позвал бы с собою.

— Скоро уж утро,— сказал он.— Гости разъезжаются. Пора и нам уходить. Мы вот с Гиляем надумали пойти чай пить... в трактир. Хотите с нами? Скоро теперь трактиры откроются — для извозчиков.

И мы пошли.

Нас было четверо: присоединился к нам еще младший брат Чехова, Михаил Павлович, в то время студент. Наняли двух извозчиков и поехали разыскивать ближайший трактир. Где-то неподалеку, в одном из переулков близ Чугунного моста, засветились окна маленького трактира. Зимнее морозное утро только что начиналось. Было еще темно.

Трактир оказался грязный, дешевый, открывавшийся спозаранку действительно для ночных извозчиков.

— Это и хорошо,— говорил Антон Павлович.— Если будем хорошие книги писать, так в хороших ресторанах еще насидимся. А пока по нашим заслугам и здесь очень великолепно.

Про внешность Чехова в ту пору правильно было сказано — «при несомненной интеллигентности лица, с чертами, напоминавшими простодушного деревенского парня, с чудесными улыбающимися глазами». Может быть, такое выражение, как «улыбающиеся глаза», покажется слишком фигуральным, но, кроме Чехова, я ни у кого не встречал таких глаз, которые производили бы впечатление именно улыбающихся.

Благодаря тому, что все мы были одеты во фраки, нас принимали здесь за свадебных официантов, закончивших ночную работу,— и это очень веселило Чехова.

Сели за стол, покрытый серой, не просохшей с вечера скатертью. Подали нам чаю с лимоном и пузатый чайник с кипятком. Но от нарезанных кружочков лимона сильно припахивало луком.

— Превосходно! — ликовал Антон Павлович.— А вы вот жалуетесь, что сюжетов мало. Да разве это не сюжет? Тут на целый рассказ материала.

Перед глазами у нас, я помню, была грязная пустая стена, выкрашенная когда-то масляной краской. На ней ничего не было, кроме старой копоти да еще на некотором уровне — широких темных и сальных

пятен: это извозчики во время чаепития прислонялись к ней в этих местах своими головами, жирно смазанными для шика деревянным маслом, по обыкновению того времени, и оставляли следы на стене на многие годы.

С этой стены и пошел разговор о писательстве.

— Как так сюжетов мало? — настаивал на своем Антон Павлович.— Да все — сюжет, везде сюжет. Вот посмотрите на эту стену. Ничего интересного в ней нет, кажется. Но вы вглядитесь в нее, найдите в ней что-нибудь «свое», чего никто еще в ней не находил, и опишите это. Уверяю вас, хороший рассказ может получиться. И о луне можно написать хорошо, а уж на что тема затрепанная. И будет интересно. Только надо все-таки увидать и в луне что-нибудь «свое», а не чужое и не избитое.

— А вот это разве не сюжет? — указал он в окошко на улицу.— Вон, смотрите: идет монах с книжкой собирать на колокол... Разве не чувствуете, как сама завязывается хорошая тема?.. Тут есть что-то трагическое — в черном монахе на бледном рассвете...

За чаем, который благодаря лимону тоже отдавал немножко луком, разговор перекидывался с литературы на жизнь, с серьезного на смешное. Между прочим, Чехов уверял нас, что никакой «детской» литературы не существует.

— Везде только про Шариков да про Барбосов пишут. Какая же это «детская»? Это какая-то «собачья» литература! — шутил Антон Павлович, стараясь говорить как можно серьезнее.

И сам же вскоре написал «Каштанку» и «Белолобого» — про собак.

Гиляровский много острил, забрасывал хлесткими экспромтами, и время летело незаметно.

Стало уже совсем светло. Улица оживилась. Мне было хорошо и радостно. Как сейчас, вижу молодое, милое лицо Чехова, его улыбающиеся глаза. Таким жизнерадостным, как в эту первую встречу, я никогда уже, во всю жизнь, Антона Павловича не видал.

К молодым писателям Чехов относился всегда благожелательно и ко многим очень сердечно. Всегда говорил, что писателю нельзя сидеть в четырех стенах и вытягивать из себя свои произведения, что необходимо видеть жизнь и людей, слышать подлинные че-

ловеческие слова, улавливать мысли и обрабатывать, а не выдумывать их.

— Поезжайте в Японию,— говорил он одному.— Поезжайте в Австралию,— советовал другому.

Вспоминается, как встретились мы однажды в вагоне. Встреча была совершенно случайная. Он ехал к себе в Лопасню, где жил на хуторе, а я — в подмосковную дачную местность Царицыно снимать дачу на лето.

— Не ездите на дачу, ничего там интересного не найдете,— сказал Чехов, когда узнал мою цель.— Поезжайте куда-нибудь далеко, верст за тысячу, за две, за три. Ну хоть в Азию, что ли, на Байкал. Вода на Байкале бирюзовая, прозрачная: красота! Если времени мало, поезжайте на Урал; природа там чудесная. Перешагните непременно границу Европы, чтобы почувствовать под ногами настоящую азиатскую землю и чтоб иметь право сказать самому себе: «Ну, вот я и в Азии!» А потом можно и домой ехать. И даже на дачу. Но дело уже будет сделано. Сколько всего узнаете, сколько рассказов привезете! Увидите народную жизнь, будете ночевать на глухих почтовых станциях и в избах совсем как в пушкинские времена; и клопы вас будут заедать. Но это хорошо. После скажете мне спасибо. Только по железным дорогам надо ездить непременно в третьем классе, среди простого народа, а то ничего интересного не услышите. Если хотите быть писателем, завтра же купите билет до Нижнего. Оттуда — по Волге, по Каме...

Он начал давать практические советы, как будто вопрос о моей поездке был уже решен. На станции Царицыно, когда я выходил из вагона, Антон Павлович на прощанье опять сказал:

— Послушайтесь доброго совета, купите завтра билет до Нижнего.

Я послушался и через несколько дней уже плыл по реке Каме без цели и назначений, направляясь пока в Пермь. Дело было в 1894 году. За Уралом я увидел страшную жизнь наших переселенцев, невероятные невзгоды и тягости народной, мужицкой жизни. И когда я вернулся, у меня был готов целый ряд сибирских рассказов, которые и открыли тогда передо мной впервые страницы наших лучших журналов.

Нередко Чехов говорил о революции, которая не-

избежно и скоро будет в России. Но до 1905 года он не дожил.

— Поверьте, через несколько лет, и скоро, у нас не будет самодержавия, вот увидите.

Недаром же в пьесе его «Три сестры» говорится: «Пришло время, надвигается на всех нас громада, готовится здоровая сильная буря, которая идет, уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку».

А в дальнейшем он предвидел необычайный расцвет народной жизни и счастливое, радостное будущее человечества. И во все это он верил крепко.

Прошло немало лет от первой нашей встречи. Мы видались в Москве — то у издателя И. Д. Сытина, то в Докторском клубе, то у него в доме, где он любил угощать горячей картошкой, печенной на углях, и старым крымским «губонинским» кляретом. Бывал Антон Павлович и у меня, на нашей литературной «Среде», которой всегда интересовался и всегда расспрашивал о ней. Видались мы и в Крыму, у него на даче в Аутке, где он был уже серьезно больным и где среди красот южной природы, среди вечнозеленых кипарисов и цветущих персиков любил помечтать о московском сентябрьском дождичке, о березах и ветлах, об илистом пруде с карасями, о том, как хорошо обдумывать свои повести и пьесы, глядя на поплавок и держа в руке удочку. Пытался он в своем крымском саду, в память о Москве, насаждать молодые березки и другие северные деревца, но я не знаю, принялись ли они и целы ли теперь... Помню, как в этом ялтинском кабинете мне был вручен рецепт в ялтинскую аптеку на порошки от кашля за подписью «доктора А. Чехова». Аптечная сигнатурка у меня сохраняется.

Несмотря на болезнь, Чехов любил всякие шутки, пустячки, приятельские прозвища и вообще охотник был посмеяться. Помню, как хохотал он у себя в ялтинском кабинете над одним из своих же давнишних рассказов.

Однажды весенним вечером, года за два до смерти, Антон Павлович созвал нас к себе. Тут были Горький, Бунин, Елпатьевский... После ужина, в кабинете, Бунин, или Букишон, как ласково называл его Чехов,

предложил прочитать вслух один из давних рассказов Чехонте, который А. П. давно забыл. Бунин, надо сказать, мастерски читал чеховские рассказы. И он начал читать.

Трогательно было видеть, как Антон Павлович сначала хмурился,— неловко ему казалось слушать свое же сочинение,— потом стал невольно улыбаться, а потом, по мере развития рассказа, буквально трясся от хохота в своем мягком кресле, но молча, стараясь сдержаться.

— Вам хорошо, теперешним писателям,— нередко говорил он полушутя, полусерьезно.— Вас теперь хвалят за небольшие рассказы. А меня, бывало, ругали за это. Да как ругали! Бывало, коли хочешь называться писателем, так пиши роман, а иначе о тебе и говорить и слушать не станут и в хороший журнал не пустят. Это я вам всем стену лбом прошибал для маленьких рассказов.

Его ласковое внимание к писателям более молодым, чем он сам, сказывалось во всем. Вот для примера письмо его ко мне от февраля 1903 года из Ялты: «В «Словаре русского языка», изд. Академии наук, в шестом выпуске второго тома, мною сегодня полученного, показались и Вы. Так, на странице 1626 после слова «западать»: «Из глаз полились холодные слезы и крупными каплями западали на усталую грудь. Телешов. Фантастические наброски». Вот еще на стр. 1814 после слова «запушить»: «Повозки снова тронулись в путь по запушенной свежим снегом дороге. Телешов. На тройках». И еще на стр. 1849 после слова «зарево»: «Множество свечек горит перед образом, отливаясь ярким заревом на облачении попа. Телешов. Именины». Стало быть, с точки зрения составителей словаря, Вы писатель образцовый, таковым и останетесь теперь на веки вечные... Крепко жму Вашу руку и желаю всего хорошего...»

«Это был обаятельный человек: скромный, милый» — так отзывался о Чехове Л. Н. Толстой. И действительно, это был человек, безусловно, милый, очень скромный и сдержанный, даже строгий к самому себе. Так, например, когда он был очень болен и табачный дым в его комнате был для него ядом, он не мог и не решался сказать никому, кто дымил у него папиросой: «Бросьте. Не отравляйте меня. Не

заставляйте меня мучиться». Он ограничился только тем, что повесил на стене, на видном месте, записку: «Просят не курить». И терпеливо молчал, когда некоторые посетители все-таки курили.

В свою очередь к Толстому Антон Павлович относился всегда особенно уважительно и с любовью.

— Я боюсь смерти Толстого,— признавался он в 1900 году, когда Лев Николаевич опасно заболел.— Если бы он умер, то у меня в жизни образовалось бы большое пустое место. Во-первых, я ни одного человека не люблю так, как его; во-вторых, когда в литературе есть Толстой, то легко и приятно быть литератором; даже сознавать, что ничего не сделал и не делаешь,— не так страшно, так как Толстой делает за всех. В-третьих, Толстой стоит крепко, авторитет у него громадный, и, пока он жив, дурные вкусы в литературе, всякое пошлячество, всякие озлобленные самолюбия будут далеко и глубоко в тени. Только один его нравственный авторитет способен держать на известной высоте так называемые литературные настроения и течения...

Избранный в почетные академики, Чехов написал, как известно, резкий отказ от этого почетного звания, когда узнал, что Горький, также избранный в почетные академики, в этом звании не утвержден царским правительством по приказу самого царя Николая. Только Чехов и Короленко имели мужество поступить так и сложить с себя почетное звание в виде протеста.

Вспоминается случайный разговор с одним стариком — крестьянином из Лопасни, где Антон Павлович никому не отказывал в медицинской помощи. Старик был кустарь, шелкомотальщик, человек, видимо, зажиточный. Сидели мы рядом в вагоне Курской дороги, в третьем классе, на жесткой скамейке, и по-соседски разговорились от нечего делать. Узнав, что он из Лопасни, я сказал, что у меня есть там знакомый.

— Кто такой?

— Доктор Чехов.

— А... Антон Павлыч! — весело улыбнулся старик, точно обрадовался чему-то. Но сейчас же нахмурился и сказал: — Чудак-человек! — И добавил уже вовсе строго и неодобрительно: — Бестолковый!

— Кто бестолковый?

— Да Антон Павлович! Ну, скажи, хорошо ли: жену мою, старуху, ездил-ездил лечить — вылечил. Потом я захворал — и меня лечил. Даю ему денег, а он не берет. Говорю: «Антон Павлович, милый, что ж ты это делаешь? Чем же ты жить будешь? Человек ты не глупый, дело свое понимаешь, а денег не берешь — чем тебе жить-то?..» Говорю: «Подумай о себе: куда ты пойдешь, если, не ровен час, от службы тебе откажут? Со всяким это может случиться. Торговать ты не можешь; ну, скажи, куда денешься, с пустыми-то руками?..» Смеется и — больше ничего. «Если, говорит, меня с места прогонят, я тогда возьму и женюсь на купчихе».— «Да кто, говорю, за тебя пойдет-то, если ты без места окажешься?» Опять смеется, точно не про него и разговор.

Старик рассказывал, а сам крутил головой и вздыхал, а то по-хорошему улыбался. Видно было, что он искренне уважает своего «бестолкового» доктора, только не одобряет его поведения.

— Да. Хороший он человек, Антон Павлович. Только трудно ему будет под старость. Не понимает он, что значит жить без расчета.

Эту жизнь «без расчета» показал, между прочим, один существенный случай из жизни.

А. П. Чехов заключил с издателем «Нивы», Марксом, договор, по которому за 75 тысяч рублей все сочинения Чехова поступали в вечное владение издателя — не только прежние, но и все будущие, сейчас же после их напечатания в журнале, и Чехов не имел права передавать никому и никогда перепечатку своих произведений даже для благотворительных изданий. Когда стало известно, что Маркс в первый же год от приложений к «Ниве» и от выпущенного отдельно собрания сочинений в двенадцати томах не только покрыл всю выданную им сумму Чехову, но и нажил сотни тысяч рублей, Горький написал Антону Павловичу письмо с предложением нарушить договор с Марксом:

«Пошлите-ка вы этого жулика Маркса ко всем чертям. Я от лица «Знания» и от себя предлагаю вам вот что: контракт с Марксом нарушьте, деньги, сколько взяли у него, отдайте назад и даже с лихвой, коли нужно. Мы вам достанем, сколько хотите. Затем отдайте ваши книги печатать нам, то есть входите в

«Знание» товарищем — и издавайте сами. Вы получаете всю прибыль и не несете хлопот по изданию, оставаясь в то же время полным хозяином ваших книг. Вы могли бы удешевить книги, издавая их в большем против Маркса количестве; вас теперь читают в деревнях, читает городская беднота, и 1р. 75 к. за книгу для этого читателя дорого. Голубчик, бросьте к черту немца! Ей-богу, он вас грабит! Бесстыдно обворовывает! «Знание» может прямо гарантировать вам известный, определенный вами годовой доход, хоть в 25 000. Подумайте над этим, дорогой Антон Павлович...»

Говорят, что неотправленные письма нередко бывают интереснее и значительнее отправленных. Если это и не совсем так или не всегда так, то во всяком случае письмо, подписанное группой известных писателей, хотя бы и не отправленное по адресу вследствие особых причин, может представлять собой документ, не лишенный интереса. Одно из таких неотправленных писем, содержание которого связано с памятью Чехова, находилось у меня несколько лет, и о нем знали лишь весьма немногие. Письмо относится к тому далекому теперь времени, когда литературные друзья Чехова готовились к его двадцатипятилетнему юбилею. Над составлением письма немало потрудились Леонид Андреев и Максим Горький. По мысли инициаторов, под этим текстом предполагалось собрать подписи всей писательской и артистической Москвы, затем передать в Петербург и собрать там дальнейшие подписи. Бумагу, подписанную крупными представителями науки, литературы, художеств, музыки, театра, а также общественными деятелями, уполномочены были подать издателю «Нивы», А. Ф. Марксу, писатели Гарин-Михайловский и Ашешов и добиться от него определенного ответа к моменту юбилейного чествования.

Вот подлинный текст этого письма к Марксу:

«В настоящий момент, когда вся Россия приготовляется праздновать четвертьвековой юбилей А. П. Чехова, с особенной силой выдвигается вопрос, которым в последнее время болезненно интересуется русское общество и товарищи Антона Павловича. Дело заклю-

чается в поразительном и недопустимом несоответствии между деятельностью и заслугами Антона Павловича перед родной страной, с одной стороны, и необеспеченностью его материального положения — с другой.

Двадцать пять лет работает А. П. Чехов, двадцать пять лет неустанно будит он совесть и мысль читателя своими прекрасными произведениями, облитыми живою кровью его любящего сердца, и он должен пользоваться всем, что дается в удел честным работникам,— должен, иначе всем нам будет стыдно. Создав ряд крупных ценностей, которые на Западе дали бы творцу их богатство и полную независимость, Антон Павлович не только не богат — об этом не смеет думать русский писатель,— он просто не имеет того среднего достатка, при котором много поработавший и утомленный человек может спокойно отдохнуть без думы о завтрашнем дне. Иными словами, он должен жить тем, что зарабатывает сейчас — печальная и незаслуженная участь для человека, на которого обращены восторженные взоры всей мыслящей России, за которым, как грозный укор, стоят двадцать пять лет исключительных трудов, ставящих его в первые ряды мировой литературы. Совсем недавно, на наших глазах, маленькая страна, Польша, сумела проявить дух великой человечности, щедро одарив Генриха Сенкевича в его юбилейный год,— неужели в огромной России Антон Павлович будет предоставлен капризу судьбы, лишившей его законнейших его прав?..

Нам известен ваш договор с А. П. Чеховым, по которому все произведения его поступают в полную вашу собственность за 75 000 рублей, причем и будущие его произведения не свободны: по мере появления своего они поступают в вашу собственность за небольшую плату, не превышающую обычного его гонорара в журналах,— с тою только огромной разницей, что в журналах они печатаются раз, а к вам поступают навсегда. Мы знаем, что за год, протекший с момента договора, вы в несколько раз успели покрыть сумму, уплаченную вами А. П. Чехову за его произведения: помимо отдельных изданий, рассказы Чехова, как приложение к журналу «Нива», должны были разойтись в сотнях тысяч экземпляров и с избытком вознаградить вас за все понесенные вами издержки.

Далее, принимая в расчет, что в течение многих десятков лет вам предстоит пользоваться доходами с сочинений Чехова, мы приходим к несомненному и печальному выводу, что А. П. Чехов получил крайне ничтожную часть действительно заработанного им. Бесспорно нарушая имущественные права вашего контрагента, указанный договор имеет и другую отрицательную сторону,— не менее важную для общей характеристики печального положения Антона Павловича: обязанность отдавать все свои новые вещи вам, хотя бы другие издательства предлагали неизмеримо большую плату, должна тяжелым чувством зависимости ложиться на А. П. Чехова и, несомненно, отражаться на продуктивности его творчества. По одному из пунктов договора Чехов платит неустойку в 5 000 рублей за каждый печатный лист, отданный им другому издательству. Таким образом, он лишен возможности давать свои произведения даже дешевым народным издательствам. И среди копеечных книжек, идущих в народ и на обложке своей несущих имена почти всех современных писателей, нет книжки с одним только — дорогим именем А. П. Чехова.

И мы просим вас, в этот юбилейный год, исправить невольную, как мы уверены, несправедливость, до сих пор тяготевшую над А. П. Чеховым. Допуская, что в момент заключения договора вы, как и Антон Павлович, могли не предвидеть всех последствий сделки, мы обращаемся к вашему чувству справедливости и верим, что формальные основания не могут в данном случае иметь решающего значения. Случаи расторжения договоров при аналогичных обстоятельствах уже бывали — достаточно вспомнить Золя и его издателя Фескеля. Заключив договор с Золя в то время, когда последний не вполне еще определился как крупный писатель, могущий рассчитывать на огромную аудиторию, Фескель сам расторг этот договор и заключил новый, когда Золя занял во французской литературе подобающее ему место. И новый договор дал покойному писателю свободу и обеспеченность.

Для фактического разрешения вопроса мы просим принять наших уполномоченных: Н. Г. Гарина-Михайловского и Н. П. Ашешова.

Подписали бумагу: Федор Шаляпин, Леонид Андреев, Ю. Бунин, И. Белоусов, А. Серафимович, Е. Гос-

лавский, Сергей Глаголь, П. Кожевников, В. Вересаев, А. Архипов, Н. Телешов, Ив. Бунин, Виктор Гольцев, С. Найденов, Евгений Чирков».

Были все основания считать, что успех переговоров обеспечен, и освобождение Чехова казалось уже почти фактом.

Не вспомню теперь, как именно произошло все это: показали ли Чехову копию письма или вообще передали ему о предполагаемом обращении к Марксу по поводу его освобождения, но только вскоре выяснилось, что дальнейшие подписи собирать не надо, потому что Антон Павлович, узнав про письмо, просил не обращаться с ним к Марксу. Не ручаюсь за достоверность, но вспоминается мне, что говорилось тогда приблизительно о таких словах самого Антона Павловича при отказе:

— Я своей рукой подписывал договор с Марксом, и отрекаться мне от него неудобно. Если я продешевил, то, значит, я и виноват во всем: я наделал глупостей. А за чужие глупости Маркс не ответчик. В другой раз буду осторожней.

Тем дело и кончилось. Подлинное письмо с писательскими автографами задержалось и осталось у меня вместе со списком, к кому идти за дальнейшими подписями. Среди этих намеченных лиц значились: В. О. Ключевский, С. А. Муромцев, Ф. Н. Плевако, В. И. Сафонов, А. П. Ленский и многие из тех популярных в то время людей искусства и науки, кого теперь давно уже нет на свете. Да и из числа подписавших бумагу осталось в живых не более двух-трех человек.

Подлинник этого письма со всеми автографами я передал в свое время в Чеховскую комнату при Публичной библиотеке — ныне Государственная библиотека СССР имени Ленина,— где он теперь и находится.

В московском Художественном театре пьеса Чехова «Дядя Ваня» имела колоссальный успех. Никто, однако, не мог воссоздать рассказами ни сценических образов, ни передать Чехову действительное впечатление от исполнения и постановки пьесы. Надо было показать этот спектакль ему самому, чтобы он мог

оценить и почувствовать его. И Художественный театр избирает местом своих гастролей именно Крым и едет в Севастополь с намерением показать «Дядю Ваню» своему любимому писателю.

Лично я не был свидетелем этого севастопольского спектакля, так как жил в то время в Ялте, но вскоре слышал от самого Антона Павловича, что он был очень доволен и тронут, хотя из присущей ему авторской скромности и не выражал этого открыто.

После гастролей артисты переехали в Ялту на отдых, где съехалось и жило в то время немало писателей. Помню, был Горький с семьей, Елпатьевский, Мамин-Сибиряк, Куприн, Найденов, Бунин, Скиталец.

На другой же день по приезде труппы Художественного театра в городском саду был устроен товарищеский обед, на котором участвовали артисты и писатели. Все перезнакомились, и это было началом крепкого сближения театра с Горьким, у которого уже созревал тогда план пьесы «На дне». Осенью пьеса была закончена и прочитана на «Среде», а затем поставлена в Художественном театре. Сначала она называлась «На дне жизни» и под этим заглавием была напечатана за границей.

Чехов и Художественный театр всегда были близки друг другу. С самого возникновения театра и до смерти писателя эти близость и дружба росли, а взаимное понимание и уважение крепли. Как драматург Чехов был угадан, понят и разъяснен только одним Художественным театром. Его пьеса «Иванов» и прообраз «Дяди Вани» — «Леший» ставились в свое время на сценах Москвы: у Корша, у Абрамовой, но холодок среди зрителей и недоумение сопровождали эти постановки, а после знаменитого петербургского провала «Чайки» участь драматурга Чехова, казалось, была решена бесповоротно.

Но Художественный театр в 1898 году, в первый же год своей жизни, решил показать — по-своему — «Чайку». Он твердо верил в то новое, что давала никем не понятая чеховская пьеса, верил и в то, что хотел сказать этой пьесой сам театр. Победа была полная, потрясающая, восторженная.

Весь Чехов как драматург был показан и раскрыт Художественным театром: «Чайка», «Дядя Ваня», «Иванов», «Три сестры», «Вишневый сад» и даже ин-

сценировки некоторых рассказов, в виде миниатюр, ставились на сцене МХТ.

Известно, что Л. Н. Толстой, любя и уважая А. П. Чехова как писателя и как человека, к пьесам его относился отрицательно, хотя и приходил их смотреть.

В 1900 году 24 января Лев Николаевич видел в Художественном театре пьесу А. П. Чехова «Дядя Ваня». По окончании спектакля он был за кулисами, где расписался в книге почетных посетителей и, между прочим, обратясь к артисту А. Л. Вишневскому, сказал ему шутя:

— Хорошо вы играете дядю Ваню. Но зачем пристаете к чужой жене,— завели бы себе свою скотницу.

Случай этот не выдумка, а удостоверен театром. Очень характерно здесь то, что Л. Н. даже в шутке остался верен своим тогдашним взглядам и не зря употребил слово «скотница».

Как относился Художественный театр к творчеству Чехова, ясно видно из речи Станиславского на десятилетнем юбилее театра. Он говорил: «От Чехова из Ялты прилетела к нам «Чайка»; она принесла нам счастье и указала новые пути в нашем искусстве». А в речи Немировича-Данченко, обращенной к Чехову на премьере «Вишневого сада» в 1904 году, это отношение высказано еще более определенно. Как сейчас, вижу Антона Павловича, смущенно стоящего на сцене МХТ при открытом занавесе под гром и бурю аплодисментов на премьере его последней пьесы. Ему подносят цветы, венки, адреса, говорят речи, а он смущенно молчит и не знает, куда глядеть. А Немирович-Данченко говорит ему от лица всего МХТ:

«Наш театр в такой степени обязан твоему таланту, твоему нежному сердцу, твоей чистой душе, что ты по праву можешь сказать: „Это — мой театр!"»

Никаких сомнений нет и в том, как относился сам Чехов к Художественному театру. В одном из его писем значится: «Художественный театр — это лучшие страницы той книги, которая когда-либо будет написана о современном русском театре».

Последняя наша встреча была в Москве, накануне отъезда Чехова за границу. Случилось так, что я зашел к нему днем, когда в квартире никого не было,

кроме прислуги. Перед отъездом было много всяких забот, и все его семейные хлопотали без устали.

Я уже знал, что Чехов очень болен,— вернее, очень плох, и решил занести ему только прощальную записку, чтобы не тревожить его. Но он велел догнать меня и воротил уже с лестницы.

Хотя я и был подготовлен к тому, что увижу, но то, что я увидел, превосходило все мои ожидания, самые мрачные. На диване, обложенный подушками, не то в пальто, не то в халате, с пледом на ногах, сидел тоненький, как будто маленький, человек с узкими плечами, с узким бескровным лицом — до того был худ, изнурен и неузнаваем Антон Павлович. Никогда не поверил бы, что возможно так измениться.

А он протягивает слабую восковую руку, на которую страшно взглянуть, смотрит своими ласковыми, но уже не улыбающимися глазами и говорит:

— Завтра уезжаю. Прощайте. Еду умирать.

Он сказал другое, не это слово, более жесткое, чем «умирать», которое не хотелось бы сейчас повторить.

— Умирать еду,— настоятельно говорил он.— Поклонитесь от меня товарищам вашим по «Среде»... Хороший народ у вас подобрался. Скажите им, что я их помню и некоторых очень люблю... Пожелайте им от меня счастья и успеха. Больше уже мы не встретимся.

Тихая, сознательная покорность отражалась в его глазах.

— А Бунину передайте, чтобы писал и писал. Из него большой писатель выйдет. Так и скажите ему это от меня. Не забудьте.

Сомневаться в том, что мы видимся в последний раз, не приходилось. Было это так ясно. Я боялся заговорить в эти минуты полным голосом, боялся зашуметь сапогами. Нужна была какая-то нежная тишина, нужно было с открытой душой принять те немногие слова, которые были, несомненно, для меня последними и исходили от чистого и прекрасного — чеховского сердца.

На другой день он уехал.

А через месяц, в Баденвейлере, в ночь на 15 июля, когда все средства борьбы были уже исчерпаны, доктор велел дать больному шампанского. Но ведь больной был сам доктор и понимал значение этой меры.

Он сел и как-то значительно и громко сказал доктору по-немецки: «Ich sterbe»[1]. Потом взял бокал, повернулся лицом к жене и с улыбкой проговорил последние слова в жизни:

— Давно я не пил шампанского...

По словам жены, он покойно выпил глотками все до дна, тихо лег на левый бок и вскоре умолкнул навеки. Наступившую жуткую тишину ночи нарушила только ворвавшаяся в окно большая черная ночная бабочка, которая мучительно билась о горящие электрические лампочки и металась по комнате.

Когда ушел доктор, среди полной тишины и духоты летней ночи вдруг со страшным шумом выскочила пробка из недопитой бутылки шампанского...

Начинало светать. Вскоре запели утренние птицы...

А затем — торжественные проводы иностранцев и казенное принятие на границе гроба русскими властями, незнакомыми даже с именем Чехова... Непростительное, грубое и дикое назначение «вагона для устриц», в котором с этой самой надписью, варварской для настоящего случая, и прибыло в Петербург тело писателя, почти без всякой встречи благодаря перепутанным телеграммам. И только на другой день, уже в Москве, огромные толпы народа, запрудившие всю вокзальную площадь, переполненные депутациями с венками и цветами станционные платформы внушительно подчеркнули значительность потери.

Как близкого, как любимого и родного всей Москвой встретили мы и проводили Чехова до его могилы в Новодевичьем монастыре.

И вот начинается уже шестой десяток лет со дня его смерти, а имя Чехова становится все более и более славным, и не только на родине, среди нас, но и во всем культурном мире. Наша советская молодежь любит, уважает и много читает Чехова.

Творчество его многогранно, лирика поэтична, юмор его неисчерпаем, а вера в лучшее будущее человечества непоколебима.

«Глава о Чехове еще не кончена,— писал в свое время Станиславский.— Ее еще не прочли как следует, не вникли в ее сущность и преждевременно закры-

---

[1] Я умираю (*нем.*).

ли книгу. Пусть же ее раскроют вновь, изучат и дочтут до конца»,

И пора такая настала. Вся страна чтит память своего великого писателя, а любимая им Москва готовит ему достойный памятник на одной из лучших своих площадей.

Ровно тридцать лет пролежал в могиле на кладбище Новодевичьего монастыря цинковый гроб, прибывший с германской границы. При похоронах его засыпали сначала свежей землей, а сверх земли великим множеством цветов, зелени и лавров. Потом, через некоторый срок, поставили памятник.

И вот через тридцать лет без нескольких месяцев, 16 ноября 1933 года, в час дня, собралось возле могилы несколько человек. Здесь были немногие артисты Художественного театра — Книппер-Чехова, Москвин, Вишневский, были члены президиума Чеховского общества, фотограф, несколько родственников и знакомых. День выдался очень студеный, совершенно зимний, с колючим снегом и ледяным ветром.

Почти три часа потребовалось на то, чтобы отбить застывшую землю и выбросить ее на снег. Терпеливо и безмолвно стояли собравшиеся долгое время. Какое-то жуткое настроение мешало разговаривать. А землю все копали и копали под налетами сухого, жгучего ветра. Уже зимние ранние сумерки начали нависать, когда, наконец, дорылись до цинковой крышки и начали подводить канаты, а затем с немалыми трудностями вытянули из ямы на поверхность, на белый снег, сильно помятый серый гроб и поставили его на дровяные салазки, кое-как сколоченные из тесовых остатков. Но Москвин возразил:

— Нет, товарищи! Давайте понесем на руках.

И первый взялся за металлическую скобку гроба.

Так со старого, упраздненного кладбища в торжественном безмолвии перенесли мы на руках на новое кладбище того же бывшего монастыря прах писателя, туда, где Художественному театру отведена большая площадь, засаженная вишневыми деревцами, цветущими весною.

В этом «вишневом саду» была уже приготовлена новая могила, вблизи аллей с могилами артистов, а также писателей, умерших за последние годы; сюда

же перенесен был недавно из бывшего Данилова монастыря прах Гоголя.

Молча подошли мы к новой — второй — чеховской могиле. Гроб стоял уже на помосте, и через минуту его начали опускать. Быстро и безмолвно засыпали яму, над которой вырос небольшой земляной холмик. В торжественном молчании прошло несколько минут у этого нового холмика. Жесткой снежной крупой быстро стал покрываться он, точно белой пеленою. Затем все молча разошлись по своим делам, по своим домам. Ранние зимние сумерки нависли над городской окраиной серою дымкой.

Возвращаясь с кладбища, я вышел из трамвая у памятника Пушкину. Я остановился перед ним и невольно снял с головы на минуту шапку. Мне подумалось: «От одного великого писателя — к другому великому писателю...»

И вспомнились мне тогда слова третьего великого писателя, Льва Николаевича Толстого, который со свойственной ему серьезностью и определенностью говорил:

— Чехов — это Пушкин в прозе!

## *Максим Горький*

С Алексеем Максимовичем я был знаком на протяжении тридцати семи лет, начиная с 1899 года, когда он — для многих еще загадочный тогда Максим Горький — писал в «Нижегородском листке».

«Вокруг нас закипает жизнь, пробуждаются новые сознания, возникают новые смелые задачи, нарождается новый человек, он же читатель,— пытливый и жадный до книги. Этот читатель требует ответ на коренные вопросы жизни и духа, он хочет знать, где правда, где справедливость, где искать друзей, кто враг».

Его рассказы — бодрящие и непокорные, облеченные в красивую, яркую форму, с загадочной, как и он сам, заманчивой перспективой, насыщенной буйной волей и уверенностью, что человек — все может! — эти рассказы являлись как нельзя более кстати в то нелепое и гнетущее время, когда люди начали повсюду искать выхода из-под тяжелой пяты абсолютизма. Чем сильнее и продолжительнее гнет, тем сильнее желание от него освободиться; чем безвыходнее положение, тем настойчивее ищется выход. Общественные условия девяностых годов были именно таковы: люди начали повсюду искать выхода; учащаяся молодежь, рабочие, писатели, земцы, служащие — все настраивались на протест.

Успех, бешено растущий, сопровождал первые шаги молодого писателя. Его необычная биография многим казалась невероятной и выдуманной. Одни при-

ветствовали в нем действительную силу народную — «мощь от недр», другие видели в нем подлинного босяка-краснобая, которому посчастливилось рассказать кому-то свои выдумки, а тот «кто-то» переделал их и преподнес в печати, одурачивая читателя этим «выдуманным» автором. Иные не верили ни в то, ни в другое и утверждали, что Горький — «беглый студент».

Как бы то ни было, но появление Горького в литературе произвело общественную встряску. Многие весело, а многие беспокойно зашевелились. Одни хвалили, другие бранились, но то и другое почти в одинаковой степени содействовало успеху писателя и возбуждало к нему интерес.

В эту пору я с ним и познакомился.

Однажды зимою, в 1899 году, мне довелось быть проездом в Нижнем Новгороде. И вот, проходя по какой-то улице, я встретился с высоким молодым человеком, с длинными, почти по плечи, волосами. Он нес в руке несколько книг. Несмотря на мимолетность встречи, лицо его мне запомнилось. И лицо, и несколько сутулая фигура, и ясный взгляд.

На следующий день я прочитал в местной газете письмо в редакцию за подписью Максима Горького. Он обращался к жителям города с просьбой помочь устроить для детей бедняков каток на реке и просил присылать к нему на квартиру по указанному адресу коньки, ремешки, деньги. Пользуясь адресом, я и поехал к нему. Когда я позвонил, мне отпер дверь тот самый молодой человек, которого я встретил вчера на улице. Познакомились просто, без всяких предисловий. Он взял меня за руку,— а рука его была большая и крепкая,— и сам повел в комнату, вызвал жену, Екатерину Павловну, познакомил с нею, потом куда-то вышел и сейчас же вернулся с ребенком на руках, завернутым в теплое одеяло.

— А это вот Максим — сын мой,— сказал он с удовольствием и любовью.

Он вынул из-под одеяла маленькую теплую ручонку и подал мне, как бы знакомя нас обоих. Потом унес сына куда-то за стену и вновь вернулся ко мне. Стал расспрашивать меня о Москве, о молодых писателях, большинство из которых собирались в моей квартире каждую среду. Многих из писателей он уже

знал, о некоторых только слыхал. Очень заинтересовался нашим кружком и обещал быть у нас непременно, как только попадет в Москву, чтобы со всеми познакомиться.

— Как хорошо вы это устроили и живете, как и надлежит писателям, по-товарищески. Чем ближе будем друг к другу, тем трудней нас обидеть. А обижать писателей теперь охотников много.

Много и долго разговаривал с ним о Художественном театре, только что возникшем в Москве, о газете «Курьер», начавшей объединять литературную молодежь, об эксплуатации издателями писателей, о ближайшем и отдаленном будущем. И когда я ушел, мне казалось, будто я знаком с ним уже лет десять. На самом же деле я только тут узнал, что Максима Горького зовут Алексеем Максимовичем и что фамилия его — Пешков.

С того времени, приезжая в Москву, он всегда бывал у меня на наших «Средах».

Внешность его была весьма заметная: высокий, сухощавый, несколько сутулившийся; длинные плоские волосы, закинутые назад, почти до плеч, маленькие светлые усы над бритым подбородком, умные, глубокие глаза и изредка, в минуту особой приязни, очаровательная улыбка, чуть заметная. В речи его характерно выделялась буква «о», как у многих волжан, но это «о» звучало мягко, едва заметно, придавая речи какую-то особую самобытность и простоту, а голос был мягкий, грудной, приятный. Одевался он обычно в черную суконную рубашку, подпоясанную узким ремешком, и носил высокие сапоги.

Горький любил и очень высоко ценил А. П. Чехова. И вот, в связи с этим уважением к Чехову, разыгралась в ноябре 1900 года в Художественном театре шумная история. Случай достаточно известный, о котором многие рассказывали в воспоминаниях, но совершенно не так, как было это на самом деле, потому что свидетелем этого инцидента, кроме меня, никто из писавших не был. Одни утверждали, что это случилось в Крыму, во время гастролей, другие — что в Петербурге; иные рассказывали, будто Горький вместе с Чеховым сидели в буфете и что-то пили.

Дело было в Москве, осенью 1900 года, в первом помещении Художественного театра, в Эрмитаже, в

Каретном ряду. В этот вечер шла «Чайка», а вовсе не «Дядя Ваня», как описывают это многие так называемые «свидетели и очевидцы».

А. П. Чехов был в этот вечер не в публике, а за кулисами и приехал в театр только в конце второго акта. Ни в фойе, ни тем более в буфете не появлялся и с Горьким в течение всего спектакля не виделся.

Горький и я вдвоем сидели в директорской ложе, а в антрактах переходили в соседнюю небольшую комнату, где помещался тогда директорский кабинет Вл. И. Немировича-Данченко. Сюда нам подали чай. С первого же антракта к этому кабинету стали подходить театральные зрители, постукивать в дверь и все настойчивее и громче вызывать Горького. Тот недоумевал:

— Зачем они вызывают меня, когда идет пьеса Чехова?

Но возгласы за дверью становились все настойчивее. В третьем антракте вызовы перешли уже в громкий рев: «Горь-ко-ва!!.»

Дверь, наконец, насильственно распахнули. Весь коридор был полон народа. Загремели аплодисменты, заликовали поклонники. Но Горький не только не раскланялся в ответ, но решительно вышел из кабинета в толпу и резко спросил:

— Что вам от меня нужно? Чего вы пришли смотреть на меня? Что я вам — Венера Медицейская? Или балерина? Или утопленник? Нехорошо, господа! Вы ставите меня в неловкое положение перед Антоном Павловичем: ведь идет его пьеса, а не моя. И притом такая прекрасная пьеса. И сам Антон Павлович находится в театре. Стыдно. Очень стыдно, господа!

Газеты подхватили этот эпизод, перепутали факты, бранились за то, чего не было, обрадовались случаю свести направленческие счеты, так что мне, как единственному свидетелю всего инцидента, пришлось напечатать в «Курьер» письмо в редакцию с точным изложением факта, с утверждением, что речь Горького была обращена не ко всей публике театра, как пишут некоторые газеты, а только к той ее части, которая в течение антрактов шумела в коридоре, аплодировала и вызывала Горького на чеховском спектакле («Курьер», № 319, 17/XI 1900 г.).

«Спасибо, голубчик,— писал мне Алексей Максимович в ноябре того же года из Нижнего Новгорода, прочитав в газете это письмо.— Черт с ними. Пусть пишут, пусть ругаются и т. д. Я тоже буду писать и ругаться. От этого, кроме пользы для всех,— ничего не воспоследует. Как поживаете? Видите ли Андреева? Хочется мне, чтобы вы поближе к себе привлекли его — славный он, по-моему, и талантливый. Черкните парочку строчек, а я крепко жму вашу славную, дружескую лапу».

Однако реакционные газеты продолжали раздувать этот инцидент, рассматривая его как «выговор публике», как схватку писателя с обществом, и года два подряд в разных изданиях помещались карикатуры на Горького, то в виде Венеры или балерины, то в виде утопленника, а то — человека, сидящего за столом и положившего ноги на стол.

Об этом — о балерине, Венере и утопленнике — мне много раз приходилось читать и слышать, да и сейчас иногда приходится в разных воспоминаниях встречать самые нелепые выдумки. Описываются даже жесты Горького, будто бы сопровождавшие эту отповедь, рассказываются вымышленные подробности. Никто из писавших об этом не был свидетелем самого случая — говорили и говорят с чужих слов.

Помимо устройства катка для детей бедняков, о чем я говорил выше, Алексей Максимович устраивал в эти годы в Нижнем Новгороде знаменитые «елки» для детей из трущоб, организуя веселые праздники и зрелища для ребят, никогда не видавших и не знавших развлечений, и оделяя их подарками, башмаками, рубашками и штанами, а также книжками, сластями и едой.

«Спасайте. Ибо погибаю,— писал он мне в декабре 1900 года.— Успех прошлогодней моей елки, устроенной на 500 ребятишек из трущоб, увлек меня, и я в сем году затеял елку на 1000. Увы, широко шагнул. Отступать же поздно. Прошу, молю, кричу — помогите оборванным, голодным детям, жителям трущоб. Пожалуйста, собирайте все, что дадут: два аршина ситцу и пятачок, пол-аршина бумазеи и старые сапоги, фунт конфет и шапку — все берем. Все. Как бы только затея моя не проникла в газету...»

Позднее он пишет по поводу той же елки:

«За деньги, за книги — спасибо вам, дружище. Вы подарили 50 штук штанов из чертовой кожи, было бы вам это известно. Нет ли у вас еще «Елки Митрича» в отдельном издании? Эту вещь здесь часто читают на публичных чтениях, ребятишки ее очень любят и были бы рады получить в подарок...»

Когда впоследствии, в начале 1918 года, я пришел в издательский отдел ВЦИК и стал говорить о необходимости издать хоть несколько книг для детей и назвал «Конька-Горбунка», то случайно вошедший сюда Горький поддержал мое предложение и помимо «Горбунка» вспомнил о моем рассказе «Елка Митрича» и указал на него как на желательный. Обе эти книжки были приняты к изданию и вскоре напечатаны только что возникшим в тот год Госиздатом. Если не ошибаюсь, они были первыми книжками для детей при Советской власти.

Однажды Горький, приехав в Москву, привез к нам на «Среду» молодого человека, только что написавшего рассказ «Молчание». Рассказ произвел на всех хорошее впечатление, и автор был принят в состав «Среды», а через год имя его уже загремело в литературе. Это был Леонид Андреев.

Вскоре познакомил нас Горький и с другими молодыми писателями: Скитальцем, Серафимовичем, которые стали бывать у нас постоянно. Затем примкнули к нам и еще писатели, молодые в то время и очень заметные: Куприн, Найденов — автор нашумевшей пьесы «Дети Ванюшина», Вересаев, только что написавший книгу «Записки врача», о которой было так много споров по газетам.

Ранней весною 1900 года мы встретились с Горьким уже в Ялте. Он жил высоко, в половине горы, откуда открывался чудесный вид на море и на окрестности. Все цвело вокруг. Помню, в его квартире всегда бывало немало народа — писатели, молодежь, женщины. Одни приходили, другие уходили — и так во все часы дня. Не знаю, когда он принадлежал себе. Здесь же, в его квартире, жил в то время тот самый нижегородский нотариус А. И. Ланин, у которого Горький служил письмоводителем,— интересный, милый старик, относившийся к своему бывшему служащему с трогательным уважением и любовью. В этот период мы ежедневно встречались — то мы с

Буниным шли к нему, то он приходил к нам в гостиницу или в сад, и здесь я ближе узнал и оценил Алексея Максимовича с его редкой начитанностью, с его умом и широтою взглядов. О чем бы он ни заводил речь — все это дышало простотой и глубокой убежденностью, без показных фраз, без всякой рисовки. Было ясно, что взгляды его и надежды составляют самую сущность его натуры.

Бывало, небольшой писательской компанией навещали мы А. П. Чехова в его ауткинском доме.

Как-то раз, проходя по набережной Ялты мимо фотографии, Горький предложил Бунину и мне зафиксировать эти наши встречи, и мы снялись группою, которая передана мною в Литературный музей. А на своем личном портрете, тут же снятом, Алексей Максимович сделал очень приятную для меня надпись и подарил мне. Кроме того, в моей дорожной книжке, на память о ялтинских встречах, он написал мне следующий экспромт:

«Мало на свете хорошего! Самое хорошее — искусство, а в искусстве самое лучшее и самое благородное — искусство выдумывать хорошее.

*М. Горький. Ялта 1900 16 апреля»*

Вскоре в Ялту приехала труппа Художественного театра. Все перезнакомились, и с Горького было взято обещание написать для МХТ пьесу.

В 1901 году Горький был выслан из Нижнего в Арзамас и не мог бывать у нас почти с год. Но он писал оттуда, поддерживал всячески связь со «Средою» и со мною лично. В это время вышел наш товарищеский сборник «Книга рассказов и стихотворений», в котором принимал участие и Алексей Максимович. В связи с этим он писал мне:

«Из объявлений я узнал, что сборник вышел, и хочу просить выслать мне 5 экземпляров. Книги эти потребны мне для библиотек моих, а посему, если можно, не берите с меня денег или устройте скидку. Как живете? — Я — довольно сносно. Город Арзамас — тихий город и не мешает работать. Очень красивы окрестности. Хожу в лес по грибы и по ягоды. Снимаю за 35 рублей целый дом. Население в нем на 90% поднадзорное, что крайне волнует местное на-

чальство, не привыкшее, очевидно, к такому обилию неблагонадежных...»

Интересна его характеристика арзамасского житья-бытья:

«Городишко красивый и очень смешной, дикий. Приставили ко мне несколько шпионов, иные — дошлые — заходят поговорить «по душе», другие прогуливаются под окнами. Принимают меня здесь за фальшивомонетчика, и, когда я даю нищему серебряную монету, полицейский, стоящий против окон, отбирает ее у нищего и пробует зубом...»

Время наше было нелегкое и тревожное. Общественность давили, угнетали мысль и зажимали рты.

«Милый, хороший человек! — писал мне Горький в 1901 году.— Надо заступиться за киевских студентов. Надо сочинить петицию об отмене временных правил. Умоляю — хлопочите. Некоторые города уже начали. Обнимаю».

Письмо это, как после вскрытия министерских архивов стало известно, побывало сначала в руках жандармерии, было читано там, принято к сведению, зарегистрировано, а потом уже доставлено мне, без всяких видимых следов ознакомления с ним «недреманного ока».

Дело касалось нового студенческого устава и знаменитой «чистки» Киевского университета, когда 183 студента отданы были в солдаты по распоряжению правительства. Этот факт вызвал всеобщее возмущение и известную статью Ленина «Отдача в солдаты 183-х студентов» [1].

Вспоминается еще инцидент, но уже не с публикой, как было в Художественном театре, а с жандармами и с министерством внутренних дел, в ноябре 1901 года. Заболевший Горький переселялся из Нижнего Новгорода в Ялту. Путь лежал через Москву, где Горький должен был пробыть от утреннего поезда до вечернего. Это пребывание в Москве показалось кому-то опасным, и жандармы семью Горького пропустили в Москву, а его самого на товарной станции перед самой Москвой задержали, потом пересадили в другой вагон, поставили вагон с Нижегородской линии на курские рельсы, так как эти два пути здесь

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 4, с. 391—396.

перекрещиваются, и отогнали за полсотни верст в город Подольск.

В половине дня нам стало все это известно, и мы немедленно небольшой группой — Леонид Андреев, Бунин и я — поехали дачным поездом в Подольск узнавать, в чем дело. В числе поехавших одновременно с нами был Пятницкий, заведовавший издательством «Знание», и переводчик Горького на немецкий язык Шольц, нарочно приехавший из Берлина в Москву, чтоб увидать, как живут в России знаменитые писатели.

И увидал.

Впоследствии он прислал мне немецкую газету с подробным описанием всего нашего путешествия. Было стыдно, что читают об этом в Европе.

Сюда же, на свидание с Горьким, приехал и Ф. И. Шаляпин. Здесь, на платформе станции Подольск, мы все с ним и познакомились. Через минуту начальник станции с дежурным жандармом впустили нас в «дамскую комнату», где беспокойно шагал из угла в угол, заложив руки за спину, Алексей Максимович. Увидев в дверях первых двоих, он остановился вдруг и протянул вперед руки. За первыми показались двое других, потом остальные. Удивление и радость были в его глазах.

— Что семья? — было первым его вопросом.— Где они все?

Его успокоили: все в Москве, всех мы их видели сегодня. Они в квартире Скирмунта и ни в чем не нуждаются.

До обратного нашего поезда было времени часа три. Сидеть в дамской комнате было более чем неудобно, и мы решили поехать в город, отстоявший от станции минутах в десяти езды. Пришлось, однако, иметь разговор с жандармом.

Ныряя в широких санях по подольским ухабам, мы добрались среди зимних сумерек до какого-то ресторана, по словам извозчиков, «первоклассного» и лучшего в городе. Здесь отвели нам отдельный кабинет, в котором мы еле уместили свои шубы, навалив их кучами одну на другую на маленьком диване и на столе; но сесть нам, семерым, было уже совершенно некуда. Тогда отвели нам второй кабинет рядом с шубами, такой же крошечный. Здесь мы и устроились,

но так, что дверь в коридор пришлось оставить открытой, иначе все семеро мы не вмещались, а дверное отверстие занавесили скатертью — от любопытствующих.

Пока нам готовили чай, пока накрывали ужин, по городу уже прошел слух, что приехал Горький с писателями и что с ними — Шаляпин. И вот к вокзалу потянулись вереницы людей... А в «первоклассном» ресторане нашем происходило в это время следующее.

Только что мы устроились за занавеской и начали разговаривать, как до слуха нашего донеслось приближающееся звяканье шпор и мимо кабинета прошло несколько пар ног, что было видно из-под скатерти, не доходившей далеко до пола. Немец наш забеспокоился: что это значит? Затем, через минуту, не выдержал и вышел в коридор, откуда вернулся взволнованный и побледневший.

— Они роются в наших шубах,— в ужасе сообщил он.

Но ему спокойно ответили, что это у нас дело обыкновенное и что не стоит волноваться из-за пустяков: чему быть, того не миновать, как говорит пословица. А еще через несколько времени, робко приподняв нашу скатерть-занавеску, появился смущенный хозяин, кланяясь и извиняясь, с домовой книгой в руках. Он положил эту книгу на стол и просил всех нас расписаться: кто мы такие, откуда, где наши квартиры и как всех нас зовут, уверяя, что у них в городе такой порядок, чтобы приезжие писали о себе всю правду.

— Приезжий здесь один я,— вдруг заявил на это Шаляпин серьезно и строго.— А это мои гости. Такого закона нет, чтобы гостей переписывать. Давайте сюда книгу, я один распишусь в чем следует.

Не без трепета следил хозяин за словами, которые начал вписывать в его книгу Шаляпин. Увидев, наконец, что мучитель его — артист «императорских театров», облегченно вздохнул и успокоился.

Дело оказалось более сложным, чем мы предполагали, когда услышали об отцепке вагона. Ни для кого не было тайной, что Горький не «уезжал» в Крым, но «высылался» распоряжением губернатора из пределов Нижегородской губернии как человек опасный и влиятельный среди рабочих. Но что отъезд его из

Нижнего сопровождался совершенно исключительными условиями — этого знать мы еще не могли, так как произошло все это только вчера вечером.

В свое время Салтыков-Щедрин говорил: «Писатель пописывает, читатель почитывает, а чуть с писателем беда стрясется, читатель первый от него в подворотню шмыгнет». Но не так это стало в дальнейшем, ближе к нашему времени. Читатель не шмыгнул в подворотню, а пришел с протестом и защитой писателя, пришел с гневом и готовностью к борьбе за справедливую жизнь.

На вокзале в Нижнем Новгороде проводить писателя собралось большое количество молодежи: студентов, девушек, гимназистов и рабочих, которые громко выражали свое сочувствие и сожаление по поводу вынужденного отъезда, а затем запели хором «Дубинушку», «Обитель» и другие неприятные для начальства песни. Мало того, повсюду — по вокзальным комнатам, платформам и залам были разбросаны листовки, наскоро размноженные на гектографе:

«Мы собрались здесь провожать знаменитого любимого писателя М. Горького и выразить свое крайнее негодование по поводу того, что его высылают из родного города. Высылают его только за то, что он говорил правду и указывал на непорядки русской жизни. Мы выражаем свое негодование по поводу того, что у нас в России запрещают говорить правду, говорить, что народу живется у нас плохо. У нас запрещают писать в газетах о том, что всякие начальники грабят и обирают народ. У нас бьют нагайками студентов, которые заступаются за простой народ, и рабочих, которые хотят улучшить свое положение. У нас преследуют писателей, которые говорят правду и обличают начальство. Мы хотим и будем бороться против таких порядков».

Планы нижегородской молодежи были довольно широки. Имелось в виду оповестить все главнейшие пункты и города по пути следования Горького до Крыма, чтобы «путь борца за свободу человеческой личности был триумфальным шествием победителя».

Так ярко говорилось в прокламации. Однако генерал Трепов, московский обер-полицмейстер, успел раньше Москвы ознакомиться с планами нижегородцев. Это он распорядился отцепить вагон с Горьким

за версту до Москвы; по его распоряжению перегнали вагон на Курскую линию и остановили в Подольске; это он телеграфировал губернаторам тульскому, орловскому, курскому, харьковскому и симферопольскому о проезде Горького в Крым на предмет принятия мер против могущих быть демонстраций, чтобы проезд писателя действительно не обратился бы в триумфальное шествие.

В нашем подольском «кабинете» в общих чертах рассказал нам Горький о проводах, о «Дубинушке», о разбросанных прокламациях, но о дальнейшем он и сам ничего не знал. Подробности всего этого мы узнали только через семнадцать лет, когда Октябрьская революция вскрыла архив департамента полиции. Между прочим, в рапорте Трепова говорилось несколько слов и о нас:

«К сему надлежит присовокупить, что с дневным поездом Курской жел. дороги в Подольск отправились несколько человек литераторов, в том числе артист Шаляпин, которые и были единственными лицами, провожавшими в Подольске Горького».

Было это не вполне так, как доносил по начальству Трепов. Когда мы вернулись на вокзал, там был, вероятно, весь город Подольск.

На ступеньках вокзала нас снова встретили жандармы и хотя без обычных грубостей, но в очень определенном окружении проводили нас снова в «дамскую комнату», где мы и просидели безвыходно до прихода скорого поезда Москва — Севастополь, в котором ехала семья Горького и в котором без дальнейших инцидентов поехал он сам. Таким образом, весь смысл, вся премудрость подольской задержки сводились только к тому, чтобы не впустить опасного писателя в Москву хотя бы на полдня.

Поезд остановился здесь буквально на несколько секунд, очевидно, вне расписания, чтобы принять в определенное купе одного пассажира — Горького.

Алексей Максимович поднялся на площадку вагона и едва успел сказать нам спасибо за наш приезд, как взревел гудок, и поезд тронулся. Горький смог только крикнуть нам всем на прощание:

— Товарищи! Будем отныне все на «ты».

Этим и объясняется, что несколько писем ко мне были написаны, под впечатлением этой встречи, на «ты».

Когда с пригородным поездом мы возвращались в Москву, Шольц всю дорогу не мог успокоиться и все изумлялся.

В 1902 году Горький привез в Москву свою вторую пьесу — «На дне» — для Художественного театра. Первое чтение ее происходило у нас на «Среде». Читал сам Алексей Максимович. Читал очень хорошо и увлекательно для слушателей, особенно роль странника Луки. Читая, он сам увлекался. С хорошей, доброй улыбкой, весело говорил он за Луку, только что пришедшего в ночлежку босяков, с котомкой за плечами:

— Доброго здоровья, народ честной!

— Был честной, да позапрошлой весной,— сурово отвечает ему Бубнов, а Лука в ответ ему опять весело и ласково:

— Мне все равно, я и жуликов уважаю. Ни одна блоха не плоха: все черненькие, все прыгают. Так-то.

А иногда голос его начинал дрожать от волнения, и, когда Лука сообщил о смерти отмучившейся Анны, автор смахнул с глаз нежданно набежавшую слезу. Мечталось ему, очевидно, как это должно выйти на сцене, когда кто-то скажет:

— Дайте покой Анне, жила она очень трудно.

Многим тогда казалось, что слова Луки о страданиях Анны относились не только к Анне, но и ко всей измученной и истощенной царизмом России, ко всему трудовому народу. Так, по крайней мере, понимали его слезы некоторые свидетели этого чтения из мира артистического.

На этом чтении помимо своих было много приглашенных артистов и литераторов. Вспоминаются: В. И. Качалов, О. Л. Книппер-Чехова, писательницы Крандиевская, Вербицкая, Щепкина-Куперник, крупные журналисты, врачи, юристы, ученые, художники. Народа было множество: сидели на подоконниках, стояли в других комнатах, где было все слышно, но ничего не было видно. Чтение происходило в квартире Леонида Андреева. Успех был исключительный. Ясно было, что пьеса станет событием. Так оно и случилось, особенно когда Лукою вышел на сцену Москвин, бароном — Качалов, Сатиным — Станиславский.

Цензура долго упрямилась и не разрешала пьесу к представлению, вымарывала текст, калечила его,

но все-таки, уступая общественному натиску, разрешила играть исключительно в Москве и только одному Художественному театру, причем роль полицейского пристава вычеркнула совсем из пьесы; однако после дополнительных хлопот Немировича-Данченко цензор прислал из Петербурга в театр за неделю до первого представления следующую любопытную телеграмму, хранящуюся в музее театра: «Пристава без слов выпустить можно».

Фраза же городового Медведева, что «бьют для порядка», так и не могла тогда прозвучать со сцены, как и многое-многое из яркого горьковского текста.

Когда автора кто-то из актеров спросил: чего хотелось бы ему достичь, передать и внушить зрителю, Горький ответил про этих зрителей:

— Чтобы, понимаете, хоть взбудоражить, чтобы не так спокойно в кресле бы им сиделось,— и то уже ладно!

— Мало показать на сцене революцию только через толпы народа, идущего с флагами. Надо показать революцию черед душу человека — действующего лица.

Приблизительно так говорил впоследствии Станиславский. В пьесе «На дне» именно это и было если еще не показано, то, во всяком случае, задумано и определенно намечено.

Вспоминается совершенно исключительный успех этой пьесы на первом ее представлении в декабре 1902 года. В публике много видных писателей, артистов, художников, общественных деятелей, популярных профессоров и известных критиков. В ролях выступают самые любимые, самые видные артисты МХТ: Станиславский, Москвин, Качалов, Книппер-Чехова, Лужский, Андреева, Вишневский, Грибунин... Связь зрительного зала со сценой установилась с первой же минуты, с первого слова: «Дальше!», сказанного бароном (Качаловым). Каждая дальнейшая фраза артистов, каждое новое появление действующих лиц упрочивало эту живую связь. Хочется привести в свидетели самого К. С. Станиславского, который писал, что спектакль этот имел «потрясающий успех». Автор был вызван свыше двадцати раз.

По окончании спектакля Горький пригласил всех участвовавших, а также многих писателей и друзей

на ужин в ресторан «Эрмитаж». Собралось человек около ста. У всех приподнятое настроение, все радостны, все поздравляют друг друга. Во время ужина, растроганный чудесным исполнением, Горький подходил к артистам, чокался с ними и, почти сквозь слезы радости, говорил им шутливо:

— Черти вы этакие, как вы хорошо играли!

Качалов не оставил этого без отклика и тоном барона из «Дна» громко отозвался:

— Дальше!..

Но Москвин сейчас же возразил, тоже из пьесы, тоном Луки:

— Ты погоди, милый, не в слове дело, а почему слово говорится...

И пошли цитаты во всех концах зала из только что сыгранных ролей, в ответ на приветствия автора.

Вечером под новый, 1943 год исполнилось 40-летие постановки «На дне». Пьеса шла в Художественном театре уже в 1067-й раз. По этому поводу в фойе МХАТ была организована юбилейная выставка; в ролях выступали некоторые артисты, как Москвин, Качалов, Книппер-Чехова, исполнявшие эти же роли сорок лет тому назад на первом представлении. А в дни десятилетия смерти Горького, в 1946 году, пьеса «На дне» прошла в МХАТ в 1207-й раз.

Алексей Максимович был человеком широкой инициативы, умевшим проводить эту инициативу в жизнь и подбирать для этого подходящих людей. Одним из его замечательных начинаний было книгоиздательство «Знание», где Горький был не только инициатором, но и душою всего дела.

Некоторым, вероятно, еще памятны литературные сборники «Знание», так нашумевшие в свое время и сыгравшие заметную роль. Эти сборники зародились все в том же нашем кружке и впервые были составлены исключительно из рассказов наших товарищей по «Среде». За этими рассказами лично приезжал в Москву Горький. Он всегда признавал значение наших «Сред», даже через много лет по их прекращении, а в те, молодые годы — в особенности.

После личных бесед и обсуждений о характере сборников он писал мне из Ялты в 1903 году:

«Дружище Николай Дмитриевич, продолжая наш московский разговор, сообщаю: А. П. Чехов даст рас-

сказ для этого сборника, если выбор будет достаточно литературен. Мое мнение таково: не нужно гнаться за объемом, и строго выбирать участников. Если сборник составится из работ: Чехова, Андреева, Куприна, Юшкевича, Телешова, Горького, Скитальца, Серафимовича, Бунина и Чирикова, и если все эти лица постараются написать хорошие, крупные вещи, это будет литературным событием. Состав второго сборника можно будет расширить, пригласив еще новых участников».

Все подлинники цитируемых писем Горького я передал в Институт мировой литературы имени Горького, где они теперь находятся.

Вот содержание первой книги сборника «Знание»: Л. Андреев — «Жизнь Василия Фивейского», Ив. Бунин — «Чернозем» и стихи, В. Вересаев — «Перед завесой», Н. Гарин-Михайловский — «Деревенская драма», М. Горький — «Человек», С. Гусев-Оренбургский — «В приходе», А. Серафимович — «В пути», Н. Телешов — «Между двух берегов».

В книге было 325 страниц, и стоила она один рубль. Авторам был выплачен гонорар, весьма повышенный по тогдашнему времени — чуть не втрое обычных журнальных норм. И, несмотря на это, на первой странице сборника было объявлено, что из прибыли с настоящей книги отчисляется: тысяча рублей в распоряжение Литературного фонда, тысяча — Высшим женским курсам, тысяча — Женскому медицинскому институту, тысяча — Обществу учителей и учительниц на общежитие для детей, тысяча — Обществу охранения народного здравия на постройку детского дома и пятьсот рублей на Народную читальню в Кеми.

Объявление этих пожертвований произвело тогда потрясающее впечатление и на публику и на правительственные сферы.

Во второй книге участвовали: Куприн, Скиталец, Чириков, Юшкевич и А. П. Чехов, давший свою последнюю пьесу «Вишневый сад». И таких сборников вышло в общем около сорока.

Помимо сборников «Знание» издавало отдельными томами сочинения современных писателей, научные и научно-популярные книги, а также и произве-

дения иностранных авторов, как «Углекопы» Золя и другие, которые будили общественное сознание.

Издательство вело свои дела под флагом ярко выраженной защиты авторов от издательского гнета и кабалы по четко выраженному принципу: «Весь доход от издания книги принадлежит автору, а не издателю». Этого принципа, проведенного в жизнь Горьким в тяжелый капиталистический период, не должно забывать, особенно братьям-писателям, к которым Горький всегда относился с особым вниманием, с особой оценкой, с особой строгостью. Он первый начал создавать условия для освобождения писательского труда от эксплуатации издателей.

Однажды, года за два до издания сборников «Знание», у меня возникла мысль издать в огромном количестве дешевый сборник рассказов, в определенном подборе авторов, чтобы книжка страниц в двести — триста продавалась бы копеек за двадцать. Для этого, для первого опыта, нужно было просить товарищей дать не новые рассказы, а разрешить перепечатку из прежних произведений, рассеянных по журналам, чтобы не отягощать расходами первый выпуск.

Может быть, эта затея моя и побудила Горького к изданию знаниевских сборников. На мое предложение Алексей Максимович ответил не только согласием прислать рассказ, но и практическими советами. В письме от 2 декабря 1901 года он пишет мне:

«Разумеется, милый Н. Д., я согласен. С искренним удовольствием отдаю рассказ, и — по совести должен сказать тебе — великолепное дело ты задумал. Честь твоему сердцу, честь уму, ей-богу! Вот что: заголовок рассказа надо заменить так: «Преступники». Хорошо бы в этот сборник «Кирилку» запустить, как ты полагаешь? Только боязно, не пропустит цензура для такого сборника... Нельзя ли привлечь Серафимовича? А у кого издавать? Мой крепкий совет — валяйте у «Знания»! Константин Петрович обделал бы все это дешево и хорошо. А главное — фирма. Важно, чтобы это издание не проглотили рыночные крокодилы... Если книжка выйдет у «Знания», я поручусь, что она пойдет в деревню через земские склады, а не будет служить источником дохода для тех книжников, которые ныне соби-

раются раздавить земские склады тяжестью своих толстых мошен».

Через несколько недель, уже в 1902 году, Горький вновь интересуется этим дешевым сборником и пишет мне:

«Подожди решать вопрос о месте издания сборника. «Знание» может издать дешевле — это раз, лучше распространить — это два, а три — самое главное — фирма пользуется у публики и на рынке известным доверием».

Чехов тоже писал мне из Ялты в январе 1902 года:

«Ваше издание затея прекрасная, интересная, желаю полнейшего успеха и завидую вам...»

Не знаю почему, но Пятницкий не заинтересовался изданием книг в 300 страниц за 20 копеек, даже в виде пробы и опыта. Так это дело и тянулось многие месяцы, пока не погибло.

Вместо них через год появились сборники «Знание», которые расхватывались как магазинами, так и непосредственно публикой моментально. Успех был необычайный. Книжные магазины не только подписывались на них заблаговременно, но и упрашивали знакомых писателей помочь им подписаться, чтобы не пропустить очередь. Такого успеха книг я не запомню. Недаром некоторые журналы, модные в то время, как «Новый путь», «Весы» и иные, призывали декадентов на борьбу с знаниевцами. А «Весы» в 1905 году определенно заявляли, что сборники «Знание», расходящиеся в громадном количестве, принижают и развращают литературный вкус читателей, что все, любящие русскую литературу, должны бороться с влиянием этих сборников.

А Горький в это время твердил всем своим сотрудникам, что самый лучший, самый ценный, самый внимательный и строгий читатель наших дней — это грамотный рабочий, грамотный мужик-демократ. Этот читатель ищет в книге прежде всего ответов на свои социальные и моральные недоумения, его основное стремление — к свободе в самом широком смысле этого слова; сознавая смутно многое, чувствуя, что его давит ложь нашей жизни, он хочет ясно понять всю эту ложь и сбросить ее с себя, что цель литературы — помогать человеку понимать себя самого, под-

нять его веру в себя и развить в нем стремление к истине, бороться с пошлостью в людях, уметь найти хорошее в них, возбуждать в их душах стыд, гнев, мужество, делать все для того, чтобы люди стали благородно сильными...

Наш старший общий друг, писатель и врач, С. Я. Елпатьевский в своих воспоминаниях обрисовал Горького как мечтателя, все время думающего не о будничном, а о «сказочном».

«Вся окружающая жизнь преломлялась в нем не в своем будничном сером облике, а в чудесном, претворенном его необузданной фантазией сказочном образе. Так и писал он. Так и изобразил русскую жизнь».

Думается, что все это очень верно и метко сказано.

Вспоминается, как в 1905 году, в июне — июле, я принес Горькому для очередного сборника «Знание» рассказ, о котором он уже знал и просил поторопиться доставкой. Жил тогда Алексей Максимович рядом с гостиницей «Петергоф» на Воздвиженке (ныне ул. Калинина). Поднявшись высоко по лестнице, я позвонил и вошел в открывшуюся дверь. Был изумлен, когда в прихожей меня встретили два молодых человека восточного типа с пистолетами в руках.

— Вы кто? По какому делу?

Я сообщил. Один из них вышел и сейчас же вернулся вместе с Алексеем Максимовичем.

— Пойдемте, пойдемте,— говорил тот, улыбаясь и кивая на молодежь.— Это они все это выдумали.

Взял меня за руку и увел в столовую, где он завтракал вместе с М. Ф. Андреевой.

В то тревожное время молодые люди не зря придумали эту своеобразную охрану — повсюду только и было слышно о предстоящих погромах интеллигенции и в первую очередь о налетах на самых ярких вожаков надвигающейся революции. Черная сотня уже сучила кулаки, поджигаемая такими своими знаменитостями, как член Государственной думы Пуришкевич и бесноватый монах Илиодор.

Бегло полистав рукопись, Алексей Максимович улыбнулся:

— Вот так ловко! У вас полицейский и тот не вынес: повесился от существующего режима. Не знаю,

бывают ли такие полицейские, у которых бы совесть заговорила,— обычно они негодяи, но подразнить таким примером кого следует — очень, пожалуй, полезно. Эта ненадежность оплота кое для кого заноза теперь подходящая.

— А что вы скажете, если я напишу про черную сотню и выведу попа, который громит эту черную сотню и уходит в крамолу?

— А такие бывают?

— Почему не быть? Заштатный, всеми обиженный, нищий и голодный попик; нигде ему нет справедливости и защиты. А характер горячий и непокорный. Вот возмутился и ушел в крамолу, даром что поп. Хочется «постращать» им кого-то. Ведь попы были всегда оплотом самодержавия. И вдруг...

— Черт возьми! — задумался Алексей Максимович.— Пожалуй, ловко может получиться... Поп — в крамолу!.. Валяйте! За цензуру не беспокойтесь: Пятницкий устроит. Дуйте их в хвост и в гриву!

Вскоре я написал повесть «Крамола», которая и была напечатана в сборнике «Знание» в 1906 году.

Горький был уже в это время за границей. Сборник вышел как раз в то время, когда реакция торжествовала и в Москве готовилась, как кричали везде черносотенцы, «варфоломеевская ночь». Многие квартиры отмечались на входных дверях неведомо кем и когда меловыми крестами наподобие буквы «X», или по старинному наименованию — буквы «хер». И на моей двери однажды я увидал такой «хер», начертанный мелом, появившийся уже поздно вечером. Это было устрашением меня, было отместкой мне за черную сотню, осмеянную в «Крамоле». Но никакой «варфоломеевской ночи» черносотенцам так и не удалось устроить.

Однако рассказ, кроме сборника «Знание», нигде более не мог быть напечатан: его не пропускала цензура ни в очередной том сочинений, ни отдельной брошюрой, и он пролежал одиннадцать лет, вплоть до революции, когда снова был издан.

Горький всегда относился к своим сотоварищам более чем внимательно. Вот, например, отрывок из его письма ко мне с Капри от весны 1909 года.

«Николай Дмитриевич, дорогой. И. А. Бунин про-

читал мне ваше письмо к нему, и оно, вместе с рассказами о вас, вашей тоске по хорошей литературе успокоило меня относительно состава сотрудников сборника.

Значит, могу быть уверен, что не будет в нем ни спекулянтов на популярность, ни авантюристов, ни тех, кои смотрят на писательство как на отхожий промысел. Сообщите срок выхода сборника, состав редакции (в нем хотелось бы видеть обязательно вас и Ив. Ал.) и все ваши намерения. Рад я, что вы взялись за это дело и — да оживит, укрепит оно вашу душу... Мне было приятно узнать, как вы относитесь к современной литературной разрухе, и горестно, что вы низко оцениваете себя. Почто малодушествовать, сударь мой? Хотелось бы мне поговорить с вами о русской литературе в прошлом ее, где великих писателей было больше, чем мы насчитываем, и где так называемые историками литературы «второ- и третьестепенные писатели» были велики своим честным отношением к судьбам родины, к жизни народа, к литературе — святому делу их жизни...»

Хотя ко времени мировой войны «Среда» уже перестала существовать как таковая, но Горький не прерывал в отдельности со старыми товарищами по «Среде» своих отношений, и когда мне было поручено издать сборник в помощь воинам, томившимся в плену, он прислал, по моей просьбе, «Легенды о Тамерлане», которые и были мной напечатаны в альманахе.

В 1917 году, когда рухнуло российское самодержавие и власть перешла в руки самого народа, Горький писал мне:

«...Прежде всего — крепко обнимаю вас, старый товарищ! Вот и дожили мы до праздника Воскресения Руси из мертвых!..»

Жизнь и труды, взгляды и значение Горького знаменательны как для минувшего, так особенно и для нашего времени. Это истинный сын великого народа, свободолюбивый, ярко талантливый, неукротимо требовательный энтузиаст и в то же время трогательно простой и нежно внимательный товарищ. Горький приобрел мировую славу и мировое значение. Нет такой страны, хотя бы с зарождающейся культурой, где бы к голосу его не прислушивались народные массы.

Небывалые в мире великие события перевернули в нашей стране всю жизнь, не оставивши камня на камне от прежних устоев, и отразились на психологии людей всех стран, всего мира. И вот, когда жизнь после великих потрясений начала входить в новую нормальную колею, когда жизнь стала налаживаться по-новому, стали появляться и записки о прежнем времени, о прежнем житье-бытье писателей, о худом и хорошем, когда минувшее стало интересовать своей правдой, в журнале «Красная новь» появились мои первые очень краткие воспоминания о товарищах по «Среде», на что Горький прислал мне из Сорренто такие слова:

«Спасибо вам за присланную книгу, она очень оживила в памяти мои некоторые впечатления. «Воспоминания» читал, был тронут кое-чем, славная вы душа... Сильно мы пожили, не правда ли? Крепко жму вашу руку, старый хороший товарищ».

Максим Горький, еще в молодости своим голосом всколыхнувший Россию, отчетливо и ярко вписал давно свое имя на страницы истории русской литературы и русской общественности. Для нашего же времени это величайший пролетарский писатель и мыслитель, любимейший друг трудящихся, и эту мировую славу, эту великую любовь он завоевал долгими годами борьбы за счастливую жизнь народа.

Он стал родоначальником и руководителем советской литературы. Огромное значение для Горького имели его близость и дружественные отношения с Лениным.

«Какой умной, красивой становится жизнь! — говорил он восторженно незадолго до своей смерти.— Какие отличные люди воспитываются у нас!»

И все его произведения, начиная с самых ранних, пропитаны величественной мыслью освобождения и победы. И народная любовь к Горькому, к своему родному и великому Буревестнику, не померкнет никогда.

В 1951 году 10 июня в Москве, на площади Белорусского вокзала, при огромном стечении народа, был торжественно открыт памятник Алексею Максимовичу: бронзовая фигура на постаменте из красного гранита и золотая надпись: «Великому русскому писателю Максиму Горькому от Правительства Советского Союза».

## *Леонид Андреев*

За год или два до того, как вышла первая книжка рассказов Леонида Андреева,— а вышла она в 1901 году,— Горький писал мне из Нижнего Новгорода, что рекомендует и просит приютить и приласкать молодого начинающего писателя, Андреева, человека хотя и неизвестного, но очень милого и талантливого.

Вскоре после этого Горький приехал в Москву и в первую же «Среду» привез к нам Андреева.

Это был молодой человек с красивым лицом, с небольшой бородкой и черными длинными волосами, очень тихий и молчаливый. Одет он был в пиджак табачного цвета.

В десять часов, когда обычно начиналось у нас чтение, Горький предложил выслушать небольшой рассказ молодого автора.

— Я вчера его слушал,— сказал Горький,— и признаюсь, у меня на глазах были слезы.

Но Андреев стал говорить, что сегодня у него болит горло, что читать он не может... Словом, заскромничал и смутился.

— Тогда давайте я прочитаю,— вызвался Горький.

Взял тоненькую тетрадку, сел поближе к лампе и начал:

— Рассказ называется «Молчание»...

Чтение длилось около получаса.

Андреев сидел рядом с Горьким, все время не шевельнувшись, положив ногу на ногу и не сводя глаз

с одной точки, которую он выбрал где-то вдалеке, в полутемном углу. Но вряд ли он чувствовал в то время, что каждая прочитанная страница сближает с ним этих хотя и известных ему, но все же чужих людей, среди которых сидит он, точно новичок в школе.

Чтение кончилось. Горький поднял глаза, ласково улыбнулся Андрееву и сказал:

— Черт возьми, опять меня прошибло!

«Прошибло» не одного Алексея Максимовича. Всем было ясно, что в лице этого новичка «Среда» приобретала хорошего, талантливого товарища. Находившийся среди нас Миролюбов, издатель популярного в то время «Журнала для всех», подошел к Андрееву, взял у него тетрадку и убрал в карман. У Андреева глаза заблестели. Печатать у Миролюбова, в его журнале с такой хорошей репутацией и с громаднейшим количеством подписчиков и читателей, было не то, что появляться в «Курьере», скромной московской газете, где пока он работал.

Вскоре рассказ был напечатан.

Андреев с первого же вечера сделался в «Среде» своим человеком.

За «Молчанием» следовали другие рассказы, и все они проходили через «Среду». И «Жили-были», и «Сергей Петрович», и «Стена», и нашумевшая «Бездна»,— все было читано самим автором по черновым тетрадкам. И он выслушивал самые искренние отзывы как с похвалой, так и с возражениями. Однажды Андреев прочитал рассказ под названием «Буяниха» и получил такой дружный отпор, что при жизни Андреева рассказ этот нигде напечатан не был.

Как-то, лет через семь или восемь, когда Андреев был уже знаменит, я просил его дать для одного благотворительного сборника, в чем он мне никогда не отказывал, какую-нибудь вещь, а у него в то время ничего готового не было. Я вспомнил тогда про «Буяниху», когда-то единодушно отвергнутую «Средой», и написал ему об этом. Он отвечал мне следующим письмом:

«Рассказ я для тебя напишу, клянусь в этом потрохами того гуся, который спас Рим, но сделать это раньше конца октября не могу. «Буяниха» — та, кото-

рую ты, к сожалению, не забыл, есть позорнейшее явление в литературе, стыд и срам и поношение человека...»

Андреев прочно слился со «Средой». Он, кажется, не пропустил ни одного собрания, за исключением тех двух периодов, когда лежал в клинике и когда сидел в Таганской тюрьме. Всю первую зиму он приходил к нам в своем «рыжем» пиджаке, был как усердным чтецом, так и внимательным слушателем, был о себе скромного мнения и заработки имел тоже чрезмерно скромные.

К Горькому он относился всегда с необычайной нежностью и любовью. Он был буквально влюблен в него. Мало того, что он высоко ценил его как писателя и человека, он находил его красивее всех других — серьезной, мужской красотой,— а улыбку его — очаровательной и исключительной по ласковости и опять-таки — по красоте.

В конце зимы, когда у Андреева набралось уже несколько рассказов, ему захотелось издать их отдельной книжкой. Но это было очень нелегко. Как автора его знали только свои люди, до большой публики и даже до издательского уха его имя еще не долетало. Наконец, ухитрились познакомить его с одним очень крупным издателем (Сытиным), уговорили того взять эту небольшую книжечку. Из уважения к рекомендующим издатель взял, даже не читая: в большом корабле всегда найдется место для такого груза. Издатель выдал Андрееву гонорар — помнится, рублей пятьсот за всю книгу — и положил ее в запас, вернее — в безнадежный архив. Шли месяц за месяцем, а книжку и не думали сдавать в типографию. Андреев все ждал, все надеялся; он придавал большое значение для себя появлению этой книжки. И он был прав, как потом оказалось. Эта книга вывела его сразу на широкую дорогу. Помню, одно время его начинало смущать его собственное имя: Андреев.

— Хочу взять себе псевдоним,— говорил он,— да никак не придумаю. Выходит или вычурно, или глупо. Оттого и книжку мою издатель не печатает, что имя мое решительно ничего не выражает: «Андреев» — что такое Андреев?.. Даже запомнить нельзя. Совершенно безразличное имя, ничего не выражающее. «Л. Андреев» — вот так автор!

— Но ведь есть же писатель Никитин,— возражали ему.— Все его знают, ни с кем не смешивают. Почему не быть теперь писателю Андрееву?

— Никитин — это все-таки другое. А вот Андреев — не то.

Эти поиски псевдонима кончились тем, что решено было поставить на книге не «Л. Андреев», а «Леонид Андреев». Это казалось ему менее безличным.

Пока книжка его спокойно лежала у издателя, дожидаясь неведомо какой очереди или особо счастливого случая, в Петербурге возникло новое издательство — «Знание», во главе с Горьким и Пятницким. Конечно, рассказы Андреева оказались здесь очень желательными. И опять пошли к издателю те же лица хлопотать о том, чтоб издатель не выпускал книжку, и выручить обратно залежавшиеся черновики. К общему удовлетворению, издатель сам был рад, что не нужно будет печатать какого-то Андреева, тратить на него бумагу и хлопоты. В минуту разменялись договорами, отдали обратно пятьсот рублей, получили рукописи, и — прямым ходом на почту, в Петербург, в типографию.

Всякий молодой писатель, в первый раз в жизни печатающий свою книгу, знает, что это за наслаждение получать свежие корректурные листы из типографии, пахнущие скипидаром и краской. Нет на свете лучшего аромата, нет на свете никого в эти минуты счастливее автора. Переживал эту профессиональную радость и Леонид Николаевич, и, пока печаталась его книга, он не выкладывал из кармана новые оттиснутые листы; так и носил их с собой и в гости, и в театр, и на улицу.

Книжка Андреева, наконец, вышла. В ней было всего десять рассказов, и стоила она 80 копеек. Большие надежды возлагал на эту книгу Леонид Николаевич. Но того, что случилось, он не ожидал. Прежде всего он получил большое, очень хорошее письмо от Н. К. Михайловского, который приветствовал молодого автора, пророчил ему блестящую будущность и обещал написать о нем серьезную статью. Вскоре хвалебная статья появилась в «Русском богатстве» за полной подписью Михайловского, и этого было достаточно, чтобы литературный мир стал считаться с появлением нового крупного дарования. Имя Лео-

нида Андреева стало сразу известным и вскоре заблистало в литературе. Все журналы и газеты заговорили о нем. Книга его, что называется, «полетела». Потребовалось новое издание, которое вскоре и вышло, пополненное новыми рассказами, и в их числе вызвавшей в свое время скандальный шум «Бездной».

По поводу этой «Бездны» вокруг имени Андреева поднялся шум, визг, улюлюканье. Статьи «Нового времени» и Софьи Андреевны Толстой, громившие молодого писателя, только подливали масла в огонь, и об Андрееве и о «Бездне» заговорили все: кто — за, кто — против.

У Андреева была невеста, очень милая молодая девушка, курсистка, тоненькая, черненькая; звали ее Александрой Михайловной Виельгорской. Они появлялись всегда вместе: в театрах на новинках, в концертах. Это была заметная и красивая парочка. И вот однажды я нашел у себя на столе следующее письмо, оригинальное по тону, в котором чувствовалась радость счастливого человека:

«Милый друг! Будь моим отцом! Будь моим посаженным отцом. Свадьба моя 10-го (через три дня), в воскресенье. Посторонних никого, одни родственники — попросту. Голоушев — шафер. Будь моим отцом! Я прошу тебя: будь моим отцом! Если таковым быть окончательно не можешь, то приезжай в качестве друга. Доставь мне радость, приезжай. И еще прошу тебя, будь моим отцом. Будь моим отцом!»

И отцом его я был... Эта роль была не из трудных. За торжественным чайным столом, когда приехали «молодые», мать Андреева и я возглавляли присутствующих. К нам обращались за разрешением приветствий, пили за наше здоровье и вообще это было какое-то шутливое и очень веселое председательство.

Свадебный вечер был тоже очень веселый и простой. Леонид Николаевич был как-то внутренне радостен и необыкновенно покорен. Что ему говорили, то он и выполнял без возражения — что называется — без оглядки и с удовольствием.

Были и танцы. Андреева заблаговременно научили танцевать, и он танцевал вальс, польку и кадриль.

Между прочим, подойдя ко мне и глядя с улыбкой на танцующие пары, сказал:

— А что, отец, если всю нашу «Среду» выучить танцевать?.. Представь себе: вот так же, как эти, вдруг затанцуют Вересаев, Белоусов, Юлий Бунин, Серафимович. Представь себе: в вихре вальса вдруг несется мрачный Скиталец... Или Мамин-Сибиряк со своей неразлучной трубкой и с дымом. Очень занятно! Ты только вообрази это ясно!

Насколько я знаю, в семейной жизни Андреев был очень счастлив; правда — недолго. Александра Михайловна, которую было бы справедливо назвать его добрым гением, умерла после рождения второго ребенка. За эти недолгие годы Леонид Николаевич много и хорошо работал и упрочил за собой большое литературное имя. Появился «Василий Фивейский», прочитанный, как почти все андреевское, на «Среде», и с огромным успехом.

К этому времени возникла мысль издавать товарищеские сборники. Товарищество «Знание» также интересовалось этим, и первый сборник «Знание» за 1903 год был составлен весь из материалов «Среды»; рассказ «Жизнь Василия Фивейского» открывал сборник.

К этому времени Леонид Николаевич уже оставил свой рыжий пиджак — по его выражению, «коровьего цвета» — и стал появляться везде: в гостях, и дома, и в театре, в поддевке и высоких сапогах. Это дало мелкой прессе повод к зубоскальству. Начали вышучивать андреевскую поддевку и совершенно некстати рассказывать в печати об Андрееве всякие были и небылицы, нередко очень злые и обидные. Рассказывали, будто Андреев выпивает «аршин водки», то есть ставит рюмку за рюмкой на протяжении целого аршина и выпивает их без передышки одну за другой. Все это было, конечно, вздором и выдумкой. В другой газете напечатали, что писатель Андреев, «эта современная известность», по поводу юбилея Златовратского надменно и удивленно спросил: «А разве есть такой писатель — Златовратский? Я что-то не слыхал». И весь этот вздор говорился про человека, который не только «слыхал», но и постоянно встречался с Златовратским на тех же

«Средах» и одним из первых подписался под юбилейным адресом от «Среды».

Быстрый и широкий успех Андреева породил много недоброжелателей и завистников, которые по всяким поводам и под разными псевдонимами травили его из-за угла. Леонид Николаевич обычно отшучивался, но иные выходки задевали и обижали его. Но были и такие забавные и остроумные шутки, над которыми он сам же искренне потешался.

Он любил шутку, острое словцо, о чем свидетельствуют многие из его фельетонов в «Курьере», подписанные «Джемс Линч». Нередко он говорил:

— Меня почему-то зачислили в кандидаты самоубийц. Неправда все это. Я люблю жизнь, люблю радость.

Тем не менее рассказы его становились все мрачней и мрачней. «Василий Фивейский», «Доктор Керженцев», наконец, «Красный смех»... Когда он писал этот «Красный смех», то по ночам его самого трепала лихорадка, он приходил в такое нервное состояние, что боялся быть один в комнате. И его верный друг, Александра Михайловна, молча просиживала у него в кабинете целые ночи без сна, кутаясь в теплый платок, облегчая мужа своим присутствием и безмолвием.

Недаром же на пьесе «Жизнь человека», которую Андреев писал в 1906 году в Германии, незадолго до смерти Александры Михайловны, есть следующая трогательная надпись:

«Светлой памяти моего друга, моей жены, посвящаю эту вещь, последнюю, над которой мы работали вместе...»

Андреев, как я уже говорил, был очень предан «Среде» и всегда о ней заботился, привлекая интересных людей.

«Отец! — пишет он мне однажды.— Завтра соберется у меня народ, братия литературная. Будет Вересаев, желающий с тобой познакомиться,— приятнейший будущий член для наших «Сред». Приходи обязательно».

И Вересаев становится с той поры деятельным нашим товарищем.

«Отец! — присылает Андреев в другой раз коротенькую записку.— В Петербурге я говорил Королен-

ко, что «Среда» его ждет. Сегодня он приехал в Москву, но до среды остаться не может,— поэтому назначь «Среду» на понедельник».

И «Среда», хотя и в понедельник, провела с Короленко очень интересный вечер.

Однажды Андреев привез к нам новичка. Как в свое время его самого привез к нам Горький, так теперь он сам привез на «Среду» молоденького студента в серой форменной тужурке с золочеными пуговицами.

— Юноша талантливый,— говорил про него Андреев.— Напечатал в «Курьере» хотя всего два рассказа, но ясно, что из него выйдет толк.

Юноша всем понравился. И рассказ его «Волки» тоже понравился, и с того вечера он стал посетителем «Сред». Вскоре из него выработался писатель — Борис Зайцев.

Андреев любил «Среду», очень ценил ее отзывы, и не поделиться с нею новинкой было для него почти невозможно.

В Берлине Андреев расстался навсегда с своей знаменитой поддевкой и, по словам его шуточного письма, написанного немецкими буквами, ходил по городу «ин силиндер, унд рок, унд онэ борода».

Вот как описывает он сам свое отношение к «Среде».

«Милый мой Митрич,— писал он мне в 1906 году,— удрал я с совета нечестивых и сижу в Берлине; проживу зиму. Работать тут удобно, но без милого народа — скучно. Очень даже скучно. Как подумаешь про «Среды» и братию, что их нет, так тошно станет. Живу я здесь совершенно обособленно, и как-то не хочется обзаводиться новыми знакомствами: жалко старых, и не теряется надежда к ним вернуться. Рассчитываю очень много работать. На днях должна родить Шура — вот ближайшая забота... Напиши, как ты живешь, как настроение, дела, работа; много не пиши, не стоит, а немножко надо, чтобы уже совсем не порвалась связь. Жалко, что вся наша братия, и я в том числе, не любит писать писем; при заграничном житии получается полная оторванность от родины. Продолжая быть настойчиво членом «Среды», буду присылать тебе мои вещи для прочтения и обсуждения. На днях пришлю тебе две штуки: рас-

сказ «Елеазар» и пьесу «Жизнь человека». О первом можно и не говорить, но вторая вещь по форме новая,— опыт в некотором роде нового строительства пьесы. Поэтому я очень прошу тебя: сообщи, как отзовется «Среда». Ее советы и мнения всегда были мне важны, а в новом деле, в котором я еще сам иду ощупью,— наипаче. И прошу тебя особенно: да не узнают репортеры про «Жизнь человека». Предупреди товарищей, чтобы никому не передавали содержания, а рукопись храни у себя и выдавай только под расписку. Будет очень неприятно, прямо-таки вредно для пьесы, если газетчики заранее наболтают глупостей. Голоушев писал в свое время, что «Савву» читали очень плохо. Так скажи тому, кто будет читать в этот раз, что читать нужно, как книгу, без игры и особой выразительности. Просто читать и больше ничего. Скажи милым, что, кто может, пусть напишет пару строк о своем житье. Всех их я целую самым нежным образом,— просто скучно писать! Упрекни Зайчика, почему не отвечает мне, получил ли он мое письмо? Настроений не имею, ибо работаю. Когда прочитаю русскую газету, впадаю на некоторое время в меланхолию. Здоровье мое неважно. Литература — настраивает дела недурно. Вот не знаю, как в России встретят «Савву», а здесь вообще идет хорошо. Ставится и на будущем месяце пойдет в «Клейнер театре» «К звездам». В Вене Народный театр также ставит «К звездам». В другом венском театре, говорят, хорошо идет «Савва», о революции не буду писать ни слова по меньшей мере год. А может, и два. Плохо писать не стоит, а хорошо написать сейчас невозможно. Крепко тебя целую. Твой Леонид. Берлин, Грюневальд, вилла Кляра.— Хорошая, брат, вилла: живу прямо в райской местности. Зелень и цветы».

После смерти жены Андреев бывал в Москве только наездом, а жил сначала на юге, потом в Петербурге; потом, когда вторично женился, уехал в Финляндию, выстроил себе там дачу и уединился. Однако с некоторыми товарищами по «Среде» вел переписку и время от времени присылал нам свои новинки в рукописях: преимущественно пьесы — «Анатэму», «Царь-Голод» и другие.

«Поклон «старушке-Среде»,— писал он мне в 1909 году из своей Райволы.— Если захочешь видеть меня как меня,— выбери несколько деньков и приезжай погостить, буду чрезвычайно рад. Только в деревне я человек».

«Совсем я расхворался: что-то с нервами, что-то с сердцем, что-то с головой — все болит, и особенно распроклятая голова. С февраля и поднесь я не написал ни одной строки. «Анатэма» давно продан, и деньги давно получены, и денег тех уже нет — разошлись по долгам. Но что поделаешь, когда голова болит, и болит, и болит... Устал я».

Одно время пустили слух, что Андреев зазнался, что не помнит друзей и так далее. Конечно, как и раньше, все это было неправдой. Вот письмо ко мне от 1913 года, полное внимания и дружбы:

«Писал мне Белоусов, что ты был нездоров. Шлю тебе по этому поводу всяческое мое сочувствие и привет. Видимся мы редко, но словно мы с тобой друзья детства, так много места ты занимаешь в моей душе и сидишь там крепко. И всегда хочется видеть тебя и всегда чему-то веришь, чувствуешь как бы некоторую опору... Много я работал за этот год, устал. И вот уже четыре дня хвораю: плохо сердце, не выдерживает большой нагрузки, прогибается. Вообще — мерзкое здоровье, а грехов, кроме работы, нет никаких. Да еще разные подлецы подзуживают, подсиживают и нахаживают...»

Во всех его письмах за целый ряд лет, когда он не жил в Москве, всегда есть заботливые вопросы про Голоушева, Шмелева, Белоусова, Серафимовича, всегда находится несколько ласковых слов о «старушке-Среде» и о старых товарищах...

В разгаре первой мировой войны, когда мы задумали издать в Москве сборник «Клич», Андреев немедленно прислал нам свою «Младость»; в сборник для пленных прислал новый рассказ. Вообще всегда был отзывчив, внимателен и вел себя как добрый товарищ.

«Спасибо за «Клич»,— писал он мне в 1915 году.— Много хороших вещей... Бунин, как во всех последних вещах, идет на круглой пятерке. Но растрогал меня до слез — Тренев! Если знаешь его, скажи ему от меня, моей души спасибо!.. О, если б я был

здоров! Сейчас на мое обычное нездоровье сел сверху стрептококк. Ты его знаешь? Он хуже крокодила... Ах, хорошо бы собраться летом небольшой дружеской компанией в 4—5 персон и ахнуть в Соловки, на Белое море — или куда там!.. Сейчас во второй раз прочел Тренева — и опять реву, как белуга. Молодец!..»

В течение почти двадцати лет, когда я знавал Андреева, часто видал его и в обществе, и в семье, и на работе, я всегда знал его как человека с ласковой, хорошей душой, умного, интересного собеседника. За целый ряд лет отдавал он «Средам» много внимания и заботы, вносил много своего выдающегося дарования и делился с нами первыми почти всеми своими лучшими произведениями. В последний раз он читал нам своего «Сампсона». Дело было перед самой революцией. А затем события отделили его от нас. Он уехал к себе домой, в Финляндию, и оказался по ту сторону границы. Никаких писем, никаких сведений о нем у нас не было долгое время. Наконец, в 1919 году дошло до нас краткое газетное сообщение, что писатель Леонид Андреев умер от паралича сердца. Мало кто поверил в правдивость этого известия, хотя, конечно, ничего невероятного здесь не было. Почти целый год мы не верили, точнее — не хотелось нам верить в это. Но пришло время, когда сомнениям уже не стало места. Случилось это 12 сентября 1919 года.

Вспоминая Андреева, невольно вспоминаешь и сказанное им самим когда-то:

— Горька бывает порой, очень горька участь русского писателя. Но великое счастье — им быть!

## *Из народа и о народе*

*Н. Н. Златовратский.— Поэты из народа и «Суриковский кружок».— За Уралом: «Переселенцы» и «Под землей».— Д. Н. Мамин-Сибиряк.*

### I

В свое время, в восьмидесятых годах, имя Николая Николаевича Златовратского было очень громким и значительным. Его «Крестьяне-присяжные», его «Устои» — история одной деревни, его «Деревенские будни» читались с захватывающим интересом. Потом, как это бывало обычным в те жестокие времена, вышедшее собрание его сочинений было в течение двадцати лет под запретом к чтению в народных библиотеках и читальнях.

Впервые я увидел Златовратского в Москве на 25-летнем его юбилее, на который собрался весь цвет тогдашней интеллигенции. Колонный зал ресторана «Эрмитаж» и прилегающие комнаты были переполнены публикой. Было много носителей известных и славных имен из литературного мира, ученых, общественных деятелей, как московских, так и приехавших из Петербурга и из провинции, чтобы приветствовать этого прославленного «мужицкого поэта», как его называли, с искренним увлечением возводившего иногда заурядного деревенского человека чуть не в герои богатырского значения, одного из самых популярных писателей-народников, бытовика и мечтателя, действительного героя восьмидесятых годов, верившего в народные силы.

Характерно и ярко прозвучали слова привета от целой армии народных учителей и учительниц — этих незаметных, но значительных деревенских работников. Они говорили, как не раз казалось им, что гроз-

ная власть тьмы победит их, раздавит и уничтожит и от их упорной работы не останется даже следа. Не раз в их душе поднимались мучительные вопросы: нужны ли они здесь, в деревне, нужны ли их жертвы, их любовь, их больные тревожные думы? Нужны ли лучшие мечты их юности, их лучшие надежды и верования?

— Но перед вашей глубокой верой в лучшие стороны русского народа,— говорили они Златовратскому,— стихали сомнения наши и бессильно опустившиеся руки крепче держали светоч знания!

Многочисленные ораторы, приветствуя юбиляра и характеризуя его эпоху, невольно взвинчивали и поджигали один другого, и речи все смелее и свободнее раздавались почти до утра, захватывая внимание и сердца слушателей. Но обо всем этом, за невозможностью напечатать правдивый отчет, в газетах было скромно сообщено на другой день только то, что «дружеская беседа собравшихся затянулась далеко за полночь». Фраза эта с той поры стала крылатой и вошла в обиход, когда по цензурным условиям нельзя было печатать о том, что действительно говорилось и делалось в каком-либо общественном собрании. Так и понимать все стали: если напечатано в газетах, что «дружеская беседа затянулась далеко за полночь», это значило, что говорилось много такого, о чем напечатать немыслимо без риска отсидки или высылки, и ни у кого из редакторов не было охоты в таких случаях «стоять за правду». Недаром кто-то из тогдашних остряков сочинил стишки, где говорилось:

Это что — «стоять» за правду;
Ты за правду «посиди»!

Впоследствии, когда с Златовратским я был уже знаком и мы стали более или менее близки, бывая друг у друга, он, говоря однажды об обязанностях человека, так определял служение народу:

— Ничего не жалеть для его блага — ни жизни, ни благополучия. Руби сук, на котором сидишь.

Я начал встречаться с ним в конце девяностых годов в тихомировском кружке при журнале «Детское чтение» и в другом редакционном кружке — «Вестника воспитания», где Николай Николаевич писал критические статьи о новых журналах и книгах.

Его писательская слава была в это время уже «по ту сторону» жизни, а по «эту» сторону оставалась библиографическая работа, даже без подписи когда-то славного имени под напечатанными заметками и статьями. Одним из первых отзывов в печати о моих рассказах из быта крестьянских переселенцев в Сибирь, об ужасающих условиях в их длительном пути был отзыв Златовратского, которым он доставил мне, начинающему тогда писателю, огромную радость. В дальнейшем, уже значительно позднее, когда мы познакомились, он стал бывать на наших литературных «Средах», и я бывал у него на субботних вечеринках в обществе преимущественно писателей из народа и писателей о народе. К таким писателям Н. Н. относился всегда с особым вниманием и интересом.

Именно у него я и познакомился с целым рядом интересных людей, с писателями старыми и молодыми, выходцами действительно из народных масс. Это не были громкие имена, это были труженики литературы и скорее неудачники, но многих из них назвать бесталанными никак нельзя. Они впоследствии образовали свой литературный кружок, которому дали название «Суриковского» — в память поэта Сурикова Ивана Захаровича, выходца из крестьянских низов и, в силу нужды, торговца углем и старым железом, написавшего знаменательные строки:

Наши песни не забава,
Пели мы не от безделья,—
В них святая наша слава,
Наше горе и веселье.

Некоторых писателей из народа, уже печатавших свои работы по большим журналам, встречал я у Златовратского — как молодого Гаврилова Федора Тимофеевича, как Николая Артемьевича Лазарева, писавшего под псевдонимом «Н. Темный»,— но со многими познакомился позже, когда они очень ласково приглашали меня на свои литературные собрания, то малые, то весьма расширенные. На этих собраниях «Суриковского кружка» почти всегда присутствовал Златовратский. Люди эти, за немногими исключениями, мало были замечены при жизни, но они представляли группу, достойную какого-то внимания, хотя бы и запоздалого.

Старик Златовратский любил приютить у себя талантливую молодежь из народа, из рабочих. Те двое, о которых я уже сказал, Гаврилов и Лазарев, были обязаны ему как своим развитием, так и в дальнейшем своим участием в литературных изданиях. Гаврилов еще подростком начал работу в железнодорожных мастерских, потом перешел на службу в губернскую земскую управу; начал сотрудничать в «Детском чтении», где Соловьев-Несмелов, личный друг Сурикова и автор единственной его полной биографии, с обычной любовью давал ему возможность зарабатывать кое-что литературным трудом. Здесь, на редакционных собраниях, я встречался с Гавриловым и много раз слушал его простые, искренние стихи:

Шумят березки молодые,
И полной бодрости их шум
Рождает грезы золотые
Среди моих печальных дум.
И снятся мне в дали грядущей
Картины лучших, светлых дней,
Где ни нужды нет вопиющей,
Ни обездоленных людей.

Так писал он незадолго до смерти. Умер он в тридцатипятилетнем возрасте. Другой из молодых, Лазарев (Н. Темный), был тоже рабочим; его способности касались не только литературы, которую он чтил и любил, но проявлялись еще и в изобретениях по механике, в делах городского трамвая, где он служил монтером. Рассказы его были изданы в свое время «Посредником» и «Донской речью», но многие были уничтожены цензурой за вредное направление. Умер он тоже сравнительно молодым.

По поводу его смерти Златовратский говорил мне:

— Не могу без умиления вспомнить, как он, бывало, лет двадцать тому назад, после шестнадцатичасового труда в мастерской, чуть не ежедневно прибегал ко мне вечером, чтобы кое-что узнать по арифметике, а там и по литературе, прочесть наскоро набросанные им свои стишки, заметки, отвести душу в общей беседе, просиживая нередко до глубокой ночи, хотя ему надо было вставать по гудку уже к пяти часам утра. Да и это ли только вспоминается, когда образцы подобных тружеников с их стрем-

лениями к свету и правде встают передо мной. Придет время, и память об этих пионерах трудовой народной массы будет восстановлена во всей ее полноте.

В начале девятисотых годов наш литературный кружок «Среда» пользовался довольно широкой известностью и влиянием благодаря тому, что в него входили почти все крупные писатели из тогдашних молодых, начиная с Горького и кончая писателями старших поколений, как Златовратский, Мамин-Сибиряк, Чехов... Когда общество типографов стало собирать средства на устройство инвалидного дома имени друкаря Ивана Федорова для тружеников печатного дела, пострадавших на работе, или больных, старых и слабых, то обратились к «Среде» и лично ко мне, как представителю «Среды», с просьбой помочь им составить сборник в пользу этого дела. В качестве ответственного редактора я в свою очередь обратился к товарищам с просьбой дать рукописи. С такой же просьбой обратился я и к нашим старшим. Первым из всех откликнулся на это Златовратский.

— Давно уже не пишу ничего,— сказал он,— но для такого дела написать надо. С людьми печатного станка все мы, пишущие, связаны кровно. И обязаны им немало. А жизнь типографских рабочих трудная, и здоровье их часто пропадает на работе. Говорите, в какой срок, напишу обязательно.

Не только первым откликнулся Николай Николаевич, но и первую рукопись я получил именно от него. Как-то при разговоре о печатниках и о сборнике Златовратский начал вспоминать далекое свое прошлое, шестидесятые годы и год раскрепощения крестьян, когда он был еще пятнадцатилетним подростком и жил у отца в глухой провинции, в трехоконном домике на пыльной дороге, заросшей наполовину чахлой травой. И вот однажды весной перед этим домиком остановилась тройка, запряженная в громадный тарантас, из которого молодые люди — студенты — вынесли что-то большое и тяжелое, закутанное в войлок, и принесли в зальце. Все происходило торжественно и благоговейно. Это привезли из Москвы печатный станок.

— В то время великий подъем был в народе,— рассказывал Николай Николаевич.— Даже в глуши

захотели печатать брошюры и издавать свою газету. Ждали этого, как великого праздника. Губернатор обещал выхлопотать разрешение. Но пылкие головы поторопились. Разрешения еще не было, а уж типографию приволокли. Говорить о станке кому бы то ни было отец запретил.

Да молодой Златовратский и сам понимал это. И «вольный станок», как прозвали привезенный багаж, был великой семейной тайной, к которой все относились с трепетным уважением.

И вот однажды, рассказывает Николай Николаевич, к ним приехал из столицы сам «Бов» из «Современника». На него юноша Златовратский мог глядеть только в дверную скважину, когда тот говорил о делах со старшими.

Знаменитый «Бов» — это имя в семье было обаятельным.

В дверную щель Н. Н. увидел, наконец, этого «Бова» из «Современника», его молодое серьезное лицо и мягкие, глядевшие из-за очков глаза. Но вскоре «Бов» поднялся, протянул руку отцу и уехал — навсегда. Навсегда — потому, что вскоре пришла весть о смерти «Бова». По словам Златовратского, эта молодая, необычайно даровитая сила, едва только успевшая размахнуть свои духовные крылья, была уже отмечена неумолимой судьбой...

Этот лучезарный гость, этот великий «Бов» из «Современника» был Николай Александрович Добролюбов, портрет которого всегда висел в кабинете Златовратского, до самой смерти.

На этом «вольном станке», пока он находился в зальце захолустного домика, юноша Златовратский сам отпечатал свои первые стихи, забракованные отцом, но, впрочем, с оговоркой: «Не смущайся. С кем вначале промахов не бывает...»

Газету, конечно, не разрешили, и даже самому губернатору, хлопотавшему за газету, министр велел передать, что тот — «не в своем уме...»

Вот эту историю из своей юности — о встрече с Добролюбовым, о вольном станке, о деревенской типографии — и рассказал Златовратский в пользу рабочих печатного дела, и сборник под названием «Друкарь» был вскоре напечатан.

Златовратский был невысокого роста, кряжистый, длинноволосый и бородатый старик, с звучным теноровым голосом. В те годы, когда я знавал Златовратского, жил он не то что бедно, но всегда нуждался в деньгах, бывал иногда и в затруднительных условиях. Тот же Белоусов писал мне в 1902 году, в конце декабря, когда только что вышел один из наших товарищеских сборников и я послал Златовратскому гонорар за его статью:

«Я очень рад, что перед праздником благодаря вам доставлено Николаю Николаевичу большое удовольствие. Я только что вернулся от него. Когда я приехал к нему, он, совсем расслабленный, лежал в постели, а когда я вручил ему ваш конверт, он оживился, даже достал с окна графинчик, и мы выпили с ним по полторы рюмки. Как-то невольно Николай Николаевич начал вспоминать свою молодость, годы студенчества, настоящего голодного студенчества того времени, когда он давал уроки в Кожевниках у какого-то заводчика, и как этот заводчик дал ему за подготовку двух сыновей и дочери всего три рубля».

Под впечатлением горьковской пьесы «На дне» в Художественном театре, которую Златовратский признавал весьма значительной, он рассказывал иногда много и интересно о жизни богемы, которую хорошо знал и сам испытал на себе ее влияние. После неудачных педагогических заработков в Кожевниках он — дело было в молодости — начал сочинять разные прошения и защищал всякие дела у мировых судей в интересах «хитровцев» — ночлежников знаменитого московского Хитрова рынка, героев горьковского «На дне». Сочиняя прошения и защищая дела «бывших людей», Златовратский признается, что сам едва не погиб с ними, потому что все эти консультации производились в кабаках, а юридический гонорар выплачивался исключительно водкой.

К счастью, все это миновало, и литература перетянула из богемы на свою сторону крупную силу.

В заключение мне хочется напомнить слова самого Златовратского, сказанные им о себе на его сорокалетнем юбилее. Он верно, ясно и точно определил свою литературную деятельность в ответной речи, сказав, что он принадлежит «к той школе писателей, для которых писательство было религией», и что он

«счастлив, что отдал этому делу всю жизнь и все силы».

Под конец своей долгой трудовой жизни Златовратский был избран в почетные академики.

## II

Начиная с девяностых годов, мне довелось знавать многих так называемых «писателей из народа», а также их разновидность — «самоучек», как они любили сами себя называть. С некоторыми из них я встречался у Н. Н. Златовратского на его вечеринках, с иными у И. А. Белоусова; многих видал на их кружковых собраниях и слышал чтение их стихов; с некоторыми был лично знаком и переписывался, об иных знаю от их же товарищей, так что сказать о них несколько слов имею возможность, а не сказать о них ничего считал бы неправильным. За малыми исключениями все они были бедняками или тружениками, которые боролись с нуждой, боролись за каждый день своего существования, за каждую копейку и тем не менее увлекались литературой; они почитали глубоко и искренне больших писателей, стремились сами быть выразителями художественных настроений, поскольку им это позволяло весьма малое их образование. Многие из них действительно не проходили школьного обучения, потому и называли себя «самоучками», но иные были по образованию выше этого и к самоучкам не принадлежали.

В семидесятых годах поэтом И. З. Суриковым был издан сборник произведений писателей-самоучек под названием «Рассвет», на который, кажется, никем среди публики не было обращено надлежащего внимания. Но зато «надлежащее внимание» было обращено охранным отделением, которое при обысках и арестах заботливо отбирало «Рассвет», внесенный в списки запрещенных книг. Знал ли об этом сам Суриков и как относился к этому — остается пока неизвестным. И вот чуть ли не через двадцать лет нашлись охотники если не продолжить это дело, то попытаться начать что-либо подобное. Группа молодежи, именовавшая себя «писателями из народа», объединенная в частный кружок, приступила к изданию

сборника членов кружка под названием «Родные звуки». Во главе стояли Иван Алексеевич Белоусов и Максим Леонович Леонов. Они напечатали в 1889 году сборник в восемьдесят страниц при участии девяти авторов, среди которых были: Белоусов, Вдовин, Глухарев, Дерунов, Крюков, Козырев, Леонов, Лютов, Раззоренов и Слюзов. Книга так и называлась: «Родные звуки. Сборник стихотворений писателей-самоучек. Выпуск первый». Было и краткое, весьма характерное предисловие:

«Авторы настоящего сборника все писатели-самоучки, не получившие никакого образования, но своими собственными силами, без посторонней помощи пробившие себе путь на свет божий. Они, говоря словами поэта, «из очень многих, которых долей роковой — вся жизнь борьба с нуждою злой среди людей, умом убогих...» Их песни не плод фантазий, не вымысел ума,— они истинное выражение сердечных дум и чувств. Эти песни и думы отдаются на суд читающей публики без всякого притязания на литературное значение их. Сочувствие к настоящему сборнику может вызвать появление второго выпуска».

Года через два был издан и второй выпуск при участии авторов более или менее известных, как Спиридон Дрожжин, Яков Егоров, сельский учитель, печатавший свои стихи в «Русском богатстве», Николай Панов, автор популярной песни, распевавшейся народом: «Наша улица травою заросла, вся цветами-васильками зацвела». В 1902 году образован был уже официально «Московский товарищеский кружок писателей из народа», а в 1903 году он был переименован в «Суриковский литературно-музыкальный кружок».

Не только этих авторов, или, вернее, многих из них, я знавал и встречал, но знавал и предшественников их, современников Сурикова, как, например, Раззоренова Алексея Ермиловича, автора популярной песни «Не брани меня, родная», написанной еще в сороковых годах, которую десятки лет распевали в народе, не зная, кем она написана, и которая впервые была напечатана только через полвека, во втором выпуске сборника «Родные звуки»; как Савву Яковлевича Дерунова, писавшего в том же сборнике про Русь: «Есть где в тебе приютиться, есть чем в тебе

прокормиться, клад твой нетронут лежит, труд лишь его сторожит». Или Козырева Матвея Алексеевича: «Не беда — много лет на плечах, молод я с сединою в кудрях, не остыла в крови и отвага». Раззоренов родился в крестьянской семье, но еще в юности ушел из деревни, бродил по городам, торговал калачами, служил рабочим в театре, писал стихи и печатал их иногда по мелким провинциальным листкам и только под старость устроился в Москве в небольшой лавке под вывеской «Овощная торговля А. Раззоренова», где его навещал Суриков. Умер он в глубокой старости и перед смертью сжег все свои рукописи. Дерунов, тоже из бедняцкой семьи, был земским работником, печатался по небольшим изданиям и писал много стихов. Козырев — богатырь по сложению, сначала мелкий торговец в табачной лавочке, рядом с лавкой, где торговал старым железом И. З. Суриков; это соседство их и сблизило; в дальнейшем — автор многих стихов и рассказов из народного быта.

Знавал я и поэта Нечаева Егора Ефимовича, рабочего на стекольном заводе в Клину, писавшего о себе: «Только стон да бессильная злоба раба выливается в песне моей».

Я вспоминаю сейчас только о стариках, о современниках Сурикова, о родоначальниках кружка его имени, с которыми я встречался в конце их жизни. Вообще же писателей из народа становилось из года в год все больше и больше, и это было интересно уже тем, что все они любили книгу, пропагандировали ее в своих семьях, часто очень отсталых и грубых, среди своих знакомых и народа и так или иначе, несомненно, содействовали повышению общего уровня и вносили какой-то свет в густые сумерки. Приходилось встречать иногда человека лет через десять после первого знакомства. Он бывал неузнаваем; осведомленный, начитанный, мыслящий, он уже не поддавался более влиянию всяких «благодетелей рода человеческого» и разбирался сам, чего ему следует желать и что нужно делать.

Ведь после каждого удара редеет тьма, слабеет гнет,
И по полям родным и ярам народ измученный встает.

Так писал крестьянин Шкулев Филипп Степанович, поплатившийся за это тюрьмой.

Шкулев родился в конце шестидесятых годов, его мать была прачкой; в десятилетнем возрасте был отдан на фабрику, где вскоре потерял правую руку на машине, после чего служил в овощной лавке. В 1900 году появились его первые стихи в сборнике «самоучек» под названием «Наша хата», изданном таким же самоучкой-поэтом, Сергеем Васильевичем Лютовым, торговавшим спичками и ваксой и собиравшим у себя кружок «писателей из народа». Шкулев известен как автор очень популярной рабочей песни «Кузнецы», распевавшейся не только по деревням и городам, но и солдатами в окопах в мировую империалистическую войну:

Мы кузнецы, и дух наш молод.
Куем мы счастия ключи.
Вздымайся выше, тяжкий молот,
В стальную грудь сильней стучи.

В расцвете сил Шкулев пытался издавать газеты «Новая пашня», «Крестьянская правда», журнал «Рожок», но все его издания вскоре закрывались за «вредное» направление, а сам издатель-редактор попал в тюрьму и затем был сослан. Умер он уже стариком, при Советской власти, в 1930 году, окруженный вниманием и заботой.

Приблизительно ровесником Шкулева является крестьянский стихотворец Аниканов Степан Федорович, бывший когда-то подпаском, ходивший ребенком с матерью по миру, потом рабочий на фабриках, потом коридорный в гостиницах. Интересен он тем, что в возрасте шестидесяти лет решил, что «учиться никогда не поздно», и после Октябрьской революции поступил слушателем в Московский университет. Жизнь его обеспечена была персональной пенсией.

Люди различных дарований, все эти «самоучки» были искренни и трудолюбивы и нередко с большой стойкостью переносили превратности судьбы. Они высоко ценили слова своего предшественника, Ивана Захаровича Сурикова, сказанные им в свое время:

Когда ж ты, светлая свобода,
Во тьме светильник свой зажжешь
И массы темного народа
Ты к светлой жизни призовешь?

Иван Алексеевич Белоусов в юности своей был ремесленником, прошедшим лишь курс начального городского училища. Сын малограмотного портного, он жил в Зарядье, где узенькие и кривые переулки заселены были мастеровым народом.

Максима Леоновича Леонова я начал знавать тоже очень давно, чуть ли не с первых шагов его литературной жизни, когда он и Белоусов жили в московском Зарядье. Юноша Леонов взят был из родной деревни десятилетним мальчиком на помощь отцу, торговавшему в мелочной лавочке, а Белоусов помогал своему отцу портному. Оба юноши-соседи подружились, читали друг другу свои стихи, которые писались в строжайшей тайне от суровых родителей, считавших неприличным не только сочинять, но даже иметь в доме какую бы то ни было книгу, кроме духовной. Мало-помалу стихи их настолько окрепли, что стали появляться в печати и впоследствии выходили отдельными книжками.

Я не баловень судьбы, я мужик, простой рабочий:
Я родился для борьбы, для труда с утра до ночи,—

писал о себе Леонов. Или вот отрывок из характерного для поэта стихотворения «Завет», написанного на рождение его первенца-сына, Леонида, в настоящее время известного талантливого писателя Леонида Максимовича Леонова:

Знай,— ты крестьянином рожден, и этим век гордись;
Мой сын, ты будешь обречен трудиться — и трудись.
Мой сын, когда ты подрастешь, когда ты вступишь в свет,
То в нем ты множество найдешь народных нужд и бед;
Услышишь, стонет как народ, как голодает край,
Мой сын, тебя твой долг зовет, иди — и помогай!..
Мой сын, а если суждено тебе в столице жить
И, как отцу, судьбой дано певцом народным быть,
То в песнях пламенных твоих ты не криви душой...
Мой сын, пусть чист твой будет стих, как чист родник живой...

Впоследствии, увлеченный событиями 1905 года, М. Л. Леонов в издательстве «Искра» напечатал несколько брошюр, как «Пауки и мухи» Либкнехта, о борьбе труда с капиталом, сборник революционных песен и стихов и «За что борются люди, ходящие с красным знаменем». При наступлении реакции бро-

шюры были конфискованы, Леонов арестован и, по решению судебной палаты, приговорен к заключению в крепости, а затем был сослан в Архангельскую губернию. У меня хранится его приветственное письмо в день моего двадцатипятилетнего юбилея в 1909 году, с официальными тюремными клеймами на письме и на конверте.

Знавал я также хорошо и близко поэта Алексея Ивановича Слюзова — самоучку в полном значении этого слова. Он не только сочинял стихи, но и издавал их сам на последние гроши мелкими брошюрками, страниц по тридцать, и сам же торговал ими вразнос.

Вспоминается еще Михаил Андреевич Логинов, тоже выходец из народа, из приволжского села Тихий Плес, и писавший под псевдонимом «Тихоплесец».

Хорошо тебе петь, соловей!
Ты — свободная, вольная птица,
А вот я средь холодных людей
В этом мире томлюсь, как в темнице.

А в 1905 году он радостно восклицал:

Железные цепи расторгнул народ
И сбросил ярмо роковое...

Была у него повесть «Тимка Сыч», которую за революционное содержание арестовали и сожгли. Вскоре она опять появилась под новым заглавием «С берегов Волги» и подверглась той же участи, но автор не успокоился и издал ее в третий раз, назвав на этот раз — «Кама».

Внешностью своей он несколько напоминал А. М. Горького — больше потому, что носил похожие усы и длинные плоские волосы, одевался, как и тот, в черную суконную рубашку с ремешком и в высокие сапоги. Бывали случаи, что на улице мало осведомленные люди принимали Тихоплесца за Алексея Максимовича, и на этой почве происходили анекдотические недоразумения. Умер он уже давно — в 1912 году.

Одной из самых значительных и интересных фигур из группы самоучек и писателей из народа является Спиридон Дмитриевич Дрожжин, с которым я был знаком долгие годы и вел переписку. Он старше меня почти на двадцать лет. Родился в бедной крестьян-

ской семье, в верховьях Волги, учился у дьячка и двенадцатилетним подростком был отдан в Петербург на службу в так называемые «мальчики» в трактире за два рубля в месяц прислуживать гостям-извозчикам и угождать многочисленному начальству из трактирных старших служащих, часто пьяных, выносил оскорбления, побои и таску за волосы, если попадался на глаза за чтением какой-нибудь книжки.

Из всех тех писателей из народа, которых я знавал, не осталось в живых, если не ошибаюсь, уже ни одного человека. По разным кладбищам, преимущественно московским, рассеяны их безвестные могилы, и внешние признаки, как деревянные или железные кресты с их именами, давным-давно утрачены.

Невольно вспоминаются при этом некрасовские слова:

Где кресты — там мещане,
Офицеры, простые дворяне;
Над чиновником больше плита,
Под плитой же бывает учитель,
А где нет ни плиты, ни креста —
Тут, должно быть, и есть сочинитель.

Самым значительным кладбищем, на котором хоронили людей артистического, литературного и художественного мира, было Ваганьковское.

Там множество могил крупных и знаменитых артистов и деятелей сцены за сотню лет, а также немало литераторов, как известных, так и позабытых, но отдавших жизнь своему любимому делу.

## III

В семидесятых годах писатель А. И. Левитов напечатал книгу рассказов под названием «Горе сел, дорог и городов». Вот именно это заглавие, если б оно не было использовано, и хотелось бы взять для рассказа о том, что довелось мне увидеть более чем полвека тому назад и быть одним из очень немногих свидетелей, описавших с натуры эту невероятную жизнь на ходу сотен тысяч крестьян, из года в год переселявшихся из средних губерний в Западную и Восточную Сибирь в поисках счастья.

Сибирские впечатления, как бодрые и новые, так и жуткие, сыграли в моей литературной жизни огромную роль. Этим я, как уже говорилось выше, обязан настойчивости А. П. Чехова.

К осени я привез из-за Урала много материала, и передо мной с того времени открылись страницы наших лучших журналов. Своими глазами мне пришлось увидеть те жуткие картины народного терпения, о котором большинство из нас не имело даже приблизительного представления. Это — встречи с переселенцами в пути, которые навсегда остались в моей памяти и о которых без крайнего возмущения я не могу вспоминать даже теперь — более чем через полвека. Я был молод тогда, и впечатления воспринимались ярко и сильно.

Теперь, когда советские условия переселения в Сибирь из средней полосы страны облегчены вниманием правительства, дружескими заботами сибирских колхозов и самих колхозников, когда приезжающих переселенцев встречают как желанных товарищей, в памяти моей встают те невероятные невзгоды, которым подвергались переселенцы в миновавшее суровое время.

Помню в Тюмени огромное широкое поле возле берега реки Туры при впадении в нее речки Тюменки. Отсюда шли огромные грузы, преимущественно хлебные, к Томску, Барнаулу, Омску, Семипалатинску. Число работавших пароходов в те годы было сто двадцать. Товарное движение в направлении Оби и Иртыша было значительное. Но, помимо товаров, на пароходство была возложена серьезнейшая государственная задача — перевозить массы переселенцев. С этой общественной и государственной ролью пароходство — не по своей вине — справлялось возмутительно плохо. Власти же не только не принимали необходимых мер, а, наоборот, мешали делу транспортировки переселенцев. Преимущество отдавалось перевозу ссыльных и каторжников, которых видел я идущими в цепях, сопровождаемыми конвойными с ружьями и штыками, людей в серых халатах и куртках, нагруженных связками и пожитками, обремененных кандалами, нередко босых, с высоко засученными штанами, с полуобритыми головами. Словно бурный серый поток мчался среди своих берегов. Проходя че-

рез городские лужи, они шлепали по ним ногами или перепрыгивали их и бряцали цепями, то дружно, то вразброд, и эти лязг и скрежет, терзающие непривычные нервы, слышались еще издали.

Ссылаемым отдавалось предпочтение в транспорте. А переселенцы могли и подождать. И они ждали. Ждали дни, недели и даже месяцы.

В девяностых годах, когда «Великий Сибирский путь» не доходил еще до Омска, главный поток переселенцев направлялся через Тюмень. Именно здесь, в Тюмени, сосредоточивались переселенческие массы и уже отсюда рассылались по разным областям и местностям.

Переселенец того времени стремился бежать из родной деревни прежде всего потому, что там было ему невыносимо тесно, надел был мал и кормиться становилось нечем... А в Сибири обещали наделы большие; земля там родит много хлеба; там даже подати не берут в первое время, а в дальних местах дают на хозяйство деньги и сыновей не берут в солдаты. Таковы были приманки, погнавшие потоки людей в неведомые стороны, на «новые места». По словам Грибоедова:

Тут все есть, коли нет обмана...

Тогда царское правительство старалось использовать переселение, чтобы избавиться от бедноты, задыхавшейся от безземелья и безработицы, и упрятать ее подальше, с глаз долой. А как доберутся люди до «новой родины», до этого никому не было дела.

Это было широкое огромное поле, раскинувшееся километрах в двух за городом. Если глядеть на него издали, то можно было подумать, что оно покрыто почти сплошь белыми овцами; на самом же деле это белели низенькие палатки, настолько низенькие, что в них едва мог поместиться человек в сидячем положении; это были даже и не палатки, а груды тряпок, висевшие на скрещенных шестах. Все поле, насколько мог окинуть его взгляд, пестрело такими палатками и тряпками, среди которых то тут, то там возвышались тесовые шалаши, серые и тощие, с покатыми крышами. Это были отхожие места, выстроенные здесь в изобилии и распространявшие по всему полю одуряющий, тяжелый смрад. Впрочем, многие, особенно

дети, да и взрослые, обходились без этих шалашей. Лето было ненастное; повсюду стояли огромные лужи дождевой воды, по которым голоногие ребятишки развлекались хождением вброд; в чахлой, истоптанной траве, возле палаток, сидели и лежали люди без всякого дела, без всяких занятий, изнывавшие в тоске и бездействии.

Как мне сообщили в переселенческой конторе, в это время на поле жило свыше двадцати тысяч человек. Да, двадцать тысяч человек, обносившихся, немытых, полуголодных, прятавшихся в свои палатки только на ночь да в проливной дождь; в остальное же время вся эта масса бродила по полю, стояла, сидела, лежала в изнеможении, сходилась толпами и вновь расходилась в ожидании отправки и совершенно бездействовала не только дни и недели, но и месяцы.

Проходя по этому бесконечному полю, между рядами шалашей и тряпок, я встречал одни и те же картины общей нужды, общего горя и великого народного терпения. Вот сидит молодая женщина, усталая, изможденная, и шьет или чинит рубашку, а рядом валяется ничком на траве бородатый муж и от нечего делать свистит в кулак, чтоб не ругаться открыто и откровенно. Где-то тут же сушится на палках белье, тут же охает больная старуха, а рядом компания украинцев, с висячими усами, в расшитых рубашках, раскуривает общую трубку, поджав под себя по-турецки ноги; тут же молодая мать, расстегнув сорочку и без стеснения обнажив грудь, кормит ребенка; рядом кричат и резвятся подростки, дымится костер под маленьким котелком, где что-то шипит и булькает. А вот молчаливая девушка внимательно и серьезно разбирает волосы на голове подруги, лежащей у нее на коленях, и спокойно казнит на своих ногтях паразитов, а по соседству дуются в засаленные, изодранные карты молодые парни; где-то внутри палаток слышится то детский хриплый кашель и плач, то старческий глубокий вздох с причитаньем молитвы... А вот убитая горем мать держит на коленях только что умершего ребенка и глядит бесцельно и бездумно в небо, а по щекам текут ручьи слез... И невольно вспоминаются слова поэта: «Вкусны ли, милая, слезы соленые с кислым кваском пополам?..»

Люди так истомились своим бездействием, так стосковались и потеряли веру в лучшее будущее, что стоило мне обратиться к кому-нибудь с самым незначительным вопросом, как сейчас же вокруг нас образовывалась кучка любопытных, а через минуту это была уже целая толпа скучающих и поневоле праздных людей, которые сбегались со всех сторон, окружали меня огромным непролазным кольцом, и, не понимая, в чем дело, интересовались и ждали, не скажу ли я им чего-нибудь нового и решающего их судьбу. Преимущественно это были крестьяне из украинских губерний, с типичными загорелыми лицами, в шапках или широких соломенных шляпах, в пестрых жилетках поверх рубах; здесь же толпились и «расейские» бородатые «мужики», как их тогда называли, печальные, слезливые «бабы» и нарядные красавицы «хохлушки». Неведомо за кого меня принимая, все обнажали головы и на разных наречиях восклицали:

— Ваш благродь!..

Мгновенно поднимался такой говор и шум, что, кроме этого «благродь», разобрать было нельзя ничего, но по лицам было заметно, что говорили они о чем-то важном для них, близко касающемся их жизни и благополучия; и чем громче они кричали, тем больше и плотнее становилось их кольцо от прибегающих издали людей, желающих послушать и узнать, как решу я их участь. С трудом удавалось мне объяснить, что я ровно ничего не значу и ничего не могу для них сделать, что я такой же, как и они, чужой человек для их начальства, что никто меня слушать не будет. Но слова мои оставались без доверия, и я это чувствовал. Но что мог я сделать? Я обещал им пойти завтра же к «переселенному», как называли они чиновника, заведовавшего их судьбами. И я был у него на другой день, но лучше разве могло стать? «Откуда я возьму транспорт? — ответил чиновник на мои слова.— Если нет пароходов, то что я могу сделать?» А их действительно нет, и не хватает, и долгое время будет не хватать.

Бродя по полю, я встречал везде почти одно и то же. При малейшем вопросе с моей стороны опять сбегались любопытные, и опять та же толпа вместе с новою еще гуще окружала меня, надеясь, что я если и не рассказал чего-нибудь шагов сто тому назад, то

теперь уж, наверно, расскажу в их пользу и что-нибудь для них сделаю.

Нужды их и желания были везде одни и те же: проелись все, прохарчились; везите же нас дальше, везите, пока мы еще живы, пока мы можем на новых местах поработать, чтобы пережить предстоящую зиму.

Но транспортные условия оставались невероятно плохими и грозными.

Иногда, раздвигая галдящую толпу, протискивался ко мне крестьянин и громко кричал о своих нуждах. Он властно махал рукою толпе, чтобы затихла, и начинал рассказывать и браниться: «Все они здесь, «амурские», то есть едущие на Амур, а их не отправляют, не дают пароходов, а перевозят ближних, то есть тех, которые едут в Томскую губернию, поблизости». Слова его производят в толпе впечатление. Она молчит, видя перед собой выразителя общего мнения, но выразитель этот волнуется, сбивается с речи, начинает говорить не то, что всем надо. Его поправляют сначала соседи, дополняют его, а потом раздаются голоса откуда-то из середины, а затем опять гудит и кричит вся толпа. Эти «амурские» стоят здесь уже свыше трех недель; все ждут, что их отправят, но их не отправляют, и они негодуют.

— Что же вы здесь делаете? — спросил я невольно.

— Что делаем? — отвечал угрюмо и сурово переселенец.— Ребят хороним да последние гроши проедаем...

Он был прав. Слова его подтвердились, как мне впоследствии удалось узнать из газетной корреспонденции. Условия передвижения переселенцев того лета были крайне неблагоприятны. Через Тюмень проходила уже пятьдесят третья тысяча. Доставка срочных грузов на Волге и Каме вызывала продолжительные задержки крестьян: в Казани просидели до трех недель, в Нижнем — полтора месяца, в Перми — двадцать четыре дня и, наконец, застряли в Тюмени, потому что сибирские пароходы заняты железнодорожными грузами. Смертность на всех водных путях огромная: в течение двух месяцев пути — полторы тысячи смертей... А вообще в пути инфекционные заболевания и смертность достигли неслыханных размеров:

корь, скарлатина, оспа, дифтерит, дизентерия унесли в одной только Тюмени восемьсот детей, и это за сравнительно малый срок.

Проходя далее по полю, я был внезапно удивлен странными, тягучими звуками, доносившимися до меня откуда-то издали. Они как бы надвигались на меня, эти звуки, тревожили меня, но были непонятны. Это напоминало хоровую песню, но вовсе не было песней. Что-то странное, неясное, но жуткое чувствовалось в этих звуках, заставивших меня оглянуться. И среди поля, среди общей массы народа, палаток, луж и трепещущих на ветру тряпок я увидел, как двигалась по направлению к роще группа людей. Я расслышал уже ясно, когда они приблизились, это нестройное пение, мешавшееся с женскими причитаниями и плачем, а иногда даже просто воем. Я увидел, как проносили мимо меня крышку гроба, сколоченного кое-как из нестроганого теса, затем несли покойника, сопровождаемого семьей с плачем и пением; семья сама его оплакивала, сама и отпевала. За ним несли вторую крышку и второго покойника, за ним, так же, как и за первым, шли поющие и воющие женщины. Потом третьи, четвертые, пятые, десятые и т. д.— целое шествие. Процессия двигалась поспешно, точно боялась опоздать куда-то... Умирает здесь множество народа, и фраза переселенца, что они здесь «проедаются да детей хоронят»,— сущая правда.

Немного далее, на том же поле, выстроены деревянные бараки, где ведется обширное хозяйство, где, помимо временных квартир, больницы и прачечной, пекутся хлебы и варится пища, а также помещается статистическое отделение.

— Дело хорошее,— отозвался об этой кухне один из переселенцев.— На детей, которым меньше десяти лет, по фунту хлеба дают да супу черпак — даром. Только добиться трудно: нашего брата здесь вдесятеро больше, чем кухня может осилить.

В сущности это целый поселок. Помимо корпусов для ночлега с нарами по стенам, имелись больничные бараки: тифозный, оспенный, коревой, скарлатинозный, терапевтический, хирургический; здесь же помещались кухня, дезинфекционная камера и мертвецкая. Помимо «казенных» забот, принимала в деле ог-

ромное участие частная и общественная благотворительность, построившая целый двор с опрятными, чистенькими домиками для ночлега, со столовой и чайной, где отпускались тысячи обедов бесплатно. Но, конечно, ни смрадные казенные дома, грязные и холодные, с невыносимым удушьем и зловонием, ни общественные не могли помочь беде и обслужить всю великую нужду и в десятой доле, и многотысячные толпы переселенцев обречены были страдать по целым месяцам в открытом поле.

Проходя далее, уже по берегу реки, я встретил опять множество столпившегося народа с узлами, котомками и всякими пожитками, а на реке, возле пристани, стояли две громадные баржи, на которых в этот день должны были отплыть две тысячи человек.

Те, для которых предназначены были эти баржи, считались счастливцами. Им завидовали, даже сердились на них за выпавшее на их долю благополучие, а счастье это заключалось лишь в том, что они с одного места стоянки недели через две-три попадут в другое и там опять застрянут на долгие дни или месяцы. А все-таки — ближе к цели!

И вот толпы этих счастливцев стоят на берегу с раннего утра, почти с ночи, и ожидают очереди. Они уже ко всему привыкли. Ехали они по воде и по железной дороге, стояли в полях то здесь, то там, и их не удивишь теперь уже никакими приключениями; они свыклись и ко всему притерпелись.

Понятие о том, как возили переселенцев по Уральской железной дороге, дает рассказ санитара, добровольно пожелавшего испытать прелести переезда и поехавшего в вагоне с очередной партией.

— В вагонах грязь и теснота,— рассказывал санитар.— Мы все знаем товарные вагоны, но никогда не рассматривали их с точки зрения пригодности для перевозки людей. Они предназначаются для клади или для скота. Но если представим, что в них перевозится несколько тысяч людей, то можно вообразить, что происходит. Вагон этот от земли выше на целый метр, а в него надо влезть семье с детьми и со стариками. Кладутся с земли до вагонного пола две плахи наклонно, и по ним предоставляется взбираться, причем многие падают и, наконец, кое-как взгромождаются. Помещаются вповалку; на станциях с короткою оста-

новкой не выходят даже за водой. Когда наступает ночь, переселенцы сидят сначала на досках, на которые улечься нельзя; наконец, утомление берет свое, и буквально весь грязный пол покрывается людьми; целую ночь слышатся вопли и плач детей. В этой грязи и духоте невозможно выдержать ночь даже вполне здоровому человеку.

На реке, чуть покачиваясь на зыби, стояли рядом две огромные баржи, касаясь друг друга бортами. На них возвышались мачты и развевались по ветру трехцветные полосатые флаги, веселившие сердца настрадавшихся переселенцев. Первая баржа была соединена с берегом узким деревянным помостом на тоненьких свайках и притянута крепкими канатами.

Пока съезжались и сходились начальствующие лица, ведающие переселенческими судьбами, я перешел этот маленький мостик и вступил на баржу. Это было большое речное судно, длиною примерно в семьсот метров и шириной в десять. Здесь, на палубе, складывается багаж и всякий скарб переселенцев. Тут же стоят чаны с кипяченой водой, с ковшами и кранами, здесь же настроены маленькие комнатки или домики: один для водолива, изображающего из себя начальство на барже, другой для фельдшерицы, у которой имеется бесплатная аптечка и крошечная больница; в третьем помещается кухня с плитой и котлами.

Подойдя к одному из люков, ведущих в глубину баржи, я по дощатой лестнице спустился на дно — на ту самую площадь, где будут вскоре размещены пассажиры, называющие это помещение попросту «ямой». Оно действительно похоже на яму: в нем нет ни дверей, ни окон, ни перегородок, и свет проникает сюда только в верхние четыре люка, которые в случае ненастья закрываются наглухо.

Когда я вылез из ямы опять на палубу, весь берег уже был усеян народом. Опять те же шапки, соломенные шляпы, рубахи, пестрые жилеты, сермяги, заплаты, украинские усы, русские бороды, узлы хламья, женские лица, ребята на руках... Все это волновалось, гудело, кашляло, пищало и плакало, кряхтело...

На мостике у самого входа стояли уже должностные лица: чиновник по переселенческим делам, прозванный «переселенным», медик-студент, два матро-

са — один со списком, другой с конторскими счетами.

— Вороньковская волость! — закричал вдруг матрос тягучим голосом.— Вороньковцы, вперед!

Точно земля дрогнула под толпой. Сотни людей, измученных ожиданием, рванулись к помосту с ответными криками: «Здесь! Мы! Тут! Мы!..»

— Выбрали старосту?

Из толпы сейчас же выделился старик, на обязанности которого было знать все вороньковские семьи, чтобы не могло быть подменов, и поклонился начальству:

— Я староста.

И прием начался. Каждую семью проверяли по списку, откладывали на счетах число душ, проверяли здоровье. С детьми поступали строже. Студент раскрывал каждому рот деревянной дранкой и смотрел в горло,— без этого не пропускали никого. Однако, как показывает действительность, беглый осмотр не гарантирует ни от чего: в дороге множество захварывает, и к следующему пункту привозят немало трупов.

Громадная смертность, стоящая иным потери целой семьи,— одна из важнейших причин обратного движения с полпути, в сущности — бегства. Нельзя и винить человека за малодушие, когда тот лишился в дороге жены и детей, потерял все свои сбережения во время задержек и в отчаянии побежал назад, на родину, сиротой и нищим, чтоб умереть именно там, дома, а не на новой земле, которую он не знает, но которая уже лишила его всего дорогого. Он бежит без оглядки назад в условиях несравненно худших, притесняемый голодом и осенним холодом, подозреваемый в корысти, чуть не в кулаческих несбывшихся надеждах, наделяемый кличками «дармоеда» и «лежебоки», а родина еще далеко, а зима уже близится... Такие «обратные», лишенные всякой поддержки и помощи, быстро превращались в ругателей и в непримиримых врагов чиновничьего режима и всего тогдашнего строя.

Много часов длится прием на барже, нередко с утра и до позднего вечера. Над громаднейшей толпой людей — иногда в накинутых на себя тяжелых овчинных тулупах среди летнего зноя, с грузными поклажами скарба, с узлами, с детьми на руках,— в не-

терпении жмущихся плотно один к другому, стоит пар и смрад от пота и грязи. У самого помоста происходят нередко жуткие сцены, когда целая семья, уже пропущенная на подмостки, вдруг из-за одного больного ребенка должна вернуться на берег и остаться на неведомый срок. Поднимаются крики, вой, брань, проклятия и мольбы. Но у ребенка при осмотре обнаружен дифтерит или скарлатина, и пропустить его на баржу в общую массу, понятно, нельзя. Бывают случаи, когда родители, зная вперед, что больного ребенка не пропустят, оставляют его в поле одного, на произвол судьбы, а сами уезжают дальше с остальной семьей, спасаясь от нищеты и голода, а его считают все равно погибшим. Такие сироты, брошенные семьями, именуются здесь «божьи дети» или «ничьи». У некоторых родители умерли в пути, и дети остались одни, без семьи, без средств, без знакомых; иногда они не умеют даже ответить, откуда они, из какой губернии, как звали их родителей. На вопросы, как зовут отца, малыши нередко отвечают: папка. А мать как зовут? — Мамка.

Такие сироты, а также и брошенные — из которых большинство умирает,— все они к осени, если уцелели, поступают в разряд «ничьих детей» и предоставляются общественной или частной благотворительности.

Помимо пароходного передвижения существовал еще другой способ, даже два: более состоятельные переселенцы покупали лошадей и телеги и пускались целыми караванами в дальнейший путь. Этот соблазн был так велик, так хотелось всем поскорее разделаться с томительной и убыточной остановкой, что даже исстрадавшаяся беднота приобретала себе ручные тележки или тачки и, впрягаясь в оглобли, тащила на своих плечах эти повозки с детьми и пожитками сотни и тысячи верст. В дальнейшем пути по проселкам и трактам я много встречал таких «самоходов», как их называют в Сибири, но особенно мне памятен старик, которого я встретил уже в Омске выходившим в дальний путь лунным вечером.

За чертою города стоял какой-то домик или сарай, в котором во время эпидемии был холерный барак. За ненадобностью его отдали переселенцам и всем бесприютным, кому нужно было укрыться от непогоды и холода. Одни уходили, другие приходили, и кар-

тина была здесь всегда одна и та же: временные постояльцы сидят и лежат вразброд по голому полу; кто свернулся на боку, кто распластался во весь рост на спине, загнувши за голову руки; там под одеялом виднеются чьи-то четыре ноги, тут из-под армяка высунулись сразу три головы: мужская, женская и детская. И повсюду узлы и котомки, всякий скарб, отделяющий семью от семьи. Помещаться в этом сарае могло не больше сорока человек.

Домик стоял на самой границе города, у заставы, а дальше, за проезжей дорогой, лежала ровная, тусклая, бесконечная степь. Закат еще не померк, и над городом тянулись цветные угасающие полосы вечерней зари, а над степью уже всходила луна; она еще не светила, не золотила степи, а только глядела ласково и скромно, обещая тихую ясную ночь. Когда я вошел во двор, мое внимание привлек к себе старик, на вид лет семидесяти, возившийся и хлопотавший над небольшой тележкой; он осматривал ее, подбивал в ней какие-то гвозди, подтягивал веревки, но что-то у него не ладилось, и он вздыхал и качал головою.

— Чего ж на ночь глядя поедешь? — спрашивали его соседи, вышедшие поглядеть на чужие хлопоты.

— А что ж? — спокойно отвечал старик.— Вона месяц-батюшка вышел. Оно светленько с ним-то, а не жарко. А матушка-солнышко теперь тоже рано проглядывает. А как зачнет припекать, мы тут и в рощу, на отдых.

Он охотно рассказывал обо всем: куда идет, почему и давно ли из дома.

— Идем мы далече. На версты считать, не знаю, как и выговорить. А идем уже давно. Верст семьсот прошли, да осталось верст тыщу. Ничего, милый, добредем. Семья наша немалая: я со старухой, да сын, да при нем жена, да детей четыре души, да еще пятый внук, парнишка, да еще две дочери. Эна народу-то! А каждый рот хлебушка просит, а его нет и нет. Четвертый год нет урожая, хоть что ты хочешь!

Мне довелось видеть отъезд этого старика — истинного «самохода», которому все равно: дома он нищий и в пути нищий, а если на новом месте будет хорошо и сытно — вот и дело сделано! А если нет, то уж хуже не будет. Таковы все его расчеты, которые приличнее назвать отчаянием, а не надеждой.

Тележку между тем снарядили. Это была двухколесная ребрастая «таратайка», вроде тех ручных тележек, которые встречаются в больших городах для сбора и вывоза костей, старого железа и всякого хлама. В оглобли вместо лошади впрягся сын старика, крепкий, дородный крестьянин лет сорока, а на пристяжке пошли сам старик и с другой стороны внук — мальчик лет тринадцати. Каждый из них надел себе на плечи веревку с широкой петлей, вроде бурлацких помочей, и по команде коренника все трое — сын, отец и дед — приналегли на веревки.

Колеса закружились потихоньку; повозка тронулась.

В тележке смирно сидело трое малюток, сидела древняя старуха, а среди них были всюду натыканы свертки пожитков и хлама. За повозкой шли молодые женщины и подростки, нагруженные узлами и котомками, опираясь на палки. Длинные слабые тени ложились от них на дорогу, и луна точно серебром начинала устилать им путь. Так переселялась за тысячи верст эта голодная семья, где старик, его сын и его внук образовали дружную тройку. Не верилось и не хотелось верить в возможность такой нужды, но факты говорили сами за себя, и очевидцу оставалось только повторить за поэтом: «Ты и убогая, ты и обильная, ты и забитая, ты и всесильная, матушка Русь!»

Когда в 1897 году появились в печати мои первые рассказы из скитаний по Западной Сибири, я получал много писем от читателей по поводу виденного и пережитого. Между прочим, один небезызвестный в свое время литератор, Горленко, писал мне: «Правительство берет на себя великий нравственный грех, завлекая совершенно темных людей на весь ужас сибирских зим и безлюдья. И никто, ни правящие, ни правимые, не знают хорошенько, что их там ждет. Знают только, что там много свободных земель — и ничего больше. Недели две назад из нашей деревни ушла партия переселенцев на Амур, а на днях получено известие с дороги, что один из уехавших в пути от тоски повесился».

От царского правительства переселенец не получал в сущности никакой поддержки. Даже приехав на далекую чужбину, он получал только нетронутую це-

лину, которую должен был впервые «поднимать» и выкорчевывать лес, для чего давались ему соха да деревянная борона и захудалая кляча. Теперь окружают переселенца заботой и вниманием, принимают на государственный счет перевозку на новые места, в плановом порядке, дают семенную ссуду, долгосрочный кредит на покупку скота и льготные жилищные условия, а также оказывает ему помощь машинно-тракторная станция, поднимающая богатейшие целинные земли и корчующая лес.

Та старая жуть, какую испытал я при встречах с переселенцами, теперь совершенно изжита, и тени от нее не осталось. Окруженные заботами советской общественности, крестьяне не знают теперь бед, которыми была полна их жизнь и на ходу и в новых условиях в чужих краях.

«Встретили нас, как родных,— пишут из Сибири приехавшие туда теперешние переселенцы.— Разместили в новых домах, каждому новоселу выделили по корове, дали овец и гусей...»

О прежних страданиях, к счастью, нет и помина.

## IV

Направляясь в Сибирь и переезжая через Уральский хребет, очаровательный по своей красоте, я решил остановиться на сутки в Тагиле, знаменитом демидовском гнезде, где в 1702 году была выплавлена первая российская медь, только что отысканная.

Что представляет собою в настоящее время это «гнездо», я не знаю. Могу только предположить, что теперь это нечто грандиозное и весьма ценное в государственном отношении, но и тогда — а это было полвека тому назад — оно не только не уступало любому уездному городу благодаря сорокатысячному населению, заводам и шахтам, школам и памятникам, но даже превосходило многие, хотя Тагил был не более как рабочее селение Демидовых, родоначальником которых был в петровские времена простой тульский кузнец Никита, а позднейшие потомки его стали Демидовыми и даже князьями Сан-Донато.

В течение дня я осмотрел завод с его достопримечательностями, памятниками и музеем. Между про-

чим, в этом музее, отражающем историю производства, находится огромный раскидной медный стол с тремя частями крышки. Интересен он тем, что отлит на здешнем заводе в 1715 году и имеет на средней крышке следующую надпись:

«Сия первая в России медь от искана всибире бывшим камисаром Никитою Демидовичем Демидовым по грамотам великого Государя Императора Петра Первого в 1702 и 1705 и 1709 годах, а из сей перво-выплавленной меди зделан оной стол в 1715 году».

Оставалось мне только осмотреть шахты, где добывают руду, спуститься в глубокое подземелье почти на четверть километра вниз. Охотников на такие прогулки бывает обыкновенно не много. Но мне было любопытно побывать под землею. На горы я уже всходил, по морю плавал, на воздушном шаре летал — и недолго думая, я отправился к заведующему медными рудниками, который и обещал мне наутро пропуск.

С рассветом я уже был на ногах. Раннее летнее утро стояло пасмурное, моросил мелкий дождичек, было свежо.

У подошвы Лысой горы на громадном пространстве раскинуты заводские постройки. Подойдя к ним раньше, чем было условлено, я с полчаса стоял и смотрел, как с разных концов собирались к шахтам рабочие. Все они были одеты в пеньковые куртки серо-желтого цвета, в такие же штаны, в высокие побуревшие сапоги и подпоясаны ремнями. Все были с бледными, изможденными лицами, без живых красок, и на фоне серого утра, в серых костюмах казались тоже как будто серыми. Не замечалось нигде ни свежего лица, ни богатырской груди, свойственной рабочему человеку.

Не вспомню, пробил ли звонок или штейгер («штыгирь», как попросту назывался здесь старший мастер) подал сигнал, но только рабочие начали зажигать свечки в своих фонариках и мало-помалу исчезать за низенькой дверью шахтенной постройки. Кое-кто в ожидании очереди докуривал трубку, кто-то отдыхал на бревне, кто-то нехотя брел и надевал рукавицы.

Когда я вошел в контору, сторож уже проснулся и разводил самовар.

— А! Вам в шахту? — приветствовал он меня, кивая головой.— Можно. О вас есть распоряжение. Сейчас смотритель придет, он и проводит.

Продрогнув на холоде, я с удовольствием присел у окошка в теплой комнате, а сторож между тем, приговаривая что-то вполголоса, приносил и складывал возле меня одежду.

— Пока что,— обратился он ко мне,— переоденьтесь в наши мундиры, а то грязно там, живой нитки не останется.

Он положил передо мной такую же куртку серожелтую и штаны, какие я видел на рабочих, и спросил, глядя на мои высокие сапоги:

— Не промокают? А то и сапоги могу дать.

Я стал было одеваться, но сторож остановил меня:

— Не так. Нужно все с себя снять, до самой рубашки, а потом уж надевать куртку. Жарко там будет.

Я послушался и снял пиджак.

— А это вот вам ремень; затянитесь потуже. А это — фонарик за пояс. Потом рукавицы наденьте, да сейчас картуз по голове подберу.

Одетый, наконец, в заводской «мундир», как выражался сторож, я взглянул на себя в зеркало.

Толстый и нескладный картуз из солдатского сукна с тяжелым двойным дном, огромные желтые рукавицы из грубой кожи, помятая рубаха в рыжих пятнах, точно от ржавчины, серые штаны, заправленные в голенища, и черный фонарик за поясом делали меня почти неузнаваемым для самого себя. Взглянув на меня, даже сторож, улыбаясь, сказал:

— Вот теперь по-нашему. Теперь можно и в шахту. А то настоящая одежда там разве выдержит?

В контору вошел молодой человек — смотритель, поздоровался со мной и, видя, что я уже в «мундире», быстро переоделся в такую же куртку. Мы зажгли фонари за поясом, надели рукавицы и вышли во двор. Если я продрог в пиджаке и пальто, то в бумажной куртке мне было уже вовсе холодно. Но идти пришлось недалеко.

Провожатый ввел меня в какое-то крытое помещение, стоявшее среди двора, затем мы спустились ниже по широкой небольшой лестнице. Здесь было уже темновато: только через стеклянную дверь проникал сю-

да дневной слабый свет, мешаясь со светом наших двух фонарей.

— Теперь спускайтесь за мной,— сказал спутник.— Держитесь крепко руками да берегите голову.

У наших ног чернело квадратное отверстие, приблизительно в метр... В стену около этой ямы были вделаны две или три скобы, чтобы за них ухватиться до начала спуска.

Провожатый ловко взялся руками за первую скобу и спустил в яму ноги, потом перехватился за нижнюю скобу и скрылся. Подражая ему, я сделал то же самое.

Ноги мои уперлись во что-то твердое, это была ступенька, или, вернее, перекладина лестницы. Сначала я оказался по пояс в яме, а затем, переступив следующий порог, скрылся, как и мой провожатый, от последнего дневного света в сырой темной яме, где было холодно, грязно и тесно. Перебирая мало-помалу перекладины лестницы руками и ногами, мы задом спускались куда-то вниз и вскоре остановились на площадке.

— Осторожней! — услышал я во тьме знакомый голос.— Беритесь опять за скобу и — вниз!

Осветив площадку фонарем, я увидел ниже точно такое же отверстие, такие же скобки в стене и снова погрузился в черную яму, сначала по пояс, затем и с головой.

Через каждые три-четыре минуты встречались подобные площадки и скобки. Куда я спускался и долго ли нужно было спускаться, я не имел никакого представления. Лестницы, по которым мы слезали или, вернее, пятились вниз,— самые обыкновенные, всем известные: так называемые стремянки с узкими перекладинами. Лестницы были не длинные, ступеней тридцать — сорок, а затем площадка с новой ямой и с новой лестницей. Все перекладины были сырые, на многих комками прилипла мокрая грязь. Пролезать в отверстие иногда бывало довольно трудно, чтоб не задеть спиной или головой деревянные срубы, покрытые, как и ступеньки, влагой, грязью и плесенью.

Чем дальше мы спускались, тем становилось все теплее, и в то же время пронизывал холодок промоченную спину и колени. Нигде не слышалось ни голо-

са, ни звука, кроме шарканья наших ног; нигде не видно было ни света, ни простора, только сверкала от фонаря перед глазами мокрая ступенька, за которую хватался я руками, начинавшими уставать,— все остальное и ниже и выше было во мраке. Откуда-то капала вода на спину и на лицо, откуда-то продувало ветром. С непривычки я начал делать на площадках краткие передышки. Проходили минуты за минутами, за лестницей следовала лестница, и казалось, не будет конца этому спуску, а между тем у меня дрожали уже руки и ноги, пот градом катился по щекам, а спина и колени были в жидкой грязи, и кожаные рукавицы промокли насквозь.

— Далеко еще? — спросил я, наконец, спутника.

Тот ответил откуда-то снизу глухим, далеким голосом:

— Еще лестниц пять осталось.

Продолжая спускаться среди мрака и неясного, неопределенного шума, точно вокруг нас или над нами бежала масса воды, я очутился, наконец, на твердой земле.

Не вспомню, сейчас ли начался отсюда коридор или мы куда-то переходили. Помню только, стоял я среди мутной лужи, так что ступней моих не было видно, и с любопытством озирался кругом. Помню, что это был узкий и низкий коридор, где стоять нужно было немного согнувшись и где едва-едва возможно разойтись со встречным человеком, катившим тачку. Стены мрачного коридора, а также и потолок были высечены в сплошной каменной глыбе. Это и были шахты.

Освещая дорогу фонарями, которые уже вынули из-за пояса и держали в руках, мы двинулись дальше. Местами я шел, лишь немного нагнув голову, чтоб не удариться о бревна, подведенные под потолок, но чаще приходилось идти с согнутой спиной и почти все время по лужам, вода булькала и брызгала под ногами. По коридору навстречу нам то и дело проходили рабочие с узкими небольшими тачками, наполненными кусками руды. Здесь, на глубине двухсот метров, ежедневно работало пятьсот человек, безвыходно по восьми часов в сутки, из-за одного только хлеба насущного. Нередко вдали показывался огонек и быстро приближался к нам: раздавался окрик,

и мы прижимались к стене, чтоб пропустить рабочего с тачкой.

Покорно шел я за своим вожатым. Иногда, перестав уже стесняться сырости, садился на мокрое бревно, если оно попадалось нам на пути, и давал немного отдыха спине, а затем опять, сильно сгорбившись, продолжал путь.

Не знаю, сколько времени бродили мы так по коридорам. Встречалось иногда большое и широкое углубление в стене, похожее на пещеру, где добывают руду, взрывая гору динамитом или рубя топорами; обломки эти подбирают лопатами, ссыпают в тачки и увозят на «рудничный двор», где добыча извлекается из недр подъемной машиной. Добывается здесь медный колчедан, малахит, бурый железняк с содержанием меди, тальковые глины, оруднелые сланцы, медное индиго, шлаковатая медная руда, магнитный железняк.

Мы были уже довольно глубоко под землей. Не помню, в каком именно месте я был удивлен шумом и спросил, глядя наверх, где что-то шумело и как будто катилось:

— Выше нас тоже работают?

— Нет, это речка Рудянка протекает над нами.

Шахта, где мы находились, носит название Авроринской; она ниже поверхности земли на 200 метров, но нам предстояло спуститься еще глубже, в Северную шахту, глубина которой 240 метров.

Только возвратясь домой и найдя таблицу сравнительных величин мировых архитектурных сооружений того времени, я понял, на какой значительной глубине я находился тогда. Московская колокольня Ивана Великого имеет около 80 метров; Петропавловский шпиц в Ленинграде — 138 метров; высочайшая египетская пирамида Хеопса — 137 метров; и только парижская башня Эйфеля возвышается на 300 метров, но там, не говоря уже о подъемных машинах, твердые удобные ступени, а здесь приходилось взбираться по деревянным кровельным лестницам, осклизлым и грязным, цепляясь руками за мокрые перекладины.

Когда усталый, с разболевшейся спиной, весь промокший и грязный, я сел на мокрое бревно в Авроринской шахте и, поставив себе на колени фонарик, стал записывать свои впечатления, руки мои отказы-

вались работать, и я успел записать всего лишь несколько строк. Передо мной тем временем открылась новая картина. Откуда-то сверху на громадной толстой цепи опустилась железная бадья величиной с огромную бочку, а от земли отделилась другая, точно такая же огромная бадья, до краев наполненная рудой, и, гремя цепями, тяжело поползла вверх и скрылась во мраке. Между тем рабочие всё подвозили тачки, ссыпали руду в порожнюю бадью, и, когда наполнили ее, она точно так же со скрипом и грохотом тяжело поползла кверху, а на ее место спустилась новая — порожняя.

Кто не знает, кто не слыхал о Демидовых, простых тульских кузнецах, потомки которых располагали колоссальными богатствами и носили титул князей Сан-Донато?

Родоначальником этой фамилии был Никита Демидович Антуфьев, крестьянин, тульский кузнец. О первой встрече его с царем Петром Первым, которая послужила началом его обширной деятельности, рассказывают такие подробности. По словам Огаркова, проездом через Тулу Петр велел починить испортившийся пистолет работы знаменитого оружейника Кухенрейтера. Когда кузнец (Демидов) исправил его и принес к царю, тот обратил внимание на великолепную работу, пожалел, что у него нет мастеров, чтобы делать в России такое оружие.

— И мы, царь, против немца постоим,— возразил на это Никита.

Царь уже не раз слыхивал эти ненавистные ему слова, это вечное «закидаем шапками» от своих московских бояр, к тому же он выпил анисовки, и его ретивое не стерпело: он ударил по лицу Демидова и закричал:

— Ты, дурак, сначала сделай, а потом хвались!

— А ты, царь, сначала узнай, а потом дерись! — ответил ему Никита и подал Петру сделанный им новый пистолет, нисколько не уступавший по работе заграничному.

Горячий царь смилостивился и извинился перед кузнецом.

Так ли это было или не так, но достоверно известно, что Никита вскоре после первой встречи с Петром доставил ему в Москву шесть отлично сделанных

ружей и назначил плату по 1 рублю 80 копеек за каждое, тогда как до этого казна платила за них за границей по 12 и даже по 15 рублей за штуку. Это было во время шведской войны. Понятно, царь обрадовался, что отыскал такого диковинного кузнеца у себя на родине, поцеловал Никиту, подарил ему сто рублей и сказал:

— Постарайся, Демидыч, распространить свою фабрику. Я не оставлю тебя.

И приказал отвести Демидову в двенадцати верстах от Тулы несколько десятин земли. С этого и начинается деятельность будущего «уральского владыки».

Дальнейшая судьба его, в коротких словах, такова: Демидов не ограничился тульским заводом, а стал просить Петра отдать ему в аренду уральские казенные заводы, которые и были ему отданы в 1702 году за ничтожное вознаграждение. Здесь главным деятелем выступает уже не Никита, а старший его сын Акинфий Демидов, сумевший в короткое время увеличить производительность заводов против казенного раз в триста.

И богатства и положение Демидовых начали расти с каждым годом. Уже не крестьянин, а потомственный дворянин, Никита в 1715 году нашел возможным преподнести новорожденному царевичу Петру Петровичу «на зубок», кроме драгоценностей и великолепных сибирских мехов, сто тысяч тогдашних рублей. Но русская пословица «От трудов праведных не наживешь палат каменных» нашла себе косвенное применение и в богатстве Демидовых, хотя к их услугам были всевозможные льготы и обеспеченный сбыт товара в казну. Им требовались «рабочие руки», но так как покупать крестьян или переселять их из внутренних губерний на Урал было вообще начетисто, то практиковался иной способ: заводы принимали к себе беглых каторжников и ссыльных, беглых помещичьих крестьян, рекрутов и притесняемых раскольников; все эти бесправные люди навсегда закабалялись во власти Демидовых. Чтобы не отвечать за них перед законом, их запирали во время наездов ревизоров в подземелье Невьянской башни и спускали туда воду из пруда. Таким образом, своею смертью выручали беглые своих покровителей из неприятного положения. В этом же Невьянском подземелье Акинфий впоследствии

тайно чеканил монету, а с мастерами поступал так же, как с беглыми, то есть топил их во избежание доноса.

По поводу «демидовской» монеты существует рассказ о том, как однажды Акинфий, играя в карты за одним столом с императрицей Анной Иоанновной, рассчитывался за проигрыш новенькими монетами.

— Моей или твоей работы, Никитич? — спросила партнера с двусмысленной улыбкой императрица.

— Мы все твои, матушка-государыня,— уклончиво, но ловко ответил Демидов.— И я твой и все мое — твое.

Потомки, благополучно продолжая блестящее дело отцов, богатели, входили в знать; один из них даже породнился с Наполеоном Первым, женившись на его племяннице. Одни из них прославились своим самодурством, иные — обширной благотворительностью.

Отдохнув на мокрых бревнах, мы отправились дальше. Потянулись опять мрачные, бесконечные коридоры; они становились еще ниже, еще тесней, так что в иных местах приходилось не только сгибать спину, но и пробираться чуть не ползком, нередко ударяясь в темноте головой о деревянные бревенчатые оклады и подхваты шахты, и только благодаря толстому картузу не было больно, а в легкой шелковой фуражке, в которой я явился в контору, можно было бы в кровь разбить себе голову. Тут я снова оценил предусмотрительность, с какою был изготовлен весь шахтенный «мундир».

Северная шахта находилась на глубине 240 метров. Это была высокая пещера, освещенная двумя-тремя свечками, воткнутыми в пробоины стен. Когда мы вошли сюда, рабочие занимались добычей малахита. Задняя серая стена, избитая и изрубленная, сверкала мелкими, словно пыль, блестками, и местами по ней проглядывал зелеными красивыми пятнами малахит. Сильно размахнувшись короткими кирками, рабочие вонзали острия в стену, и опять вытаскивали, и опять вонзали, пока к их ногам не падал кусок зеленого камня. Мелкие куски собираются в общий мешок, а более крупные обломки откладываются отдельно, потому что их употребляют на разные изделия, как вазы и проч.; мелочь же и россыпь идет для выделки зеленой краски.

— Давайте посидим,— сказал мне спутник, который во время нашей прогулки по шахтам отмечал что-то в тетради.— Назад идти будет труднее: опускаться — одно, а лезть наверх — другое.

Пока мы сидели, рабочие выломали из скалы кусок малахита и предложили мне взять его на память:

— Может, вспомнить когда придется.

Кусок был тяжелый, и нести его кверху по лестницам у меня не хватило бы сил. Тогда мне дали маленький, поместившийся в кармане. Это внимание меня очень тронуло. Кусок этот лежит и теперь у меня на столе. Нередко, глядя на него, я вспоминаю мрачное подземелье, куда никогда не проникал луч дневного света; вспоминаются глухие удары молота и кирки, глухое падение разбитого камня на каменный пол; вспоминаются изможденные лица рабочих и их простые, доброжелательные слова.

Минут через десять мы пошли дальше. Опять потянулись коридоры, опять заныла согнутая спина, и снова пришлось то нагибаться, то подползать под низкие бревенчатые рамы и шагать по грязи и лужам. Наконец, явилась возможность выпрямиться во весь рост: мы подошли к лестнице.

— Отдохните минутку, и — полезем!

С удовольствием разогнул я спину, постоял, подышал и, следуя за своим спутником, взялся за осклизлую перекладину.

Потянулись опять бесконечные лестницы, опять те же узкие площадки, та же грязь и слизь, по которой скользили руки и ноги; только подниматься было значительно труднее, нежели опускаться. Там были и свежие силы и сухая куртка, а здесь приходилось усиленнее напрягать мускулы. Движения стеснялись еще и тем, что одежда, насквозь пропитанная влагой и грязью, прилипала к телу и после трех часов ходьбы с согнутой спиной чувствовалось изнеможение.

Усталость возрастала буквально с каждой минутой; к тому же от усиленного дыхания пересохло в горле, хотелось пить. Руки еле держались за скользкие перекладины, ноги еле переступали. Отдыхая чуть не на каждой площадке и медленно приближаясь к выходу, мы взбирались по лестницам уже около получаса. Я задыхался.

— Долго еще?

— Пустяки,— небрежно ответил спутник,— сажен тридцать осталось.

По-здешнему, тридцать сажен — пустяки, а для непривычного москвича — это Ивановская колокольня.

Помню, когда оставалась уже одна, последняя лестница и сверху падал уже бледный луч света, я изнемог до такой степени, что останавливался на каждой перекладине и еле держался руками. В эту минуту за глоток воды я отдал бы, кажется, половину жизни. Вот остается уже несколько шагов, несколько перекладин... Провожатый уже вылез и глядит на меня сверху, с твердой почвы, но руки мои перестают работать. Я хватаюсь за ступеньку, держусь за нее, но подняться уже не имею силы; дыхание мое прерывается; того и гляди, опустятся руки; подкосятся ноги, и я полечу обратно по лестнице вниз...

— Ну, еще! Еще немножко! Еще! — слышу я возле себя знакомый голос.

Бессознательно лезу вверх, цепляясь, словно раненый, за перекладины, и, наконец, меня берет крепкая рука вожатого и извлекает из ямы.

— С непривычки, конечно, трудно!

Несколько секунд я сидел на полу; потом отдышался и не очень твердыми шагами последовал за своим спутником; не без труда поднялся на какой-нибудь десяток порожков широкой лестницы и вышел на заводской двор, где ярко светило солнце, где снова дышалось легко и свободно.

Вряд ли когда-нибудь я бывал так рад дневному свету. Свежий воздух казался мне легким и ароматным, а голубое небо, зеленая трава на горе и белые облака радовали меня и казались необычайно прекрасными.

Было уже восемь часов, когда я вернулся в контору; следовательно, по шахтам мы бродили часа три. Сторож с добродушной улыбкой встретил нас на крыльце и спросил меня, хитро прищуривая глаз:

— Чайку холоденького теперь, пожалуй, выпить недурно?

Не дожидаясь согласия, в котором он был более чем уверен, он подал мне стакан остывшего чаю; я выпил почти залпом и только тогда мог проговорить первое слово.

— Говорил, жарко будет,— упрекнул меня сторож.— А еще раздеваться не хотели.

Он помог мне стащить с себя почерневшую от грязи и воды заводскую куртку, подал умыться, помог надеть пиджак и пальто, но вдруг что-то вспомнил и задержал мой уход.

— Расписаться-то забыл вам подать!.. У нас это до спуска полагается, иначе нельзя. Сначала подписку дай, а потом уж иди: потому что вдруг — какое несчастье, тогда что?

Может быть, я ошибаюсь, но только из его дальнейших слов я понял, что при конторе имеется книга, в которой дается подписка, что, опускаясь в шахту, я не буду винить никого, если в случае обвала или какого иного несчастия мне не удастся выйти оттуда живым...

Не читая текста, я расписался в книге или на каком-то листе и поспешил домой, чтобы переодеться, так как на мне, по словам сторожа, не осталось ни одной живой нитки, а в двенадцать часов дня отходил из Тагила мой поезд.

Уже полвека прошло с той поры, но впечатление, вынесенное из подземелья, навсегда осталось в моей памяти свежим и сильным.

Сидя уже в вагоне и приближаясь мало-помалу к Невьянску, я стал расспрашивать соседей о каких-то существующих легендах, о страшных рассказах про тамошнюю башню, но никто не хотел удовлетворить моего любопытства.

— Чем знаменита Невьянская башня? — спрашивал я то одного, то другого попутчика.

— Да ничем,— отвечали мне просто.

— А говорят, что есть о ней интересные легенды.

— Никаких легенд нет.

Тем не менее я слыхал, что легенды есть, и мне хотелось непременно добиться до них, но на все мои просьбы ответы были одинаковы. Тогда я подсел к старичку, на вид простому человеку, в надежде от него узнать что-нибудь.

— Мало ли чего болтают! — ответил он мне.

— А все-таки, что болтают?

— Да так... ничего не стоит.

— Чудеса там, что ли, какие?

Старик только махнул рукою:

— Так... бабьи сказки!

Как ни допытывался, ничего больше узнать я не мог. Однако становилось уже ясно, что легенды существуют. Подсел к другому пассажиру в противоположном углу вагона, к человеку молодому, похожему на артельщика.

— Действительно... говорят. Только все это вздор! — отвечал и этот, умалчивая о самых рассказах.

— Рассказывают что-то интересное,— начал было я, надеясь вызвать его на разговор, но он перебил меня возражением:

— Это нужно еще доказать!

— Да что доказывать-то?

— А вот, про что болтают.

— Я не знаю, про что болтают, потому и спрашиваю.

— И знать незачем. Пустяки одни. Говорю, сначала доказать надо.

Это становилось, наконец, любопытно. Что за тайна? Что за рассказы, о которых никто не хочет сказать даже слова? Не было уж сомнения, что легенды ходят в народе.

Когда мы проезжали мимо станции Невьянск, те же старик и артельщик указали мне в окошко на гору и охотно, даже без моих расспросов, объяснили, что здесь был Демидовский завод и каменная башня, которая теперь служит каланчой, чтоб наблюдать за пожарами. Но до легенды я так и не добился. Только впоследствии я узнал, что царь Петр, жалуя Никите Демидову Невьянские заводы, дал ему и право наказывать людей, но с тем, чтобы он не навел на себя «правых слез и обидного воздыхания, что перед господом — грех непростительный...»

Используя это «право», Никита построил в Невьянске каменный дом, замечательный в акустическом отношении: все говорившееся в доме было слышно хозяину, и виновных в непочтении постигала страшная участь. Акинфий построил башню еще более знаменитую, с потайными ходами и подземельями, где подозреваемых пытали, виновных наказывали и где потоплялись «беглые» во время ревизий. Эта же башня служила местом чеканки фальшивой монеты. По преданиям, здесь «своим судом» замуровывали людей

и держали их в колодках и на цепях. Немало было пролито здесь «правых слез», о которых говорил Петр, и немало слышалось «обидных воздыханий».

Близ башни поставлен был чугунный столб, который предназначался, по словам летописца, «для статуи господина статского советника Акинфия Никитича Демидова». Вероятно, в связи с этим столбом для собственной статуи и с жестокостями в башне над рабочими возникали страшные легенды, реальность которых, конечно, «еще доказать нужно», но возможность их возникновения становится понятной и доказывать ее нечего. Тиранство, фальшивые монеты и уготованный пьедестал для собственного монумента, с одной стороны, и молчаливая гибель людей, угнетенных и бесправных,— с другой, могли, конечно, побудить народную фантазию к созданию «бабьих сказок».

Благодаря башенным часам, отбивавшим на колоколах половины и четверти, благодаря замечательной акустике в доме, казавшейся народу чуть ли не волшебством, благодаря, наконец, безнравственности, могуществу, безответственности и жестокостям «уральских владык», моривших людей в подземельях голодом и пытками и потоплявших их,— сложились страшные рассказы о привидениях, которые бродят по ночам, плачут «правыми слезами» и передают о себе и о своих мучителях ужасающие подробности.

## V

Заговорив о народе, об Урале и о Сибири, невольно вспоминаешь встречи с крупным писателем Маминым-Сибиряком,— тоже выходцем из народных масс.

Автор «Бойцов», «Приваловских миллионов», «Горного гнезда», «Золота», «Хлеба» и многих-многих романов из уральской приисковой жизни с ее бешеным обогащением разных хищников, бешеной расточительностью их и такими же бешеными провалами,— Дмитрий Наркисович Мамин был мне достаточно известен и интересовал меня как писатель незаурядный, сильный и самобытный. Кроме того, он при-

влекал мое внимание и симпатии еще тем, что чувствовался в нем, о чем бы он ни писал, хороший и настоящий друг народа, друг людей обездоленных, но сильных и смелых. Он не приспособлялся ни к каким течениям литературным, общественным и иным, он просто, сам вышедший из народа, любил народную силу, народную будущность и, не выходя из рамок художественной правды, описывал жизнь, какою она была в его время, со всей ее грубостью, с ее поэзией, с ее юмором.

Впервые я встретился с ним в конце девяностых годов на редакционных вечеринках «Детского чтения» в кружке Тихомировых, где он обычно, как близкий человек, останавливался и гостил, когда приезжал из Петербурга. Как раз в это время начались печатанием в «Детском чтении» его рассказы, полные сердечности и тихого легкого юмора, составившие впоследствии прекрасные книжки для детей под общим названием «Аленушкины сказки» и «Светлячки».

Много раз и немало лет встречал я Мамина на этих субботниках и никогда не замечал, чтобы он был не в духе. Напротив, всегда приветливый и сдержанно веселый, он любил рассказывать о всяких людях, о встречах с ними, о разных пустяках и курьезах, и рассказы его бывали всегда забавны, остроумны и талантливы. Не любил он говорить только о своих литературных делах и держал себя так, как будто он был кем-то иным, но только не писателем.

Во время ужина Мамин не садился обыкновенно в почетные углы, к знаменитостям, возле хозяина, а предпочитал быть среди простых смертных; хотя его всегда пытались перетащить на видное место, но он не шел. Зато перед ним, в виде особого исключения, ставилось пиво, которое никому, кроме Мамина, не подавалось, так как считалось напитком низменным, а Мамин его любил и выпивал немало, хотя и говорил в шутку, что «из-за него, окаянного, я всю свою красоту прежнюю потерял».

Всегда спокойный и в меру шутливый, с большими черными красивыми глазами, с непослушной прической седеющих волос и с неизменной неразлучной трубочкой в руках или в зубах, Дмитрий Наркисович производил впечатление беспечального россиянина,

прожившего недурно две трети жизни и очень спокойного за оставшуюся треть.

Он был уже автором многих романов — преимущественно из уральской приисковой жизни,— печатавшихся в лучших журналах того времени. Правильно и метко говорил о нем наш общий друг С. Я. Елпатьевский: «Мамин — это уральский человек. Он весь полностью от Урала — обликом, ухваткой, чувствованием, думанием. В нем многое от мглистых еловых лесов и бело-радостных березок, от горных вершин и угрюмых скал, от всей уральской жизни, от людей и зверя, от старых преданий...»

Произведения его читались с большой охотой: одни интересовались интригой и разнообразием действия, другие — характерными типами, иные — природой, бытом и этнографией. Непонятно, почему о других, менее заслуживающих внимания, писали, кричали, возводили их на недолговременные пьедесталы, а Мамин оставался как бы в тени. Эта несправедливость чувствовалась им, но он не показывал даже вида, что ему иногда больно.

Мамин-Сибиряк бывал у нас всегда на «Средах» как желанный гость во время наездов его в Москву. Когда мы попытались издавать от нашей группы литературные сборники, Мамин был с нами. Так, в 1902 году он писал мне:

«Очень рад, что ваш товарищеский сборник состоится, а также тому, что мое имя появится на его страницах...»

В том же году возникла дерзкая мысль начать издавать для широчайших кругов читателей крайне дешевые книги с огромнейшим тиражом. Многие товарищи очень заинтересовались этим предложением и ответили мне не только согласием прислать рассказы, но и практическими советами.

Для начала, на первый опыт, требовалась, однако, некоторая жертва со стороны авторов. Каждая сотня рублей имела в данном случае значение, а потому было предложено, что писатели не будут требовать себе гонорара за отданную в сборник вещь, уже побывавшую ранее в печати. Все это было, конечно, делом весьма фантастическим. Но Мамин и на это пошел. Он писал мне: «Что касается дешевого сборника

в 20 коп., то я с удовольствием соглашаюсь, чтобы вы выбрали что-нибудь для него из моих рассказов».

Давши такое определенное согласие, Мамин прибавляет в дальнейших строках следующее горькое, но существенное послесловие:

«Дешевизна вещь хорошая, и дешевая книга нужна, но ведь авторы имеют скверную привычку обедать, иметь семью и т. д. Прибавьте к этому, что автор с своего издания выплачивает сорок процентов магазину Суворина и иным «любителям российской словесности». Прибавьте еще, что с нашей дорогой авторской книгой конкурируют приложения иллюстрированных изданий, а уж о конкуренции с дешевыми изданиями таких корифеев, как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, конечно, и говорить нечего. Что же остается? Остаются наши книги на полках книжных магазинов непроданными, и остается мнение почтенных читателей, которые, невольно сравнив цены наших книг с корифейными, обзовут нас живодерами. Очень грустное и безвыходное положение...»

В том же году, ранней весной, мы встречались с Дмитрием Наркисовичем в Ялте. Вспоминается наше посещение А. П. Чехова. Целая группа писателей явилась тогда из Ялты в Аутку. Пришли все вместе: Мамин, Горький, Елпатьевский, Бунин, Куприн, художник Нилус, писавший в то время с Чехова портрет, и еще, если не ошибаюсь, был артист Художественного театра, старик Артем — большой приятель Антона Павловича, и доктор Средин. За ужином, помню, подавали любимое блюдо Чехова — печеную картошку в «мундире», то есть со шкуркой. Сидели недолго, чтоб не утомлять больного хозяина, и всей компанией пошли пешком обратно в Ялту, наслаждаясь тихим душистым весенним вечером.

В Ялте, на морской набережной, был небольшой книжный магазин старика Синани, любителя литературы и особенно самих литераторов. Знакомства у него в артистической и писательской среде были очень большие. Приезжие известности и знаменитости нередко заходили к нему в магазин, где, кроме книг, продавались еще и папиросы; приходили за табаком, а то и так просто, ради встречи с другими. Иногда можно было видеть здесь Чехова, сидящим на скамье на улице, у входа в магазин. У Синани

была большая толстая тетрадь в хорошем переплете — альбом, где за многие годы расписывались его знакомые из литературного мира и заносили туда на память свои краткие впечатления об Ялте. Книга эта очень интересна по множеству автографов известных людей того времени, и было бы жаль, если б она затерялась в частных руках.

На Мамина, как человека северного, Крым не произвел чарующего впечатления, и он в этой книге автографов написал: «Ехал в Ялту с радостью, уезжаю из Ялты с удовольствием». Помню, как Синани был изумлен такой оценкой Ялты и всем знакомым показывал эту страницу и говорил:

— Вот Мамин-Сибиряк — большой писатель, а про нашу Ялту такое написал, что даже верить не хочется.

Конечно, заметку Мамина можно понять двояко; ехал с радостью и получил от Ялты большое удовольствие, которое и увозит с собой в Петербург. Но крымский патриот Синани почувствовал здесь иной смысл, и, кажется, более верный.

Мамин не сделался приверженцем юга: слишком много было в нем Урала и слишком глубоко сидел в нем Урал, говорил Елпатьевский; ему недоставало уральской елочки, белой березки, того, что ему милее было и пальм, и каштанов, и великолепных магнолий.

Родился Мамин в 1852 году и умер в 1912; стало быть, прожил шестьдесят лет на свете. Не вспомню, это ли шестидесятилетие или иная причина или дата, но что-то вдруг подтолкнуло людей, заставило их позаботиться исправить многолетние ошибки и признать Мамина большим писателем, устроить ему общественное чествование и поднести ему торжественное звание «почетного академика». А когда собрались объявить ему об этом избрании, он лежал уже без памяти на смертном одре и через несколько дней умер, так и не услыхав того, что над ним прочитали. Так и не дождался он давно и вполне заслуженного.

Похоронили его рядом с И. А. Гончаровым. Над раскрытой могилой стояли седовласые «братья-писатели», глядя на которых вспоминались вещие слова

Некрасова, что в судьбе наших «братьев-писателей что-то лежит роковое...»

Много было среди обступившей толпы молодых девушек-курсисток, много студентов, много разных неведомых людей всяких возрастов. Стояли с непокрытыми головами среди серого петербургского осеннего дня и слушали похвальные речи, слишком запоздавшие признания и подводили отсталые итоги. Один только поэт Коринфский бросил слово в будущее и, глядя на молодежь, закончил свое стихотворение с пафосом:

> В грядущих поколеньях
> Ты будешь жить, уральский самоцвет!

## *Портной Белоусов и профессор Грузинский*

Иван Алексеевич Белоусов и Алексей Евгеньевич Грузинский были близкими друзьями. Их связывала не только искренняя дружба, но и взаимное уважение в течение тридцати лет. Люди различных кругов и по рождению, и по воспитанию, и по образованию, они сходились тем не менее в очень многом, а главное — в самой настоящей, в самой действительной любви к литературе, а также в доброжелательном и даже ласковом отношении к людям: оба они любили, чувствовали и понимали природу, и оба были, несомненно, поэтами.

Грузинский был старше Белоусова на пять лет. В ранней юности, когда одному человеку двадцать, а другому пятнадцать, эта разница значительна и существенна, но чем дальше, чем глубже входят люди в жизнь, эта разница стирается, становится ничтожной и совершенно не ощущается. Так было и здесь, тем более что друзья наши впервые встретились в возрасте уже зрелом. Но когда они еще не знавали один другого, разница между ними была не только возрастная: Грузинский был уже филологом, окончившим Московский университет, а Белоусов в это время был ремесленником — простым портным из Зарядья, прошедшим лишь курс городского училища. Перед одним открывалась широкая дорога ученого, перед другим — серая жизнь мастерской, на верстаке, или «катке», с иглой, наперстком и утюгом, среди будничных забот и мелких интересов, в затхлой мещан-

ской обстановке одного из московских переулков, лежащих между бывшей Варваркой (ныне улица Разина) и Москвой-рекой. Вся эта местность была заселена сплошь мастеровым людом — сапожниками, скорняками, портными да мелкими лавочниками и разносчиками, обслуживавшими близлежащие торговые ряды. И отец Белоусова был портной-ремесленник, полуграмотный человек. В доме его, где рос будущий поэт, никогда не было ни одной книги, иметь которые считалось более чем излишним, а сочинять их — крайне предосудительным и неприличным, да никому и в голову не могло прийти, чтобы мог среди них оказаться такой отступник. В доме получались лишь «Полицейские ведомости» — газета, состоявшая только из приказов, городских уличных происшествий и объявлений; подписка была вынужденной и обязательной, и, чтоб не пропадали даром деньги, газета читалась «от доски до доски». В доме никто, конечно, не подозревал, что Иван Алексеевич любит книги, много читает и много вычитывает из них существенного для жизни — не портного Белоусова, но Белоусова-поэта, каковым он родился и каковым был всю свою жизнь до конца, и это призвание свое считал самым лучшим для человека, самым славным, самым радостным, как бы оно ни было иногда тяжело. По словам его любимого поэта Сурикова:

Мы душой в борьбе не пали:
В темной чаще испытаний
Наши песни мы слагали.

И юноша Белоусов, отработав день в качестве портного, по ночам, когда в доме все засыпали, писал свои песни, свои думы, свои стихи. И не только писал, но вскоре начал мало-помалу и печатать их в мелких газетах и журналах под разными псевдонимами, тщательно скрывая свое настоящее имя, чтобы не нажить суровой семейной беды.

Приблизительно в этот период я и познакомился с Белоусовым. Это было в 1885 году. Я тоже писал в это время стихи и уже с год как печатал в «Радуге» свои мальчишеские опыты. Мне было лет восемнадцать, Белоусову — года двадцать два. Помню, он пришел ко мне однажды сам познакомиться и переговорить о товарищеском сборнике стихов, который

группа начинающих поэтов решила тогда издать. И вот оба мы при первой же нашей встрече, еще не зная один другого, подали друг другу в первый раз в жизни руки, да так с тех пор и остались близкими друзьями на всю нашу долгую жизнь — до могилы. Я совершенно не мог бы припомнить ни одного года, ни одного литературного события в моей жизни, которые не были бы так или иначе связаны с Иваном Алексеевичем. Через год после нашей встречи мы издали сборник стихов «Искреннее слово», в котором участвовало девять авторов, в одинаковой степени никому не известных. Но даже и здесь И. А. подписался не своим именем, под стихами стояла подпись: «И. Б. Усов». Домашний режим Белоусова был до того суров, что, помню, нашу оживленную переписку того времени приходилось направлять не по адресу И. А., где он жил и работал, а куда-то к Александровскому саду, в стекольный магазин Нечаева-Мальцева, на имя какого-то конторщика, для передачи Белоусову.

В день похорон Ивана Алексеевича у только что выросшего могильного холма один из его многочисленных товарищей высказал мысль о том, что мещанская среда со всеми ее устоями и традициями не повлияла на свободную душу поэта: Белоусов рос и начинал свою литературную жизнь в Зарядье среди лавочников, портных и мелких верноподданных мещан восьмидесятых годов, в разгар реакции, когда вся Россия была под пятой абсолютизма, когда не только страхом, но и черносотенным пафосом заставляли людей проникаться красотой самодержавных принципов, величием торжественных молебнов с ревом протодьяконов. В это самое время юноша-портной, совершенно одинокий в своих стремлениях и порывах, начинает почему-то любить гонимого украинского поэта Тараса Шевченко. Он изучает его язык, тоже гонимый в то время, начинает переводить его стихи сам и собирать их в переводах других писателей. Всякое насилие, тем более торжествующее насилие, было с ранней юности чуждо его ласковой душе и ненавистно его редкостно чистому сердцу. Просто по натуре своей он должен был «идти к обиженным, идти к униженным, быть первым там». И никакой реакционный пафос не мог его захватить даже среди мещан-

ского окружения его юности: он и в одиночестве был верен тому, что составляло впоследствии, в зрелом возрасте, его общественное лицо, его сущность.

С Белоусовым мы сошлись как-то сразу и весьма прочно. Нередко он приходил ко мне и читал свои стихи, очень простые, очень ласковые; рассказывал много о «Кобзаре» и о жизни Тараса Шевченко и мечтал об издании полного «Кобзаря» в переводе известных поэтов. Рассказывал он иногда и про молодого писателя Чехова, с которым он был тогда уже знаком, но Чехов еще не был в то время известен как Чехов, а знали его только как веселого рассказчика — Антошу Чехонте. Белоусов шил ему пиджаки и все прочее и, принося мерить, разговаривал с ним о литературе и литераторах и однажды решил признаться ему в писании стихов, которые Чехов прочитал и одобрил.

В качестве портного Белоусов долгое время одевал многих литераторов и журналистов. Шили у него братья Чеховы, Тихомиров, Златовратский, Сергей Глаголь (Голоушев), шили Грузинский, Тимковский. Да и кому из литературной братии в свое время не шил он простые будничные костюмы, куртки, шубы, штаны! А время он переживал тогда трудное, даже тяжелое. Вскоре после женитьбы он разошелся с отцом, перебрался в Фуркасовский переулок и открыл свою портновскую мастерскую. Как сейчас вижу я над воротами дома скромную вывеску: «Портной Белоусов». А за этим «портным» уже числилось несколько книг стихотворений, многочисленные переводы из «Кобзаря», из Ады Негри, из Бернса и длинный ряд рассказов для детей.

В эту тяжелую для него пору свалил его на много месяцев жестокий ревматизм, осложнившийся сердечной болезнью. Помню, стоял среди комнаты опустевший верстак, пищали где-то ребятишки, а сам работник и добытчик средств лежал почти без движения в постели. Потом его перевезли на Украину, и на этом, помнится, его портновская деятельность закончилась. По возвращении в Москву он уже становится профессионалом-литератором, принимает ближайшее участие в общественной жизни, издает журнал, выпускает книжку за книжкой своих сочинений. К тому времени возникает товарищеский кружок «Среда», привлекший в свои ряды почти всех выдающихся пи-

сателей той эпохи. Ближайшим участником этого кружка становится, конечно, и Белоусов. Общество любителей российской словесности избирает Белоусова в свои члены и казначеи. Литературно-художественный кружок, имевший большое общественное значение, избирает его в состав дирекции и поручает ему ответственное дело — так называемый «Чеховский капитал» для выдачи из него пособий действительно нуждающимся писателям, артистам, художникам, и Белоусов в течение ряда лет выполняет все поручения с присущей ему любовью к делу и добросовестностью.

Личная моя жизнь связана с Белоусовым многими нитями. Как уже сказано, мы сошлись с ним вдруг и на всю жизнь. Когда в 1888 году Белоусов женился на Ирине Павловне, бывшей ему тоже целую жизнь верным другом, он позвал меня быть у него шафером — роль смешная по теперешним временам и почетная в прежнее время. И я этим шафером был. Здесь, как подробнее описано выше, на веселой, очень веселой пирушке он познакомил меня с Антоном Павловичем Чеховым и с Гиляровским, бывшими в числе гостей. Для меня это было первое в жизни литературное знакомство.

Вокруг Белоусова всегда группировались интересные люди. В большинстве это были люди простые — крестьяне, ремесленники, мелкие служащие, рабочие,— но все они были так или иначе причастны к литературе. Так называемые «самоучки», по их собственному определению, образовали впоследствии «Суриковский кружок писателей из народа», из которого в свою очередь возник «Союз крестьянских писателей». Среди них я встречался у Белоусова с такими писателями, как Сергей Терентьевич Семенов, горячо рекомендованный Л. Н. Толстым, со Спиридоном Дмитриевичем Дрожжиным, со столяром Травиным, с Козыревым, с Леоновым, с сельскими учителями и учительницами, с актерами, изобретателями, журналистами — начиная с никому неведомых и кончая крупными именами. Белоусов был знаком с Толстым, Чеховым, Короленко, Горьким и с большинством известных писателей и знаменитостей своего времени, вел с ними переписку и оставил о многих из них интересные воспоминания.

Из опыта за полвека я вынес такое впечатление: кто с Белоусовым близок, от тех дурного не жди.

В марте 1902 года наш литературный кружок «Среда» решил товарищески справить двадцатилетие писательской жизни Белоусова. Собрались, как обычно, у меня в квартире наши друзья, человек сорок. В этот вечер впервые появился у нас на «Среде» Алексей Евгеньевич Грузинский, знававший Белоусова раньше и желавший принять участие в его празднике. К этому же вечеру я получил письмо из Ялты от А. П. Чехова, в котором он поручает мне поздравить «милого Ивана Алексеевича, которого он считает настоящим писателем, и писателем в своем роде единственным, и, кроме того, человеком очень хорошим». Больной Златовратский тоже прислал мне поручение передать Белоусову его заочный сердечный привет и искреннее пожелание всяких успехов в его дальнейшей литературной деятельности в том направлении симпатий и сочувствия к народу, которое, как писал Златовратский, «было всегда в его произведениях особенно привлекательно».

Знакомство с Грузинским было для меня приятным и, кроме того, полезным, потому что познания его в области литературы были значительны и он умел делиться этими познаниями с особой сердечностью и с заражающей слушателей любовью.

Начиная с белоусовского юбилейного вечера Грузинский стал бывать у нас почти каждую «Среду», и вскоре мы настолько сблизились, что перешли на «ты». И вот с тех пор в течение двадцати восьми лет, вплоть до его кончины, прожили в искренней приязни. К этому мудрому человеку, широко и многогранно образованному, с тонким пониманием художественной красоты и любовью к народному творчеству во всех его видах — в том числе к народной музыке, с огромными познаниями в области народной словесности, приятно было обращаться за советами, справками, беседой. Вся его жизнь протекала в Москве, в мире ученых, литераторов, педагогов, общественников и деятелей культуры и просвещения. Немало трудов в области научных исследований, биографий великих людей, критики, переводов и оригинальных

сочинений, в прозе и стихах, оставил Алексей Евгеньевич. С увлечением и знанием дела работал он по русскому фольклору, редактировал знаменитые сказки Афанасьева, былины, собранные Рыбниковым, народные песни Шейна; его переводы некоторых арабских сказок из «Тысячи и одной ночи» могут считаться лучшими. Он разрабатывал архивы Л. Н. Толстого, Короленко и других писателей, работал и по западной литературе; переводил в стихах излюбленных им величайших поэтов Востока, как Фирдоуси, книгу X века «Шах-Наме».

Воспитанник Московского университета, Грузинский был долгое время председателем старейшего литературного Общества любителей российской словесности. Нелегкая задача, хотя и почетная, выпала на долю Грузинского. В период его председательства был крепко поставлен вопрос о памятнике Гоголю в Москве — вопрос, застрявший ранее на многие-многие годы в канцелярских дебрях. В сущности все было готово: и проект скульптора Андреева и денежные суммы; недоставало только энергичного толчка со стороны общественности, а день столетия со дня рождения Гоголя приближался. И Грузинский этот толчок дал со свойственной ему прямотой. Всю эту тормозящую канцелярщину сдали под надзор общественного комитета, в который вошли профессора, писатели и художники, и через год, к юбилейному сроку, памятник был поставлен и торжественно открыт.

Помню это ясно потому, что Грузинский привлек меня в казначеи этого комитета и мне пришлось распутывать такие сложные многолетние дела, наткнуться на такие «чудеса» казначейских отписок и хищрений, что страшно было принять на себя это запутанное и бездокументное дело долгого нерадения и общественной небрежности. Но в комитет вошли теперь новые люди, прямые, энергичные, с именами, пользующимися безусловным общественным доверием, и решили дело осуществить во что бы то ни стало. С проектом памятника многие не были согласны, но, раз на конкурсе проектов он получил первую премию и был принят жюри для постановки на московской площади, оставалось только осуществить это к юбилейному сроку. Заслуга в этом деле Грузинского была очень значительная.

В частной, интимной жизни, в товарищеской среде Грузинской был всегда милым, остроумным, веселым и в то же время серьезным собеседником. Приезжая, что называется, в гости, он всегда привозил с собой что-нибудь очень интересное и прочитывал это своим друзьям. Работая над архивом Толстого, он иногда читал нам никому еще не известные варианты и целые главы из «Войны и мира» и других великих творений; при этом он комментировал тексты, и, я помню, эти чтения производили на слушателей сильное впечатление.

Известный литературовед Н. М. Мендельсон, сослуживец Грузинского по Румянцевскому музею (ныне Ленинская библиотека), рассказывал нам, как А. Е. Грузинский ежедневно своей медленной, тихой походкой направлялся в кабинет, где собраны были величайшие сокровища, которыми может гордиться русская культура,— художественные произведения Л. Н. Толстого, его дневники, его переписка вплоть до 1880 года. И когда мы входили туда и видели там Грузинского — спокойного, тихого, как-то гнездящегося среди этих ящиков, карточек, папок,— в общении с теми, кто приходил работать над этими сокровищами, чувствовалось, что он там в своей сфере. С необыкновенной тщательностью, доходящей до скрупулезности, работал он над исследованиями текстов, над установлением постепенных редакций, и чувствовалось в нем особое, глубокое проникновение в дух тех сокровищ и времен, которые он изучал.

Алексей Евгеньевич ценил красоту во всем и умел понимать ее. В этом было большое обаяние его бесед. Так же, как и Белоусов, он был членом нашей «Среды», был директором литературно-художественного кружка, членом товарищеского «Книгоиздательства писателей», поставившего своей задачей бороться с частными эксплуататорами писательского труда, и некоторое время был заведующим нашим издательством. Как и вся наша группа, в течение четверти века обслуживавшая московскую общественность в самых широких размерах, Грузинский и Белоусов оба постоянно встречались и работали вместе в кассе взаимопомощи литераторов и ученых, в Обществе деятелей периодической печати и литературы, в Литера-

турно-художественном кружке, в Чеховском обществе, в Союзе писателей.

Менее чем за месяц до смерти Белоусова (он умер 7 января 1930 года) несколько старых друзей, в их числе и Грузинский, по желанию самого больного, собрались у его постели в день его рождения, 10 декабря, когда ему исполнилось шестьдесят шесть лет. Болен он был тяжело и в сущности безнадежно. Все это сознавали, да и сам он отлично понимал свое положение. Он был тем не менее весел в этот вечер, насколько может быть весел человек, который знает, что его дни сочтены. Это сознание не покидало его ни на минуту; он видел, что умирает, но старался не показывать это своим друзьям, хотя все это невольно прорывалось даже среди шутливых разговоров. Между прочим, он говорил, что вот ему сегодня шестьдесят шесть лет, и когда он подсчитал всякие выпуски своих сочинений, то оказалось, что их к сегодняшнему дню вышло в свет в различных изданиях тоже шестьдесят шесть.

— А вот шестьдесят седьмой вещи я уже не издам,— невольно прорвалось у него среди беседы.— Да и шестьдесят седьмого года тоже, пожалуй, не проживу.

Не только года, но и месяца не протянул он с того дня. О нем нельзя не сказать, что это был человек с прекрасным и чистым сердцем, желавшим всюду и всем только добра. Все окружающие его любили и ценили именно за его душевную чистоту. В виде примера приведу письмо А. Е. Грузинского к Белоусову — последнее послание к умирающему другу от человека, любившего и ценившего его, который пережил своего друга всего лишь на две недели. В этом письме Грузинский, говоря о своих личных отношениях к Белоусову, выразил отношение большинства людей, знававших близко Ивана Алексеевича. Он так обобщил, так хорошо выразил это отношение, что под письмом этим, я уверен, подписались бы с радостью все старые друзья Белоусова.

Вот это письмо от 18 декабря 1929 года.

«Дорогой мой, милый старый друг, Иван Алексеевич. Слышу, что опять тебе стало нехорошо, и тоскую по тебе, и защемило мое, тоже нездоровое, сердце. Годы наши с тобой немалые и ненадежные, кто знает,

когда и как придется опять свидеться после последней нашей встречи 10 декабря у тебя. И мне захотелось написать тебе то, что сейчас мне думается и чем полна душа.

Мы с тобой водили дружбу очень долго, пожалуй, близко около сорока лет; сколько именно, я сейчас не вспомню, да оно и неважно; важно то, что, как далеко я ни углубляюсь в прошлое, я не помню времени, когда мы не были знакомы и дружны. Конечно, было оно, такое время, когда-то, но, повторяю, я забыл его, а во весь длинный ряд годов с тех пор, как я начал жить здоровым и крепким и молодым человеком, и до сегодня в моей душе твой милый образ стоит как близкий, и радушный, и дружественный. И мне хочется сказать тебе, что за все время я не помню не только поры, не помню ни одного дня, когда бы между нами прошла тень ссоры или неудовольствия. Для меня эти 30—40 лет дружбы с тобой полны ясного, ласкового света и тепла. И за эту безоблачность, которая не так уже часто бывает в жизни, мне хочется сказать тебе спасибо и от всей души тебя поцеловать.

Вот несколько слов, которые меня потянуло написать тебе, милый друг. Я знаю, что ты не сомневаешься в моем искреннем отношении, но надеюсь, что мой дружеский порыв, родившийся прямо из сердца, найдет созвучный отклик в твоей душе. Желаю тебе, милый друг, найти еще сил для борьбы с твоим недугом. Обнимаю тебя по-братски.

Твой *Ал. Грузинский»*.

Предчувствие не обмануло Грузинского: утром в день похорон Белоусова с ним сделался тяжелый сердечный припадок, а через две недели, 22 января, не стало и его.

## *Самоучка*

В восьмидесятых годах жил в Москве Алексей Иванович Слюзов, очень тихий и простой человек лет двадцати семи, среднего роста, с темной бородкой и ясными, добрыми глазами. Носил он обычно длинный сюртук и синюю косоворотку, а в карманах у него всегда лежали стихи — в рукописях, в гранках, в брошюрах. Особенностью его было не то, что он сочинял стихи, но то, что не писать стихов он не мог. В стихах была вся его радость, все его горе, в них была вся его жизнь. Это был крест его жизни, который, однако, он нес до гробовой доски с необыкновенной любовью и верил, что несет его он не зря.

Слюзов не только автор многочисленных стихотворений, но и издатель многих сборников, преимущественно мелких брошюр в тридцать — пятьдесят страничек. И не только писал и издавал он их, но и торговал ими вразнос, появляясь то на Волге, то на Дону, то в Москве. Издавал он и компанейские сборники стихотворений начинающих авторов, «самоучек» и неудачников. Появляясь в каком-либо городе, он прежде всего старался узнать, нет ли где людей, пишущих стихи, и нельзя ли этих людей перезнакомить между собой, чтобы общими силами и на общие средства издать брошюрку.

О своем происхождении и о первых шагах Слюзов сам рассказывает довольно откровенно в предисловии к одному из таких сборников. Родился он в Казани,

в 1858 году, в семье приказчика. Вскоре отец его, оставив службу, открыл бакалейную торговлю, к которой стал приучать девятилетнего сына, успевшего пройти только один класс приходского училища. Молодой Слюзов сидел в лавке, ездил с отцом по ярмаркам, почитывал украдкой книжки и, будучи уже юношей, начал тайно от родителей писать в свободное время стихи, которые затем издал в 1882 году.

«Матушка дала мне денег на издание, но выдумку мою не одобрила,— пишет Слюзов.— В том же году я издал еще вторую брошюрку на займы у товарищей, через год издал третью: «Рассказы и сцены», и сделал публикацию о предложении издать сборник начинающих поэтов на общие средства. По публикации нашлось 10 авторов, и мы издали сборник в 43 страницы».

Насколько его интересовала бакалейная торговля и как сладка была жизнь, можно судить по следующему стихотворению:

Так же йдут дни за днями
Жизни скучной нашей,
Так же мы едим, как ели,
Те же щи да кашу;
Те же мелкие расчеты
Убыли, наживы
Нас и радуют и мучат,
Пока все мы живы.
И века еще продлятся,
Нас уже не будет,
И житье мещан все то же,
То же, то же будет.
И из этой скучной жизни
Рвусь я поневоле
На простор искать куда-то
Лучшей в жизни доли.
Пусть в борьбе нужда подкосит
Молодые силы,
Но сменить я жизнь пустую
Рад и на могилу.

Вскоре Слюзов лишился матери, о которой всю жизнь вспоминал с благодарностью и благоговением. Отец женился вторично, но пасынок с мачехой не ужился и был отпущен отцом с радостью «на все четыре стороны», как говорит сам Слюзов.

С этого времени и начинается для него тяжелая жизнь. Казанские, самарские, ростовские и другие провинциальные издания охотно печатали его сти-

хи, но денег за них не платили, а если иногда и платили, то такие гроши, на которые нельзя было жить даже впроголодь. Приходилось задумываться о «месте», то есть опять надевать ненавистное ярмо. Но без всякой рекомендации Слюзову приходилось встречать лишь подозрения, крайне обидные. Искание места не охладило, однако, Слюзова к издательству, и он издал вновь четыре брошюры стихов и один сборник на общие средства, в котором участвовало уже пятнадцать авторов. Заканчивается автобиография тем, что, простившись с родным углом, Слюзов уехал в Москву искать работы.

Снилась мне разлука с садиком моим...
Я прощался с каждым деревцем родным.
Маленькими, помню, я их насадил.
С ними я, прощаясь, грустно говорил:
«Садик мой зеленый, навсегда прости,
Будь благополучен — расцветай, расти...
Уж твоих плодов мне больше не срывать
И в тени-прохладе больше не лежать...»

Явившись в Москву, он прежде всего публикует в газетах о желании издать сборник и призывает начинающих авторов к совместной работе по изданию, затем печатает свои новые стихотворения отдельной маленькой книжкой, быть может, уже десятой по счету.

Я познакомился со Слюзовым в 1885 или 1886 году, когда он приехал в Москву, полный надежд, и когда нужда и горе еще не успели подорвать его силы.

Вот одно из писем Слюзова, как образец его переговоров с начинающими поэтами, откликнувшимися на его публикацию об издании товарищеского сборника, по его выражению, «на общие средства, с общей пользой».

«Условия по изданию сборника будут состоять: 1) из неограниченного числа стихотворений от одного лица; 2) каждый автор платит за то место в сборнике, какое он занимает, то есть по количеству, и получает столько книг сборника по выходе из печати, сколько падает на его деньги (без пользы издателю); платеж денег можно сделать прямо в типографию или же избранному лицу из среды участвующих.

Выбор стихотворений будет зависеть от всех участвующих в сборнике, для чего и будут назначены где-

то сходки. Все мы, по моему мнению, должны ознакомиться лично — это поведет к пользе всеобщего развития в спорах, и вообще приятно иметь в числе друзей коллег.

В трудах издания мы должны помогать друг другу (если кто-нибудь будет иметь для этого возможность); я, например, первый зачинщик, не могу быть редактором сборника, потому что полуграмотен — самоучка, но тоже пишущий стихотворения и уже издавший в провинции девять брошюр, в том числе два сборника — один в Казани, а другой в Самаре — на таких же условиях, как предполагается издать в Москве. Не могу быть корректором, но беру на себя труд переписчика в общую тетрадь стихотворений для цензуры; беру на себя хлопоты по цензуре и по издательским делам, которые мне знакомы как нельзя быть лучше. Если общество участвующих забракует мои стихи, которые бы мне хотелось поместить в сборнике, то и тогда я не прочь предложить свои безвозмездные услуги за идею объединения литературных начинающих сил.

Итак: страница сборника приблизительно обойдется в 80 коп. На ней вместится от 20 до 24 строк; если вы займете 10 страниц, вам будет стоить это 8 рублей; если пять — 4 рубля. Сборник будет издан в 1200 экземплярах, и вот на 4 рубля вы получите несколько экземпляров сборника, сдадите их на комиссию, и, кроме пользы, ничего быть не может.

Мне желательно с вами познакомиться лично, я вам подарю изданный сборник в Самаре, где вы увидите и мою стряпню; в нем участвовало 15 авторов. Напишите, когда я вас могу застать (если это возможно, то есть личное знакомство). К себе не прошу — редко бываю дома и живу далеко. Простите, что навязываюсь,— нельзя иначе. Ваш покорнейший слуга Алексей Слюзов. 7 марта 86 г.».

Жил он бедно, но без нужды, имея на черный день триста рублей, скопленных за пятнадцать лет торговых занятий, но и эти деньги у него были вскоре отобраны благодаря его доверчивости и простодушию. Однажды он явился ко мне сияющий и счастливый; директор одного из правлений пожелал помочь Слюзову и принял его на службу в общество с жалованьем по рублю в день, но с непременным залогом в три-

ста рублей. Как рад и счастлив был тогда Слюзов! Но радость его была не долга: залог взяли, места не дали, и триста рублей пропали за директором, который обездолил Слюзова на всю жизнь, чтобы отсрочить свой крах на несколько дней или часов.

— Последние деньги у меня стащили,— говорил мне впоследствии Слюзов.— Теперь уж не могу жить привольно. Нужно опять становиться за прилавок.

И на последние десятки рублей открыл возле Курского вокзала торговлю: продавал извозчикам булки, селедки, подсолнухи и горячую колбасу, которую тут же поджаривал в маленькой железной печке, но месяца через два уже жаловался:

— Что-то плохо торгую. Место надо переменить.

И переехал на Цветной бульвар, где сначала была у него в лавке жареная колбаса, а через полгода остался лишь тесовый ящик с рукописями, газетами и сборниками, никому не нужными.

— Пролетел! — грустно смеялся над собою Слюзов.

На судьбу он часто жаловался, но о людях я никогда не слыхал от него дурного слова. Ненавидел он только свою мачеху. Зато уже ненавидел до бешенства, до несправедливости; даже есть стихотворение, начинающееся так: «Мачеха, мачеха, чтоб тебя черти забрали в ад поскорей». Вообще о ней Слюзов никогда не мог говорить без крайнего раздражения. Но про того же директора, который его разорил, он говорил очень снисходительно:

— Не пошла ему на пользу моя беда: все равно кредиторы у него все отняли.

В связи со своим разорением и, как он выражался, «пролетевшей торговлей» и дававшей уже себя чувствовать нищетой и полной безработицей Слюзову пришлось пережить личную тяжелую драму.

Ой, девица бестолковая,
Не люби ты парня бедного.
Ты послушай бабу старую,
А скажу я правду-истину:
«Вот как есть-то будет нечего,
Одежонка истаскается
Да по детям-малолеточкам
Все сердечко исстрадается,
Так раскаешься, вздыхаючи,
Свою долю проклинаючи.

Ой, послушай, бестолковая:
Не люби парня бездомного».
Так старуха красну девицу
Научала уму-разуму,
А девица молча фартуком
Утирала слезы горькие.
Она плакала да думала:
«Хорошо учить-советовать,
А вели-ка быстрой реченьке
Воротить назад течение».

Нищета с каждым днем становилась ощутительней. В борьбе с нею Слюзов нанялся было в работники, но через месяц отказался:

— Заставляют шестипудовые ящики на спине носить, а я так измучен, что и трех пудов поднять не могу.

Наступили опять безработица и нужда, и «старая баба» из стихотворения восторжествовала: не допустила девичьей любви к бездомному человеку. Слюзов уехал внезапно из Москвы в Ростов-на-Дону, откуда лишь через год я получил от него известие, что живет он не дурно: торгует вразнос галантерейным товаром и своими двумя новыми книжками, которые издала какая-то типография, разумеется, без всякого гонорара, и верит автору в кредит не более десятка экземпляров.

Как весна настанет —
Я цыган в душе:
В степи меня манит,
К жизни в шалаше.
Там бы на свободе
Песенки я пел,
Там бы на коне я
Вихрем полетел,
Там бы полюбил я
Милую нежней,
Там бы не стыдился
Бедности своей.

«Написал бы вам и раньше, да вышла заминка в делах: товара имею на 1 руб. 30 коп., а наличных от выручки не хватило на марку: все уходило на хлеб да ночлег».

К письму было приложено несколько стихотворений на обычные его темы — о лишениях и утратах:

Всю могилу понакрыла
Молодая ива,

А вокруг растет могилы
Жгучая крапива.
Не пускает та крапива
Казака босого —
Словно мать от дочки гонит
Бедняка-милого.
«Ой, ты, жги, крапива ноги,
Жги больней, больнее.
Меня люди не жалеют,
Жги, ты, не жалея!»
Так казак сказал, а ветер
Речь понес и вскоре
Разболтал травинке каждой
О казачьем горе.
На траве кобзарь в ту пору
Отдыхал, и кашка
Кобзарю то разболтала,
Как казак-бедняжка
Плакал долго на могиле,
Причитая только:
«Гой, ты, Катря, моя Катря,
Зорька моя, зорька!»

С тех пор я не видел более Слюзова, хотя переписывался с ним лет около двенадцати. То получал я письма из Ростова, то из Самары, то откуда-нибудь из провинции, и всегда из этих писем узнавал, что Слюзов издал новую брошюрку или новый сборник и что хорошо торгует им вразнос, но наличность «кассы» редко позволяет ему истратить семь копеек на марку.

Матушка, милая,—
Вести печальные
С родины я получил:
Будто могилка твоя обвалилася,
Крест повалился, подгнил;
Вся заросла она травушкой сорною,
Некому травку сполоть.
Вновь возвратиться на родину милую
Ты помоги мне, господь.
Я бы песочком усыпал могилушку,
Я бы слезами ее окропил,
Знала бы ты, что, далекий от родины,
Сын твой тебя не забыл.

Так писал Слюзов, намереваясь посетить, наконец, свою родину — Казань, где в сырой земле лежала его мать, о которой он всегда вспоминал в радостные и тяжелые минуты жизни.

На могиле скорбя,
Одинокий стою,

Вспоминаю тебя
Я, родную мою.
Много лет не бывал
У тебя я в гостях,
Много бед испытал
У нужды я в когтях;
И в Москве голодал,
И в Самаре я жил,
В те года и страдал,
И безумно любил,
И, как вихорь, злой рок
На меня налетал.
Но везде твой сынок
За себя постоял.
Честь и гордость пока
Не сломились нуждой,
Ради хлеба куска
Не кривил я душой,
И не сгиб под грозой,
Устоял я в бою
И в гостях у родной,
Не краснея, стою.

Но неприветливо отнеслась к нему родина. После долгого промежутка я получил от Слюзова осенью 1898 года письмо из Казани. Называя себя «безродным на родине», он сообщает, что лежит уже около месяца в Александровской больнице.

«Долго, кажется, пролежу, и, быть может, в часовню стащат. До сих пор я был торговцем вразнос, за что здесь никакой платы не берут, и колотился коекак, да вот занемог и больше месяца не шел в больницу, да, наконец, из сил выбился и вынужден был лечь в больницу. И не хотелось мне, ой, как не хотелось. Больница для казанских мещан бесплатная, и я лежу бесплатно. Недели две чая не пил и не курил. Это казенное не полагается, а больные не дают: сами все казанские сироты — нищие, и я такой же оказался, дошел «донельзя», так что у меня осталось на 28 копеек всего товара да на письмо к вам 4 копейки. Но, несмотря на все неудачи в жизни, я доволен жизнью, как никогда не был доволен. Радует меня все: небо, и травка, и моя разноска, но год был тяжелый у нас, и хлеб дорогой. Скучно в больнице. К больным ходят родственники, знакомые, а ко мне никто. Сирота на родине...»

В письме этом сказывалась не одна бедность, не одна беспомощность, но отчаянная и кровная обида. «Безродный на родине», «сирота на родине» — это

был вопль оскорбленного умирающего человека.

Скончался Слюзов весной 1900 года в Казани. Вот последняя весть о нем:

«Исполняя вашу просьбу, уведомляю вас, что поступивший в 1900 г. на излечение в Александровскую больницу Алексей Иванович Слюзов помер в больнице 4 марта того же года и был похоронен на местном городском кладбище. Смотритель Александровской больницы С. Е. Боголюбов. Казань».

Пересматривая теперь целую связку брошюр в синих, желтых и серых обложках, изданных в Самаре, Казани, Ростове, Москве, я невольно чувствую удивление перед энергией этого несчастного человека, не искавшего ни карьеры, ни славы, но бескорыстно работавшего всю жизнь над любимым делом и редко встречавшего что-либо, кроме насмешек.

Прав он был или нет, но он твердо верил в культурное значение русских самоучек, стихов, товарищеских сборников и дешевых изданий, надеясь, что этим путем, по его же словам:

Вековечный застой разбивается:
Будет грамотен русский народ.
А где в небе заря занимается,
Там и красное солнце взойдет!

## *Друг книги*

Наша страна богата самородками, людьми, вышедшими из глубины народа, нередко не получившими никакого школьного образования, но богатством своей натуры, своим широким умом, своей одаренностью, энергией и действительной любовью к труду совершившими за свою жизнь большое общественное дело.

Хочется вспомнить о встречах с человеком, имя которого неразрывно связано с историей русской книги. Это крупный русский самородок, крестьянин Костромской губернии, Иван Дмитриевич Сытин.

Образование его протекало под страхом розги да подзатыльника или стояния коленами на горохе и завершилось обучением грамоте в сельской школе с ее церковнославянской премудростью и начальной арифметикой.

А с тринадцати лет уже хлеб насущный погнал юного Сытина из дома по чужим людям на заработки.

Знаком я был с Сытиным на протяжении всей моей жизни. Я стал знать о нем, когда был десятилетним мальчиком, в конце семидесятых годов. На Пятницкой улице у него была маленькая типолитография, всего машины в две-три, и помещалась она, насколько помнится, в каком-то полуподвале. Жил я неподалеку и, помню, часто бегал заглядывать в эти низкие окна с улицы, почти на уровне тротуара, как там, внутри, среди каких-то валов и рычагов бегут, словно ручьи,

приводные ремни и какая-то сила поднимает и опускает железные щиты, а широкие листы белой бумаги покрываются вдруг печатью и куда-то соскальзывают, а на смену им идут новые и новые листы. И так — без конца. Помню радостное волнение, которое охватывало меня при виде всего этого. Я и думать не мог тогда, что моя жизнь будет тесно связана с тем, что казалось мне в ту пору лишь волнующим зрелищем.

Сытин появился в Москве в 1866 году и в качестве «мальчика» поступил в книжную лавку Шарапова — известного в то время издателя лубочных картин, всяких сонников и песенников, «царей Соломонов» с их предсказаниями судьбы, «Битвы русских с кабардинцами», «Бовы-Королевича», «Солдата Яшки» и тому подобных листовок,— поступил пока что отворять двери покупателям. У него же на квартире Сытин чистил сапоги хозяину, носил дрова и воду, бегал на посылках, выносил помои.

Призванный «отворять дверь» в книжную лавку, Сытин впоследствии действительно во всю ширь распахнул двери к книге — так распахнул, что через отворенную им дверь он вскоре засыпал печатными листами города, и деревни, и самые глухие «медвежьи углы» России, куда понесли офени и коробейники — бродячая сытинская армия — копеечные брошюрки «Посредника» с произведениями крупнейших писателей во главе с Л. Н. Толстым, за которым следовали Лесков, Гаршин, Короленко, с рисунками выдающихся художников, как, например, Репин.

— Это была не простая работа, а было как бы служение по мере сил народному делу,— говорил впоследствии об этом сам Сытин.

На почве деловой и общественной Сытин был близок с интереснейшими людьми своего века, с лучшими представителями литературы, искусства и общественности, с носителями крупнейших имен. Гигантское колесо, которое трудами, заботами и инициативой Сытина вертелось в течение полувека, год от года росло и ширилось. По опубликованным данным, в его издательстве за последнее время количество листов-оттисков равнялось 175 миллионам в год, и годовое количество литографий — 6 миллионам. Только на одни книги и литографии расходовалось ежегодно бумаги 350 тысяч пудов.

Лавка Шарапова, в которой впервые подошел к книжному делу пытливый мальчик, помещалась у Ильинских ворот, вблизи сломанной теперь часовни Сергия. Здесь началась книжная деятельность Сытина с заработком пять рублей в месяц; здесь она окрепла и разрослась до колоссальных размеров, с годовым оборотом в восемнадцать миллионов рублей. И здесь же, у Ильинских ворот, она закончилась в таком же крошечном помещении, как и полвека тому назад.

Неукротимая энергия этого человека, привыкшего всю свою долгую жизнь работать «даже во сне», как про него говорили, не давала ему покоя. Он взял в 1919 году в аренду маленькую тюремную типографию и начал было печатать в ней какие-то ярлыки и бланки для казенных учреждений. Но вскоре бросил это занятие.

— Не могу вертеть маленькое колесо. Я не гожусь для этого.

Не вспомню сейчас, в каком году, кажется, в 1892 или 1893, типографию переводили с Пятницкой на Валовую улицу, через дом от моей квартиры, и я в течение года наблюдал в окно из своего мезонина, как закладывалось и росло это кирпичное здание с широкими окнами, как потом загремело железо по стропилам крыши, как засветились первые огни в окнах, как задымилась труба и загудел первый гудок. А через год с небольшим я уже ходил там по каменным лестницам с корректурными полосами моей первой книги «На тройках», изданной Сытиным в 1895 году.

Кто сам не испытывал, тому никакими словами не расскажешь, какое это наслаждение для молодого автора: держать в руках корректурные гранки своей первой книги. Запах типографской краски, резкий, но бодрящий шум колес где-то за дверями, движение машин, шелест ремней — вся эта очаровательная жизнь печатного слова кипела вокруг меня, идущего по лестнице в типографскую контору сдать поправленные листы и получить новые для дальнейшей проверки. Немало в течение жизни пришлось бывать в различных типографиях, брать и отдавать обратно корректуры, но, конечно, никогда уже не повторялось то очарование, какое овладело мною впервые, хотя до

сих пор запах свежего оттиска, прямо из типографии, вызывает во мне чувство, близкое к удовольствию.

В связи с изданием этой книжки рассказов и в связи еще с тем, что мы были соседи и то и дело встречались, Сытин нередко звал меня к себе. Помню, в одной из больших комнат типографии была устроена однажды пробная выставка работ своих, домашних художников: это юная молодежь, взятая из деревни на выучку, показывала свои первые опыты и успехи. Сытин устроил им классы рисования, которыми руководил в то время крупный художник Н. А. Касаткин, «передвижник», автор многих выдающихся картин. Рисовали с гипса кубики, шары, руки, ноги; кое-кто доходил до голов и до целых фигур. Были пробы копирования картин — в карандаше и красках.

Публику на этой выставке составляли несколько человек из ответственных типографских служащих, сам Сытин, художник Касаткин да я. Работы были нередко удачные, иногда очень интересные. Но интересней всего была сама идея. Ученики более подготовленные переходили потом в литографию, и им поручались ответственные работы. В то далекое время это была только проба, первые шаги, а лет через десять полною мощью работала уже настоящая художественная школа с вечерними классами по общему образованию; курс был пятилетний. Учеников, особо выделяющихся, переводили потом в Школу живописи, ваяния и зодчества для дальнейшего развития их талантов. Но первые зачатки дарований опознавались именно здесь.

Я застал все только в зародыше, только еще в идее. Сытин справедливо придавал этому большое значение, направляя из народных масс талантливую молодежь на хороший, заманчивый путь.

Во время первой революции, в декабре 1905 года. сытинская типография, расположенная по улицам Пятницкой и Валовой, являлась центральным пунктом революционного Замоскворечья, защищаемая несколькими баррикадами. Царская артиллерия подожгла снарядами типографские здания, и когда съехались пожарные, им было воспрещено тушить огонь. Внутренность типографии вся выгорела, в огне погибли значительные ценности, но страховые общества,

в силу своих уставов, отказались оплатить убытки, как происшедшие от народных волнений. Пришлось перенести и это. Однако через год типография была вновь восстановлена и работала по-прежнему.

Множество приятных и интересных встреч доставлял мне Сытин своими зовами к себе. То позовет на открытие нового отделения с какими-нибудь еще неизвестными в России машинами, то просто в литературную компанию, случайно собравшуюся у него, то с Эртелем, то с Чеховым и т. д. Одна из таких пригласительных записок, относящаяся к 1896 году, у меня сохранилась.

«У меня 14 сего сентября 30-летний юбилей моего служения книгоиздательскому делу,— пишет мне накануне даты Иван Дмитриевич.— Тридцать лет назад я пришел в Москву из Костромских лесов и у Ильинских ворот вступил на поприще книжного дела. Не готовясь и не думая, я только вчера вечером вспомнил об этом и, чтобы не очень буднично провести этот день, решил позвать к себе вечерком близко знакомых своих друзей. Прошу вас...» и т. д.

Гостей было не очень много, да и квартира Ивана Дмитриевича была не из обширных; собрались родственники, старшие техники типографии; из присутствовавших литераторов вспоминаю В. А. Гольцева и А. П. Чехова, бывшего весь вечер очаровательно веселым.

Как всегда, Чехов любил говорить о делах. Но о делах он говорил всегда тоже весело и не без шутки. Но и шутки его были в свою очередь деловые. Когда зашла речь о дешевой небольшой газете, которую следовало бы начать издавать в Москве, но чтоб газета была осведомленная не менее, чем по-суворински, и интересная,— кто-то полюбопытствовал:

— А что для этого нужно, чтоб газета была, так сказать, «Маленькое „Новое время"»?

Чехов, улыбаясь одними глазами, ответил:

— Думаю, что для этого надо быть прежде всего «маленьким Сувориным»...

Близ этого же времени у Сытина было большое торжество, очень многолюдное, по случаю открытия вновь построенного фабричного корпуса и появления в нем, впервые в России, двухкрасочной ротационной машины — небывалого гиганта, выбрасывающего ка-

кое-то сказочное количество листов в час. Это невиданное доселе «чудовище», прибывшее из-за границы, стояло в нижнем этаже, а над ним, в верхнем помещении, в огромном зале будущей литографии, были накрыты столы для торжественного завтрака. По тогдашним обычаям, праздник начался с краткого молебна и соответствующего «слова» местного протопопа, который, помнится, говорил о печатном станке как о великой силе, могущей сеять в народе семена как добрые, так и лукавые; и чем могущественнее станок, тем больше может быть от него или зла, или добра, в зависимости от того духа — райского или адского, который успеет завладеть этой машиной (намек на «направление» издательства).

Заканчивалось «слово» пожеланием победы и торжества доброму гению. Чуть не через полсотни лет, конечно, трудно вспомнить сказанные тогда слова, и я не претендую на точность передачи, но смысл их был таков. И при последнем слове новое «чудовище» было пущено в ход. Впечатление от его мощи было огромное.

Сначала внизу, у машины, а через полчаса и в верхнем этаже, у накрытых столов, собрались самые разнообразные служители печатного слова: литераторы, педагоги, редакторы и издатели журналов и газет, владельцы иных типографий, представители заграничных фирм — машинных и бумажных, именитые адвокаты с Ф. Н. Плевако во главе, профессора университета, художники, техники, служащий персонал и представители рабочих. Здесь же присутствовал и Московский цензурный комитет в лице своего председателя,— если не ошибаюсь, Федорова, и большого оригинала цензора Соколова, человека шумного, позволяющего себе не только бранить автора в глаза, но иногда кричать на него и топать, но зато позволявшего и автору не оставаться в долгу и не уступать цензору ни в крике, ни в брани. Случалось, что после такой горячей схватки автору удавалось «отвоевать» у грозного цензора если не всю запрещаемую статью, то хоть кусок статьи, наиболее ему нужный и ценный.

Много приветствий и интересных речей говорилось тогда за этим завтраком. Но вот во время одной затянувшейся речи к главному столу, за которым в центре сидел Сытин, подходит со стаканом в руке сам

Плевако — знаменитый адвокат, несравненный оратор, звезда первейшей величины. Все с удовольствием насторожились в ожидании его слова.... А длинная речь все еще льется и льется...

Этот главный стол был накрыт в виде громадной буквы «Г», поэтому во внутреннем углу его хотя и стояли два стула, но приборов перед ними не было, так как сидеть на этих двух местах и завтракать невозможно, и стулья, несмотря на общую тесноту, стояли пустые. На эти-то оба стула, близко стиснутые между собою, и присел на минуту Плевако в ожидании конца затянувшейся речи. Эта мелочь не ускользнула, однако, от внимания Гольцева, большого приятеля Плевако, но резко расходившегося с ним во взглядах, особенно за последний период увлечения Плевако церковностью.

Вскоре со стаканом в руке поднялся Плевако со своих стульев и, как всегда, яркими штрихами, полными блеска, охарактеризовал Сытина на фоне его книжной деятельности. Слушая эту красивую речь, Гольцев тихо улыбался, словно радуясь, что приятель его не обнаруживает сегодня склонности выявить свои новые увлечения и ведет себя хорошо и достойно своего крупного имени.

Однако оратор, договорив о Сытине, поставил здесь не точку, а только точку с запятой и, видя перед собой за столом, рядом с Сытиным, председателя цензурного комитета, решил почтить и его перед всем обществом. Во второй части речи Плевако напомнил слова, только что сказанные протопопом, и повторил о возможности для «духа лукавого» использовать силу печатного слова, если б... если б не было на свете — цензуры!

И пошел палить во славу цензурного комитета и его достойного председателя.

Именно здесь, в этой застольной речи, и было произнесено знаменитое сравнение цензуры со старинными щипцами, которые «снимают нагар со свечи, не гася ее огня и света», — выражение, на многие годы после этого ставшее пословицей в издательских кругах.

Не легко отважиться вступить в бой с таким блестящим противником, как Плевако. Но песнопение во славу цензуре, от когтей которой трещали весь век

лучшие журналы, калечились великие произведения, цензуре, зажимавшей всем глотку,— этого стерпеть не мог и не захотел свободолюбивый Гольцев. Он встал еще при последних словах оратора, чтобы не потерять право очереди, и сейчас же заговорил.

Заговорил о цензуре. Заговорил все о том же «лукавом духе», которому в этот день решительно не давали покоя, который не только может, по словам протопопа, прийти, но что он уже пришел, что он «уже среди нас; но только он завладел не ротационной машиной, а талантливым языком почтенного оратора, Федора Никифоровича Плевако».

Все, что позволяла возможность сказать о цензуре в присутствии председателя цензурного комитета, Гольцев сказал — использовал случай облегчить душу перед общественным мнением. За «щипцы, снимающие со светильника нагар», как и следовало ожидать, досталось Плевако всего более.

— Вот-с, уважаемый Федор Никифорович, что значит «сесть между двумя стульями»!

Этим заключительным взмахом и закончил свою отповедь Гольцев. Я не помню, терпел ли когда-нибудь Плевако от своих противников поражения, но смею думать, что такой потасовки ему еще никогда не задавали. А «сидение между двумя стульями» вызвало в собрании общий веселый и громкий смех.

Шли годы. Издательское дело росло не по дням, а по часам. Деятельность Сытина, этого крупнейшего издателя-предпринимателя, стремившегося широко распространить в народе хорошую книгу, дорогую удешевить, а дешевую улучшить, начала вызывать к себе в сферах подозрительное отношение; ему не могли забыть, что именно он «Толстого в народ пустил», и решили попугать как следует, всерьез. За изданную брошюру «Что нужно крестьянину» его привлекли к суду по грозной статье 129-й — за «призыв к ниспровержению существующего строя». И еще раз по той же статье — за издание «Полного словаря иностранных слов», где, между прочим, впервые разъяснялись такие слова, как «диктатура пролетариата», «капитализм», «социал-демократическая партия». В «сферах», конечно, понимали и сами, что издатель, выпускающий в год десятки тысяч названий, физически не может детально знакомиться, как редак-

тор, со всем материалом лично, но создать вокруг дела тревогу и возню было все-таки соблазнительно. Однако Сытин остался верен себе и продолжал издавать то, что считал нужным и своевременным, хотя и привлекался еще не однажды по статьям, не сулящим ничего утешительного.

Выйдя из деревенской глуши, из народных глубин, Сытин хорошо знал по самому себе, что такое потемки, в которых векует народ, и напрягал все усилия и все свое внимание на приобщение деревни и народных масс к печатному слову.

Буквари и удешевленные учебники лучших педагогов того времени и наглядные пособия массами двинулись в начальные, сельские и воскресные школы; книги для самообразования, для внешкольного просвещения, по ремеслам, по сельскому хозяйству — целыми библиотеками, специально подобранными, стали доступны взрослому населению в самых отдаленных и глухих местечках. Связь со всеми народными читальнями и земскими складами была накрепко установлена во всей стране. Сытинский каталог по этому отделению получил на всероссийской выставке диплом первой степени «за широкую деятельность по изданию книг для народа». А через год после такого признания это отделение было закрыто в административном порядке без объяснения причин.

Дешевые издания классиков — всего Пушкина за один рубль, всего Гоголя, Жуковского, всего Л. Толстого — по небывало дешевой цене, и многотомные издания, как энциклопедии «Народная», «Детская», «Военная» и др., вызывали признание высоких заслуг издательства, с одной стороны, и гнев и бешенство — с другой, а на учебники для народной школы буквально с пеной у рта накинулся известный черносотенец Пуришкевич, пророчивший, что под влиянием этих книг «вся огромная русская жизнь превратится в одно сплошное зловонное гноище, где закопошатся человекообразные, с ненасытной пастью гады». Пуришкевич громил Сытина с трибуны Государственной думы, называя его деятельность «школьной подготовкой второй русской революции», и громы его были услышаны и поддержаны в Государственном совете.

Так или иначе, но Сытин в книжном деле сыграл огромную роль, и имя его тесно связано с историей

приобщения народных масс к печатному слову и к русской литературе.

«На днях я был у Сытина и знакомился с его делом,— пишет А. П. Чехов в 1893 году к Суворину.— Интересно в высшей степени. Это настоящее народное дело. Пожалуй, это единственная в России издательская фирма, где русским духом пахнет и мужика-покупателя не толкают в шею. Сытин умный человек и рассказывает интересно. Когда случится вам быть в Москве, то побываем у него на складе, и в типографии, и в помещении, где ночуют покупатели...»

«Ночуют покупатели» — это очень многозначительно и характерно: ведь это — приезжие из глухих деревень и медвежьих углов за книгой.

И их встречают здесь как гостей, дают ночлег, обеды... Где еще это есть?

Лев Николаевич Толстой любил, бывало, заходить в этот сытинский склад, когда под осень наезжали сюда за товарами офени, человек по полсотни зараз. Они сами отбирали себе кучками книжки и картинки. Тут же и ночевали в особом помещении; многие просились с дороги в баню, и их водили за сытинский счет. Толстой с интересом расспрашивал офеней, где они торгуют и как идут копеечные книжки «Посредника» с его рассказами, и офени отвечали, весело балагуря:

— Повсюду торгуем, по всей матушке России, где кто привык: кто в Курской, кто в Калужской, кто в Смоленской губернии, кто в Тверской — везде по деревням да по ярмаркам.

— Писал бы ты, Лев Николаевич, книжечки-то свои пострашнее, а то,— говорили ему офени,— все милостивые пишешь да жалостливые. Такие берут только грамотеи: поповы дети, писаря, а в глуши, в деревнях только и выезжаем мы на чертяке. Во какого надобно — зеленого да красного! — указывали они на картинку.— А к ним, чертякам, историйку подсочинить,— вот бы и дело!

Не сразу, конечно, но копеечные народные листовки «Посредника» завоевали-таки себе деревню и повытеснили «чертяку».

19 февраля 1917 года было широко отмечено пятидесятилетие трудов И. Д. Сытина. По этому поводу М. Горький напечатал письмо, где говорилось о поже-

лании Ивану Дмитриевичу «долгой жизни для успешной работы...».

Натура этого незаурядного человека была сложная, и в ней уживались, как это ни странно, две крайности, две противоположности. С одной стороны, он «знал цену копеечке», как про него некоторые говорили, был в деловых отношениях строг, даже суров и прижимист, любил, чтоб дело его было прочно, чтобы оно росло и процветало, но в личной своей жизни Сытин был скромен и нетребователен.

На себе я никогда не испытывал этой его деловой жесткости: возможно, что она и была, но я знаю о ней только по слухам. Зато хорошо знаю его широкий общественный размах, его близкое и благотворное участие во множестве культурных начинаний, знаю его огромную щедрость на дела просвещения и народного благоустройства.

После его пятидесятилетнего юбилея, когда всякие заседания и торжества были уже закончены, Сытин приехал ко мне, и мы долго и хорошо беседовали с ним, вспоминая наше многолетнее доброе знакомство. Он говорил, что счастлив был в эти юбилейные дни видеть своими глазами свое любимое дело окрепшим, признанным и для его личной жизни — завершенным. Осталась впереди только последняя его мечта, это — устроить под Москвой среди зелени садов городок печатного дела, где оборудованные по последнему слову техники были бы прекрасные дома для рабочих, свои школы, больницы, театры, свои подъездные пути, свой телефонный провод... Все — во имя книги! Все для торжества печатного слова! Средства для этого имеются, и мечту эту можно осуществить и без личного участия.

— А вы?

— А я?..

Старческое морщинистое лицо его просветлело. Он взял мою руку, крепко сжал ее в своей и, улыбаясь, стал говорить со мной вдруг на «ты», чего раньше никогда не бывало:

— Ты меня знаешь давно, всю жизнь... Ты знаешь, что я пришел в Москву, что называется, голым... Мне ничего не нужно. Все суета. Я видел плоды своей работы и жизни, и довольно с меня. Пришел голым и уйду голым. Так надо.

Потом он встал, все еще не выпуская мою руку, и тихо сказал мне на ухо:

— Только не рассказывай пока этого никому. Я от всего уйду... Уйду в монастырь.

Затем он обнял меня и, не сказав более ни слова, вышел из комнаты.

Как все это было прекрасно, как характерно для такого человека, как Сытин. Всю жизнь отдавший духовным нуждам народа, создавший колоссальное дело, ворочавший миллионами, он под конец жизни решил отказаться от всего, от всех житейских благ и уйти, по его словам,— голым, каким пришел когда-то юнцом в Москву на трудовую жизнь.

Умер Сытин в глубокой старости, в конце 1934 года. Деятельность его оценена была правительством, и он в течение ряда лет, по постановлению Совета Народных Комиссаров, пользовался правами персонального пенсионера.

Когда-нибудь, надо надеяться, будет издана основательная, большая книга о русских самородках, изобретателях и самоучках, и там не сможет историк пройти мимо имени Сытина, этого интересного человека, выдающегося самородка.

## *Старые годы Малого театра*

С самой ранней юности моей я помню Малый театр, когда, бывало, сиживал я на галерке копеек за тридцать, где в те далекие времена не было еще обязательным отдавать верхнее платье на хранение в гардероб, и поэтому случалось, что соседи мои сидели весь вечер в шубах, при температуре примерно градусов в тридцать; и жевали яблоки. Впрочем, вскоре это было прекращено. Но, как факт, это остается в моей памяти.

Впервые я попал в Малый театр свыше восьмидесяти лет тому назад — пяти-шестилетним ребенком. Помню, что старшие, которые взяли меня тогда в ложу, указывали мне на какого-то человека, ходившего по сцене в длинном сюртуке и часто вынимавшего из кармана красный носовой платок. Мне говорили, чтоб я постарался запомнить этого человека:

— Это — Шумский.

К сожалению, я был еще так мал, что, кроме фамилии Шумского и его красного платка, ничего в памяти моей не сохранилось. Осталось только сознание, что живого Шумского на сцене я все-таки видел.

Из старых актеров я помню Самарина на его пятидесятилетнем юбилее в 1884 году. Это был первый парадный спектакль на моей памяти.

Я был уже юношей и помню, как захватило меня это торжественное чествование, которое было устроено Самарину на сцене Большого театра. Все, что было лучшего и талантливого в то время, как прославленного, так и молодого,— все собралось на сцене в ожидании юбиляра. В первой части пролога, написан-

ного актером Вильде белыми стихами, М. Н. Ермолова изображала Трагедию, а Г. Н. Федотова — Комедию. Одна у другой оспаривали они Самарина, доказывая на него каждая свои права. От имени Комедии Федотова говорила:

Сознайся в том: я более имею
Причин сочувствовать ему, чем ты.
Он ближе мне, ко мне любви он больше
Питал всегда...

Но Ермолова возражала ей от имени Трагедии:

Нет, в этом я поспорю:
Когда предстал он в первый раз на сцене
Цветущим юношей, почти ребенком,
Я на него вниманье обратила
И славный путь артисту предрекла...

Из этого спора должно было выясниться, что Самарин одинаково близок и дорог как комедии, так и трагедии. Если припомнить, что имена Ермоловой и Федотовой были самыми популярными артистическими именами того времени, что обе актрисы были самыми любимыми героинями сцены, то нетрудно представить, какое впечатление произвело на зрителей их выступление в этот торжественный момент.

Во второй картине того же пролога участвовала вся труппа. Старшие актрисы: Медведева, Акимова, Рыкалова, затем Федотова, Ермолова, Никулина, затем Макшеев, Музиль, Ленский, Решимов, Правдин, Садовский — все это крупнейшие фигуры театра того времени. Все они участвовали в «Ряде воспоминаний», называя великие имена предшественников, которые вместе с Самариным составляли гордость и славу Малого театра: Мочалова, Щепкина, Шумского, Садовского. В связи с произносимым именем появились на экране портреты этих славных предшественников.

Настроение поднималось с каждой минутой. Наконец возгласили:

— Самарин идет!

Хор запел «Славу», артисты выстроились для встречи, и в отворившихся на сцене дверях появился Самарин. Он был во фраке, с тростью в руках, на которую тяжело опирался. Публика встала; гром аплодисментов слился с торжественными звуками «Славы». Медведева, Федотова и Ермолова, поддерживая

под руки юбиляра, помогли ему дойти до авансцены и усадили в приготовленное кресло... Это было последнее общение Самарина с публикой, последние проводы его со сцены, которой он отдал полвека жизни... Участвовала в торжестве вся Москва. Островский написал стихи для заключительного хора, которые кончались словами:

Его минутны вдохновенья,
Но вековечно торжество.
Ему — венки и поклоненье,
Бессмертье — имени его.

Помню, на этом торжестве было много восторгов, много любви и уважения... Здесь же я впервые увидел А. Н. Островского, выходившего на вызовы в качестве автора «Леса», один из актов которого был в этот вечер поставлен.

У Малого театра были не только зрители и поклонники, более или менее восторженные, у него были и настоящие друзья, испытанные и неизменные. Как на сцене на смену отцам приходили их сыновья, а дочери сменяли своих матерей (например, семьи Рыбаковых, Садовских, Яблочкиных, Музиль), так и в публике от отцов к детям переходили, вместе с рассказами о минувшем, симпатии, уважение и любовь,— и театр был для ряда поколений близким и «своим», точно родным. И близость была старинная, прочная, я бы сказал даже — взаимная: сцена любила свою публику, а публика любила свою сцену. Кроме того, в жизни москвичей театр сыграл значительную культурную роль. Недаром же говорилось, что в Москве два рассадника истинного просвещения: Московский университет и Малый театр. И оба они, каждый по своей линии, давали тон — думаю, что не ошибусь, если скажу — чуть не для всей России.

В репертуаре Малого театра мы привыкли встречать великих русских классиков, как Пушкин, Грибоедов, Гоголь, Островский, также и классиков иностранных: Шекспира, Шиллера, Гете, Гюго, Кальдерона, Мольера, Лопе де Вега... Нас знакомили с выдающимися произведениями литературы и при этом в замечательном исполнении.

Далеко не все мои современники имели тогда счастливую возможность быть окруженными культурным обществом, встречаться с яркими людьми, слышать убедительные слова о высоких человеческих идеалах, видеть воочию высокие примеры, загораться светлыми порывами. Нередко людей окружала тогда невылазная проза жизни, та практическая сторона ее, которая знает лишь заботы о завтрашнем дне, о будущем гнездышке, об узком эгоистическом благополучии. Можно было прожить долгие годы и не услышать ни от кого вокруг в течение всей жизни ни единого слова об ином долге, об иных возвышенных обязанностях, о самопожертвовании, о любви к истине и преданности высоким идеалам, родине и народу, о красоте и величии искусства. Тогда как здесь из года в год в ярких примерах и живых образах, в их увлекательных и убедительных художественных воплощениях звучала великая и вековечная правда жизни, которую ждали, искали и на которую откликались всем сердцем.

Со сцены широким потоком лилась в зрительный зал эта вековечная правда жизни, справедливость к униженным и оскорбленным, красота всепрощающей любви. Чуткая молодежь, в душе которой горели те же огни, те же порывы, созревало то же отношение к явлениям жизни, ловила каждое слово, звучащее в тон, и между зрителями и актерами росло и крепло трогательное единение. Выходили из театра взволнованные, удовлетворенные, освеженные, с высоким подъемом.

В то время, о котором я говорю, ко всякой основной пьесе, как бы серьезна или значительна она ни была, прибавлялся еще и водевиль, а то и два: один для съезда, другой для разъезда важной публики. В этих водевилях участвовали нередко артисты с крупными именами и даже пели куплеты под музыку.

На теперешний взгляд, много было странного, наивного, может быть даже лишнего в Малом театре. Например, оркестр. Между рампой и первым рядом кресел было отгорожено место, где сидело человек двадцать с флейтами, скрипками, трубами и барабаном; перед суфлерской будкой, спиной к музыкантам на возвышении помещался дирижер во фраке, с палочкой в руке и в белых перчатках. Без оркестра не

мог обходиться тогда никакой спектакль — так уж повелось исстари. Перед началом играли обычно отрывок или попурри из какой-нибудь оперы или оперетки, а между действиями, заполняя антракты, нередко исполнялась танцевальная музыка. Зачем все это делалось — неизвестно.

Когда музыканты, окончив свою работу, уходили вниз и скрывались за дверью, над рампой взвивался тяжелый занавес, и со сцены раздавались первые слова актеров.

Вот тут и начиналось самое главное.

Начиналось то, что захватывало зрителя, увлекало его и учило, что было для большинства публики своего рода кафедрой. Классический репертуар, с возвышенными стремлениями героев, в исполнении целой группы замечательных талантов, как мудрая, несравненная Федотова, как великая Ермолова и их достойнейшие партнеры, делали то, что зритель переставал быть только зрителем: он сливался с героями, сам переживал их высокие порывы и уносил надолго в душе то светлое, чего не давала ему и не могла дать окружающая повседневная жизнь.

В то время электричества еще не было, и театр освещался газом. Теперь уже нет этого специфического театрального запаха. Но этот крепкий газовый дух, этот театральный аромат мне особенно памятен и даже дорог и мил, потому что с ним связаны первые впечатления, первые увлечения и, прямо скажу, откровения, вынесенные мной из Малого театра; они глубоко меня волновали и наполняли радостью мою юную душу.

У меня сохранилось такое воспоминание об этих годах и этих стульях с красными триповыми сиденьями, что и теперь, более чем через полвека, когда я прихожу в театр, где давно уже уничтожен и оркестр и самое место оркестра и где давным-давно не пахнет газом ни в коридорах, ни за кулисами, я с радостным чувством вспоминаю о былых днях и о славных артистах, которых нет не только на сцене, но уже давно нет и в жизни.

На первых представлениях в театре можно было наверняка встретить профессоров Московского университета, обычно: Веселовского, Стороженко, Муром-

цева, Юрьева, а также известных писателей, критиков, редакторов и общественных деятелей. Здесь видал я Островского, который, бывало, на вызовы вставал и кланялся из директорской ложи; присутствовали и драматурги: Боборыкин, Шпажинский, Невежин. Всегда на всех премьерах в течение по крайней мере четверти века на одном и том же боковом месте амфитеатра можно было видеть, с морским биноклем через плечо, известного критика и знатока театра того времени, Флерова-Васильева...

Показателем успеха новой пьесы были вызовы автора. Так, если вызывают автора по окончании пьесы, это только вежливость; если вызывают после третьего акта, это уже знак добрый; а если после второго — значит, автор с настоящим успехом. Случалось и так, что вокруг автора завязывалась в публике борьба: одни стучали и вызывали, а другие — шипели и шикали. В таких случаях вместо автора выходил к рампе помощник режиссера и громко заявлял, что «автора в театре нет». И это успокаивало страсти. Но подобные несогласия в публике случались все-таки крайне редко.

Среди всегдашних посетителей премьер нельзя не вспомнить высокого, сухощавого, в то время молодого человека, коллекционера Бахрушина, в течение десятков лет не пропустившего ни одной новой постановки. Как в театральном зале, так и в клубе, и на улицах, и на Сухаревском рынке — всюду интересовался он театром, театральными предметами, актерскими вещами, старыми портретами, письмами, дневниками и т. п. К этим его интересам в свое время многие склонны были относиться с улыбкой, как к непонятному чудачеству, и даже называли его нередко «театральным старьевщиком» за то, что он собирал и иногда выпрашивал и, что страннее всего, даже покупал, платя за разное старье хорошие деньги. В то время вряд ли кто серьезно думал, что лет через тридцать Бахрушин соберет такой театральный музей, который по значению своему будет известен не только в России, но и далеко за ее пределами.

Привычно думать, что от творчества актера не остается после его смерти ничего, кроме воспоминаний современников. Великие вдохновения поэтов и художников, облеченные в образы, передаются потомству во

всей их силе, красоте и неприкосновенности. В иных условиях находится вдохновение актера. По словам Шиллера:

> Его мгновенное созданье
> Бесследно гибнет вместе с ним...

При жизни актер — творец. Он учит, и волнует, и очаровывает. А умирает актер — и не остаются без него жить его создания. Они живут только в сердцах свидетелей. Но и свидетели не бессмертны.

Вот почему все, могущее осветить тайну творчества актера, пролить свет на его артистическую работу и на его жизнь, является полным смысла и значения.

К счастью, история русского театра, деятельность, жизнь и творчество артистов нашли живое отражение в Бахрушинском музее, который по сохраненным от разрушения и потери предметам и документам, рисующим душу актера, дает потомкам лучше всякого современника представление о культурных заслугах и об историческом значении как самих театров, так и их работников.

В прежнее время режиссер не имел того значения, какое имеет теперь. Он заботился больше о порядке, чтобы все было готово, что нужно. Роли назначали артистам обычно сами авторы, а в случае их отсутствия это выполнялось старшими артистами. Они совещались, они решали все насущные вопросы.

Постановка пьесы являлась в своем роде творчеством коллективным. Они же, эти старшие, по свидетельству самих артистов, приучали молодежь любить дело, а не свой личный успех.

Декорациям отдавалось тоже не слишком много внимания. В течение долгого срока, я помню, шкафы, библиотеки, камины — все это делалось краской и кистью прямо на стенах; в зеркалах были не стекла, а тоже серая краска; и двери и ручки у дверей были нарисованные; и картины не вешались на стенах, а рисовались вместе с рамой и даже тенью от рамы. И мебель нередко переходила из одной пьесы в другую... Однако все это не мешало артистам действительно увлекать и волновать зрителя, а зрителям не мешало видеть в пьесе именно то, что было нужно, и отдавать артистам свои искренние восторги. Очевидно, для единения зрителя и актера одного актерского воздействия недостаточно; необходимо еще и зритель-

ское восприятие. Недаром в одной из своих речей Ф. Н. Плевако говорил:

— Смотреть пьесу тоже есть труд и тоже — уменье...

В московском Литературно-художественном кружке в свое время висело большое полотно кисти Валентина Серова, где в обстановке кабинета были изображены во весь рост Южин и Ленский, два артиста, имевшие громадное влияние на жизнь Малого театра за целый ряд последних десятилетий. Помещенные на одном полотне, эти портреты всегда вызывали воспоминания о совместных выступлениях Южина и Ленского на сцене в одних и тех же пьесах одновременно,— и в памяти возникали при взгляде на оба эти лица яркие образы то Лейстера и Мортимера, то маркиза Позы и Дон Карлоса, то принца Оранского и Эгмонта. А вспоминая Эгмонта, невольно вспоминаешь Клерхен — Ермолову, под гнетом тирании добровольно уходящую из жизни, видишь на опустевшей сцене последние вспышки угасающего забытого светильника — эмблему наступающей смерти — под тихие звуки бетховенской музыки, полной непередаваемого волнующего настроения... А вспоминая Ленского, видишь его Уриэлем Акоста и рядом с ним Медведеву в сцене, когда приходит к сыну слепая мать. Точно в волшебном калейдоскопе начинают перебрасываться в памяти и стройно группироваться и вновь разбрасываться сценические фигуры, знакомые лица, то в гриме, то так, какими были они в частной жизни, вне сцены. И вспоминаешь без конца этих милых, близких, хотя и незнакомых в то время людей, но хорошо знаемых и нередко любимых. Вспоминаются городничий — Макшеев, Никулина, несравненная в комедийных ролях, и обаятельная, вечно укрощаемая, но не укротимая Лешковская с ее своеобразной яркой силой дарования; вспоминаются Музиль и Рыбаков в образах Шмаги и без вины виноватого Незнамова; Михаил Провович Садовский — многогранный и глубокий талант; он не только актер, но и автор интересных бытовых рассказов, изданных отдельной книжкой; жена его, Ольга Осиповна Садовская,— лучшая изобразительница старух, которых начала играть еще смолоду, то комических, то трогательно-нежных; это ее голос над колыбелью в «Воеводе» я слышу через полсотни

лет и ее тихую песенку, пленявшую неизменно всякий состав публики, как бы разнообразен он ни был. Вспоминается Дездемона — Яблочкина с великим гостем Малого театра, с самим Томазо Сальвини в роли Отелло.

На моей памяти в Малом театре были одновременно две самые знаменитые артистки: Г. Н. Федотова и М. Н. Ермолова, которых я застал на сцене в полном расцвете их исключительных сил и дарований. Они в течение долгого срока несли на себе почти весь репертуар вместе со своими достойными партнерами — Ленским, Южиным и Рыбаковым. В пьесах как классического репертуара, так и современного артистки давали незабываемые образы. Перечислять те роли, которыми они прославили свои имена, значило бы выписать почти все, в чем они выступали. Но вот сцена из «Марии Стюарт», где обе они, Ермолова и Федотова, встречаются как две королевы, как две смертельные соперницы. Много лет прошло с тех пор, как я был свидетелем этого потрясающего столкновения, но не забыл и не могу забыть ни впечатления, ни лиц, ни голосов их.

Незадолго, всего лишь за несколько недель до смерти Г. Н. Федотовой, я навестил ее, тяжелым недугом и преклонным возрастом прикованную уже много лет к постели.

С поступления в театральную школу и до конца ее дней шестьдесят восемь лет Гликерия Николаевна была связана с Малым театром, и когда говорила о своем родном театре, к ней словно возвращались силы, и она рассказывала много и хорошо о былом. Ей не было еще семнадцати лет, она только что вышла из театрального училища и не знала еще ни людей, ни жизни, а ей поручили в бенефис П. Васильева ответственную роль Катерины в «Грозе».

— Тоска, стремления Катерины, ее греховные помыслы, ужас совершившегося и гнет окружающих — инстинктивно все это я чувствовала, но передать не умела,— вспоминала Гликерия Николаевна.— Самарин очень помогал мне изучать эту роль, объясняя правдиво и ярко все душевные движения Катерины, но внешняя передача, бытовая сторона нам обоим не давалась. На репетициях помогали все: Пров Садовский, Васильев, Рыкалова, Бороздина, Акимова — все,

все. А что вышло из этого во время представления? Я ничего не сознавала от страха. Впоследствии я больше всех других ролей любила Катерину и больше и больше сживалась с этим дивным, трогательным образом. В последний раз я сыграла и простилась с бедной Катериной, когда мне было уже пятьдесят два года. Стало быть, я играла ее в течение тридцати пяти лет.

В этой роли Федотова была исключительно сильна и как бы подтверждала своим исполнением слова Добролюбова, что образ Катерины в «Грозе» действительно луч света в темном царстве, и такой луч, который не только светит, но и греет.

Шекспир и Островский, Шиллер и Аверкиев и все другие авторы, от классиков до современников включительно, всегда находили в Федотовой искусную исполнительницу образов, характеров и положений. По силе чувства, по яркости, по художественно-тонкой обрисовке фигур, темпераменту Федотовой принадлежит первенствующее значение и место на русской сцене, говорил Писемский. Он признается, что объездил всю Европу, переглядел все театры, видел много хороших актрис, но «другой такой актрисы, как Федотова,— по полноте чувств, нигде нет. Сойдет она со сцены, и другой такой не дождемся».

Значение Федотовой было огромно. Когда вследствие тяжкого недуга она принуждена была сойти со сцены, влияние ее не ослабело. К ней за ее мудрыми советами прибегали не только ее товарищи и сверстники по сцене, не только молодежь Малого театра, но и многие из артистов и руководителей Художественного театра с самим Станиславским во главе.

Вот что говорится в письме к Федотовой от имени московского Художественного театра в день ее пятидесятилетнего юбилея:

«Наши первые шаги обвеяны духом вашей чудесной энергии... На протяжении с лишком двух десятков лет мы не имеем перед собой примера более яркого, более блестящего, как пример вашей артистической личности... И лучшее выражение благодарности, какое мы можем принести вам сегодня, в день вашего полувекового горения для искусства, это наше обещание передавать ваши заветы дальше — следующим поколениям...»

И вот как отвечала на это Художественному театру Гликерия Николаевна (14 января 1912 года):

«...Еще в те далекие дни, когда кружок молодых людей, охваченных любовью к искусству, дружной сценической работой посеял то зерно, из которого вырос московский Художественный театр, я всей душой участвовала в этом деле, помогая по мере сил моих любовью и советом. С чувством глубокой признательности выслушав привет вашего, ныне славного театра, радостно принимаю ваш обет — непрестанно служить тем великим заветам, которыми вдохновлялись мы и отошедшие великие учителя наши. Всей душой любящая вас Гликерия Федотова».

Между прочим, на юбилее Самарина, о котором я говорил, среди многочисленных подношений был передан юбиляру небольшой венок из позолоченного металла от Общества драматических писателей. Этот венок растроганный Самарин возложил на голову своей любимой ученицы Г. Н. Федотовой, а та в свою очередь через много лет передала венок К. С. Станиславскому, которого она всегда считала своим любимым учеником. С этим венком связаны, как бы преемственно, три крупных театральных имени: Самарина — Федотовой — Станиславского.

Венок в настоящее время хранится в музее Художественного театра.

Необходимо коснуться одного долголетнего недоразумения. В публике всегда считали Федотову и Ермолову соперницами; им приписывалась непримиримая рознь, борьба и почти вражда. Их считали и в жизни и на сцене вроде двух королев из «Марии Стюарт». И было время, даже продолжительное время, когда сама публика разделилась невольно на два лагеря: на федотовцев и ермоловцев.

— На самом же деле в жизни мы были все время друзьями, и самыми близкими,— говорила мне Гликерия Николаевна незадолго до своей смерти.— Отношения наши были все время самые сердечные, дружеские, и дружба эта сохранилась до сих пор.

Прежде чем взять какую-нибудь роль, обе они обычно советовались между собою, которой из них эта роль больше подходит, и решали это сообща, никогда не переходя друг другу дороги. На спектакле, бывало, Ермолова не выйдет на сцену без дружеского

напутствия Федотовой. Передо мной лежит подлинное письмо М. Н. Ермоловой, которое начинается следующими словами:

«Дорогая, родная, любимая Гликерия Николаевна, я была в таком горе, что без вашего благословения буду вчера, 2 мая. И вдруг перед самым выходом на сцену я получаю ваше благословение... С моей души точно камень свалился...»

Письмо это передано мною в Бахрушинский театральный музей и послужит для будущего историка Малого театра материалом к выяснению действительных отношений между двумя великими артистками.

По словам К. С. Станиславского, все были влюблены в Ермолову.

Да, лучше этого ничего не скажешь. Она действительно покоряла сердца. Может, и были какие-нибудь исключения, но я за всю мою долгую жизнь не встречал ни одного такого человека, который был бы равнодушен к ней, не превозносил бы ее имени, не любил бы ее. Невозможно было прийти в Малый театр, видеть Ермолову и не заразиться общим настроением, общей любовью к ней.

Ермолова, я бы сказал, никогда не играла роль; она в буквальном смысле слова жила на сцене жизнью той женщины или девушки, имя которой в этот вечер она носила. Она не играла, она горела. Героический энтузиазм, пламенное вдохновение — ее стихия. Все эти определения, много раз повторенные в разное время, совершенно верны и точны, и их не избежишь. Восторженный и гневный талант. Восторженный в высокой любви и гневный в борьбе за высокое. Страстная любовь к свободе и не менее страстная ненависть к тирании — вот внутреннее содержание игры Ермоловой.

Но нигде, кажется, эта страстная любовь к свободе и страстная ненависть к тирании не выявлялись с такой силой, как в пьесе Лопе де Вега «Овечий источник», когда в роли Лауренсии Ермолова пламенно и гневно призывала угнетенный народ к восстанию против вековых насильников. И в зрителях на пламенную речь вскипал невольно пламенный ответ и ненависть к тем, кто держал в рабском состоянии все народы, в том числе, конечно, и русский народ.

К духовному подъему, который отличает игру Ер-

моловой, присоединяется еще и необычайный тембр ее голоса, проникающего в глубину души, очаровательного не красотой своей, а какой-то проникновенностью, каким-то неуловимым, но значительным содержанием. До сих пор для меня — да я уверен, что и для очень многих,— звучит, как живой, этот исключительный голос.

С полвека и даже более тому назад Малый театр поставил «Орлеанскую деву». Сила вдохновения, проявленная здесь Ермоловой, была несказанно велика и захватила всех зрителей от мала до велика. Кипела душа на сцене, и в зале в ответ горели сердца. Когда взятую в плен Иоанну д'Арк уводят солдаты, а прибежавший через минуту граф Дюнуа горячо взывает к своим:

> К оружию!.. Все войско в строй!
> Спасти ее во что бы то ни стало! —

то с уверенностью можно сказать, что вся тогдашняя молодежь в эту минуту готова была перескочить через рампу и кинуться спасать Ермолову — до такой степени велик был подъем и порыв, настолько сильно было слияние зрителей со сценой.

Эта роль была наиболее близка ей. По ее же словам: «Орлеанская дева есть идеал красоты и истины, которую я пыталась воплотить некогда... Этому идеалу я до конца жизни останусь верна».

В этом спектакле в роли Дюнуа участвовал молодой артист Южин, пылкий и вдохновенный, с прекрасными манерами и замечательным по выразительности и красоте голосом. Если не ошибаюсь, это была одна из его первых ответственных и ярких ролей; это был один из первых его шагов на славном пути, по которому он с таким подъемом и с такой честью нес до последнего дня своей жизни не только колоссальный артистический и литературный труд, но еще и бремя административной работы во главе Малого театра как его директор. Южин — по происхождению князь Сумбатов — человек с университетским образованием, стал профессиональным актером Малого театра, чем высоко поднял престиж актеров вообще, работа которых считалась ранее не из высоких. Вспоминая Ермолову и ее великое значение в театральном искусстве, ее роли, всегда ведущие, всегда захватывающие, нельзя не вспомнить и о том переломе в жизни великой

артистки, о том мучительном моменте, когда она, в тиши своего одиночества, сознала и увидела, что всему на свете есть срок и предел, что наступило и для нее время отойти в сторону и уступить свое место — сильным или не сильным, но — молодым. И вот она решила уйти со сцены на целый год, чтобы о ней позабыли, а потом, может быть, и вернуться, но уже не героиней, а на скромные роли старух, потому что, по словам нашего народного поэта:

Нет дорог к невозвратному,
Никогда не взойдет солнце с запада.

Замечательно выразила она в одном из своих писем все это настроение и свое отношение к неизбежному:

«Я чувствую, что уже не в состоянии играть ни Медею, ни Клеопатру, силы мне изменяют. Да и понятно: тридцать семь лет я отдала сцене и утомилась. Теперь мне нужен этот год отдыха, чтобы отойти от театра, успокоиться и примириться с мыслью, что я уже более не «героиня». Сразу, на глазах у публики, мне тяжел этот переход; нельзя сегодня быть царицей, а завтра какой-нибудь почтенной и скучной старушкой. Что-то в душе еще борется, на что-то еще жалуется и... Одним словом, мне нужен этот год забвения. Больше всего мне не хотелось бы, чтобы публика начала жаловаться на мою усталость. Я не хочу разрушаться у нее на глазах, этого не допускает моя артистическая гордость... Силы мне изменили, но это я еще заметила пока только одна, и мое артистическое чутье говорит мне: „Пора!"»

Много прошло времени между юностью моей и старостью. Но и сейчас, когда приходится бывать на этой исторической сцене Малого театра, на которую так много лет глядел я из зрительного зала, куда слетало с этой сцены и неслось ко всем нам великое и светлое вдохновение, что поднимало дух и возвышало нас и влекло вперед к добру и свету, я и сейчас испытываю чувство радости и благодарности за пережитые здесь в молодости часы очарования и действительного счастья.

Вот почему мне, зрителю, посещавшему Малый театр в течение восьмидесяти с лишком лет, хочется думать о нем как о старом дорогом друге, которому я лично многим и многим обязан.

## *Начало Художественного театра*

Когда в 1918 году перестраивалась вся жизнь страны, когда от многого прежнего не оставалось камня на камне, нарком по просвещению А. В. Луначарский совещался с В. И. Лениным о судьбе Художественного театра, и Владимир Ильич ответил тогда следующими знаменательными словами:

— Если есть театр, который мы должны из прошлого во что бы то ни стало спасти и сохранить, это, конечно,— Художественный театр.

Вся жизнь этого замечательного театра прошла перед моими глазами. Со многими его артистами и деятелями начальных годов я был знаком еще до открытия театра, а Константина Сергеевича Алексеева, когда о псевдониме «Станиславский» не могло быть даже еще и речи, я знавал очень давно, с юности, свыше полувека назад. И в этом далеком прошлом вспоминается мне высокий стройный молодой человек с небольшими усами и с непокорным хохлом волос над высоким лбом, в то время малоподвижный в обществе и малоразговорчивый в обычных будничных беседах. Но как только речь заходила об искусстве, о театре в особенности, об артистах, о Ермоловой, о гостившей тогда в Москве актрисе Жюдик, он сразу оживлялся и говорил с увлечением, восторженно и с видимой радостью. Все его мысли, вся его сущность, вся его жизнь были всегда только в искусстве, и, конечно, такой человек не мог не стать тем, чем он стал. С Вл. И. Немировичем-Данченко был я также давно знаком — по литературному миру, в те далекие време-

на, когда он секретарствовал в кассе взаимопомощи литераторов и ученых. А теперь, за последнюю четверть века, моя жизнь тесно связана с Художественным театром повседневной работой над созданием и развитием музея МХАТ, куда удалось собрать из разных источников, нередко совсем неожиданных, значительное количество предметов и документов, освещающих жизнь, творчество и огромные труды «буйных сектантов», как называли в начальные годы театра группу артистов, созидавших свой «храм искусства» и не щадивших ни себя, ни своих сил для его упрочения.

В девяностых годах прошлого века, несмотря на то, что московский Малый театр, в то время императорский, был не только любимым, но и действительно славным театром благодаря своему великому прошлому и наличию блестящих талантов того времени, как Ермолова, Федотова, Ленский, Южин, Садовские,— бездушная чиновничья команда, по существу своему чуждая искусству, но заправлявшая делами и судьбами театра, не склонная ни к какому движению, ни к каким реформам, сумела довести Малый театр чуть не до потери былого значения. Излюбленная администрацией небольшая горсть тогдашних драматургов, захвативших влияние, продолжала почти монопольно загружать репертуар своими малоудачными новинками, ничего в сущности ни нового, ни талантливого не дававшими. Чиновничество до такой степени въелось во всю жизнь, что контора императорских театров совершенно серьезно и искренне приписывала себе в театре первейшую роль. По словам Вл. И. Немировича-Данченко, главное было — администрация, а актеры на втором месте. Чиновники воображали: «Не будь нас, конторы, не было бы ни Федотовой, ни Ермоловой». В такой обстановке складывались скромные, великие таланты. Скромные таланты молчали, а у нескромной дирекции сложился именно такой взгляд на актера.

В это же время в помещении Охотничьего клуба любительский кружок Общества искусства и литературы под руководством одного из «любителей», К. С. Станиславского, ставил на небольшой клубной сцене спектакли, или «исполнительные вечера», как они назывались в программах, привлекавшие внима-

ние москвичей не только хорошим исполнением, но и необычайной постановкой, большим художественным вкусом и явной любовью к делу. С каждой новой постановкой кружок становился все более популярным и все более привлекал к себе внимание и симпатии. Помимо художественных достоинств в работах кружка чувствовалось стремление к самым смелым реформам театрального дела. Одни это чувствовали, понимали и приветствовали, а иные посмеивались и подтрунивали над «любителями», дерзнувшими переходить на новые пути, когда «императорская контора» почивала на старых лаврах.

Насколько помню, первой выдающейся, нагремевшей постановкой и режиссерской работой Станиславского была пьеса Л. Н. Толстого «Плоды просвещения», но огромный успех режиссера был связан с постановкой трагедии «Уриэль Акоста», где Станиславский, кроме того, играл главную роль. Вскоре он стал мечтать о настоящем театре, где можно было бы во всю ширь развернуть свои дарования актера, режиссера и новатора сцены.

Одновременно с Обществом искусства и литературы драматург Вл. И. Немирович-Данченко в Филармоническом училище работал в драматических классах со своими учениками и, несмотря на то, что пьесы его в тогдашних театрах имели крупный успех, тоже мечтал о создании обновленного театрального дела, как мечтал и Станиславский. Встреча этих двух мечтателей, стремившихся к одному и тому же, была в сущности неизбежна. И они встретились.

Эта историческая в жизни МХАТ встреча состоялась 21 июня 1897 года в отдельном кабинете ресторана «Славянский базар».

Они встретились в два часа дня, а расстались в половине восьмого утра, уже на даче Станиславского.

В эту ночь судьба театра была решена. Во всех подробностях были обсуждены основы будущего дела, вопросы искусства, художественные идеалы, этика, техника, репертуарные проекты, взаимоотношения. Решено было также, что они будут создавать народный театр.

Впоследствии оказалось, что репертуар «народных» театров до такой степени ограничен цензурой, что инициаторы были бы вынуждены чрезвычайно су-

зить свои художественные задачи. Тогда решили назвать театр «общедоступным», что давало, как это ни странно, простор значительно больший. И под девизом общедоступности была подана в городскую думу обстоятельная докладная записка, составленная Немировичем-Данченко, с предложением основать городской театр, чтобы небогатый класс людей, в особенности класс бедной интеллигенции, мог иметь за небольшую плату удобные места, чтобы в русское сценическое искусство внести стремление вырваться из рутины и шаблона, чтобы дать возможность развиваться молодым силам, получающим специальное театральное образование.

«Служа спервоначала только развлечением,— говорилось в этой докладной записке,— возбуждая в слушателях лишь общие театральные эмоции, захватывающий интерес к тому, что происходит на сцене, театр незаметно для самих слушателей вносит в их души известные образы и идеи и может иметь огромное облагораживающее, и высоко просветительное значение. Гоголь, в одном из своих писем к лицу, относившемуся к театру как к ненужной забаве, писал: «Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь, если примешь в соображение то, что в нем может поместиться вдруг толпа из нескольких тысяч человек и что вся эта толпа, ни в чем не сходная между собой, разбирая ее по единицам, может вдруг потрястись одним потрясением, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом. Это такая кафедра, с которой можно сказать миру много добра». Москва, как центр театральной жизни, обладающая миллионным населением, из которого огромнейший процент состоит из людей рабочего класса, более чем какой-нибудь из других городов нуждается в общедоступных театрах. Помимо этого, в Москве существует огромный контингент учащейся молодежи, приказчиков, чиновников, их семей; весь огромный район центральной местности Москвы занят всевозможными торгово-промышленными заведениями с сотнями служащих в них,— и все это почти вовсе лишено возможности посещать драматический театр и прибегает, за отсутствием развлечений, к двум самым коренным из зол современной жизни — картам и вину. В том-то и заключается могущественная сила театра, что сценическое

представление, увлекая толпу, приравнивает в ней все элементы. В истинно народных театрах во все эпохи совершенно одинаковый интерес и любопытство охватывали как хозяина, так и работника. Таким образом, раз драматические представления служат высшим целям искусства, репертуар должен быть исключительно художественным, исполнение возможно образцовым, и вся разница между дорогим театром и народным заключается только в большей или меньшей дешевизне и количестве мест...»

Напрасно, однако, дожидались Станиславский и Немирович-Данченко благоприятного ответа от городской думы. Докладная записка произвела отрицательное впечатление, да и немудрено, раз сам Станиславский признавал, что общая программа их начинающегося дела «была революционна».

Содружество таких крупных сил, как Станиславский — руководитель целой группы опытных «любителей», искренне преданных искусству, и Немирович-Данченко — руководитель драматических классов филармонии, обладавший редкой способностью угадывать дарование ученика и раскрывать его индивидуальность, обещало, несомненно, дело незаурядное, в которое оба инициатора горячо верили. Станиславский говорил:

— Ради обновления искусства, в своем разрушительном революционном стремлении мы объявили войну всякой условности в театре, в чем бы она ни проявлялась.

Труппа будущего театра слагалась в сущности из двух начал: со Станиславским пришли опытные «любители», небезызвестные публике по клубным сценам: Лужский, учитель чистописания Артем, инженер Бурджалов, цеховой мастер Александров, Андреева, Лилина, Самарова. А с Немировичем-Данченко — его ученики, только что окончившая драматические курсы молодежь: Книппер, Мунт, Роксанова, Савицкая, Москвин, Кошеверов. Кроме того, приглашены были артисты из провинциальных театров, москвичам вряд ли знакомые,— Вишневский и Дарский; принят был в труппу еще и Адашев, пришедший со стороны молодой человек, без всякого служебного и театрального стажа. Ни одного громкого, заманчивого для Москвы имени не было в труппе. По словам набалованных те-

атралов, все они были «иксы, игреки и знаки вопроса».

Но энтузиасты нового дела шли напролом и верили в свои еще не испытанные силы. Для массовых сцен, чему придавалось большое значение, были приглашены молодые ученики филармонической школы и студенты университета, около тридцати, кроме того, человек двадцать пять так называемых «соловьевцев» — от имени Соловьева, организатора группы статистов, уже ранее работавших под руководством Станиславского в Охотничьем клубе. Обычно в театрах на такие дела привлекались пожарные, солдаты либо люди совершенно случайные, идущие сегодня на сцену для костюмированной толпы, а завтра — пилить дрова или разгружать вагоны. Здесь же требовалось от толпы дружное и ответственное, а главное, осмысленное исполнение народных сцен, требовалась характерность, соответствие общему настроению. Прилагались все старания, чтобы эта часть стояла на высоте.

Труппа была почти вся молодая, не зараженная никакими трафаретными навыками, провинциализмом и нелепым самомнением. Все считались равными, а потому нередко сегодняшний герой, исполнитель главной роли, назавтра выходил среди толпы и тем поддерживал качество народных сцен.

Насколько «любители», окружавшие Станиславского, были спаяны между собою искренним отношением к сценическому искусству и насколько все они ценили, уважали своего руководителя, Константина Сергеевича, и верили в него, свидетельствует адрес, поднесенный ему в феврале 1898 года, за несколько месяцев до открытия театра, судьба которого была уже решена и вокруг которого кипели подготовительные работы.

На длинной полосе ватмана, с акварельными рисунками художника-декоратора В. А. Симова, за подписями всех товарищей по спектаклям Общества искусства и литературы, были такие значительные слова:

«...Вы всецело и беззаветно отдавали себя любимому нами делу, и мы нашли в себе желание следовать за вами... Мы твердо, всей душой верим, что, когда вам представится гораздо более широкое поприще для приложения ваших богатырских сил, вы останетесь

и на нем на той же высоте, как и доныне... В этом «большом плавании большого корабля», вышедшего, наконец, на простор открытого моря, путеводной звездой вам будет сиять великая идея театра, несущего свет мысли и теплоту чувства — массе, робко заглядывающей пока в не всегда гостеприимные для нее двери. Рука, которая широко распахнет их, будет — ваша рука, рука талантливого художника и честного труженика».

Заканчивалось приветствие выражением уверенности: «Только жизнь, отданная любимому делу и высоким задачам, будет полна для вас и счастия и значения».

Вся дальнейшая жизнь Станиславского вполне оправдала эту уверенность.

И зима 1897 года и весна 1898 года целиком ушли на подготовительные работы. На 14 июня назначено было первое общее собрание труппы в подмосковной дачной местности Пушкино, где при даче Архипова сняли сарай, который наскоро превратили в подобие театра, с маленькой сценой, с крошечным зрительным залом. Здесь и произошло рождение Художественного театра.

Это скромное торжество носило очень интимный характер. Были приглашены лишь члены труппы и члены Общества искусства и литературы. Председательствовал Станиславский. Передавая в руки организованной труппы все дело Художественно-общедоступного театра, он говорил собравшимся товарищам:

— Если мы с чистыми руками не подойдем к этому делу, мы замараем его и испошлим и разбредемся запятнанными и осмеянными, так как мы приняли на себя дело, имеющее не простой, частный, а общественный характер.

Этот великий энтузиаст и преобразователь театра, всего себя отдавший искусству, требовал и от своих будущих спутников такого же жертвенного отношения к делу:

— Не забывайте, что мы стремимся осветить темную жизнь бедного класса, дать им счастливые, эстетические минуты среди той тьмы, которая их покрыла. Мы стремимся создать первый разумный, нравственный, общедоступный театр, и этой высокой цели мы посвящаем свою жизнь.

И вот — завершено огромное культурное и общественное дело, живущее уже свыше полвека, создан тот замечательный театр, каким горда наша страна, который признан всеми странами мира. Зачинатели подошли к нему действительно с «чистыми руками» и отдали высокой, прекрасной цели действительно все свои силы и дарования и посвятили ему «всю свою жизнь».

Прежде чем начинать свое дело, руководители с чрезвычайной внимательностью и заботой отнеслись к его будущему и с многих сторон рассмотрели всякие возможности и частности, в том числе и причины предшествовавших театральных крахов.

«Вот главнейшие из них,— писал Вл. И. Немирович-Данченко за пять месяцев до открытия театра,— отсутствие художественной дисциплины в среде самих артистов, несмотря на их талантливость. Благодаря этому, например, при постановке «Дон Карлоса», впервые разрешенного для театра Горевой, режиссер нашел в труппе семь Карлосов и ни одного актера, который согласился бы играть маркиза Позу. И когда один артист из любезности согласился, наконец, взять не заглавную роль, то нашел возможным не являться на репетиции и не выучить роли...

Во всех без изъятия театрах репетиции начинались не ранее чем за две недели до начала сезона, и поэтому две, много три пьесы готовились как следует, а остальные ставились уже по общей провинциальной рутине: в две-три репетиции». Далее: «Неаккуратное ведение спектаклей, которые начинались на полчаса и даже на три четверти позже назначенного срока, большие антракты, утомлявшие публику, и т. д. Ординарность постановки и шаблонность интерпретации пьес. Отсутствие сколько-нибудь своеобразного репертуара, чего нет, например, в театре Корша, почему этот театр и держится. Для избежания этих причин неуспеха распорядители нашли безусловно необходимым начать репетиции за четыре месяца до открытия сезона, тем более что в труппе много молодежи, требующей еще и большего количества репетиций, чем артисты опытные, и многочисленных указаний режиссеров».

И действительно, ровно за четыре месяца до первого спектакля начались эти ежедневные и ежевечер-

ние репетиции в Пушкине, в бывшем дачном сарае. Станиславский ввел законы ультимативные, и они соблюдались точно, строго, без всяких поблажек.

— Опоздаешь — беда! — рассказывал, бывало, В. В. Лужский, сам участвовавший в этих репетициях то как актер, то как режиссер, иногда как то и другое вместе.— Штрафной журнал, черная доска — без всякой пощады. Псевдонимы, и те не позволялись: какие там Дарский, Лужский, Адашев, Станиславский — нет: Псаров, Калужский, Платонов, Алексеев... Забудь отца, мать, жену, детей — и все отдай новому делу.

Работали над целым рядом пьес. Репетировали «Федора Иоанновича», «Антигону», «Шейлока», «Ганнеле», «Самоуправцев»... Режиссеры, приступая к постановке, назначали перед считкой особые беседы с всесторонним освещением пьесы, ее места и значения в литературе, особенностей ее стиля и затрагиваемого быта, с характеристикой действующих лиц. Эти беседы, полные живого интереса и руководимые опытным режиссером, подготовленным ко всякого рода вопросам, привлекали не только тех, кто был занят в данной пьесе, но и всех членов труппы, принимавших горячее участие в дебатах.

Отсутствие дисциплины, как одна из существенных причин театральных крахов, и, наоборот, режиссерская дисциплина, державшая на высоте спектакли Общества искусства и литературы в течение десяти лет, побудили руководителей к утверждению «железных» дисциплинарных требований, которые объяснялись тем, что «без строгого порядка, без уважения к труду товарищей и вообще лиц, так или иначе способствующих успеху дела, театр не может находиться на высоте, достойной его лучших художественных стремлений». Поэтому дирекция приглашала всех причастных к театру самих поддерживать ту дисциплину и то бережное отношение к любимому делу, без которых немыслимо истинно культурное учреждение.

Новшества касались не только дисциплины, но и других сторон жизни театра, о чем выносились строжайшие постановления. Так разрушен был вековой обычай подношений актерам подарков при открытом занавесе.

«Подношения со сцены артистам, режиссерам и

вообще работающим при театре допускаются лишь цветами, венками, адресами и предметами, носящими характер исключительно художественных произведений. Подарки же, которые дирекция найдет прежде всего ценными в общепринятом смысле этого слова, она вправе не подавать со сцены, а отсылать на дом или в уборную артиста».

В теперешнее время такое постановление может показаться странным и непонятным. Но лично я хорошо помню время, когда на бенефисах выдающихся артистов среди многочисленных подношений через рампу бывали зачастую ювелирные вещи: брошки, кольца, колье — для дам, и портсигары, золотые и серебряные, перстни с камнями, выигрышные билеты — для мужчин. Отлично помню, как в Малом театре однажды в бенефис Г. Н. Федотовой ей поднесена была через оркестр на авансцену целая шуба на меху чернобурой лисицы, о чем не без удовольствия сообщали на другой день московские газеты.

Отказ Художественного театра от старой манеры ценных подношений имел в основе справедливое и серьезное соображение: все это не что иное, как пережиток времени, когда деятельность актера считалась трудом низменным, неблагодарным, и публика находила возможным и достаточным платить за наслаждение игрою, так сказать, грубым, примитивным способом — деньгами, «аплодируя метаньем кошельков» и откупаясь этим от чувств более высокого порядка. Расплату золотом за талант, за вкладываемую в дело душу труппа сочла унижением достоинства своих членов.

К осени перебрались из Пушкина в Москву, в Каретный ряд, в щукинский театр «Эрмитаж», где было грязно и неуютно. Повсюду чистили, мыли, убирали, красили, клеили, а на сцене в поставленных уже декорациях и в готовой бутафории репетировали полным ходом; учились делать боярские поклоны малые, поклоны большие, практиковались ладить с длинными-длинными рукавами, которые съезжали и не держались, учились проходить в узенькие и низкие двери царских теремов...

Наконец, наступил знаменательный день 14 октября.

По городу давно уже расклеены афиши, на кассе вывешен аншлаг: билеты все проданы. Волнение у всех неописуемое. Все участники дела отлично понимали, что в этот вечер их будущее, их судьба поставлены на карту.

Станиславский им говорил:

— Сегодня мы или пройдем в ворота искусства, или они захлопнутся перед нашим носом.

Оркестр уже заиграл увертюру, специально написанную для открытия композитором Ильинским... Еще каких-нибудь пять — десять минут, и все эти «любители» и эта молодежь, только что окончившая театральную школу, предстанут перед аудиторией неведомой, загадочной и, по слухам, не очень дружелюбной. Шептунов и недоброжелателей предполагалось немало в зрительном зале. И это остро чувствовалось всеми, кто находился по ту сторону оркестра, за занавесом, на сцене.

«Я волновался до неприличия,— сознавался Лужский, взявший на себя одну из ответственных ролей — Ивана Петровича Шуйского в пьесе «Царь Федор».— А это разве не волнение: подергивание цепи на груди у другого Шуйского — Василия Ивановича? А Москвин, бледный под гримом, пробирающийся из-за кулис слушать увертюру: молодой, никому не ведомый, взявший на себя труднейшую роль царя Федора, остановился среди сцены и не знает, куда идти...

А Немирович-Данченко? Во фраке и белом галстуке стоит возле кулис с окаменелым лицом и чуть мигающим глазом,— разве все это не волнение? А как волновался Вишневский — Годунов, хватался то за голову, то за кушак, то хлопал ладонями по полам кафтана...

Даже Дарский, такой опытный провинциальный актер, и тот поддался общему настроению, а у него самые первые слова в пьесе: «Да, да, бояре, на это дело крепко надеюсь я». Перед выходом он повторял эту фразу на всевозможные лады, то выделяя «да, да», то «бояре», то «это», то «крепко»,— и все казалось ему «не так». Он ударял рукой по близстоящему столу или подходил к одетому уже, загримированному статисту, клал ему на плечо руку и заглядывал в глаза своими близорукими глазами, опять-таки повторяя свое «да, да».

А Станиславский, тоже бледный от волнения, чувствовал себя ответственным не только за себя, но и за всех. Он переходил от кулисы к кулисе, трогал дрожащими руками закрытый пока занавес, а когда в оркестре в одном из мест увертюры вырвались веселые звуки, он хотел было заплясать, чтоб поддержать у всех бодрое настроение, но сейчас же был удален со сцены режиссером, понявшим его душевное, далеко не веселое, состояние».

Публика сидела спокойно и слушала музыку, глядела на серый занавес, и никто не знал, что творилось там, за этим занавесом, как переживали эти люди последние минуты перед началом спектакля, перед началом своей судьбы.

Решался вопрос жизни нового дела.

И вот — впервые распахнулся занавес Художественно-общедоступного театра. Раздались среди тишины первые вступительные слова Дарского:

— Да, да, бояре, на это дело крепко надеюсь я.

Это были слова, в которые всем тогда хотелось верить, которые казались пророческими. И через десять лет, когда Москва торжественно праздновала первый юбилей театра, эти самые слова вошли в состав адреса, поднесенного артистами своим руководителям — Станиславскому и Немировичу-Данченко.

Трагедия А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович» была напечатана в «Вестнике Европы» за 1868 год и с того времени никогда не была поставлена на сцене. Предвидя, что пьеса эта вряд ли когда пойдет, автор тем не менее написал «Проект» ее постановки, небесполезный, по его словам, для артистов «на частном театре». Роль Федора, говорится в проекте, «очень многосложна и проходит через самые разнообразные состояния души, от добродушной веселости, когда он шутит с Ириной, до исступления, когда он узнает о смерти Шуйского. Из всех лиц трагедии лицо Федора самое трудное, оно требует большой тонкости уже потому, что в нем трагический элемент и оттенок комизма переливаются один в другой, как радужные цвета на раковине».

И молодой артист Москвин, следуя такому определению, еще вчера никому не ведомый, сделался вдруг, в один вечер, почти знаменитостью, изумив тонкостью своего исполнения даже завзятых театралов,

видавших виды. Незабываемую фигуру Годунова дал на этом спектакле и Вишневский, фигуру, строго выдержанную и ярко очерченную, совершенно согласную с тем, как понимал ее автор. Все время это был человек, стоящий на голову выше всего окружающего, точно самой судьбой намеченный на царство, умеющий хотеть, человек железной, непреклонной воли.

Говоря на другой день об исполнении, все видные критики сошлись на том, что артисты малоизвестные и совсем неизвестные были на высоте положения и все они вместе и каждый в отдельности дополняли настроением каждую сцену и давали ей надлежащую полноту и законченность. Многие удивлялись, где театр мог достать всю эту изумительную утварь, эти ткани, эти костюмы, так не похожие на театральные, сшитые в современных мастерских; костюмы без неприятной новизны, а будто вынутые из старинных сундуков,— точно действительно настоящие одеяния всех этих боярынь и бояр. Зрителя захватывала своим общим тоном эта размашистая Русь XVI века, со всем ее своеобразным, пестрым колоритом, со всеми особенностями ее быта и духа.

Настроение в зале повышалось с каждым актом, с каждой картиной. Несмотря на скептиков и шептунов, пришедших сравнить настоящих, именитых актеров с дерзновенными «любителями» и посмеяться над их несомненным провалом, несмотря на этих недоброжелателей, ворчавших или ядовито остривших в антрактах, спектакль захватывал публику. Удивляло и восхищало все — и постановка, и пьеса, и декорации; костюмы, утварь, народные сцены производили впечатление невиданного. Незнакомые имена артистов запоминались, произносились с интересом и похвалой. Словом, успех был полный и несомненный, и театр с этой ночи вошел в художественную жизнь Москвы как неотъемлемая составная часть этой жизни.

У Художественного театра появилось много сторонников, но было немало и противников и завистников, которые говорили:

— Ну, да: богатейшие исторические костюмы, блестящая бутафория, оригинальные эффекты массовых сцен с их шумом и блеском — все это ударило публике в глаза. А вот вы сыграйте-ка что-нибудь попроще

«Федора», будничное, в обыкновенных сюртучках, с обыкновенными словами... Посмотрим, что от вас останется!

И через два месяца театр показывает чеховскую «Чайку», скандально провалившуюся перед тем на петербургской сцене. Этот спектакль был убедительным ответом на все нашептывания. Такого глубоко правдивого и тонко-художественного исполнения Москва еще не видала.

«Художественный театр возник не для того, чтоб разрушать старое,— говорил Станиславский.— Он создался для того, чтобы продолжать то, что мы считали прекрасным в русском сценическом искусстве». Однако недоброжелатели не сдавались. Когда нет шансов в открытой борьбе, то дают иногда «подножку», прибегают к клевете, к доносам. Не избежал этой участи и Художественный театр. Помимо многочисленных шептунов, появились и мастера памфлетов. Особенно злым и ядовитым был памфлет под заглавием «Знай наших!», где в форме сценического представления, порою в звучных стихах, высмеивались главные деятели «Самоновейшего театра живых марионеток», где пародировались постановки в таких, например, ремарках: «Абсолютная темнота. Справа свистит буря, слева соловей». Или «Темнота рассеялась. Поют петухи, лают собаки. Сцена быстро наполняется автоматически движущимися марионетками обоего пола». И раздается пение:

Против коршевских сил,
Против Малого звезд
Я поход объявил,
Поднимаю протест.

Памфлет, принадлежавший перу одного известного журнального сотрудника из адвокатов, в литографированных экземплярах и в списках распространялся не без успеха по рукам веселящихся москвичей, охотников до всякого зубоскальства. Но театр продолжал делать свое дело, и никакая грязь не приставала к его чистому имени. Тогда раздражение, злоба и зависть пошли в обход, по иным путям, на этот раз более серьезным и испытанным. А вскоре начали вмешиваться в дела театра не только цензура и полиция, но и митрополиты...

В дальнейшем почти ни одна пьеса не проходила в цензуре благополучно; вымарывалось нещадно все, что хоть немного касалось общественности; приходилось доказывать, уговаривать и все-таки кое-чего добивались. Так, из «Царя Федора» улетели все до единой сцены с духовными лицами, из «Бранда» выбрасывались огромные куски, так что от некоторых печатных страниц оставалось для театра только по четыре строчки. А с «Мещанами» Горького проделана была впоследствии целая комедия. Пьесу впервые давали в Петербурге во время гастролей театра. Сначала властям потребовался «закрытый» спектакль, на котором присутствовали только великие князья, некоторые министры и целая армия чиновников и цензоров, а потом на спектакле, данном уже для публики, под сценой было спрятано несколько вооруженных жандармов, масса мест в зрительном зале занята была тайной полицией, и даже билетеров решили заменить переодетыми во фраки городовыми. Театр был на «военном положении», однако неприятель ниоткуда не показался, и никакой «революции» не произошло. И только успех был громадный.

Таков был дебют Горького в качестве драматурга.

Сложнее дело обстояло со «святыми отцами» — митрополитом московским Владимиром, митрополитом петербургским Антонием, с экзархом Грузии, со святейшим синодом; здесь действовали без церемоний, путем доносов. Известен донос Ширинского-Шихматова на то, что в пьесе Леонида Андреева «Анатэма» под именем Лейзера изображен Христос, и пьеса была моментально снята на тридцать седьмом представлении. Но самым нелепым поводом к запрещению пьесы был донос на постановку «Ганнеле», доведенной уже до генеральной репетиции; изготовлены были декорации и костюмы, приглашен оркестр, написана Симоном специально для спектакля музыка, и вдруг — запрещение. Пьеса шла раньше в Обществе искусства и литературы по тому же самому тексту в переводе того же Лентовского, режиссировал тот же Станиславский, и никаких придирок не было. Что же могло случиться? Случилось, что какой-то набожной старухе приснился сон и было «видение», будто в названной пьесе на Художественном театре поносят господа бога и ангелов заставляют плясать. Этого «виде-

ния» было, конечно, вполне достаточно, чтобы возмущенный митрополит Владимир с безграмотным подметным письмом в руках потребовал от генерал-губернатора немедленного запрета кощунственной пьесы. Напрасно ездили Станиславский и Немирович-Данченко к митрополиту доказывать всю вздорность доноса. Пьесу не спасли, и положение театра стало критическим: кроме «Федора», делавшего сборы, дела шли в первые недели плохо. Все надежды возлагались только на «Ганнеле», так как следующей постановкой готовилась «Чайка» Чехова, на которую, однако, не надеялись в смысле сборов, и гибель вполне подготовленной пьесы грозила самому существованию театра.

Запрещение «Ганнеле» в корне подрывало дальнейшие возможности вести дело. Хотя на «Чайку» надежд практического характера и не возлагалось, однако все понимали, что от успеха или неуспеха ее зависит теперь все будущее. Петербургский провал пьесы не привлекал к ней публики; кроме того, боялись, что в случае неуспеха новая обида тяжело отразится на здоровье Чехова, и без того серьезно больного. С чувством большой ответственности и перед автором и перед будущностью театра приступили к этому спектаклю. Твердо веря, однако, в то новое, что давала никем не понятая пьеса, веря в то, что хотел сказать этой пьесой сам театр, и дорожа этим новым, в великом волнении за судьбу пьесы, за судьбу автора и за собственную судьбу раздвинули, наконец, перед публикой серый занавес, за которым горсть молодежи, недавних учеников и недавних «любителей», мужественно повела защиту всех этих судеб, одинаково дорогих театру, опрокидывая предвзятые мнения и шаг за шагом покоряя сердца, вызывая чистые волнения и те драгоценные слезы, которые может вызвать только возвышающее человека истинное искусство.

Бесконечно прав Станиславский, раскрывающий самую суть подхода к пьесе Чехова, в частности «Чайки». Прелесть этих спектаклей — в том, что не передается словами, а скрыто под ними — или в паузах, или во взглядах актеров,— в изучении их внутреннего чувства. У Чехова в самом бездействии создаваемых

им людей таится сложное действие. Ошибаются те, кто играет в пьесах Чехова самую фабулу, скользя по поверхности, наигрывая внешние образы ролей, а не создавая внутренние образы и внутреннюю жизнь. Ошибаются те, кто вообще старается «играть», «представлять». В его пьесах надо «быть», «существовать», идя по глубоко заложенной внутри главной душевной артерии.

Скептики, в изобилии заседавшие на первом представлении «Чайки», не склонные ни к чему новому, вышучивали частые паузы и непривычные для их слуха шумы и звуки, но в конце концов и ими завладевало то властное и невидимое, что называется настроением. Там, где по театральному шаблону должны выкрикивать и голосить персонажи, их функции выполняют стихии: огонь в камине с потрескиванием дров и ветер за окнами. И в этой замечательной паузе чувствуется нависшая неизбежная драма, которая и разрешается выстрелом за кулисами: «нечем жить». Причина настолько ясна из всего предыдущего, что не требует подтверждений. Весь издерганный юноша, которого с детства гложет неутолимое самолюбие, которому хочется быть чем-то, но ничего у него не выходит; талант его, несомненно имеющийся, мечется, силится быть оригинальным, но пока творит что-то уродливое либо шаблонное. Одиночество среди близких и любимых, легкомыслие матери и непонятное ее влечение к человеку чужому и, наконец, обидный разрыв с горячо любимой девушкой, с чудесной, поэтической, обаятельной «девушкой с озера» — Чайкой, загубленной черствой и нелепой рукой, обостряют всю муку его существования; юноша рвет свои неудачные рукописи и той же отчаянной рукой рвет нить своей ненужной жизни. Вот в этой паузе, с треском дров и воем ветра, всеми чувствовалась нависшая неизбежная драма и слышались рыдания двух молодых загубленных жизней.

Занавес закрылся при гробовом молчании. Артисты пугливо прижались друг к другу и прислушивались к публике, но там тишина, молчание. Значит — провал? Ни звука, ни хлопка...

— Удрученные, мы двинулись за кулисы,— говорили участники этого спектакля.— Кто-то среди нас, женщин, заплакал...

И в этот момент, после молчания, вдруг загремели аплодисменты, бурные, восторженные, почти небывалые; оцепенение миновало, и восторг зрителя вырвался наружу.

Престиж нового театра был спасен.

Декорации Симова, содействующие выявлению сути сцены, которая разыгрывается в их окружении, соответствующие тона и краски, свет и потемки, звуки и шумы, тишина и молчание — все соединялось так, чтобы создать действительно захватывающее настроение. Как только раздвигался занавес, это настроение уже чувствовалось на сцене, проникало в зрительный зал, охватывало присутствующих, и они невольно делались более восприимчивыми, более чуткими; художественное воздействие торжествовало.

Признавая несомненные факты выдающегося успеха театра и привешивая к ним ярлыки, по привычке к регистрации всего на вечные времена, скептики принуждены были объявить Художественный театр сильным в реализме и в историческом быте. Но театр, пока это признание зрело и совершалось, был уже охвачен новым увлечением, по линии фантастики. Да и в дальнейшем происходило то же самое: пока начинали признавать его силу в определенных направлениях, он устремлялся далеко вперед и в сторону от того, что за ним признавали. Угнаться за течениями театра было не под силу сторонним людям, подводящим итоги чужих стремлений, уже осуществленных.

Театр ставит «Снегурочку» Островского, увлекаясь не только сказкой, но и совершенно исключительной красотой русского эпоса.

Со сцены повеяло такой очаровательной простотой и красотой, что зрители долго и восторженно рукоплескали режиссеру, и артистам, и молодому дебютанту, еще час тому назад никому не ведомому Качалову, впервые появившемуся перед московской публикой в роли царя Берендея.

— Театр ударился в фантастику,— говорилось вокруг.— Но это последний предел его стремлений,— добавляли скептики.— Уж дальше идти им некуда.

А театр, назло прорицателям, пошел дальше — по линии общественности и протеста.

«Главным зачинателем и создателем общественно-политической линии в нашем театре был Горький»,

Так писал и так оценивал Станиславский значение Горького для Художественного театра.

В свою очередь и Горький высоко оценил искусство МХТ и восторженно писал о нем:

«Художественный театр — это так же хорошо и значительно, как Третьяковская галерея, Василий Блаженный и все самое лучшее в Москве. Не любить его — невозможно, не работать для него — преступление...»

И вот театру удалось уговорить Горького, который был уже в то время «властителем дум», написать для МХТ пьесу. Это были «Мещане».

Вторая пьеса его «На дне», или, как она называлась вначале — «На дне жизни», поставленная в Москве в декабре того же 1902 года, прошла с исключительным успехом. Недовольны остались только одни высшие чиновники, открыто шипевшие о петербургских цензорах, дозволявших такую пьесу:

— Они с ума сошли!

Пьеса подвергалась сначала запрещению со стороны этих «сошедших с ума» цензоров, потом бесконечным урезкам и, наконец, была разрешена к представлению, но только одному Художественному театру и только в одной Москве. Совершенно необычная обстановка никем не виданных доселе трущоб Хитрова рынка, его ночлежных домов, его исключительных героев — бывших людей — побудила театр в лице нескольких актеров, во главе со Станиславским и Немировичем-Данченко, с декоратором-художником Симовым и писателем Гиляровским, хорошо знакомым не только с бытом, но и с некоторыми персонажами ночлежек, пойти ночью в эти ночлежки для наблюдения типов, характеров и зарисовок обстановки.

Под эскизом ночлежных нар, зарисованных Симовым, рукою Гиляровского написано: «Это подвальная ночлежка в «Утюге» (Кулакова). В левом углу под нарами была лазейка в так называемую «Малину» — глубокое, такое же большое подземелье с нарами, а из него — подземный ход в «Сухой овраг», и из него — замаскированный снаружи выход на пустырь к речке Яузе. «Малину» знали только «свои» и никто больше. Там они были недосягаемы. Хозяин ночлежки, скупщик краденого, звался „Бордодым"».

Здесь, в этой ночлежке, едва не разыгралась драма. Во-первых, чуть не убили художника Симова из-за неосторожного неодобрительного слова по поводу какого-то бездарного рисунка на стене, ничего не стоящего, но почему-то дорогого и памятного одному из хитровцев. Во-вторых, как рассказывал мне сам Гиляровский, некоторых героев «Дна» заинтересовали шубы, в которых пришли гости. И только крепкая виртуозная брань Гиляровского, хорошо знакомого с психологией хитровцев, восхитившая их неожиданной и небывалой комбинацией, да, кроме того, и небезызвестная многим огромная физическая сила «Дяди Гиляя» остановила намеченную было экспроприацию шуб уважаемых гостей. В результате похода — эскизы и впечатления, осуществленные в постановке пьесы. Станиславский признавал, что экскурсия на Хитров рынок разбудила в нем фантазию и творческое чувство; делая чертежи и мизансцены, он руководствовался живыми воспоминаниями, а не выдумкой, не предположениями.

С 1902 года и до сего времени «На дне» не сходит со сцены Художественного театра; с этой пьесой едут на гастроли по Европе, плывут в Америку, и везде она имеет колоссальный успех, вызывает огромный интерес. А успех первого представления в Москве был прямо потрясающий. Артистов вызывали без конца; особенно Москвина за бесподобный образ странника Луки, Станиславского — за Сатина и Качалова — за барона. Когда на вызовы появился, наконец, на сцене автор, овации превратились в сплошную бурю.

В начальные годы Художественного театра другие московские театры относились ревниво к успехам молодого «Общедоступного» и не хотели признавать его как театр. Некоторые крупные артисты не приходили даже на спектакли, считая их «любительскими». Но вот историческое письмо крупнейшей артистки Малого театра, великой и славной М. Н. Ермоловой. Она пишет на имя Вишневского, исполнителя роли татарина, замечательное признание:

«Я начинаю делаться горячей поклонницей Художественного театра. После «На дне» я не могла опомниться недели две. Я и не запомню, чтобы что-нибудь за последнее время производило на меня такое сильное впечатление. Но в особенности, что меня поразило

так это игра вас всех! Это было необычайное впечатление, о котором я сейчас вспоминаю с восторгом и не могу отделаться от этих ночлежников. Они сейчас все, как живые, передо мной,— вы все не актеры, а живые люди!»

Это письмо великой артистки было большим признанием Горького как драматурга и Художественного театра как действительно художественного.

Следующая горьковская пьеса в Художественном театре была «Дети солнца». Постановка ее совпала с тревожными днями первой русской революции 1905 года, и первый спектакль сопровождался явлением небывалым в истории МХАТ. По городу уже носились жуткие слухи, что «черная сотня» намерена устроить «московскую варфоломеевскую ночь», напасть на «врагов царя и отечества» — на Максима Горького и на Художественный театр, где ставятся его пьесы, проучить их всех, а также и публику, сочувствующую этой крамоле. На дверях некоторых квартир интеллигенции появились таинственные меловые кресты, означавшие намеченные жертвы.

И вот, когда по ходу пьесы в одном из актов в сцене холерного бунта ворвалась из-за кулис толпа с криками и угрозами, в которую игравшая актриса стреляет из револьвера, произошло нечто необыкновенное и небывалое. Публика приняла этих театральных статистов за толпу черносотенцев, первой жертвой которых пал Качалов.

Дрогнул зрительный зал. Одни бросились к сцене, на помощь артистам, другие к выходу, спасаться от дикой расправы. Крики, истерики, обморок и давка в проходах и коридорах — все это создало панику. Насилу удалось объяснить публике, в чем дело. После этого, при сильно опустевшем зале, кое-как закончили спектакль, сорванный этой внезапной паникой.

С 1902 года театр перешел из Каретного ряда в новое помещение, где находится и в настоящее время. Из неряшливого кафе-шантана с претензией на вульгарную роскошь прожигателей жизни академиком Шехтелем был начисто изгнан дух пошлости и разгула: строгая простота сменила крикливую вычурность и отсутствие вкуса. На сером раздвижном занавесе

появилась стилизованная летящая над волнами белая чайка — эмблема Художественного театра.

В новом помещении началась и новая жизнь, полная труда, инициативы, достижений и тех великих успехов, которые привели Художественный театр к небывалой в жизни театров всемирной славе. Путь творческой жизни, пройденный им за полвека, будет изучаться последующими театральными поколениями, для которых надолго останутся поучительными не только достижения, но даже и некоторые ошибки Художественного театра.

С дальновидной заботливостью театр в свое время открывал студии для молодежи, воспитывая ее в духе МХАТ, в любви к истинному искусству. Их было несколько, этих студий, и на более даровитых учеников «старики» смотрели как на своих наследников и будущих заместителей, прививая им взгляды и методы МХАТ. И теперь, когда большинство крупнейших артистов старого поколения, так называемых «буйных сектантов», уже выбыло из жизни, традиции театра успешно поддерживают молодые силы, эти бывшие студийцы, что заняли теперь в театре ведущее положение. В настоящее время большинство из них уже имеет почетное звание народных и заслуженных артистов. Образцовое исполнение ими как пьес, удержавшихся из прежнего репертуара, так и целого ряда новых, советских пьес, продолжает поддерживать заслуженную славу Художественного театра как образцового и первоклассного.

Для уяснения взаимоотношений всех его работников, от мала до велика, характерно письмо Станиславского, написанное уже через много лет после начала театра в цех гардеробщиков, к которым Константин Сергеевич обращается, называя их «дорогими друзьями»:

«...Вы — наши сотрудники по созданию спектакля. Наш МХТ отличается от многих других театров тем, что в нем спектакль начинается с момента входа в здание театра. Вы первые встречаете приходящих зрителей, вы можете подготовить их как в благоприятную, так и в неблагоприятную сторону для восприятия впечатлений, идущих со сцены. Если зритель рассержен, он не в силах отдаваться впечатлению и делается рассеянным и невосприимчивым, если же, вой-

дя в театр, он сразу почувствовал к нему уважение, он смотрит спектакль совсем иначе. Вот почему я считаю вашу работу очень важной...»

Это поднимало людей в собственных глазах, и становится понятно, почему все служащие, даже такие простые труженики, как билетеры, курьеры, гардеробщики,— все, гордясь своим театром, служили и служат в нем многие-многие годы, обычно — до самой смерти.

Последние четверть века моей жизни и даже больше я отдал почти всецело Художественному театру, отдал с удовольствием и увлечением. Вообще мне кажется, что работа при театре бывает всегда увлекательна. Здесь совершенно своя, особая атмосфера. Я говорю не о той театральной жизни, которую, приходя на спектакль, видит публика,— на сцене, в наполненном зрительном зале, в парадно освещенном фойе,— я говорю о трудовом, будничном дне, когда повсюду, во всех залах и комнатах кипит работа. На сцене прилаживают и выправляют декорации для новой постановки или репетируют новую пьесу под руководством режиссеров; в фойе — и в верхнем и в нижнем — работают над отдельными сценами и кусками среди расставленных на полу диванов, столов и стульев; иногда идут спевки или «шумы» из народных сцен... В минуты перерывов в чайном буфете отдыхают, курят, беседуют с молодежью прославленные артисты... Ближе к вечеру театр пустеет и затихает. Я люблю это предвечернее затишье. Есть своя поэзия в этом беззвучном, опустевшем доме, в зрительном зале, полутемном, с отворенными дверями, с открытым занавесом, где через два-три часа снова закипит жизнь, заблещет сила искусства...

В дневнике Станиславского за 1907—1908 годы имеются первые слова о музее. Он писал:

«Трудно связать между собой такие полюсы: высокую культурность театра и варварское непонимание художественной ценности имеющегося у нас материала: антикварных вещей и архивных документов предыдущих постановок. Библиотека и музей для этих вещей и архивных документов должны были бы быть предметом заботы и гордости. Ими должны бы пользоваться не только при последующих постановках, но и для школы, которая могла бы изучать все изучен-

ные эпохи. На практике оказывается, что наш театр не дорос даже до сознания важного значения музея, библиотеки и архива для художественного учреждения».

И вот незадолго до двадцатипятилетнего юбилея МХАТ, в 1922 году, Немирович-Данченко подписал обращение ко всем работникам театра помочь собрать к юбилею музей в здании самого театра.

В то время нигде не было еще притеатральных музеев, и этим воззванием начался первый опыт.

«У частных лиц находится необходимого материала больше, чем сейчас находится его в архиве, а потому каждый, кому дорог Художественный театр, пусть внесет свою лепту или хоть укажет, где такой материал есть, и тогда общими усилиями можно достигнуть желанного успеха...»

Честь первого слова о создании музея принадлежит Вл. И. Немировичу-Данченко. Он же предложил и мне поработать над этим делом. Я с удовольствием взялся, и вот с 1923 года я неразлучен с театром. К юбилею мы музей устроили и открыли первую выставку, о которой нарком по просвещению А. В. Луначарский написал:

«Музей исторического театра будет еще долго расти и превратится в замечательный памятник человеческой культуры».

Сами актеры признали за музеем дело большой для себя важности и смысла:

«В музейных снимках, рецензиях, письмах заключена частица нашей актерской жизни и закреплено наше творчество, которое прежде жило лишь в воспоминаниях зрителей и современников; актерское искусство, ограниченное в своем существовании десятками вечеров спектакля, получает здесь длительный и плодотворный след,— оно продолжает жить после того, как угасли огни рампы и разгримировался актер...»

Вспоминается один вечер во время какого-то спектакля. Я сидел в музее в полном одиночестве на груде книг и альбомов, приготовленных к расстановке в маленькой низенькой комнатке запаса. Все было вокруг меня в хаотическом беспорядке. Вдруг слышу чьи-то шаги. Передо мной стоит К. С. Станиславский и с

улыбкой глядит на беспорядок. А мне его и посадить некуда.

— Ничего,— говорит он, присаживаясь на стопку книг,— я люблю эту незаконченность, в ней есть что-то приятное.

Стал рассматривать первую попавшуюся под руку папку. Оказались карикатуры. Был изумлен их обилием.

— Неужели такое множество было и на театр и на каждого из нас? Откуда вы все это достали? Есть остроумные и смешные.

Потом, глядя на эту маленькую низенькую комнатку, сказал полусерьезно, полушутя:

— Вот когда я умру и меня, вероятно, сожгут, поставьте мою урну в эту комнатку. И когда кто-нибудь из молодых актеров провинится в чем-то, исключительно художественном, конечно, вы затворите его здесь на вечерок. Вот мы с ним и побеседуем тогда об искусстве.

Потом мы пошли по музею. Внимательно рассматривал он каждый предмет, задавал вопросы, давал указания, делал поправки, отвечал охотно на все. Память у него была изумительная. Так, перед маленьким макетом «Ревизора» первой постановки в декорациях Симова он остановился и сказал:

— Вот здесь не хватает стола, который стоял на сцене. Поглядите: вот и четыре точки со следами клея от его ножек. Надо восстановить этот стол; попросите Симова, он сделает...

И по другим макетам, особенно по «Снегурочке», делал замечания и просил восполнить потерянное и недостающее. Над визитной карточкой Вл. И. Немировича-Данченко с приглашением его в «Славянский базар» на первые переговоры, решившие в эту ночь судьбу Художественного театра, Станиславский особенно задержался, долго смотрел на этот кусочек картона.

— Как хорошо, что эта историческая записка у вас здесь. Берегите ее: она — начало всех начал. Я рад, что она цела и невредима.

В докладе дирекции МХАТ в Наркомпрос от 1931 года есть дорогие для меня слова и строки за подписями Вл. И. Немировича-Данченко и К. С. Станиславского:

«...Телешов — старый друг нашего театра, с первых дней его основания. Наш музей, отражающий действительное историческое лицо Художественного театра, в значительной мере обязан трудам и огромной энергии Н. Д. Телешова как его собирателя, исследователя и руководителя. Это большая заслуга Телешова перед театром, которую ценили не только мы, но и наши приезжие товарищи из областей и наши гости из разных государств Европы и Америки, театроведы, режиссеры и артисты, интересующиеся вопросами нашего искусства... Мы считаем, что имя Телешова тесно связано с историей Художественного театра...»

# *Москва прежде*

*В прежней Москве.— Московские контрасты.— Хитровка.— Трубная площадь.— Сиротский суд.— Городской голова.— Крещенские морозы.— Широкая масленица.— Великий пост.— Московский «пророк» Корейша.— Менялы.— Весна и «верба».— Лошадиный праздник.— Разносчики и водовозы.— Дачники.— Охотнорядцы.— Расправа.— Начало конца.— Татьянин день.— Самодуры.— Торговые ряды.— Свадьба и похороны.— Ходынка.— Теперь.*

Москва моя родина, и такою будет всегда: там я родился, там много страдал и там же был слишком счастлив.

*Лермонтов. 1832 г.*

От головы до пяток
На всех московских есть особый
отпечаток.

*Грибоедов.*

## I

Всю свою жизнь, то есть восемьдесят восемь лет со дня рождения, я прожил в Москве и начал помнить ее совсем не такою, какова она в настоящее время. Улицы освещались масленками, потом керосиновыми лампами, потом газом. А на электричество, или, как тогда называли, «яблочково освещение»,— на эти немногие фонари, поставленные только для пробы в Петровских линиях и на Каменном мосту, сбегалась глядеть, как на чудо, вся Москва. И только через много лет введено было настоящее электрическое освещение города. Улицы мостили круглым булыжником и умышленно делали горбатыми для водостока. Зимою дороги покрывались глубокими ухабами, по которым ныряли сани, как по волнам, то проваливаясь в глубину, то взбираясь ввысь, чтобы снова нырнуть и опять подняться. И такие ухабы бывали даже на главных улицах, а что делалось на уличках третьестепенных и в глухих переулках, в настоящее время даже не верится, что все это могло быть в столице.

Дома в четыре этажа были редкостью. Общественными экипажами являлись только «линейки» — на восемь человек, по четыре с каждой стороны, запряженные «парой гнедых», тощими, изнуренными клячами. В дальнейшем появились конки, ходившие по рельсам в две лошади, а когда приходилось подниматься в крутую гору, как с Трубной площади к Сретенке или еще хуже — от Швивой горки до Таганки, то на помощь прицеплялись еще две, а то и четыре лошади, которыми правил верховой мальчишка, погоняя их кнутом и криками, и поезд с гиком, звоном и гамом взбирался вкручь до ровного места, где добавочных лошадей отпрягали, и вагон катился далее обычным порядком. В конце концов появились трамваи.

Москва была разделена, если не ошибаюсь, на семнадцать частей, и в каждой части высилась длинная узкая каланча, вроде большой и широкой фабричной трубы с высоким рычагом в небо в виде ухвата. Там, на самой макушке, огороженной барьером, ходили вокруг рычага навстречу друг другу днем и ночью по два солдата-пожарных и, когда замечали дым начинающегося пожара, звонили вниз, в команду. На тревогу выбегал дежурный вестовой, вскакивал на оседланную лошадь и мчался в указанном направлении узнавать, где именно горит, а в это время пожарные запрягали коней, надевали медные каски, выкатывали бочки с водой и по возвращении вестового мчались со звоном и громом на указанный пункт. А пока все это готовилось, пожар разыгрывался не на шутку. Бывали пожары, уничтожавшие целые кварталы.

В частях были подобраны особые масти лошадей — у одних все лошади вороные, у других — все серые, у третьих — «в яблоках», а то гнедые либо пегие, так что при встрече обоза всегда можно было знать, в какой части пожар.

Москвичи оповещались о пожарах вывешиванием над каланчами на канатах рычага черных кожаных шаров, размером с человеческую голову. У каждой части был свой особый знак: один шар — это означало центральную часть, так называемую «городскую», у других были два, и три, и четыре шара, некоторые части обозначались шарами с интервалами, некоторые с прибавлением крестов и т. д. А когда пожары стано-

вились угрожающими, то вывешивался еще и красный флаг. Это означало — «сбор всех частей». Многочисленные любители сильных ощущений сбегались на пожар полюбоваться, как огненная стихия пожирала жилища, вытасканное наспех имущество, как пожарные спасали иной раз из объятого пламенем дома детей, а обезумевшие матери в ожидании рвали на себе волосы.

Внешне Москва росла медленно, не спеша. Деревянные ее кварталы подвергались время от времени опустошительным пожарам. Но зато духовный ее облик был впереди ее внешнего роста.

Нельзя забывать, что именно в Москве в 1755 году учрежден первый русский университет, и при нем в 1811 году возникла первая литературная организация — Общество любителей российской словесности, по словам своего устава — «хранилище чистоты отечественного языка». Вскоре Общество сильно пострадало от наполеоновского нашествия, потерпело «пожар и разгромление от неприятеля» и еле собралось потом с силами. Но затем председатель Общества, человек новый — по словам исторической записи, «генерал-майор и кавалер,— попечитель московского учебного округа», начал задавать парады в Обществе и однажды устроил такое торжественное заседание с музыкой и арфой и с чтением актера Мочалова с кафедры, что «шуму и блеску было много, но кончилось все тем, что на свечи и угощение истратили все деньги и казначей Общества остался без гроша».

Членский список Общества изобиловал крупнейшими литературными и научными именами, начиная с Державина, Карамзина, Жуковского, Пушкина, в дальнейшем — Толстого, Тургенева, Островского, и включал в течение века имена почти всех выдающихся деятелей вплоть до писателей девятисотых годов, с Короленко, Чеховым, Горьким во главе. Пережив вначале немало тяжелых лет, Общество оправилось и в 1911 году торжественно отпраздновало свое столетие.

В прежней Москве протекала значительная часть жизни Льва Николаевича Толстого, великого гражданина мира, как его называли в последние годы жизни, и Москва много лет была местом паломничества людей всяких званий и состояний, не исключая и многих ино-

странцев, обращавшихся к «великому писателю земли русской» — по счастливому выражению Тургенева — с разнообразными делами, за советами и по так называемым «проклятым вопросам» жизни. За такую небывалую популярность Л. Н. Толстого ненавидели темные силы, и, с благоволения тогдашнего правительства, духовные власти предали его отлучению от церкви, не испугав этим никого, а тем более самого Толстого.

Лично я дважды имел радость быть, по поручению, в кабинете Льва Николаевича в хамовническом доме, где теперь бытовой музей его имени, слышать его голос и на минуту держать в своей руке его руку.

Когда он услыхал от меня, что я начал помещать в журналах свои рассказы, то сказал мне на это:

— Надо стремиться писать так, чтобы могло читаться с одинаковым интересом как профессором, так и кухаркой. В таком роде издает теперь копеечные книжки «Посредник». Вот это дело нужное.

При мне, на моей памяти, действовали еще наши великие писатели, прославившие в Европе русскую литературу. Хорошо помню, как выходили тогда новые книжки журналов, где печатались впервые произведения таких писателей, как Салтыков-Щедрин, Тургенев, Толстой, Достоевский, Островский... Помню только что вышедшую в Москве в 1880 году очередную книжку «Русского вестника» с новым романом «Братья Карамазовы», помню и книжку «Вестника Европы», в обложке кирпичного цвета, с тургеневскими «Стихотворениями в прозе», с их очаровательным стилем и красотой русского языка. Помню первое представление новой тогда пьесы Островского «Таланты и поклонники», и не только это представление, но помню и самого Островского, но уже позднее — стариком, крепким и бодрым, с седой бородой, на премьере его новой и последней пьесы «Не от мира сего». Он был в то время во главе Малого театра. Помню, как выходил он на вызовы на сцену или кланялся из директорской ложи, бурно приветствуемый публикой.

В те далекие теперь времена Малый театр имел огромное просветительное значение и сыграл большую культурную роль.

На моей памяти, около восьмидесятых годов, Москва не отличалась обилием общественных органи-

заций. Отдельные писательские кружки за немногими исключениями существовали только при редакциях. Писателей в Москве тоже в то время жило сравнительно немного. Большинство устремлялось к центру, в Петербург,— в «писательскую Мекку», как шутили иногда сами же писатели. Но как ни была придавлена общественность, жизнь делала свое дело; дух не угасал. Как ни старались разъединить людей, но люди все-таки встречались, стремились друг к другу, и общение не умирало. Это общение, этот пульс культурной жизни поддерживался несколькими очагами и в их числе Малым театром, в котором многие люди того времени, и в частности лично я, находили источники вдохновения, красоты, подъема духа, смысла жизни и просто-напросто культурного воспитания и сознательности.

Если искусство возникает вообще из потребности стремления человека к совершенству, то нельзя не сказать, что сцена Малого театра с ее классическим репертуаром, с ее реализмом и романтизмом и с такими исключительными талантами, как Гликерия Николаевна Федотова, как Мария Николаевна Ермолова, горевшая пламенной любовью к истинному искусству, к той великой человеческой правде, которая в те времена именовалась «святой правдой»,— эта сцена являла высокие примеры для жаждущих правды и подвига и оказывала на окружающую жизнь неотразимое влияние.

В тот же период времени вырастала в крупнейшее общественное явление художественная галерея частных лиц — братьев Третьяковых,— ныне государственная, известная всему культурному миру. Ее основатель, Павел Михайлович Третьяков, скромный и глубоко веривший в значение русского искусства, обычно посещал мастерские художников и еще до выставок приобретал для галереи самые выдающиеся картины, а на выставках под этими полотнами, впоследствии знаменитыми, были подписи: «Приобретено для Третьяковской галереи», чем все художники, не исключая и самых видных, очень гордились. Его громаднейшие коллекции, для которых он выстроил особый дом, были всегда доступны всем желающим видеть и даже копировать картины. В 1892 году он передал свою знаменитую галерею вместе с домом в

дар городу, обогатив Москву ценнейшими произведениями искусства, что было в ее жизни большим событием.

Немалое общественное дело творили и художники-передвижники: их выставки являлись буквально праздником для Москвы. Помню, я целые дни проводил на этих выставках, где невозможно было оставаться холодным или спокойным. Зритель всегда бывал увлечен и взволнован как самим мастерством, так и сюжетом, содержанием, идеей картины. Впоследствии многих передвижников упрекали за сюжеты, находя их тенденциозными, и даже в пейзажах Левитана усматривали оппозиционное настроение, но картины эти завладевали зрителем и вызывали искренние восторги.

С этих «Передвижных», а также с «Периодических» выставок большинство лучших полотен переходило потом в Третьяковскую галерею. Такие произведения, как «Иван Грозный» и «Не ждали» Репина, как «Боярыня Морозова» или «Утро стрелецкой казни» Сурикова, как полотна Виктора Васнецова, Поленова, как «марины» Айвазовского, как пейзажи Шишкина, Левитана, жанры Прянишникова и Маковского, как портреты Серова, порождали вокруг себя целую литературу, и газеты бывали наполнены похвалами или спорами за и против, в зависимости от направления издания. Батальные полотна Верещагина, картины Савицкого «На войну» и «Крючник», или Ярошенко «Всюду жизнь» и «Кочегар», или Касаткина «Шахтерка» и «Углекопы» заставляли многих задумываться над вопросами не только художественными.

Перемещаясь из города в город, выставки подчинялись контролю цензуры, и картины, пропущенные в одном городе, оказывались неудобными в другом благодаря субъективному мнению того или иного лица. Эти «Передвижные выставки» начались еще при Перове и Крамском, с 1871 года, и на протяжении десятков лет имели большое культурное значение и влияние. Многие, в том числе и я, воспитывались на них. Последняя, сорок восьмая, выставка была в 1922 году.

Сами художники, вызывавшие своими выставками шумные споры и праздник искусства, спокойно и просто собирались по субботним вечерам в Обществе лю-

бителей художеств на Дмитровке, просматривали русские и иностранные журналы, играли в шахматы, вели товарищеские беседы, иногда слушали интересные доклады, а то и концерт,— в виде товарищеской услуги устраиваемый местными или заезжими артистами,— а в заключение садились за ужин. В одиннадцать часов откуда-то из запасных комнат выдвигались длинные столы, уже накрытые; все это делалось в несколько минут; присутствовавшие сами брали себе стулья и усаживались в желательной для себя компании. Непринужденность и простота делали эти ужины заразительно веселыми и интересными. Все это хорошо и живо объединяло маститых стариков с талантливой молодежью, когда среди таких художников и скульпторов, как Суриков, Репин, Поленов, Саврасов, Васнецов, Маковский, Волнухин, появлялись молодые, начинавшие входить в славу Левитан, Серов, Коровин, Касаткин, Головин и другие, еще более молодые, вошедшие впоследствии в «Мир искусства», участники движения только что нарождавшегося тогда утонченного искусства, пропагандировавшегося С. П. Дягилевым.

Я часто посещал эти субботники и со многими художниками был знаком, а с некоторыми довольно близко. У Васнецова и Левитана бывал в мастерских, где видывал их работы, только что законченные, подготовленные к выставке.

Приятно вспомнить эти оригинальные собрания людей почтенных с крупными или заметными именами, но державших себя просто, словно зеленая молодежь, точно юнцы, позабывшие о своих годах, о своих заслугах и о прославленных именах. Когда кто-нибудь говорил речь или сообщал о чем-то интересном и значительном, то вместо аплодисментов раздавалось в ответ дружное хоровое восклицание, повторяемое дважды и трижды:

— Пра-виль-но пу-щено! Правильно пущено!

Это одобрение возникало внезапно, дружным хором, и через несколько секунд так же внезапно и дружно замолкало.

Искренность и простота били ключом, как живой источник. Чувствовалось нечто милое и сердечное во всем. Впечатление это не было ошибочным: все эти лохматые и бородатые люди, каким был тогда обычный

образ художника, многие уже не без серебра в волнистых волосах, веселились искренне, от души, по-товарищески со всеми, невзирая на знаменитость одних, на скромность других и на обещающее будущее третьих.

— Пра-виль-но пу-щено! — отвечали все хором на чью-либо хорошую мысль или на удачное предложение.

И Шаляпину, когда он впервые здесь пел, еще неизвестным юнцом, не аплодировали, а тоже возглашали дружным хором свое обычное одобрение:

— Правильно пущено!

И это было лучшей похвалой, более ценным и сердечным «спасибо», чем заурядные рукоплескания.

Вспоминаются интересные беседы об искусстве с таким оригинальным и замечательным мастером, как Левитан, стоящим совершенно особняком среди русских пейзажистов. Он рано начал художническую жизнь и в восемнадцать лет уже выставлял свои работы, которые и тогда, в его юные годы, обращали на себя внимание. Коренной москвич, он не однажды выезжал за границу знакомиться там с мировым искусством в его лучших образцах. Но к тамошней природе он остался холоден и равнодушен, не полюбив ни запада, ни юга, и не увлекся их красотой. Он любил только родную природу, преимущественно средней полосы России и подмосковную, которую понимал и чувствовал, как немногие. Наш Крым он тоже считал, по его словам, слишком сладким, и южные красоты не пленяли его.

— Нужно брать самое простое, самое обычное и в нем находить красоту,— нередко говорил Левитан о русских пейзажах. И действительно, в его лучших картинах изображено самое простое, но в этом простом и обычном отражена вся внутренняя красота, содержательность и поэтическое настроение.

Характерную принадлежность старой Москвы составляли еще две большие влиятельные газеты противоположных направлений: крайняя правая — «Московские ведомости» и прогрессивная — «Русские ведомости». Первая началась давным-давно, чуть не двести лет тому назад, и принадлежала Московскому университету, который сдавал ее в аренду разным лицам. С шестидесятых по конец восьмидесятых годов газету арендовал и руководил ею Катков, но после

Каткова эта реакционная газета до самой революции тянула свое существование под флагом «охраны законности и самодержавия», хотя подписчиков было уже мало и она держалась только субсидией и казенными объявлениями.

Другая газета — «Русские ведомости» — издавалась группой профессоров с 1863 года и служила как бы флагом значительной части тогдашнего передового общества. Она никогда не угождала вкусам толпы. Строгий отбор, содержательность, проверенные факты придавали ей серьезность; она уделяла внимание вопросам цивилизации, рабочему движению, привлекала лучших писателей, в ней участвовали видные силы литературы, науки, искусства, общественности, как Л. Н. Толстой, Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский, Чернышевский, который после долгой ссылки подписывался там псевдонимом «Андреев», Вл. Короленко, писавший знаменитые статьи о Мультанском процессе, М. Горький, впервые появившийся в столичной печати с рассказом «Емельян Пиляй» в 1893 году, А. П. Чехов, Серафимович, известные шлиссельбуржцы, после своего освобождения, В. Н. Фигнер и Н. А. Морозов, профессора Мечников и Тимирязев и многие видные деятели. Близость к «Русским ведомостям», хотя бы только читательская, была своего рода «паспортом», как тогда говорили. Несмотря ни на какие строгости и ухищрения цензуры, в газете всегда твердо заявлялось, что редакция признает важное значение широкого народного образования, устранения племенной розни, стоит за всякое честное стремление к правде и свету. А над этими признаниями, как топор над головой, висело грубое, невежественное, но властное самодержавное нежелание каких бы то ни было уступок, и реакционная печать, во главе с «Московскими ведомостями», в сопутствии мелких уличных листков, недорого продававшая свои верноподданнические чувства, доносила явно и тайно власть имеющим на «крамольную газету», которую то штрафовали, то временно запрещали ее розничную продажу, то лишали права частных объявлений — что тяжело отзывалось на бюджете,— а то и совсем останавливали выпуск газеты на разные сроки. За свое существование газета перенесла восемьдесят одну такую кару вплоть до угрозы заключения редакто-

ра в тюрьму. Чтоб не терять при таких условиях на длительный срок руководство изданием, был приглашен из своих близких людей специальный «редактор для ответственности», так как «Московские ведомости» стали громко требовать, чтоб главари «Русских ведомостей» были привлечены вторично к присяге на верность престолу и отечеству, чего редакция делать не имела в виду.

В прежней Москве, до восьмидесятых годов, существовала еще газета «Современные известия». Издавал ее славянофил Гиляров-Платонов; почти все статьи по внутренней и иностранной жизни сочинял он сам. Человек он был способный, но своеобразный, и в его газете печатались статьи то слишком смелые и резкие, то, наоборот, приторные. До восьмидесятых годов газета еще читалась, но когда в Москве появились новые дешевые газеты уличного типа, вроде «Московского листка» с такими его романами, как «Разбойник Чуркин» и др., с его вмешательством в частную и семейную жизнь людей в виде непрошеных «советов и ответов» и всяких сплетен, газета Гилярова многим показалась пресной, завяла и кончилась. А «Московский листок» в лице своего издателя-редактора Н. И. Пастухова, биография которого начинается с трактирной деятельности, шумел и быстро богател, был дерзок и беспринципен, пресмыкался перед властями. Однажды губернатор, которому был представлен Пастухов в связи с какими-то благотворительными делами, спросил его:

— А какое направление вашей газеты?

Тот ответил ему сущую правду:

— Кормимся, ваше сиятельство! Кормимся!

«Кормились» газетами и не одни Пастуховы.

У Козьмы Пруткова есть шуточный афоризм, что «издание некоторых газет может приносить выгоду». Как раз это самое и было с суворинским «Новым временем». Хотя оно издавалось в Петербурге, но ходко раскупалось в Москве, почти как местная газета. Еженедельные фельетоны за подписью Буренина или его же псевдонима «Граф Жасминов» читались Москвой и хорошо «кормили» лихого автора-зубоскала. Буренин был известен не только в качестве литературного критика, но именно как зубоскал, вышучивавший злобно и ядовито современных писателей и нередко

задевавший бесцеремонно больные струны человеческой души. Ему даже приписывали ускорение смерти больного поэта Надсона, которого он буквально травил своими нападками, оскорбительными для честного имени. И недаром были сложены про него кем-то стишки: «Идет по улице собака; за ней Буренин, прост и мил. Городовой, смотри, однако, чтоб он ее не укусил!»

А в квартире поэта-переводчика Ф. Ф. Фидлера был устроен маленький писательский музей, где по стенам развешаны были письма, рукописи, журнальные карикатуры и между прочим висела на стене трость со следующей надписью: «Палка, которою был бит Буренин на Невском проспекте (такого-то числа и года)».

## II

В бытовой жизни старой Москвы то и дело встречались резкие контрасты, противоречия; рядом с блеском и роскошью — грязь и нищета; рядом с высокой культурой, с огромными талантами — нравственное убожество и пошлость, подъем и падение. Например, величественная Третьяковская галерея, эта народная сокровищница искусства, с ее замечательными коллекциями картин первейших русских мастеров, и среди них знаменитое полотно одного из выдающихся художников-пейзажистов, академика Алексея Кондратьевича Саврасова «Грачи прилетели»... И в той же Москве, в то же самое время, когда картиной любуются тысячи зрителей, сам автор, художник и академик, голодный, больной, погибающий, с опухшими от мороза руками, ютится где-то в грязной, промозглой ночлежке по-своему знаменитой Хитровки. Его можно было встретить на улице одетого зимой в старую рваную бабью кацавейку и худые опорки, подвязанные веревкой. Он — академик, крупный творец русского пейзажа — за бутылку водки, стоившую в те времена двадцать пять копеек, пишет для «Сухаревки» — всемосковского воскресного рынка — на скорую руку, по памяти, пейзажи, подписывает их двумя буквами «А. С.», и рынок торгует ими, продавая по два-три рубля за штуку. Его ученик и почитатель, И. И.

Левитан признавал в нем создателя русского пейзажа. «Начиная только с Саврасова,— говорил он,— появилась лирика в живописи пейзажа и безграничная любовь к своей родной земле. За последние двадцать лет он уже не появлялся на выставках, и о нем как будто забыли... За эти 15—20 лет,— подтверждал Левитан,— жизнь его была беспросветна и трагична». Пытались не однажды спасать Саврасова. Но ничего из этого не выходило. Умер он в нищете в 1897 году и похоронен на Ваганьковском кладбище. Там же лежат многие талантливые русские люди, и вряд ли кто найдет теперь их могилы.

А сколько писателей, сколько артистов, художников и всяких отметных самородков погребено было там, на Ваганькове!

Хитровка, не существующая теперь, была много-много лет московской достопримечательностью. Она занимала целые кварталы вблизи городского центра, между Солянкой и Покровским бульваром. Здесь были харчевни, и кабаки, и ночлежные дома, в которых ютилась самая голь, самая беспросветная беднота. Это были приюты «бывших людей», «лишних людей», неудачников, воров, уголовников и пропойц. Даже на улицу показаться многим было не в чем. Питались они неведомо чем, что́ называлось «московской бульонкой». Это — кухонные отбросы, вынутые из выгребных ящиков по соседним домам и квартирам и распаренные в кипятке; порция бульонки стоило две-три копейки; тут было всего понемножку: и очистки овощей, и селедочный скелет, и петушиная голова, и выброшенные корки хлеба, а главное — горячая вода.

Но были ночлежки и более опрятные: здесь ночевали и жили на полатях преимущественно крестьяне, пришедшие в Москву на заработки, мелкие поденщики, землекопы, плотники и разные странники, вообще не те безнадежные пропойцы, которые селились отдельно, в своей компании. Эти поденщики покупали себе еду здесь же, на площади, у разносчиков. Но это была уже не бульонка, а горячие щи, гречневая либо пшенная каша. Кипяток бывал здесь днем и ночью для всех — это полагалось от городской управы. В самых лучших условиях жили воры: у них водились деньжонки — иногда много, а то ничего. У них же бы-

ло строгое правило — не трогать никого из ближайшего соседнего населения: ни купцов, ни домовладельцев, ни их гостей, чтобы в своем участке все было благополучно. Это была круговая порука, за нарушение нещадно били. Таким правилом воры как бы страховали себя от соседских неудовольствий и преследований. Местные городовые отлично знали в лицо многих воров и тоже без крайней надобности их не тревожили. Но изредка бывали такие случаи: от большого начальства приходил приказ во что бы то ни стало разыскать украденную вчера дамскую сумочку или меховую шапку, сорванную с головы проезжего. И городовой — старый знакомый — шел прямо в ночлежку и заявлял: «Эй вы, жулики! Вернуть вчерашнюю шапку чтоб сей момент!..» И шапка откуда-то появлялась и передавалась городовому с великим огорчением. Но подобные случаи бывали все-таки редко.

Хитровка была ужасна тем, что засасывала людей, как трясина, и раз попал сюда человек, его уже почти ничто не могло спасти. Бывали случаи, когда родные или друзья извлекали отсюда пропившегося и одичавшего человека, одевали его, давали заработок, но — трясина тянула обратно, и спасенный вскоре вновь спускал с себя все, облачался в лохмотья и, снова оказавшись «на дне», погибал здесь навеки.

У меня были знакомые на Хитровке, вернее — знаемые. Небольшая группа, человек в восемь: это — театральные переписчики ролей и пьес, работавшие артельно. Я их никогда не видал, но раза два в год, перед праздником рождества и пасхи, получал от них письмо, написанное твердым, четким почерком, с приветствием и просьбой передать сколько-нибудь денег их уполномоченному, потому что сами они не могут прийти за ответом: не в чем выйти на улицу; затем следовали подписи всей артели. И это длилось в течение ряда лет. Я справлялся как-то в театральной библиотеке Рассохина, и там мне подтвердили, что переписчики эти работают на библиотеку, переписывают хорошо и берут недорого, но видеть их нельзя за отсутствием платья; деловые сношения с ними ведутся через уполномоченного, который берет себе за услуги известный процент, и немалый. А работали эти переписчики за неимением столов, лежа ничком на полу.

И вот, как контраст, в противоположность этой голи и грязи, вспоминаются роскошные, излюбленные кутящими москвичами рестораны «Стрельна» и «Яр», умышленно расположенные за бывшей чертой города — сейчас же за Триумфальной аркой, по пути к Петровскому парку. Сюда езжали на лихачах, на парах с отлетом и на русских тройках, гремя бубенцами и взвивая вихрем снежную пыль. Громадные пальмы до высокого стеклянного потолка, тропические растения — целый ботанический сад — встречали беспечных гостей; в широких бассейнах извивались живые стерляди и жирные налимы, обреченные в любую минуту, на выбор, стать жертвой кухни; французское шампанское и заграничные привозные фрукты, хоры цыган с их своеобразными романсами под звуки гитар и с дикими страстными выкриками. Разгоряченные вином некоторые чувствительные москвичи плакали, а иные в сокрушительной тоске по отвергнутой любви и в пьяной запальчивости разбивали бутылками зеркала. Вряд ли кто задавался вопросом: где пьянство было более порочно — тут или там — на Хитровке?

Из московских площадей прежнего времени, кроме Хитровки, вспоминается еще Трубная площадь, или, попросту, Труба. Вся эта местность вправо и влево была окружена переулками, в которые входить и из которых выходить для людей мужского пола считалось не очень удобным. Даже первоклассный ресторан «Эрмитаж», стоявший на площади, и тот выполнял не только свою прямую роль, но имел тут же рядом так называемый «дом свиданий», официально разрешенный градоначальством, где происходили встречи не только с профессиональными девицами, но нередко и с замужними женщинами «из общества» для тайных бесед. Как один из московских контрастов, тут же, на горке, за каменной оградой, расположился большой женский монастырь с окнами из келий на бульвар, кишевший по вечерам веселыми девами разных категорий — и в нарядных, крикливых шляпках с перьями и в скромных платочках. А рядом с монастырем, стена в стену, стоял дом с гостиницей для тех же встреч и свиданий, что и в «Эрмитаже». Благодаря ближайшему соседству гостиницу эту в шутку называли «Святые номера». Кажется, по всей Москве не было более

предосудительного места, чем Труба и ее ближайшие переулки, о которых ярко свидетельствует замечательный рассказ Чехова «Припадок».

Но по воскресеньям вся эта площадь, обычно пустая, покрывалась с утра густыми толпами людей, снующих туда и сюда, охотниками, рыболовами, цветоводами и всякими бродячими торговцами, оглашалась лаем собак, пением и щебетом птиц, криком петухов, кудахтаньем кур и громкими возгласами мальчишек, любителей голубей — «чистых» с голубыми крыльями и кувыркающихся в воздухе коричневых турманов, а также и хохлатых тяжелых «козырных». Здесь продавали собак, породистых и простых дворняжек, щенят, котят, зайцев, кроликов, певчих птиц, приносили ведра с карасями, рыбьими мальками и даже тритонами и зелеными лягушками — предсказательницами погоды — на все вкусы и спросы. Крестьяне привозили весной и осенью на телегах молодые деревца тополей, ясеней, лип и елок; продавались здесь же удочки и сетки, черви-мотыли для рыболовов, чижи, дрозды, голуби и канарейки; приводили на веревках и на цепях охотничьих собак, торговали птицами на выпуск, которые, получив свободу, улетали на соседний бульвар, чтобы расправить свои помятые крылья, и там же их опять ловили мальчишки и несли снова продавать.

К вечеру площадь начинала пустеть. Оставались только грязь и сор, лужи и всякий навоз. Перед «Эрмитажем», возле Страстного бульвара, становились в ряды извозчики-лихачи с дорогими рысаками, в ожидании щедрых седоков из ресторана, а по бульвару начинали разгуливать нарядные «барышни» в шляпках с перьями и вызывающе взглядывать на встречных мужчин... «Святые номера» постепенно наполнялись своей публикой, а в соседнем девичьем монастыре начинали гудеть колокола, призывая благочестивых ко всенощной.

Теперь из всего этого ничего не осталось — ни монастыря, ни окрестных «учреждений» под красными фонарями. Трубная площадь преобразилась и стала одной из красивейших площадей Москвы, сливаясь с Цветным бульваром, полным зелени, цветов и тенистых деревьев.

## III

Существовал в Москве знаменитый Сиротский суд, ведавший делами по опекам над малолетними сиротами, попечению о вдовах и по наследствам. Существовал этот суд со времен еще, кажется, «матушки Екатерины», и потому чиновники уже на моей памяти получали жалованье все еще по старинке: столоначальники имели в месяц по 3 рубля 27 копеек, а тут — харчи, да квартира, да семья, да детишки с их школами, да жена с нарядами и капризами да с театрами, да и собственную персону ублажить надобно, а столоначальники бывали в чинах и с орденами... А их кухарка зарабатывала от них же втрое больше, чем сами они получали на службе. Ясно, что̀ происходило из всего этого в ветхозаветном учреждении, где высшее жалованье получал — сторож. Между столоначальниками и клиентами иногда происходили примерно такие диалоги, похожие больше на анекдот.

— Прошу сделать доклад по моему делу,— говорил посетитель.

— Надо ждать,— отвечал столоначальник.

Но понимать это сделовало так:

— Надо ж «дать».

Выкладывалась ассигнация. «Данные» становились удовлетворительными, и только тогда, после этого, дело поступало к действительному докладу.

И ведь это было в столице каких-нибудь пятьдесят — шестьдесят лет назад!

Всю эту нелепость вскрыл городской голова Н. А. Алексеев. Его сообщение в Думе о порядках в Сиротском суде вызвало и смех и стыд. В дальнейшем он водворил там порядок, а чтобы не было прежних злоупотреблений, увеличил жалованье служащим в сорок раз.

Это был человек труда и редкостной энергии. Общественному делу он отдавал всего себя, все свое время, а нередко и свои средства, чтобы немедленно сделать необходимое.

Вот случай, о котором в свое время говорила вся Москва. Дело было на заседании губернского земского собрания, где Алексеев присутствовал как один из его членов. Он нарисовал перед земцами жуткую картину жизни деревни, где видел своими глазами людей

психически больных, в звериных условиях существования. Вопрос о призрении таких больных оставался открытым в течение пятнадцати лет, а Алексеев поставил его ребром и разрешил в пятнадцать минут.

— Если бы вы взглянули на этих страдальцев, лишенных ума,— говорил он собранию,— из которых многие сидят на цепях в ожидании нашей помощи, вы не стали бы рассуждать о каких-то проектируемых переписях, а прямо приступили бы к делу. Для этого нужно немедленно найти помещение,— говорил он далее,— и сегодня же его отопить, завтра наполнить койками, а послезавтра — больными.

Он тут же указал на подходящее помещение, которое можно в одну неделю обратить в психиатрическое заведение на пятьдесят больных. Денег на это требовалось бы двадцать пять тысяч рублей, которые Алексеев предлагал взять из земского запасного капитала.

— У вас нет коек? Я дам вам на время городские койки. У вас нет белья? Я дам вам запасное городское белье. Я сделаю все, чтобы приют открылся не далее как через десять дней.

—В десять дней ничего нельзя сделать,— возражали ему земцы.—Наше постановление войдет в силу только через восемь дней.

— Оно войдет в силу завтра,— настаивал Алексеев.— Я ручаюсь, что постановление наше будет представлено сегодня же, сейчас же к утверждению, и завтра все будет готово.

— Это невозможно: журнал сегодняшнего заседания будет готов только завтра.

— Да зачем нам журнал? Возьмем лист бумаги, напишем наше постановление и сегодня же пошлем на утверждение.

Во время краткого перерыва он успел снестись с владельцем намеченного дома и заручиться его согласием. А на другой день докладывал собранию, что дача Ноева уже отоплена, для нее уже заготовлены казарменные койки, сформирован штат прислуги, готово белье — и больница была открыта в кратчайший срок.

Вспоминается еще случай. В то время в помещении городской думы ежегодно осенью происходил набор московских юношей к отбыванию воинской повинности. Здесь учитывались всякие льготы, давались годо-

вые отсрочки по состоянию здоровья и т. д. Здесь же предъявлялись свидетельства, освобождающие молодых людей, если они состояли учителями народных школ. Десятки лет все это происходило благополучно, но Алексеев вдруг пожелал проверить освобождающие права не по бумагам, а на самом деле. Он посадил всех этих учителей за стол и заставил написать каждого свою краткую биографию, назвать учебники, по которым обучают они детей... И что же оказалось? Большинство этих «учителей» не смогли грамотно написать даже несколько строк. Оказалось много мошеннических проделок для уклонения от воинской повинности, и все эти забронированные сынки богатых родителей тут же попали в солдаты. Способ, практиковавшийся долгие годы, был выявлен и уничтожен.

За кратковременный срок своей службы городским головой Алексеев сдвинул с места многие дела, лежавшие годами в канцелярии думы, и разрешил долгожданные насущные вопросы, как городской водопровод и канализация, как городские бойни; открыто было много городских начальных училищ для бедного класса; при его содействии перешла в ведение города знаменитая Третьяковская картинная галерея. При нем были сломаны торговые ряды на Красной площади, обреченные к уничтожению полвека тому назад, но все еще занимавшие лучший квартал в самом центре Москвы; при нем же построено здание городской думы, по роковой случайности ставшее Алексееву гробом: он был убит в кабинете во время приема пулей психически больного человека без всякой к тому причины.

Он жертвовал ради службы и временем и здоровьем и, наконец, поплатился жизнью, оставив по завещанию средства на окончание постройки лечебницы для душевнобольных... И убийцей его оказался душевнобольной.

## IV

Существовала в старину такая поговорка: «Что русскому здорово, то немцу — смерть». И если вспомнить, что в прежнее время происходило у нас в морозные московские зимы, в наши знаменитые «кре-

щенские морозы», приходившиеся шестого января, на праздник «крещенье», то диву даешься, как могли выдерживать не немецкие, но русские сердца такие испытания.

В этот день, после парадной обедни, с огромной торжественностью совершался крестный ход из соборов на берег Москвы-реки для водосвятия, к специально устроенной «иордани» — широкой проруби во льду, под белым сквозным шатром. Здесь, над этой прорубью, совершалось архиереями молебствие и погружался в ледяную воду крест под пение хора, под гул и трезвон церковных колоколов.

Народа на этом торжестве бывало всегда видимо-невидимо. Только немногие могли помещаться вокруг «иордани», остальные густой толпой стояли на набережной за чугунной решеткой и глядели вниз, на ледяную поверхность реки, на белый шатер, на духовенство в золоченой парче и митрах, слушали хоровое пение и колокольный благовест.

А когда парад кончался и крестный ход возвращался в соборы, то один-два человека — любители сильных ощущений — быстро сбрасывали в себя шубы или тулупы, раздевались донага и на секунду бросались в ледяную воду реки. Красные, как вареные раки, чуть живые, они радостно принимались сейчас же зрителями в меховую шубу, растирались, затем одевались, причем им вливалась в глотку добрая порция водки, и они оставались живы и развозились по домам. А морозы в этот день стояли обычно градусов свыше двадцати.

Чем кончались подобные купанья, никому ведомо не было, так как люди эти были неизвестные, и выживали они или умирали от простуды, никто не знал.

Впрочем — что ж удивляться, когда я помню бани на Зацепе, где из самого горячего отделения был ход во двор, на специально разделанную снежную площадку. Распаренный докрасна любитель сильных ощущений выбегал на мороз и бросался голым в кучу рыхлого снега — валяться, так что от него валил пар столбом, и через минуту вновь бежал в баню, на горячий полок, обливался горячей водой с головы до ног, хлестал себя горячим веником, и снова шел от него пар, как от котла. И все это проходило безнаказанно для здоровья.

## V

Невольно вспоминается русская широкая масленица, или «сырная неделя», бывавшая в начале зимнего перелома к весне, и следом за нею наступающий семинедельный великий пост. Эта сырная неделя по церковной терминологии именовалась «мясопуст», то есть полное воздержание от мясной пищи, как подготовка к суровым и строгим дням великого поста, первая неделя которого именовалась уже «сыропуст», когда не полагалось для еды не только мяса, но даже ни молока, ни масла, ни творога — одна только растительная пища вроде капусты, картофеля, редьки и огурцов.

Но люди еще в далекую седую старину нашли себе выход из условий мясопуста и придумали блины да оладьи, которые со сметаной, да с икрой, да еще кое с чем были достаточно приятны. И в конце концов из мясопуста получилась вместо воздержания развеселая неделя, особенно ближе к субботе.

На Девичьем поле, где теперь зеленые скверы, где построены клиники, где стоит памятник Н. И. Пирогову, где выросли уже в наши дни новые великолепные здания, в прежние времена было много свободного места. Здесь на масленице и на пасхе строились временные дощатые балаганы длиннейшими рядами, тут же раскидывались торговые палатки с пряниками, орехами, посудой, с блинами и пирогами; в неделю мясопуста устраивалось здесь гулянье, и тогда все звучало, гремело, смеялось, веселилось, кружилось на каруселях, взлетало на воздух на перекидных качелях. И громадная площадь кишела народом, преимущественно мастеровым, для которого театры были в те времена почти недоступны.

Чего здесь только не было! И тут и там гремят духовые оркестры, конечно скромные — всего по нескольку человек, громко гудят шарманки и гармошки, и без устали звонят в колокольчики «зазывалы», уверяя публику, что «сейчас представление начинается»... А на балаганах, во всю их длину, развешены рекламные полотна с изображением каких-то битв или необычайных приключений на воде и на суше.

Мало того — на открытом балконе почти под самой крышей сами артисты в разноцветных ярких ко-

стюмах выходят показаться публике — все для той же рекламы, и исполняют какой-нибудь крошечный, минутный отрывок из предстоящей пантомимы. А в следующем сарае балаганный дед острит и, потешая публику, завлекает ее к кассе, где входной билет стоит от 10 до 20 копеек. А еще рядом, тоже на балконе, стоит, подергивая плечами, пышная молодуха и на высоких нотах докладывает о том, как она, влюбясь в офицера, купила огромную восковую свечу и пошла с нею молиться; и вот о чем ее моление:

Ты гори, гори, пудовая свеча.
Ты помри, помри, офицерова жена,
Тогда буду я офицершею,
Мои детки — фицеряточки!

И на легком морозце горланит она эту бесстыдную песню, одетая поверх шубы в белый сарафан с расписными рукавами и цветным шитьем на груди, в красном кокошнике на голове. Она весело приплясывает, стоя на одном месте, и разводит руками, заинтриговывая публику своим офицерским романом.

Всякие эти гулянья и развлечения, приближаясь к субботе «широкой масленицы», проходили с каждым днем все более и более возрастающе, а на самую субботу даже в школах освобождали от учения ребят, доставляя им праздничный день; закрывались многие торговые конторы и магазины, прекращались также работы в мастерских.

В этот субботний день российского карнавала, недаром названного «широкой масленицей», бывали переполнены днем и вечером все театры, цирки, балаганы, а также рестораны, трактиры, харчевни, пивные. В этот день и по семейным домам созывались гости, и повсюду съедалось блинов и выпивалось водки, вин и пива такое количество, что жутко себе представить. Много бывало заболеваний, ударов и даже смертей от чрезмерного усердия.

В некоторых частях города организовывались праздничные катанья на рысаках. Особенной славой пользовались эти катанья в Таганке, заселенной преимущественно богатыми торговыми людьми, где купеческие «свои лошади» украшались тряпичными и бумажными цветами, а сани — пестрыми дорогими коврами; здесь же во время катанья устраивались смот-

рины купеческих невест и завязывались сватовства, кончавшиеся свадьбами после пасхи, в неделю так называемой красной горки. В этот субботний день некоторые извозчики тоже украшали цветами и лентами облезлые гривы своих несчастных кляч и возили по улицам веселящихся москвичей.

В воскресенье, ближе к вечеру, город начинал затихать и смиряться. На набережную между Устьинским и Москворецким мостами начинали съезжаться деревенские сани-розвальни, груженные кадками с квашеной капустой, огурцами в рассоле, солеными и сушеными грибами и разной постной снедью, с булками, баранками и сайками. Начинали становиться в ряды вдоль реки на мостовой и налаживать временные палатки на целую неделю.

## VI

С самого раннего утра «чистого понедельника», почти с рассвета, открывался здесь всемосковский грибной торг. Это было грандиозное скопление товаров, саней, продавцов и покупателей. Трактиры и рестораны запасались здесь постной провизией до самого лета. Рынок тянулся беспрерывной линией от Устьинского моста до Москворецкого, а в иные годы даже еще далее — к Каменному мосту. Здесь было все необходимое для «спасения души»: соленые грузди, белые грибы, маринованные опенки — в огромных чанах и кадках; стояли открытые бочки с квашеной капустой, с солеными огурцами, мочеными яблоками, с лущеным горохом. Чего только здесь не было! И редька, и картошка, и всякие овощи. Длинными нитями и гирляндами висели по стенам палаток и на поднятых кверху над санями оглоблях сушеные грибы разных достоинств — белые и желтые, а также дешевые темные шлюпики. Здесь и корзины с клюквой, и чаны с душистым медом — липовым и гречишным,— всего не перечесть! Тут и изюм, и вяленый «кувшинный» виноград, и длинные черные «царьградские» стручки, жесткие, как щепки, и при разгрызании пахнущие одновременно ванилью и клопами. И все это на потребу москвичам в течение семинедельной благочестивой жизни!

Тут же продаются деревянные грабли крестьянской работы, лапти, валенки, глиняные горшки, кувшины, деревенское рукоделье, орехи, клюквенная пастила и детские игрушки кустарной работы. Тут же бродят в толпе офени с лубочными картинками на злободневные темы: грехопадение Адама, загробная жизнь в раю, а также и в аду среди зеленых и красных чертей с длинными вилами, с рогами на макушках и хвостами с хохолком на кончике. Тут же в скромном шалашике ютится человек с лицом аскета и торгует библией, житиями святых и другими книгами, крайне дешево и хорошо изданными обществом распространения душеполезного чтения, но этот товар, несмотря на строгие дни «сыропуста», идет не ходко.

— Кому семь смертных грехов? Кому будущее на том свете? — весело взывает на ходу офеня, держа на уровне головы свои лубочные картинки с зелеными и красными чертями, которыми интересуются заезжие огородники, особенно их жены, и говорят:

— Этаких кому и не нужно, и тот купит!

Нагруженные покупками, с мешками, банками и узлами, хозяйки начинают торопиться, однако, домой, чтоб не опоздать к вечерне с мефимонами, то есть чтением покаянных молитв, сопровождаемых хором певчих, где будут трогательно петь о спящей душе, о приближении конца, о таинственной вечности... На колокольнях уже стали ударять, и медлительные, редкие, заунывные звуки повисли над Москвой, совсем не такие, как обычно. А в церквах священники в черных ризах с белыми нашивками, трижды становясь на колени, уже возглашают:

— Господи и владыко живота моего...

В течение всей первой недели воспрещались всякие развлечения, музыка, и из общественных мест, где можно было бы встретиться, функционировали, кажется, только бани.

В конце этой первой строгой недели, в так называемое «сборное воскресенье», в Кремле, в старинном историческом Успенском соборе, ярко и парадно освещенном всеми паникадилами при архиерейском служении, совершался за обедней ежегодно торжественный «чин православия».

Под громкое и торжественное пение огромного синодального хора с его звучными молодыми голосами

выходили молча из алтаря священники в парчовых ризах и облачениях, человек двадцать, если не более,— одни из северных дверей алтаря, другие из южных,— и становились полукружием возле архиерейского места среди храма, охватывая как бы подковой это возвышение со всех трех сторон. Вслед за священниками выходил из алтаря и протодьякон — знаменитый в свое время Розов, весь в золоте, с пышными по плечам волосами, рослый и могучий, и среди храма, переполненного нарядной публикой, громогласно, высокоторжественно и сокрушительно порицал всех отступников православия, отступников веры, еретиков и всех, не соблюдающих посты, всех, не верующих в воскресение мертвых, в бессмертные души, отвергающих божественное происхождение царской власти... Таких категорий было до двенадцати, и после каждой из них протодьякон в заключение возглашал густым, ревущим басом:

— А-на-фе-ма!!!

Стекла дребезжали от могучего протодьяконского голоса. От проклинающего рева вздрагивали скромные огоньки церковных свечей. А окружающие протодьякона многочисленные священники отвечали ему громкими, густыми басами и звонкими тенорами, общим, зловещим хором восклицая трижды:

— Анафема! Анафема! Анафема!..

Тяжелое и жуткое впечатление производила эта торжественная сцена.

В более ранние времена возглашали анафему еще и персонально: «Самозванцу, еретику Гришке Отрепьеву, расстриге» (за свержение царя Бориса Годунова) и Ивану Мазепе (за измену царю Петру). А руководителям крестьянских восстаний, с целью унизить их в глазах современного народа, в соборе возглашали анафему так: «Вору, изменнику и душегубу Стеньке Разину» и «кровопийце, бунтовщику Емельке Пугачеву», а также проклинали и вообще «всех дерзающих на бунт и измену».

Существует стихотворение Навроцкого, где говорится о Разине:

И хотя каждый год по церквам на Руси
Человека того проклинают,
Но приволжский народ ему песни поет
И с почетом его вспоминает...

Но потом именные проклятия с амвона были прекращены, и на моей памяти их уже не было.

Но вот что было: наряду с этим торжеством существовал административный строжайший запрет не только в Москве, но и по всей России: запрет театральных представлений в течение всего длительного поста, и вся громадная армия актеров, живущая заработком дня, за исключением казенных императорских театров, где жалованье выплачивалось круглый год, обрекалась уже не только на великий, но на величайший пост в полном смысле этого слова, даже и не на пост, а нередко — на голодовку.

И в это же самое время — в эти постные недели — в Москву устремлялись многочисленные итальянские певцы, иностранные знаменитые трагики, а также новоявленные в то время гипнотизеры, угадыватели чужих мыслей и прославленные фокусники, увешанные орденами и звездами — наградами восточных владык — эмиров, шахов и ханов. Всем этим заезжим артистам дозволялось давать представления, были бы только эти артисты не русскими и не православными. И публика, забывая о спасении своих душ, валом валила на такие представления и вечера, в те же самые театры, где русскому актеру семь недель работать было не дозволено.

Много об этом писалось и еще больше говорилось, но ничто не помогало. Во главе охранителей нравственности стоял знаменитый вельможа, отъявленный реакционер, сенатор и член Государственного совета, всесильный обер-прокурор святейшего синода — Константин Петрович Победоносцев, при котором ни на какие отмены нелепостей не могло быть надежд. Его имя при Александре III было символом крайней реакции. Победоносцев принадлежал к тем «деятелям» старой царской России, которые свою крепостническую политику, по словам Ленина, «проводили с тупоумной прямолинейностью во всех областях общественной и государственной жизни» [1].

Между прочим, это имя упоминалось в шуточном стихотворении поэта Л. Н. Трефолева, ходившем по рукам среди публики. Отнимая только по одной букве от фамилии, автор давал довольно верную характеристику этому вельможе:

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 23, с. 260.

Победоносцев — для Синода,
Обедоносцев — для Двора,
Бедоносцев — для народа
И Доносцев — для царя.

Сухое, безволосое, словно окаменевшее лицо его послужило в Художественном театре для замечательного грима Анатэмы в одноименной пьесе Леонида Андреева. Так сообщал сам В. И. Качалов, исполнитель этой роли.

После Победоносцева великопостные спектакли для русских актеров были повсеместно разрешены, за исключением первой, четвертой и страстной недель поста. С его уходом от власти и от политической деятельности горизонты, казалось, несколько просветлели, впредь до появления нового врага народа — Распутина, человека невежественного, завладевшего волей царицы Александры и царя Николая. О нем даже такой известный отъявленный реакционер, как бесноватый монах Илиодор, и тот отзывался презрительно и называл его метко: «Святой черт». Безграмотный плут, царапавший уродливые каракули и любивший раздавать свои «афоризмы» поклонницам, он достиг таких высот при царской семье, что без его советов не решались многие серьезнейшие вопросы. У меня была в руках такая бумажка с его «афоризмом», написанная крупными раскоряченными буквами: «У бога под горою таланты не валяютца...» Он оставил эту записку на память одному московскому фотографу, у которого снялся перед отъездом на кутеж в ресторан «Яр», где в ту же ночь, как говорили, был избит одним из молодых великих князей за дерзкий отзыв о царице. Фотограф мне показывал этот портрет и этот автограф, относящиеся к 1916 году. Театральному гриму для образа величайшего плута портрет этот — большая находка!

## VII

Старой Москве не привыкать было ко всякого рода прозорливцам, вещунам и любителям пускать в публику загадочные и нелепые афоризмы. Но Распутин — не москвич и вспомнился мне только попутно, и то лишь потому, что его «афоризмы» напоминают

как по «глубине мысли», так и по «каллиграфии» знаменитого в свое время «московского пророка» Ивана Яковлевича Корейшу, о котором речь впереди. Если Корейша был психически больным и свыше сорока лет содержался в селе Преображенском в доме умалишенных, то Распутин был вовсе не таков — он отлично разбирался в придворной обстановке и хорошо знал, «где раки зимуют». Первый получил образование в духовной академии, а второй был безграмотен.

В шестидесятых годах напечатана в Москве книга под названием «26 московских лжепророков, лжеюродивых, дур и дураков».

В книге этой давались жизнеописания таких москвичей, почитавшихся некоторой частью населения за святых и блаженных. Одни из них были, несомненно, психически больными, другие, по-видимому, были действительно дураками, но иные хитрили, прикидывались блаженными святошами и считали за удовольствие — часто далеко не бескорыстно — морочить темных людей, почитавших их за божьих угодников, за пророков и ясновидцев. На самом же деле это были мелкие плуты и дешевые кривляки.

Среди святош разного значения выделялась в известную величину фигура Корейши — «московского пророка», как его называли, бывшего в течение сорока лет московской «знаменитостью». Н. С. Лесков в 1887 году упоминал о нем в заметке, напечатанной в «Петербургской газете», а также в статье, посвященной смерти М. Н. Каткова, называя последнего «грамотным наследником Ивана Яковлевича Корейши на Шеллинговой подкладке». Корейша также фигурирует в сатирическом рассказе Лескова «Маленькая ошибка». Сам себя до самой смерти Корейша почему-то называл «студентом хладных вод», хотя умер восьмидесятилетним стариком. Его «пророческая» деятельность и слава протекали главным образом в пятидесятых годах прошлого века.

Был ли он лжец, «святой» или сумасшедший — мнения разделялись, и это создавало ему все большую и большую популярность. Он сорок лет пробыл в селе Преображенском, в так называемом «желтом доме» для сумасшедших, сначала в подвале на цепи, затем в отдельной хорошей комнате, где обычно лежал на полу либо стоял, но никогда не сидел.

Разнообразных посетителей и поклонниц — от князей до нищих старух — приходило к нему так много, что администрация «желтого дома» повесила для сбора с посетителей кружку, куда попадала и медная копейка бедной крестьянки и десятирублевая бумажка богатой купчихи. Корейша никогда не пользовался этими деньгами, они шли на улучшение пищи для всех живших здесь психических больных.

К Корейше во множестве направлялись разнородные письменные вопросы, рассчитанные на предсказания, вроде: кем будет мой сын?.. ехать ли мне в Петербург?.. чем кончится мое дело в сенате?.. любит ли Анна Егора?.. И тому подобные. И он многим отвечал тоже письменно своими каракулями. Иногда ответы бывали понятные, а иной раз такое напишет, что не разберешься. На вопрос, что будет рабу божию Константину, ответил, что будет «житие, а не широкая масленица». На вопрос: «Когда сын мой женится?» — ответил: «Тогда сын твой женится, когда бык отелится». А то такой ответ: «Без праци не бенди колораци». Или: «Львос Филиппа Василевсу Македону урпсу...»

В его комнате висело много икон, и перед ними стоял высокий подсвечник, принесенный из церкви; в нем большая свеча и много мелких свечек, поставленных посетителями. В углу, на полу, лежал сам пророк в темной ситцевой рубашке и в темном халате с овчинным воротником, подпоясанный мочалой либо полотенцем, но шея и грудь широко открыты: на груди, на голом теле, виден крест на шнурке. Это темное белье, обычай Ивана Яковлевича посыпать себе голову нюхательным табаком и вести себя крайне нечистоплотно превращали его постель в нечто отвратительное. Иногда он часами лежал и не отвечал ни на какие вопросы, а иногда брал большой булыжник и начинал разбивать им бутылки, дробя их в мельчайший порошок; заставлял проделывать это иногда и своих поклонниц, приговаривая:

— Сокрушай мельче!

Раз принесли ему поклонницы — одна лимон, другая ананас, третья фунт семги, в это же время подали и казенный обед — щи и кашу. Он вытряхнул во щи кашу, туда же выжал лимон и нарезал ананас, туда же бросил и семгу. Все это перемешал руками

и начал настоятельно предлагать гостям; некоторые имели мужество отказаться, а некоторые ели.

Когда И. Г. Прыжов напечатал в журнале «Наше время» в конце пятидесятых годов разоблачительную статью об этом «пророке», то за Корейшу немедленно вступилось духовенство, и в журнале «Духовная беседа» архимандрит Федор дал резкий отпор Прыжову за название Корейши «лжепророком», утверждая, что «старец подвизается духом и истиною за самые современные и живые духовные интересы». Князь Алексей Долгоруков также напечатал статью, где признается, как после долгого недоверия сам лично уверовал в прозорливость старца. Что ж после этого оставалось думать серой непросвещенной массе!

А когда умер этот старец, то два московских монастыря и город Смоленск, где родился Корейша, пять суток спорили из-за чести похоронить его у себя. Наконец, дело дошло до митрополита, и тот, уже на шестые сутки, своею властью распорядился о похоронах Корейши в подмосковном селе Черкизове, при сельской церкви, где дьяконом был родственник Корейши.

О популярности его в буржуазных кругах свидетельствует еще и то, что в день погребения на могиле его отслужено было поклонниками свыше семидесяти панихид, а также и то, что в упомянутой выше книге под заглавием «26 московских лжепророков, лжеюродивых, дур и дураков», изданной вскоре после его смерти в шестидесятых годах в Москве, напечатано было следующее:

«Стих на похороны Ивана Яковлевича Корейши».

«Какое торжество готовит «желтый дом»? Зачем текут туда народа волны в телегах и в ландо, на дрожках и пешком, и все сердца тревоги мрачной полны?.. О бедные! Мне ваш понятен вопль и стон: кто будет вас трепать немытой дланью? Кто будет мило так дурачить вас, как он, и услаждать ваш слух своею бранью? Кто будет вас кормить бурдою с табаком из грязного вонючего сосуда и лакомить засохшим кренделька иль кашицей с засаленного блюда? Ах, этих прелестей вам больше не видать! Его уж нет, и с горькими слезами спешите вы последний долг отдать со всех концов Москвы несметными толпами. Того уж нет, к кому полвека напролет питали

вы в душе благоговенье, и в слепоте всему, что сдуру ни соврет, давали вы глубокое значенье. Да, плачьте, бедные, о том, кого уж нет, кто дорог был равно для малых и великих, но плачьте и о том, что просвещенья свет еще не озарял понятий ваших диких!..»

## VIII

В самой гуще московского торгового мира, на Ильинке и Никольской, сосредоточены были, помимо официальной биржи, главнейшие банки, правления крупных мануфактур и товариществ, оптовые и розничные склады и магазины,— где за день ворочали многими миллионами рублей,— приютились кое-где в проходах много маленьких «контор» в одну крохотную комнатку, почти норку, под вывеской «Меняльная лавка» или «Размен денег», где обычно сидели по два-три человека, с серо-желтыми дряблыми и безжизненными лицами, без всяких признаков растительности, и в то же время ничуть не похожих на бритых, с писклиывыми, почти детскими голосами.

Они принимали досрочные купоны от процентных бумаг, преждевременно отрезанные от облигаций, за год, за два вперед, которые никуда — ни в банк, ни в учреждения не берут, а менялы брали и выдавали за них деньги, удерживая себе хороший процент, а также, наоборот,— продавали сами эти досрочные купоны и облигации, остриженные раньше времени, купцам, которые с выгодой для себя оплачивали ими счета подрядчиков и продавцов, а те в свою очередь несли эти купоны в меняльные лавки, и так вертелось это бесконечное колесо, принося одним ущерб, а другим прибыль. Кроме того, в этих лавках менялось золото на кредитные билеты, а кредитки — на золото и серебро. Менялы работали бойко, и весь день мена одних денежных знаков на другие продолжалась до вечера, обогащая и без того тугие карманы менял.

Эти барыши были могучим средством пропаганды мистических стремлений представителей изуверской секты. Помнится, когда в юности я жил в Замоскворечье, там были целые группы домов, принадлежавших этим сектантам, с большими садами и накрепко запертыми воротами, которые охраняли сторожа, та-

кие же безбородые и мертвеннолицые, как и их хозяева. Никаких сыновей и дочерей у этих хозяев не было; были только «племянники» и «племянницы». Что творилось там, за этими воротами, никто в сущности не ведал, но слухи были определенные. Как члены секты мистически настроенной, они брали клятву с тех, кто попадал на их «радения», что никому и никогда они не скажут о том, что здесь они видели, не объявят ни отцу, ни матери, ни отцу духовному на исповеди, ни другу мирскому, хотя бы пришлось за это «принять кнут, огонь и топор». Так было обставляемо у них появление нового человека. У них был собственный «Христос» в лице какого-то Максима Петровича, или что-то в этом роде, была и своя «богородица» вроде Маланьи Сидоровны. Но все их «радения» с плясками и прыжками, с кружением и верчением до беспамятства, с восклицаниями пророчеств было ничто в сравнении с торжеством скопческих «кораблей», с их изуверскими «убелениями».

Я не случайно упомянул о менялах с их безжизненными серыми лицами, с безволосыми щеками, детскими голосами. Это были кастраты, вовлеченные в секту мистической пропагандой, но нередко и соблазном больших материальных выгод.

Скопческие «радения» происходили в недосягаемых помещениях — в так называемой «Сионской горнице», где ближайшие и вернейшие члены секты, как мужчины, так и женщины, в белых длинных рубахах, с белыми платками в руках, означавшими «крыло архангела», с пением ритуальных песен начинали кружиться все быстрей и быстрей, вертеться до полного беспамятства, впадая в экстаз и выкрикивая несвязные слова, принимаемые за сошествие на них святого духа.

— Накатил! Накатил! — восклицали они в безумном восторге, приветствуя «дух святой», воплотившийся в том или ином их очумелом собрате.

Вся эта белая дико вертящаяся экзальтированная толпа, где каждый в отдельности с нарастающим увлечением и самозабвением кружился, взмахивая платком, в припадке общего безумного увлечения приступала в конце концов к принятию в секту нового члена, обреченного к «убелению»,— и огненная опе-

рация раскаленным железом навсегда и безвозвратно решала судьбу человека.

Такие действия были осуждены законом, за них полагалась суровая ответственность, до каторги включительно, если пропаганда доходила до насильственного перехода в секту.

## IX

Вербное воскресенье — канун самой строгой, последней недели поста — страстной недели. К этому времени дни становятся уже заметно длиннее, а ночи короче. В воздухе чувствуется обновление, приток сил и надежд, и начинает веять чем-то молодым и радостным. Хотя ничего еще пока нет, ни радостного, ни весеннего, все еще холодно и мокро и нередко перепадает снежок, но чему быть, того ни миновать,— гласит народная пословица. Если не в самой Москве, то сейчас же за Москвой, по соседству с нею, в рощах и садах начинают набухать почки на деревьях. Вербы покрываются седыми «барашками». Это — первоцвет в нашей московской полосе, первая весточка наступающего лета.

Чем дальше от зимы, тем более чувствовалось во всем поступательное движение весеннего времени, как прилет грачей, как праздник благовещения, когда, по древнему обычаю, покупались и выпускались на волю мелкие певчие пташки. Еще Пушкин писал в его суровый век насилия и гнета о выпущенной им птичке «при светлом празднике весны»:

Я стал доступен утешенью,
За что на бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!

В пятницу и субботу вербной недели — уже шестой великого поста — на Красной площади вдоль всей Кремлевской стены, от Спасских ворот до Исторического музея, открывался громадный рынок, прозванный «вербой». Во всю длину и в половинную ширину всей этой огромной площади в четыре или в пять параллельных линий тянулись палатки, где тесовые, где холщовые, сверху донизу заставленные и завешанные

товарами, самыми разнообразными — от ярких бумажных и тряпичных цветов и гирлянд до живых золотых рыбок в аквариумах, от замечательных букинистических коллекций, где встречались исключительные редкости наряду с макулатурой, до пряников и конфет, до глиняной посуды или расписанной в русском стиле мебели, от отрезов ситца и коленкора до ювелирных изделий, золотых цепочек и часов, от жареных ошелушенных орехов и сладких маковок на меду до певчих живых птиц включительно.

Здесь же, по концам площади,— один у подъезда Исторического музея, другой у собора Василия Блаженного,— стоят многочисленные продавцы вербы и воздушных шаров — красных, синих, зеленых, белых; громаднейшими пестрыми букетами, колеблемые на ветру, шелестят друг о друга в воздухе эти шары высоко над головами публики; они охотно раскупаются для детей; а нередко, ради забавы, кто-то щедрый покупает у разносчика целиком всю такую партию и к общему удовольствию толпы перерезает нитку у пояса продавца. Вся эта пестрая куча, получив свободу, мгновенно взвивается ввысь и быстро мчится под облака. Все смотрят на небо, любуются этим воздушным полетом, разиня рот и позабыв, куда кто шел, и многие вслед за этим недосчитываются своих кошельков, часов и бумажников.

В оба эти дня вербной недели — в пятницу и особенно в субботу — Красная площадь покрывалась народом. Одни покупают что-то себе по вкусу, другие только гуляют и, что называется, «глазеют», третьи торгуют тут же, с рук, самыми разнообразными товарами и «морскими жителями», самым ходким вербным товаром. Это маленькие стеклянные пробирки с водой и с натянутой сверху тонкой резинкой — обычно клочком от лопнувшего воздушного шара,— а внутри пробирки крошечный чертик из дутого стекла, либо синий, либо желтый, величиной с таракана, вертится и вьется при нажатии пальцем на резинку, спускается на дно и снова взвивается кверху. Стоили эти «морские жители» копеек по 15—20, и ими торговали разносчики так, как никакими иными вербными товарами. При этом бродячие торговцы сопровождали своих «морских жителей» разными прибаутками, обычно на злобу дня, иногда остроумными, иногда пошлыми,

приплетая сюда имена, нашумевшие за последние месяцы,— либо проворовавшегося банкира, разорившего много людей, либо героя какого-нибудь громкого московского скандала. Затрагивались иной раз и политические темы, вышучивались разные деятели, выделявшиеся за последнее время в Государственной думе либо в европейской жизни иных государств. Любопытно отметить, что эти «морские жители» появлялись только на вербном базаре, в течение нескольких дней. В иное время года их нельзя было достать нигде, ни за какие блага. Куда они девались и откуда вновь через год появлялись, публика не знала. Потому они и покупались здесь нарасхват.

С разными свистульками и пищалками бродили по площади торговцы-мальчуганы, приводя в действие голоса своих товаров, и базар во всех направлениях был полон звуков — визга, свиста, гама и веселого балагурства.

— Кому тещин язык? — громко взывает продавец, надувая свистульку, из которой вытягивается длинный бумажный язык, похожий на змею, и, свертываясь обратно, орет диким гнусавым голосом.

Эти тещины языки бывали тоже в большом спросе, как и «морские жители», как и маленькие обезьянки, сделанные из раскрашенной ваты. Гуляющая молодежь — девушки, студенты, гимназисты и всякие юнцы — почти все охотно прикалывали на булавках себе на грудь таких обезьянок с длинными хвостами и весело бродили с ними по базару.

В субботу на свободной половине Красной площади происходило праздничное катанье — явление весьма нелепое и бессмысленное. Экипажи, в зависимости от погоды и состояния мостовой,— либо сани, запряженные парой коней, либо коляски и ландо,— следовали медленно, почти шагом, одни за другими, наполненные нередко детьми, что хоть сколько-нибудь понятно, но чаще — расфранченными дамами и даже иногда мужчинами в цилиндрах и котелках. Образовывалась громаднейшая петля не только во всю обширную площадь, но и за ее пределами; одни ехали вперед, близ рынка, другие назад, по линии торговых рядов, и так кружились часами. А внутри этой колоссальной петли стояли группами полицейские офицеры в серых пальто, с саблями у бедра и с револьверами

на серебристых шнурах; они руководили порядком. И было их множество, этих ничего не делающих руководителей; они только рисовались перед катающимися нарядными дамами да покручивали усы.

На следующий день, в вербное воскресенье, к вечеру рынок кончался; увозились куда-то остатки товаров, ломались и разбирались ларьки, подметалась замусоренная площадь, и наступало предпраздничное затишье с самыми строгими великопостными днями последней, страстной недели. Но это затишье было только видимостью; на самом же деле везде кипела работа перед наступлением пасхи, и чем ближе к концу, тем яростней хлопотали люди, наполняя товарами магазины, заготовляя пышные куличи и творожные сладкие пасхи, окрашивая вареные яйца фуксином и отваром луковой шелухи в разные цвета либо яркими обрезками шелка делая их скорлупу пестрой.

На Девичьем поле ремонтировались спешно балаганы, малевались новые громадные плакаты к новым представлениям, приуроченным к сезону. В Охотном ряду в бесчисленные лавки и хранилища свозились сотни свиных туш, окороков, битых индеек, гусей, цыплят; в подвалах еле поспевали опоражнивать винные бочки; в торговых оранжереях была давка от покупателей; цветущие махровые сирени, тюльпаны, розы, гиацинты и ландыши дня за два до праздника в изобилии разносились в корзинах подарками по Москве, дразня внимание тех, у кого не хватало денег на такие покупки и подношения.

Не ежегодно, но все же нередко, на пасхальной неделе открывалась в громаднейшем помещении манежа очаровательная цветочная выставка. Садоводы старались перещеголять друг друга и действительно устраивали то, о чем с удовольствием вспоминается даже через полвека. Колоссальная манежная внутренняя площадь бывала вся в цветах и клумбах, в декоративных растениях, благоухающая тонкими разнообразными ароматами. А так как это бывало в раннюю пору весны, когда на улицах иногда лежал еще грязный и мокрый тающий снег, то впечатление от этого необычайного громаднейшего цветника бывало радостным.

Приблизительно в эти же числа или около этих дней, глядя по ходу весны, вскрывались реки, начи-

нал двигаться лед, и Москва-река вздувалась, пухла, воды ее подходили к границам набережной. Толпы москвичей ходили любоваться половодьем и с интересом отмечали: остается два камня до уровня, остается один камень, и, наконец, река в более низких местах выливалась на улицу, затопляя тротуары и мостовые, и двигалась дальше. Бывали года, когда полая вода доходила чуть не до Третьяковской галереи. А отводный канал, или попросту называемая — «Канава»,— от Малого Каменного моста до Зацепы, выходила из берегов каждый год и затопляла многие прилегающие переулки, доходила иной раз до Татарской улицы, и жители, чтобы достать себе в эти дни пропитание, снимали с петель ворота и, подпираясь шестами, ездили по этим переулкам, как на плотах, за покупками хлеба и продуктов, с веселыми песнями, шутками и прибаутками, ничего не боясь и радуясь, что в эти недолгие дни нигде не торчат полицейские-«городовые» и никому не мешают наслаждаться «гражданской свободой».

Между прочим, наименование этих полицейских-«городовых» москвичи шутливо относили к нечистой силе, считая, что в лесу есть леший, в воде — водяной, в доме — домовой, а в городе — городовой.

## X

После весенних праздников невольно вспоминается и осенний — лошадиный праздник.

На Зацепе, на просторной площади, стоял большой храм имени Флора и Лавра, которым приписывалось покровительство над конями. И вот ежегодно, в половине августа, если не ошибаюсь — 18-го числа, вся эта большая площадь перед церковью заполнялась сотнями лошадей. Тут и гладкие купеческие рысаки, и тяжеловозы-першероны, и изможденные непосильной кладью ломовые, и извозчичьи клячи с вытертой по бокам шерстью и облезлыми хвостами, и красивые верховые кони из манежей и цирка.

Большинство парадно украшены тряпичными цветами в гривах, яркими лентами, вплетенными в хвосты. Их держат под уздцы нарядные конюхи и кучера в ожидании молебна, который совершался торжест-

венно на площади по окончании праздничной обедни. После молебна священник кропил водой толпу и коней, высоко поднимая руку с волосяным веничком, с которого брызгали капли воды на головы собравшихся. В ответ на хоровые гимны с площади неслись громкое ржание, стук нетерпеливых копыт о камни мостовой и многочисленные добродушные возгласы:

— Тпрруу!.. Тпрруу!..

И этот лошадиный праздник совершался ежегодно, после чего конская «демократия» угонялась на обычную работу, а на площади происходил парад «аристократии» — гладких рысаков в упряжке, и гарцевание верховых коней.

В заключение участники праздника разбредались, в различных классовых группировках, по трактирам — скромно говоря — «чай пить».

## XI

Когда начинаешь вспоминать о прежней Москве с своего раннего детства, то ясно видишь, как менялась мало-помалу и до какой степени изменилась вся жизнь людей, как отмирали и отмерли старые обычаи, привычки, верования, старый быт и даже исчезли многие слова из обихода.

Такого движения на улицах, какое наблюдается сейчас, и в помине не было даже в центре города, а другие улицы были тихие, спокойные — особенно в Замоскворечье, где прошло мое детство и ранняя юность.

Бывало, посредине улицы ходили разносчики и громкими голосами выкрикивали о своих товарах, немножко нараспев. У всякого товара был свой определенный мотив, или «голос». Кто и когда узаконил эти мотивы — неведомо, но они соблюдались в точности в течение долгих лет, так что по одному выкрику, даже не вслушиваясь в слова, можно было безошибочно знать, с каким товаром идет разносчик или едет в телеге крестьянин, продавая либо молоко, либо клюкву, лук, картошку, либо уголь, или бредет, не

торопясь, с мешком за плечами старьевщик, скупающий всякий хлам, обноски, скарб — то, что в старину называлось «бо̀рошень», идет и покрикивает, но непременно скрипучим голосом: «Старья сапог, старого платья — нет ли продавать!..»

Крестьяне приезжали в город со своими товарами обычно в деревенских черных «цилиндрах»,— а картузов еще не носили; шляпы эти делались почти без полей, похожие на небольшие ведра, из какого-то домашнего материала вроде легкого войлока. Сидя на соломе или на сене в телеге и проезжая шагом по улице, крестьяне взывали громкими голосами и тоже на свой особый лад,— у всех у них одинаковый:

— Млака́, млака̀, млака́!..— Или: — По̀-клюкву! По̀-клюкву!..

Ходили также мороженщики с кадушками на голове. В кадушках навален кусками лед, а во льду вкопаны две большие жестяные банки с крышками, в одной сливочное, в другой — шоколадное мороженое. Никакого шоколада, конечно, не было: просто подмешивался жженый сахар для коричневого цвета, а может быть и еще что-то. И все они протяжно и громко выкрикивали нараспев одни и те же слова:

— Морожено хо-ро̀-ше!.. Сливочно-шоколадно морож!..

Купить у них можно было мороженого на копейку, и на две, и на весь пятачок. Они намазывали его металлической лопаткой в порционные стаканчики, висевшие у них за поясом, и давали костяные ложечки; за полный чайный стакан, принесенный из дома покупателем, брали по десять копеек. Толпа мальчишек окружала этих разносчиков и с наслаждением оставляла им свои копейки.

На смену мороженщику идет по улице человек, обвешанный через шею до пояса гирляндой белых и румяных калачей, а в руках у него большой медный чайник особой формы с горячим сбитнем — смесь патоки с инбирем, желтым шафраном, разведенная в кипятке. На поясе повязано толстое полотенце, в котором сидят в гнездах небольшие стаканчики с толстейшими тяжелыми днами, чтоб не обжигать при питье пальцы. Этот торговец уже не только выкрикивает, что у него — «Сбитень горячий!», но и балагу-

рит, напевая вполголоса из народных прибауток о том, как «тетушка Ненила пила сбитень да хвалила, а дядюшка Елизар все пальчики облизал — вот так патка с инбирем, даром денег не берем!..»

Или идет точильщик и несет на плече тяжелый свой станок с большим колесом, приводимый в движение ногою; на станке круглый точильный камень и круглый ремень. Мастер громко выкрикивает на всю улицу свою обычную фразу:

— Точить! Ножи-ножницы точить!

Вспоминается при этом появление первых велосипедов в Москве и особенно в деревнях и на дачах, где велосипеды были еще невиданы.

Когда мимо изумленных людей мчался верхом на колесе человек, мальчишки кричали друг другу: «Гляди, гляди: точильщик с ума сошел!»

А то, согнувшись под тяжестью большого узла на спине, шагает по тротуару татарин в бараньей шапке, продавая мануфактуру и халаты. Либо проходит по улице голосистый разносчик с ягодами, предложения которого слышны еще издали:

— Садова мали-на! Садова ви-шенья!

И у всякого товара свой определенный мотив, свой напев. Эти возгласы были записаны и напечатаны в виде нот в большом этнографическом сборнике, название которого я сейчас не вспомню.

В те времена даже и деньгам были иные названия: медная монета в полкопейки называлась «полушка» или грош, монета в две копейки — «семитка», в три копейки — «алтын» (отсюда и серебряный «пятиалтынный» — то есть 15 копеек), в пять копеек медная монета называлась «пятак», серебряная в 10 копеек — «гривенник», в 20 — «двугривенный», в 25 — «четвертак», в 50 — «полтинник». Рублевая бумажка называлась «целковый», трехрублевая — «трешник», в 10 рублей — «красненькая», 25 рублей — «четвертная», а сторублевая, самая крупная единица в былые времена, называлась сначала «радужная» — за свою бледно-разноцветную окраску, напоминавшую спектр, а в дальнейшем именовалась уже «Катенька» — за портрет императрицы Екатерины II. Торговцы так и говорили между собой: «Какая цена?..» Отвечали: «Две Катеньки!», или «Три Катеньки!»

Позднее выпущены были билеты в 500 рублей, с портретом Петра Первого, но они ходили больше по банкам, ввиду их значительной стоимости, и в народе их было мало.

Еще ездили по улицам водовозы, некоторые на лошади и с большими тяжелыми бочками; эти покрикивали: «Пò-воду! Пò-воду!» А большинство возило небольшие бочонки на двухколесной ручной тележке, таща их собственными силами. В домах тогда водопроводов еще не было, и воду брали либо из своих надворных колодцев, либо дворники ездили к городским бассейнам. Недалеко от нашей квартиры, на широкой площади, помню, стояла высокая круглая башня из красного кирпича, высотой чуть ли не с двухэтажный дом; от нее шли какие-то отводы и трубы, к которым подставлялись бочки как ручные, так и конные.

У этих водовозов и у дворников здесь было нечто вроде клуба, который назывался «басейня». Здесь, в этой «басейни», ранним утром получались самые свежие новости, обычно достоверные; откуда они приходили сюда — неизвестно, но помню, что во время турецкой войны в 1877—1878 годах, когда я был еще школьником, мне не однажды ранним утром перед уходом в училище, сообщал наш дворник, только что вернувшись с «басейни», самые потрясающие новости — о переходе русских через Дунай, о взятии знаменитой крепости Плевны, о переходе через Балканы и проч. Газеты доставлялись значительно позже, а «басейня» была уже обо всем осведомлена.

В первых числах мая многие москвичи начинали перебираться на дачи. Излюбленными местами были Сокольники, Богородское, а также Петровско-Разумовское. Многие переезжали и по железным дорогам — в Царицыно, Пушкино, Малаховку, Кунцево, Перово и другие подмосковные дачные местности. Тащился туда же, на возах, всякий житейский скарб с матрацами, кроватями, узлами, корытами и кастрюлями; некоторые приводили с собой даже коров, привязывая их за рога к повозкам. Сюда же, для развлечения дачников, приходили всякие бродячие «артисты», как шарманщики с их вальсами и мазурками, так и акробаты с кувырканием и вскакиванием друг другу на плечи, и еще раешники, показывавшие

каждый свое искусство на протяжении пяти или десяти минут. Большим успехом пользовался тогда «петрушка» — кукольный театр за ситцевой ширмой, где длинноволосый «Петр Иваныч» гнусавым голосом привлекал общее внимание и проделывал всякие свои хулиганские поступки, бил всех других персонажей своей палкой-трещоткой и, наконец, сам погибал от свирепой собаки. Публика хохотала над дешевыми остротами «петрушки» и с удовольствием платила добровольные «гривенники» и «двугривенные» за веселое представление тут же, на улице, либо во дворе.

А то появлялся время от времени одинокий «человек-оркестр», похожий благодаря множеству инструментов на какого-то шамана. На широком ремне, перекинутом через шею, он нес впереди себя тяжелую шарманку. На голове у него был металлический шлем, весь увешанный маленькими медными колокольчиками. Остановившись перед какой-нибудь дачей, музыкант ставил свою шарманку на ножку-подставку и начинал неустанно крутить ручку, извлекая громкие звуки. Как бы отмахиваясь от мух, он потрясал головой и к звукам шарманки присоединял веселый перезвон колокольчиков на своем шлеме. Мало того — на спине у него был пристроен небольшой турецкий барабан, а к локтю левой руки прикреплена ударная палка с набалдашником, которою он и отбивал такты в барабан, а ногою дергал за петлю ремень от литавров — медных тарелок на барабане. И музыка гремела, гудела на все лады. Работали одновременно и руки, и ноги, и голова, и «оркестр» вызывал, особенно у окружавших мальчишек, желание плясать. И они плясали тут же, на лужайке перед дачей.

Любили также дачники развлекаться фейерверком. Когда вечерело, в потемневшее небо высоко взлетали огненными змеями оранжевые ракеты, лопались там на высоте и рассыпались разноцветными блестящими звездами, угасавшими на лету. Такие ракеты взлетали довольно часто, особенно в дни летних именинниц и именинников...

«Но — миг один — и в темное забвенье уже текут алмазы крупных слез, и медленно их тихое паденье», — как образно сказал один из наших поэтов

## XII

Вспоминаются еще две крайности, два московских противоположных явления: университет — первый в России, учрежденный в Москве в 1755 году,— и соседний с ним по улице — Охотный ряд, где несколько сотен лавок торговали свиными тушами, мясом, битой птицей и овощами, куда возами доставлялись огромные рыбины — белуга, осетрина, и здесь «разделывались» на куски для магазинов.

Был здесь и свой особый трактир, славившийся «русскими блюдами»... Под потолком в нарядных клетках содержались знаменитые соловьи, курские, валдайские, которых приходили слушать знатоки и ценители. А внизу, по соседству, в подвальных помещениях или в сараях, устраивались петушиные бои, где любители кровавых драк держали пари за будущего победителя, который, изнемогая от ран, с выщипанными перьями и проклеванной головой, а иногда и с пробитым глазом, делался героем и зарабатывал своему хозяину изрядный выигрыш.

Казалось бы, между двумя такими соседями, как «чрево Москвы» и университет, не могло быть никаких взаимоотношений. Однако отношения существовали, и весьма странные и печальные. Университет есть университет — рассадник просвещения, и не нуждается ни в какой дополнительной характеристике. Там — студенты, горячая молодежь, российская «соль земли», как их прежде нередко называли, с широкими запросами, с новыми взглядами, с непокорной волей, с протестами по адресу реакционных распоряжений власти. А по соседству, в Охотном ряду, безграмотные туподумы, здоровенные физически и ничтожные морально, воображали себя пламенными патриотами. Но их преданность была вовсе не родине, а только официальному самодержавию и торжествующему полицейскому режиму.

Когда возникали университетские конфликты, называемые в те времена «студенческими беспорядками», когда усиленные наряды пешей и конной полиции оберегали входы и выходы во двор университета, а студенты, явясь на сходку, требовали пропуска в

свою «альма матер» и толпы взволнованной молодежи запружали всю улицу, то в помощь полиции прибегали из соседних лавок охотнорядские добровольцы — мясники в белых куртках, белых по цвету, но грязных, сальных, забрызганных кровью быков и петухов, подпоясанные ремнями, на которых висел целый набор острых ножей, от длинных, вроде кинжалов, до малых, почти перочинных,— профессиональное их вооружение. Полиции они были нужны как голос народа, ибо, по писанию: «глас народа — глас божий...» С дикими воплями: «Бить студентов!» — толпы этих добровольцев набрасывались на безоружную молодежь и, соединяясь с полицейскими, загоняли студентов в соседний манеж не только грозными криками, но и рукоприкладством. Там, в манеже, полиция переписывала всех для будущих возмездий, а главарям и вожакам доставалось иной раз порядочно жестоко.

Особенно эти добровольческие выступления разыгрывались в девяностые и девятисотые годы, в период торжества реакции. Клич «бить студентов!» был лейтмотивом этих «патриотов», этих «хоругвеносцев», этих архичерносотенцев, упрочивших за собою постыдное имя «охотнорядцев».

## XIII

Вспоминается мне, как в октябре 1905 года после невиданно грандиозных похорон выдающегося революционера-большевика Николая Эрнестовича Баумана, убитого черносотенцем Михальчуком, казаки, устроившие засаду вблизи Охотного ряда, в манеже (угол Моховой и Никитской улиц), стали расстреливать возвращавшихся с похорон безоружных демонстрантов.

Это кровавое преступление властей вызвало большое возмущение широких слоев населения Москвы. Помню и точно знаю гневный протест, поданный в городскую думу по этому поводу. Пусть об этом расскажу не я, а подлинный текст, подписанный общественными деятелями, работниками театров и артистами, среди которых имена Станиславского, Немировича-Данченко, Москвина, Качалова, Книппер-Чеховой

и других — от Художественного театра,— врачей, художников, нескольких учреждений от имени «всех рабочих» и т. д.

Вот какой протест был направлен тогда в городскую думу от группы интеллигенции:

«Возмутительное расстреливание народа, возвращавшегося с похорон Баумана, казаками, действовавшими вполне произвольно и находящимися, очевидно, вне всякого руководства и надзора со стороны начальства, лишний раз показывает, в какой мере мирное население Москвы лишено самой элементарной безопасности. Нападение казаков было произведено в данном случае вопреки прямому обещанию генерал-губернатора, данному им представителям города, устранить полицию и войска с пути следования похоронной процессии. Потрясенные этим происшествием, имевшим место вчера, в 11 часов вечера, в центре города, у стен старого университета, мы нижеподписавшиеся, обращаемся к городской думе с решительным требованием безотлагательно принять действительные меры к охране жизни и безопасности жителей вверенного ее попечению города. Необходимо учредить особый комитет общественной безопасности, составленный из представителей организованных общественных учреждений, и организовать правильную городскую милицию».

На подлинном документе есть надпись карандашом: «Доложено Думе 21/X».

Так была встречена первая весть о пошатнувшемся самодержавии, но вскоре эта радость сменилась разочарованием. Когда обнаружился обман народа царскими обещаниями гражданских свобод, неприкосновенности личности, свободы слова, совести, собраний и союзов, народ стал готовиться к вооруженному восстанию.

Царь испугался, издал манифест:
— Мертвым — свобода, живых — под арест! —

так горько зазвучала вскоре в народе новая тогдашняя песенка об объявлении «конституции», и московские улицы начали спешно покрываться баррикадами...

Эти уличные преграды из наваленных в огромные кучи бревен, ворот, опрокинутых трамвайных вагонов,

лестниц, ящиков и камней в течение нескольких дней расстреливались царскими пушками и пулеметами, а из-за баррикад сыпались в ответ ружейные и револьверные пули, отражавшие натиск кавалерийских частей.

Московский обер-полицмейстер генерал Трепов вывесил свой строжайший приказ: «Патронов не жалеть, холостых залпов не давать». А какой-то остроумец ухитрился замазать первые две буквы «п» и «а», так что получился приказ: «тронов не жалеть».

Первая революция была подавлена. Но это было началом конца царизма, навсегда свергнутого великим Октябрем в 1917 году.

## XIV

«Из песни слова не выкинешь»,— говорит пословица... Что бывало, то бывало. Вся Москва знала, что 12 января старого стиля, в так называемый татьянин день — день основания первого российского университета в Москве — будет шумный праздник университетской молодежи, пожилых и старых университетских деятелей, уважаемых профессоров и бывших питомцев московской «альма матер» — врачей, адвокатов, учителей и прочей интеллигенции. Этот день ежегодно начинался торжественной обедней в университетской церкви. Много-много лет праздник этот справлялся по заведенному порядку: сначала обедня, потом молебен, потом в актовом зале традиционная речь ректора или одного из почтеннейших профессоров... А затем...

Затем толпы молодежи шли «завтракать» в ресторан «Эрмитаж», где к этому завтраку ресторан приготовлялся заблаговременно: со столов снимали скатерти, из залов убирались вазы, растения в горшках и все бьющееся и не необходимое. Здесь до вечерних часов длился этот «завтрак» — чем позже, тем шумней и восторженней. Ближе к вечеру ораторы уж влезали на столы и с высоты со стаканом в руках, окруженные пылкими слушателями, произносили пылкие речи. Вокруг кричали громкими голосами кто «браво», кто «ура» и запевали разные студенческие песни, чокались вином, и пивом, и шампанским, и

водкой — у кого на что хватало средств. Потом разъезжались на тройках и лихачах в загородные рестораны, куда потихоньку ползли также и простые извозчики, так называемые «ваньки», с нависшими на санях, где только возможно, юнцами, а также плелись пешком малоимущие. Но там, в загородных ресторанах, уже не разбиралось, кто может платить, кто не может: все были равны.

В одном из своих шутливых фельетонов А. П. Чехов в 1885 году писал про татьянин день, в 130-ю годовщину Московского университета:

«В этом году выпито все, кроме Москвы-реки, и то благодаря тому, что она замерзла... Пианино и рояли трещали, оркестры, не умолкая, жарили «Gaudeamus», горла надрывались и хрипели... Тройки и лихачи всю ночь летали от Москвы к Яру, от Яра в Стрельну... Было так весело, что один студиоз от избытка чувств выкупался в резервуаре, где плавают стерляди...»

Все это не выдумка, не сказка. Так это и бывало обычно в татьянин день. Не в день — а в ночь татьянина дня. Под утро швейцары «Стрельны» и «Яра» нередко надписывали мелом на спинах молодежи адреса, и их развозили по домам «уцелевшие» товарищи...

Шли годы. Студенты становились врачами, адвокатами, учителями, писателями, общественными деятелями, профессорами... Но татьянин день не забывался и не менялся. В этот традиционный день и старики и молодежь, знаменитые и неведомые — все были знакомыми, все были равными... Бытовая сторона праздника оставалась такой же, как и раньше, со всеми ее подробностями.

И вдруг в 1889 году, за двое суток до татьянина дня, раздался голос «великого писателя земли русской» — Льва Николаевича Толстого. Громкий голос, призывающий опомниться и из праздника просвещения не делать подобия того, что творится в глухих деревнях в храмовые праздники Знамения, Казанской, Введения и проч.

«Мужики едят студень и лапшу,— писал Лев Николаевич,— а просвещенные — омары, сыры, потажи, филеи; мужики пьют водку и пиво, просвещенные —

напитки разных сортов, вина, водки, ликеры сухие и крепкие, слабые и горькие, сладкие, и белые, и красные, и шампанские... Мужики падают в грязь, а просвещенные на бархатные диваны. Мужиков разносят и растаскивают по местам жены и сыновья, а просвещенных — посмеивающиеся трезвые лакеи...»

Голос великого писателя и призыв опомниться так повлияли на старших и младших, что татьянин день в 1889 году уже не мог быть таким, как обычно, и с той поры «праздник просвещения», как называл его Толстой, изменился до неузнаваемости.

## XV

В свое время, в эпоху грибоедовской Москвы, в некоторых кварталах, вроде Арбата, Кудрина или Пречистенки, красовались богатые дворянские усадьбы, с садами, конными дворами и службами, с кучерами и ливрейными лакеями, а также стояли и скромные особнячки — преимущественно деревянные, оштукатуренные и окрашенные то в желтый, то в розовый, то в голубой цвет, с белыми колоннами по фасаду, с полуциркульными окнами — под «московский ампир» — и тоже со скромными каретными сараями и надворными службами. В усадьбах и в особняках проживали в те времена влиятельные Фамусовы, по словам Грибоедова — «охотники поподличать везде», которые «в чины выводят и пенсии дают», полковники Скалозубы — что «тьму отличий нахватали», графини Хрюмины и Хлестовы — эти «пиковые дамы», которые «сужденья черпают из забытых газет времен Очакова и покоренья Крыма», болтуны Репетиловы и всякие Молчалины, добровольно признающие, что им — «не должно сметь свое суждение иметь».

Некоторые из таких домов, каких на моей памяти было еще немало, сохранились и до сих пор — но их уже немного — а теперешнее население их, конечно, ничего общего с прежним не имеет. Прежние их владельцы после крепостной реформы, с шестидесятых годов, мало-помалу стали передавать свои права новому классу — торговому, нарождающейся буржуазии. Но купечество не так уж охотно занимало барские гнезда. Большинство предпочитало селиться в

Замоскворечье, в Рогожской, Таганке, где было попроще и посвободней, да и соседи были более свои люди. Строили крепкие, грубые особняки, разводили просторные сады с фруктовыми деревьями, настаивали из своей рябины ведерные бутыли водки, заводили «своих лошадей», чтоб ездить «в город» и в баню, и чувствовали себя лучше, чем в центральных кварталах.

Грибоедовская Москва уступала место Москве Островского.

В шестидесятых и семидесятых годах многие «тятеньки» и «папаши» — малограмотные и безграмотные,— забогатев, воображали, что им «при их капитале» все доступно и все дозволено, поэтому — «ндраву нашему не препятствуй!» — «захочу — один в семи каретах поеду!..»

Грубые и дикие выходки отдельных лиц бывали заурядным явлением. Такие типы, как Хлынов в «Горячем сердце» Островского, теперь кажутся совершенно невероятными, но подобие их на самом деле существовало. В восьмидесятых годах лично мне доводилось не однажды слыхать о московском фабриканте, поставщике в казну, известном под именем Степана Ивановича (фамилию забыл), который позволял себе невероятные выходки, был в своем роде знаменитостью по части безобразий, скандалов и глупостей. Вот один из случаев, происшедших на моей памяти.

В московском цирке был клоун Танти, известный дрессировщик животных, и у него была «ученая свинья», которая могла по заказу публики находить носом буквы, разложенные по полу арены, чтоб из них составилось нужное слово — конечно, короткое. И вот Степан Иваныч со своими единомышленниками решили купить у Танти эту свинью, чтобы ее зажарить и съесть, каких бы денег это ни стоило. Сделка состоялась, как говорили тогда, за 2000 рублей, и пятеро безобразников свинью эту зажарили и ели ее с приличной случаю выпивкой.

Но этим дело не кончилось. Газета огласила этот скандальный случай, а знаменитый опереточный куплетист Родон, любимец москвичей, пел в театре сочиненные им стишки на злобу дня, где было приблизительно следующее:

Вот купцы в хмельном азарте,
Чтобы пищу дать вранью,
Порешили им у Танти
Съесть ученую свинью.
И они на самом деле
Ведь свинью из цирка съели...

А в юмористическом журнале, если не ошибаюсь, в «Развлечении», помещена была карикатура: сидят пятеро с ножами и вилками, а перед ними на столе туша зажаренной свиньи, и под рисунком помещена цитата из священного писания: «Своя своих не познаша».

Говорили потом, будто Танти успел свою ученую свинью переправить в провинцию, а безобразникам поднес обыкновенную свинью, более подходящую к покупателям.

Этот же самый Степан Иваныч заехал однажды на кавказские минеральные воды, в Пятигорск, где и вытворял «чудеса» не хуже Хлынова, так что весь городок, наполненный обаянием Лермонтова, его памятью, его «Демоном», его Печориным, был озадачен выходками московского самодура. При отъезде домой он устроил сам себе торжественные проводы, небывалые в Пятигорске: нанял *всех до единого* городских извозчиков, имеющих четырехместные коляски и пару лошадей,— а иных извозчиков в маленьком курортном городке и не было. Все они в назначенный час должны были подать к гостинице и ждать «выхода».

В передних колясках поместили оркестр пятигорских музыкантов, а в следующие наложили багаж, и, наконец, в самый лучший экипаж уселся «сам» с приятелями и кульком с шампанским. Остальные коляски следовали порожнем для «антуража». Загремели медные трубы, забухали барабаны, и небывалый кортеж под громкий марш двинулся по шоссе к железнодорожной станции, лежавшей в нескольких километрах от города. И на весь день в Пятигорске не осталось ни одного извозчика даже для больных.

Вскоре, в том же году, если не ошибаюсь — в 1883, мне довелось быть впервые на Кавказе, и там, в Пятигорске, не позабыли еще, как московский самодур оставил весь город без транспорта на целые сутки. Рассказывали, как, уезжая, он весело поднимал в дороге свой пенный кубок, посмеиваясь с пья-

ных глаз над Бештау и Машуком, где приютился, вряд ли ему ведомый, лермонтовский грот с его прекрасными напоминаниями о великом поэте, о его творчестве, о жизни и смерти.

## XVI

Старинные торговые ряды, возобновленные после наполеоновского нашествия и разгрома, занимали огромный квартал в самом центре Москвы, между улицами Никольской и Ильинкой (теперь улицами 25 Октября и Куйбышева) — с фасадом по Красной площади, напротив зубчатой кремлевской стены, перед современным Мавзолеем. Ряды эти составляли тоже своего рода московскую достопримечательность.

Перед центром их фасада в те времена стоял памятник с двумя фигурами отечественных героев и с золотой надписью на темном граните:

«Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия».

Но недаром говорил Гоголь устами городничего: «Где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор,— черт их знает откудова — и нанесут сюда всякой дряни!»

Хорошо помню я этот памятник, передвинутый в настоящее время к древнему собору Василия Блаженного. Он стоял, окруженный сквозной невысокой решеткой, обращенный тыловой стороной к рядам; правая рука гражданина Минина, протянутая во всю длину, указывала на Кремлевскую стену, за которой возвышалось громадное здание Окружного суда с круглой невысокой колонкой над крышей; на колонке была золотая надпись *Закон,* и увенчана она была сверху царской короной, что было символом российского закона и означало эмблему высшей справедливости, которая с таким жестоким остроумием высмеяна в знаменитой эпиграмме:

В России нет закона,—
А столб, и на столбе корона.

Этот же самый «столб в короне» был принят, как эмблема правосудия, в судах на зерцале, в печатях нотариусов и в нагрудных значках юристов.

Глядя на протянутую руку Минина, указующую на столб в короне и на золотую надпись «Закон», прохожие нередко утешали друг друга пословицей:

— Закон — паутина: шмель проскочит, а муха увязнет!

Я застал эти ряды еще при их большой значительности для Москвы; хотя в принципе они и были давно осуждены на сломку, но проходили за годами года, а они все еще стояли, и не предвиделось конца их существованию. Это был центральный пункт всей московской торговли — как розничной, так и оптовой, где можно было купить все — от швейных ниток до жемчугов и бриллиантов, от стакана кваса до модного фрака или собольей шубы, от записной книжки до бархатных ковров и т. д. Бытовые условия тоже были своеобразные. Лавки не отапливались, и никакого освещения, кроме дневного, не допускалось из боязни пожара. Купцы сидели зимой в тяжелых енотовых шубах, подпоясанные для тепла кушаками, ходили то и дело греться в трактир и запирали на ночь свои лавки в ранние сумерки, так как никакого огня, даже спички зажечь не полагалось. В морозные месяцы в лавках так настывало, что в чернильницах замерзали чернила, обращаясь в черный снег, и чтобы написать счет покупателю или подписать вексель, нужно было подцепить на перо этого черного снега и дышать на него; тогда он на минуту превращался в каплю, но и та быстро вновь застывала.

Ряды занимали громаднейшую площадь и с утра до вечера были наполнены людьми. Здесь и хозяева и приказчики, конторщики и артельщики, сторожа и покупатели — народа великое множество. Хозяева, да и то далеко не все, ходили завтракать в трактир, а остальные питались тут же, возле своих лавок. Чего здесь только не бывало в течение дня! Проходили в определенные часы разносчики с горячими жареными пирогами. Проходили с гречневыми толстыми блинами, политыми черным конопляным маслом; торговали горячей ветчиной и жареной бараниной с картошкой, мозгами с соленым огурцом, белугой с хреном и красным уксусом, кишками с гречневой кашей; и все это было горячо, все нарезывалось на блюдце, а вместо вилки прикладывалась оструганная щепочка. Через час разносчики проходили обратно и собирали

каждый свои блюдца. Наедались вдоволь и затем пили чай, разливая из огромных медных чайников по стаканам, которыми и грели озябшие на морозе пальцы.

У рядов этих имелась и своя предыстория. В XVI веке указом Грозного царя на Красной площади, против стен Кремля, построены были торговые помещения, куда на первое время купцов загоняли насильно для их деятельности, а когда завелась настоящая торговля, уже окрепшая, то и московские попы открыли здесь свои лавочки с духовными книгами в просветительных целях, но вскоре в этих епархиальных лавках появились, кроме книг, всякие иные товары — и скобяные и галантерейные, а еще позднее «отцы», не платя в казну никаких налогов, объявили, что в их лавочках поэтому все товары дешевле, чем у соседей; кроме этой рекламы, епархиальное начальство предписало церковным приходам покупать все необходимое обязательно в их лавочках, а ослушников штрафовало и наказывало. В торговой среде начинало расти великое недовольство.

Через некоторый срок этот Гостиный двор вместе со всеми товарами сгорел дотла. На его месте были построены новые каменные ряды, разоренные при французах. В 1815 году ряды были вновь отстроены и достояли до девяностых годов.

К этому времени уже существовали в Москве пассажи с модными магазинами и был открыт необычайный по тому времени универсальный «Мюр-Мерилиз», как его называли по имени хозяев, где сосредоточены были всевозможные товары и в таком изобилии, в таком разнообразии, что универсал этот изумленные москвичи отнесли к разряду событий, а ветхие ряды с их узкими и кривыми проходами, с их потемками и сырым воздухом, с назойливыми зазывалами из Ножевой линии отжили свой срок и стали ненужными.

Вместе с ними кончились и блинщики, и пирожники, и повара с котлетами.

В старокупеческом быту существовала так называемая «яма» — гроза неисправных должников, упоминаемая и в произведениях Островского. Помещалась эта яма у Иверских ворот, на правой стороне подле Красной площади, напротив нынешнего Исторического музея.

Случалось довольно нередко, когда купец, задолжав по векселям разным лицам солидную сумму, созывал своих кредиторов «на чашку чая», как тогда говорилось, раскрывал перед ними свои бухгалтерские книги и сообщал, что дела его крайне плохи и оплатить полным рублем свои долги он не в состоянии, а предлагает получить по «гривенничку за рубль», то есть вдесятеро меньше. Если кредиторы признавали несостоятельность как несчастье и верили в честность купца, то устраивали над его делами «администрацию», то есть опеку, а если видели, что дело это мошенническое, что купец, как говорилось тогда, «кафтан выворачивает», что деньги припрятаны, а собственный дом переведен заблаговременно на имя родни, то устраивали «конкурс», продавали остатки имущества с молотка, то есть с аукциона, а самого несостоятельного сажали в яму у Иверских ворот, пока тот не раскается и не выложит припрятанные капиталы. Все это делалось на законном основании. Но за купца в яме надо было платить — за содержание, за еду... Сидит, сидит купец в яме, кредиторы за него платят, платят, а толку нет. Иной раз родственники сжалятся и внесут некоторую сумму из припрятанных денег. И если кредиторам надоедало платить за харчи, они прощали купца и выпускали из ямы, а то требовали новой суммы в уплату, и купец продолжал сидеть.

Сердобольные купчихи, совершенно незнакомые, приносили таким заключенным к праздникам пасхи и рождества то калачей, то кулебяки, то блинов, а то, грешным делом, и водочки...

Когда была уничтожена эта яма, я не знаю, но в давние годы на моей памяти она еще существовала, а приглашения «на чашку чая» и «выворачивание кафтана» продолжалось почти до 1917 года.

## XVII

Еще контраст, еще одна противоположность: свадьба — как новая молодая жизнь, и похороны — конец всему земному.

В старой Москве, особенно в торговой среде, то и другое обставлялось пышно и торжественно. Невесте,

одетой в белое платье с кисейной фатой и белыми искусственными цветами флердоранжа на голове — в качестве эмблемы девственности,— подавалась большая, специально свадебная карета, запряженная четырьмя конями, с кучером в цилиндре и золотых галунах, с двумя ливрейными лакеями на запятках. Этот «парад», как называли свадебную карету, отвозил невесту в церковь для венчания.

Обычно свадьба устраивалась в доме жениха, иногда для свадьбы арендовали ресторанный зал, но очень часто на вечер нанимали отдельный дом, специально отдававшийся под такие собрания. Вечером в таком доме устраивался бал с танцами под оркестр, с ужином до рассвета, с тостами, нередко возглашаемыми за отсутствием оратора официантом. Для тостов обычно приглашался рослый официант, обладающий внушительным голосом и великолепными бакенбардами и внешностью, напоминавшей важного сановника.

— За здоровье новобрачных! — торжественно возглашал официант. Гости весело кричали «ура» и заставляли молодых трижды целоваться.

— За здоровье родителей жениха и невесты! — продолжал официант, и при этом, чтоб не напутать и не наврать, читал по бумажке их имена.

Снова «ура» и чоканье бокалами; все шумнее и непринужденнее становится разговор гостей. Тосты продолжаются — за родных, за уважаемых, за шаферов... На рассвете произносится последний тост — за общее здоровье, и гости разъезжаются.

Теперь противоположность брака — похороны.

Белый балдахин над колесницей с гробом и цугом запряженные парами четыре и иногда даже шесть лошадей, накрытых белыми попонами, с кистями, свисавшими почти до земли; факельщики с зажженными фонарями, тоже в белых длинных пальто и белых цилиндрах, хор певчих и духовенство в церковных ризах поверх шубы, если дело бывало зимой. Вся эта процессия не спеша двигалась к кладбищу.

А после погребения в тех же самых наемных домах, в тех же комнатах, где накануне ночью праздновалась веселая свадьба, днем происходила многолюдная тризна с обильной выпивкой, блинами с икрой, раковым супом или ухой, с котлетами и непре-

менно с белым киселем и миндальным молоком, при общем пении «вечной памяти».

Учитывая то, что здесь, как говорится, сам черт не разберет, кто родственник, кто друг, кто знакомый, на такие обеды приходили люди совершенно чужие, любители покушать, специально обедавшие на поминках. Кто они и кто им эти умершие — никто не ведал. И так ежедневно, следя за газетными публикациями, эти люди являлись в разные монастыри и кладбища на похороны незнакомых, выбирая более богатых, а потом обедали и пили в память неведомых «новопреставленных».

## XVIII

Более полвека назад, в мае 1896 года, правительство устроило в Москве пышные торжества по случаю коронации последнего российского царя, Николая II. В программу торжества было включено также и однодневное народное гулянье с утра до позднего вечера. На получившем с тех пор мрачную известность Ходынском поле были устроены развлечения ярмарочного типа со всевозможными представлениями, с гимнастами и каруселями, с качелями и бегунами, скачками и джигитовкой, с бесплатным угощением и даже с грошовыми подарками, завернутыми в белый платок с царским портретом: там лежал большой сладкий пряник, кружка с орлом и что-то еще в таком же роде.

Гостей ожидалось много — не один десяток тысяч. Вход был назначен со стороны Петровского парка, где благодаря хорошей погоде и залегли в траве еще с ночи желавшие попасть на праздник первыми, спозаранку.

Помню, выехал я из дома в утренний час поглядеть на это гулянье. Путь был прямой, но не близкий. Чем дальше еду, тем больше вижу народа, поспешно идущего по тротуарам как вперед, так и обратно,— уже с Ходынки. Многие из этих обратных идут с белыми узелками, несут полученные подарки, у некоторых возбужденный и какой-то потрепанный вид. Но странно — среди этого как будто веселого оживления и гула на празднично разукрашенных ули-

цах до моего слуха стали доноситься новые звуки, похожие не то на плач, не то на стоны. Потом эти звуки исчезали ненадолго; потом мне вновь казалось, что я их слышу сквозь говор идущих и шум колес... В то время извозчичьи пролетки и обывательские экипажи были на железном ходу, и колеса гремели о камни так, что на улицах стоял неумолчный грохот.

Далее, близ Триумфальной Садовой навстречу мне выехали пожарные с двумя-тремя длинными полками, прикрытыми брезентами. Они быстро промелькнули мимо меня, свернув на Садовую. И опять мне показалось что-то странное: как будто из-под брезента виднелись человеческие ноги... Я обратился тогда к своему извозчику, и тот подтвердил, что и ему тоже слышался как будто плач, а на пожарном полке под покрышкой он ясно видел чьи-то ноги, лежавшие рядами, и много ног...

Вскоре мы приблизились к месту гулянья, где шумели толпы, гремела в разных местах музыка, слышались хоровые песни и нигде как будто не было ничего тревожного или подозрительного.

Гулянье по всему пространству у входа на Ходынское поле было в полном разгаре; на открытых платформах, повыше зрителей, работали фокусники и акробаты в блестящих мишурных фуфайках и трико; далее большой хор в ярких национальных костюмах исполнял русские песни, мужчины в парчовых кафтанах, женщины в кокошниках и сарафанах; далее — с веселым визгом и смехом взлетали высоко в воздух в пестрых кузовах на качелях молодые девушки и с ними парни. Все поле гудело и пело; ржали лошади у арены состязаний; толпились и бродили беззаботно зрители; в театрах и балаганах усердно звонили к началу, и тут и там гремели оркестры — где струнные, где военные; плясали балетные артисты в красных рубашках и черных безрукавках, в круглых шляпах с павлиньими перьями; пели солисты во фраках и белых перчатках. Куда ни падал взгляд — везде народ, и зрелище, и звуки...

Это было в средине дня.

А что было с утра — при входе?..

Здесь и начинается московский контраст, на этот раз не обычный, а полный ужаса. Устроители допустили преступную небрежность: они не обеспечили

правильного регулирования людского потока, не позаботились об охране жизни людей, кроме того, линию входа они обнесли тесовым забором, проделав в нем большое количество отверстий, с широким началом и узким концом — вроде верши, так что хлынувшая толпа попадала в эти многочисленные воронки, как в западню, входили сотнями, а выходить могли только по одному человеку. Сзади напирали, прижимали людей к стенам, сплющивали их, душили. Да где-то тут же обвалился под толпой дощатый помост над оврагом, и множество людей, упавших в ямы, было затоптано насмерть. Именно в этих вершах и воронках, в этих оврагах и произошла страшная давка, дорого обошедшаяся народу.

Здесь с утра задавлено было насмерть и изувечено около двух тысяч человек. Вот почему слышались мне вопли и слезы, вот почему пожарные торопливо увозили трупы в морг, а еле живых — по больницам.

Катастрофа произошла утром, в первый же час по открытии входов.

Громадная толпа нетерпеливо хлынула во все эти воронки; позади не знали, не ведали о том, что творилось впереди. Людей, попавших в ловушку, прижали к стенам и давили своей тяжестью и напором, а на площадь гулянья могли вырываться только по одному человеку. Людей буквально расплющивали в толпе — ломали ребра, сдавливали грудные клетки; многие тут же умирали, другие теряли сознание, но давка продолжалась в огромном «загоне», откуда большинству выхода не было. Как все это происходило, я, конечно, видеть не мог. Но мне довелось увидать результаты.

Далеко от центра веселых развлечений и музыки, под каким-то навесом, довольно длинным (уже не помню теперь подробностей), лежали на спинах мертвые люди с серыми от пыли лицами, с закрытыми и открытыми глазами, большинство в новеньких праздничных одеждах; тут и женщины, молодые и старые, и юнцы, и мужчины, крестьяне и рабочие, бородатые старики и горожане в пиджаках, видимо служащие. Лежали один возле другого в несколько линий; от солнечных лучей их оберегал навес, не то холщовый, не то брезентовый. Осматривать их дозволялось всем

желающим, в целях опознания и раскрытия их имен и адресов. Но их было так много!..

Помню, гнетущее чувство охватило меня; печаль, и ужас, и негодование сейчас же выбросили меня вон из этого лагеря смерти. Чуть не бегом я направился к выходу и в тяжком смущении покинул сию же минуту омраченный страшным преступлением власти «праздник» с его продолжающимся шумом.

Как ни странно, но о катастрофе многие гуляющие здесь люди даже не ведали; узнали о том только к вечеру, а большинство — на другой день, когда знала об этом уже вся Москва.

По программе торжеств в этот же вечер злополучного числа был назначен парадный бал в иностранном посольстве... Москва была уверена, что в такой страшный день бал будет отменен. Но нет — пышный бал состоялся, и царь Николай с царицей принимали в нем участие. Подробности о танцах и угощениях были напечатаны наутро в газетах. Это произвело удручающее впечатление на весь народ, даже на самых смирных и покорных:

«Не предвещает все это ничего доброго. Царствование началось бедой».

Для общего успокоения нужно было найти виновника и покарать. Решили сделать «козлом отпущения» обер-полицмейстера Власовского, который был смещен и изгнан.

Этим последним контрастом, этой жуткой противоположностью, этим резким переходом от «народного праздника» и веселого гулянья — к мучительной смерти множества людей, этой преступной небрежностью и закончились коронационные торжества в Москве.

Думая с глубоким возмущением об этом кошмаре, невольно вспоминаешь чудесные слова Некрасова:

Кто живет без печали и гнева,
Тот не любит отчизны своей.

## XIX

Неузнаваема стала теперь Москва.

В короткий срок распрямились многие улицы, раздвинулись и стали широкими, покрылись по обе сто-

роны высокими многоэтажными домами с балконами и магазинами; по гладким асфальтовым и брусчатым мостовым несутся автобусы, троллейбусы и автомобили, а лошадные экипажи — извозчики и ломовые — встречаются как очень редкое исключение. Под людными улицами, под громадными зданиями, в недрах Москвы, глубоко под землей и даже под москворецким дном мчатся поезда метрополитена, превзошедшего все европейские однородные сооружения красотой и удобствами подземных дворцов.

— Это великое благополучие,— говорят москвичи о метро.— От центра в любой конец можно доехать за несколько минут.

А Москва-река?.. Теперь это красавица, соединенная Московским морем с великой матушкой Волгой. Бывало, текла наша река, хотя и в гранитных берегах, возле Кремля, но воды ее были где-то далеко внизу, если глядеть с бывших мостов. А теперь она гордо протекает, высокая, полноводная, с грузовыми и пассажирскими пароходами...

О чем в былые времена и мечтать не могли, чтобы, сидя у себя дома, слышать подлинные голоса певцов, или музыку, или политические новости из всех стран мира, случившиеся сегодня, почти сейчас,— все это слышит теперь Москва по радио, слышит и на улицах и чуть не в каждой частной квартире и комнате — из-за тридевяти земель.

В грозные дни фашистского нашествия, когда враг уже разглядывал московские здания и улицы в бинокли из ближних дачных местностей и деревень, Москва спешно, но спокойно готовила баррикады и отпор и поклялась лучше погибнуть, чем сдаться.

Не забудет Москва тех дней, и вечеров, и ночей, когда над ней носились варварские банды и сбрасывали бомбы на больницы, на музеи, на дома, на людей, сея повсюду смерть, разгром и пожары, когда больные, старики, матери с маленькими детьми укрывались в бомбоубежищах, а женщины и подростки дежурили на чердаках и крышах, водой и песком гасили пылавшие зажигалки, что, свистя и шипя, плевались во все стороны липкими огненными брызгами, когда навстречу врагу гремели во тьме выстрелы, летел под облака горячий свинец, а на дворы и на улицы сыпались осколки; когда даже галки и вороны,

что ютятся в кронах старых деревьев по садам и кладбищам, охваченные ужасом, молча носились черными стаями над Москвой,— не забудет всего этого Москва, как не забудет и гитлеровского приказа: Москву стереть с лица земли!

Но Москва осталась Москвою.

Как ни гнетет ее судьба,
Победой кончится борьба.
Нет — Русь родная не раба,
А провозвестница свободы!

Под напором Советской Армии разомкнулись вражьи клещи вокруг нашей столицы, и разгромленные полчища отхлынули от нас, а затем были изгнаны отовсюду из пределов нашей Родины, и знамя Победы было водружено над Берлином.

Кто жил в эти грозные дни в Москве, тот не может не вспомнить замечательных салютов с пушечными выстрелами и тысячами разноцветных огней и ракет, взлетавших массами к полуночному небу — вправо и влево, по всей Москве, когда по всем улицам и по квартирам восторженно сообщалось по радио о новой, только что одержанной победе наших войск, о новом изгнании врагов из городов нашей Родины. Эти салюты, эти массовые фейерверки и торжественный гром пушек были необычайно трогательны, радостны и прекрасны. Народ сбегался на перекрестки улиц, откуда шире видна была замечательная картина, и любовался торжественным зрелищем, испытывая восторг и гордость за блестящие победы Советской Армии и ее великих вождей.

Москва — любимая столица нашего великого Союза — привлекает к себе теперь внимание народов мира. Над башнями ее Кремля маяками свободы светятся рубиновые звезды. Усилиями советского народа, руководимого Коммунистической партией, Москва становится такой, какою мечталась она борцам за счастье трудящихся.

## *Артисты и писатели*

*Шаляпин.— Москвин.— Качалов.— Артем.— Бурджалов.— Бутова.— Савицкая.— Элеонора Дузэ.— Россов.— Станиславский, Симов и Сац.— Вересаев.— Рисунок Федотова.— Серафимович.— Дрожжин.— Поэт из народа.— Масанов.— Деревенская гимназия.— Сануз.— Мелихово.*

### I

Однажды в тихий солнечный день ранней осени сидел я на берегу большого пруда на сухом широком пне и глядел в воду, где красиво отражались голубое небо, солнце, белые облака и прибрежные зеленые рощи, подернутые яркой желтизной. Сидел и думал о чем-то далеком, забытом, умершем...

Молодые веселые голоса нарушили вдруг мои тихие думы.

Передо мной стояло человек двенадцать юнцов и юных девушек; все они улыбались; все ласково и просто обратились ко мне с вопросом:

— Мы читали вашу книгу воспоминаний «Записки писателя». Вы познакомили нас с вашими друзьями — Чеховым, Горьким, Шаляпиным... и вы сказали, что это еще не все! А когда же будет продолжение?

Я ответил, что и сам не знаю. Когда вспомнится о чем-то, тогда и буду писать.

С той же простотой и ласковыми молодыми улыбками они осведомились, не буду ли я возражать, если все они сядут вокруг меня на травку и попросят меня о чем-нибудь вспомнить и рассказать им, хотя бы отрывочно — что придет в голову,— о прежних друзьях, о встречах, о прежних писателях, актерах, художниках...

— Нам все интересно. И о знаменитых и о незнаменитых людях. О ком придет в голову.

Их дружественные улыбки так сияли, так по-хорошему требовали ответа и согласия, что я сдался.

— Прожита мною долгая жизнь,— ответил я им.— Мне уже скоро восемьдесят восемь лет. Но жизнь свою я считаю счастливой благодаря встречам, знакомству и нередко дружбе с выдающимися людьми моего времени.

Все они молча разместились полукружием возле моего пня, на зеленой траве, среди полевых цветов, еще уцелевших от лета.

Невольно я начал рассказывать им — в отрывках и в кратких словах — о писателях и артистах, о жизни старой Москвы, о людях, известных и неизвестных им.

— А чем объясняется, что в вашей книге портреты писателей не теперешние: Горький — молодой, Бунин — молодой, Вересаев — тоже молодой... Да и почти все у вас там молодые. Почему это?

— Вы правы,— ответил я им.— В книге не было объяснено, почему в наши теперешние годы даны портреты, относящиеся к начальным годам столетия. И это, конечно, следует оговорить в новом издании. Объясняется это вот чем: мои друзья по «Среде» поднесли мне однажды альбом с своими портретами и автографами — к дню моего двадцатипятилетнего юбилея. А это было давно, в самом разгаре деятельности нашей «Среды». Каковы все они были в ту пору, такими я и предложил их для книги, считая, что именно эти портреты более соответствуют воспоминаниям о «Среде», чем позднейшие. Портрет Л. Н. Толстого с его автографом был прислан мне также вместе с приветствием от издательства для народа «Посредник».

Рассказывал я молодым моим слушателям также и о многих артистах оперы и драмы, о тех знаменитостях прежнего времени, о которых теперь мало кто знает и помнит.

Вспомнилась прекрасная исполнительница народных песен — Вяльцева Анастасия Дмитриевна, самородок, девушка из бедной крестьянской семьи, работница по вышивальным мастерским, служившая прислугой и горничной и в то же время усердно работавшая над своим чудесным голосом. И вдруг случайный успех пения открыл ей путь на широкую дорогу, и имя ее внезапно заблистало среди исполнителей народных песен, как «Полосынька», как «Ветерочек»,

как «Уголок» и как знаменитый ее припев, волновавший любую аудиторию: «Догадайтесь сами, сами догадайтесь, что я вас люблю...» А то еще была песенка: «Я ли в поле да не травушка была. Я ли в поле не зеленая росла. Взяли меня, травушку, скосили...» К ее имени сама публика прибавила прозвище «Несравненная». Она быстро приобрела имя крупной артистки: ее приглашают в разные города России и за границу. Несмотря на успех в опере «Кармен», Вяльцева все же вернулась к своим любимым народным песням и романсам, где она была истинной художницей. Но ненадолго. Вскоре, в 1913 году, она, в расцвете своего таланта, умерла от белокровия.

И невольно вспоминается: «Взяли меня, травушку, скосили».

Все это было тогда рассказано мною в самых коротких словах. А теперь вот, вспоминая нашу случайную беседу, я начинаю видеть перед собой более ясные образы. И заметные и не очень заметные люди в области искусства, театра, литературы встают передо мною как бы ожившими.

Немало интересных людей прошло перед моими глазами.

Бывало, оперные артисты, одетые в средневековые костюмы, загримированные красавцами, и думать не хотели о какой-то игре на сцене. Они пели. И порой хорошо пели, надо отдать им справедливость. Иногда прикладывали ладонь к груди — в знак душевного волнения, а то взмахивали к небу рукой — в знак высокого подъема духа, и этим ограничивалась вся их игра. И обыкновенные слова произносили они както по-особенному: «Я имени ее не за-на-ю и не хочу у-за-нать его...»

Помню, почти ежегодно приезжал в Москву на гастроли знаменитый итальянский тенор — Анджело Мазини, певец действительно отменный, обладавший чудесным, очаровательным голосом. За последние годы, избалованный успехом и обожанием, Мазини не считался ни с чем. В операх, когда герой должен объясняться в любви героине, Мазини обычно подходил к рампе, оставляя героиню позади себя, не обращая на нее никакого внимания, и пел, как поют в концертах — в публику. А в «Фаусте», когда тот из старца превращается в юношу, Мазини, бывало, за

минуту перед превращением начинал развязывать пояс и расстегивать костюм, что невыгодно отражалось на художественном восприятии действия. Он считал себя только певцом, а на все остальное махал рукою, если не хуже того.

Дурные примеры нередко вызывают подражания. Распущенность артистов на сцене становилась обычной, и это в свою очередь вызвало противодействие. Появился русский артист, прекрасный тенор, Н. Н. Фигнер — брат Веры Николаевны Фигнер, шлиссельбургской пленницы,— человек интеллигентный, бывший морской офицер. Он не только пел — и пел прекрасно,— но и играл в опере так, как еще никогда у нас не бывало. Его выступления в «Гугенотах» и в «Отелло» создали ему немедленно громкий и вполне заслуженный успех. Это был первый оперный артист, доказавший, что и в опере следует быть не только певцом, но и художественным толкователем принятой на себя роли. Был еще в Большом театре крупный артист — баритон В. В. Корсов, тоже дававший художественные образы. Многие же иные не считались ни с чем, довольствуясь рутинными жестами, ничего в сущности не выражающими.

Вскоре появился молодой Шаляпин, который уже окончательно закрепил твердое правило быть в опере не только певцом, но и артистом.

## II

Когда впервые я встретил Федора Ивановича Шаляпина, ему было, если не ошибаюсь, двадцать один год. Во всяком случае, это был юнец, с очень светлыми волосами, с бесцветными бровями и такими же ресницами, со светлыми глазами.

Однажды Савва Иванович Мамонтов, известный деятель в области искусства и общественности, организатор частного оперного театра, привез Шаляпина на вечеринку в Общество любителей художеств на Дмитровку, где по субботам запросто собирались маститые прославленные художники, а также и талантливая молодежь, начинавшая приобретать известность.

— Он нам споет кое-что, а мы послушаем. Человек с будущим,— сказал Мамонтов, вводя Шаляпина в кружок.

Глядя на этого юнца огромного роста, не знающего, куда девать руки, вряд ли кто рассчитывал, что через полчаса этот юноша произведет на всех такое сильное впечатление, какое он произвел в тот вечер.

Первое, что он запел, было известное всем: «Перед воеводой молча он стоит». Вещь эту слыхали почти все, и немало раз, но никогда — так. Когда от имени воеводы он воскликнул: «А, попался, парень! Долго ж ты гулял!» — многие говорили потом, что у них сердце дрогнуло перед этим грозным окриком воеводы. Было ясно, что юноша — незаурядный артист, и чем дольше он пел,— а пел он много и безотказно,— тем ясней становилось его близкое и, несомненно, большое будущее.

Вскоре после этого Шаляпин начал выступать в частной опере и быстро привлек к себе внимание и симпатии всей Москвы. Уже в качестве выдающегося артиста он перешел на сцену Большого театра.

В это время я и познакомился с ним.

В начале девятисотых годов в моей квартире каждую среду собирался кружок молодых в то время писателей, только что входивших в известность, в том числе был и молодой Горький. Заинтересовался нашим кружком и Шаляпин.

У нас было правило: никогда не просить никого из артистов, которые бывали у нас, что-либо исполнять. Хочешь — исполняй, не хочешь — не надо. А упрашивать никого не полагалось. Это считалось не то что насилием, а все-таки до некоторой степени вынужденной любезностью со стороны артиста. И в первый свой приезд к нам Шаляпин ждал такой обычной для него просьбы со стороны писателей, но не дождался. Просидели весь вечер, отужинали и разъехались; но никто ни единым словом не обмолвился о пении. Впоследствии он оценил это, как сам признался, и уже без всякой спеси часто пел у нас подолгу и помногу. Пел он романсы, русские народные песни, которые любил и пел изумительно, исполнял арии из опер, пел куплеты, шутки, даже французские шансонетки. Пел он и «Марсельезу», пел «Дубинушку», пел «Блоху». «Марсельезу» он так исполнял, особенно на

французском языке, что дух захватывало от восторженного подъема.

Вспоминается один осенний вечер 1904 года, совершенно исключительный по впечатлению. Меня внезапно известили, что сегодня вечером у меня будут гости, и много гостей: приехал в Москву Горький, обещал приехать Шаляпин, будут петербуржцы и многие товарищи, которые все уже извещены и приедут. Действительно, к вечеру собралось немало народа. А Шаляпин, как только вошел, сейчас же заявил нам полушутливо:

— Братцы, петь до смерти хочется!

Он тут же позвонил по телефону и вызвал Сергея Васильевича Рахманинова и ему тоже сказал:

— Сережа! Возьми скорей лихача и скачи на «Среду». Петь до смерти хочется. Будем петь всю ночь!

Рахманинов вскоре приехал. Шаляпин не дал ему даже чаю напиться. Усадил за пианино — и началось нечто удивительное. Это было в самый разгар шаляпинской славы и силы. Он был в необычайном ударе и пел действительно без конца. Никаких чтений в этот вечер не было, да и быть не могло. На него нашло вдохновение. Никогда и нигде не был он так обаятелен и прекрасен, как в этот вечер. Даже сам несколько раз говорил нам:

— Здесь меня послушайте, а не в театре!

Шаляпин поджигал Рахманинова, а Рахманинов задорил Шаляпина. И эти два великана, увлекая один другого, буквально творили чудеса. Это было уже не пение и не музыка в общепринятом значении — это был какой-то припадок вдохновения двух крупнейших артистов.

Рахманинов был тоже в это время выдающимся и любимым композитором. С молодых лет одобряемый Чайковским и много воспринявший от общения с Римским-Корсаковым, он считал, что в период дружбы и близости с Шаляпиным пережиты им самые сильные, глубокие и тонкие художественные впечатления, принесшие ему огромную пользу.

Рахманинов умел прекрасно импровизировать, и, когда Шаляпин отдыхал, он продолжал свои чудесные экспромты, а когда отдыхал Рахманинов, Шаляпин садился сам за клавиатуру и начинал петь русские

народные песни. А затем они вновь соединялись, и необыкновенный концерт продолжался далеко за полночь. Тут были и самые знаменитые арии, и отрывки из опер, прославившие имя Шаляпина, и лирические романсы, и музыкальные шутки, и вдохновенная увлекательная «Марсельеза»...

Как сейчас, вижу эту большую комнату, освещенную только одной висячей лампой над столом, за которым сидят наши товарищи и все глядят в одну сторону — туда, где за пианино видна черная спина Рахманинова и его гладкий стриженый затылок. Локти его быстро двигаются, тонкие длинные пальцы ударяют по клавишам. А у стены, лицом к нам, высокая, стройная фигура Шаляпина. Он в высоких сапогах и в легкой черной поддевке, великолепно сшитой из тонкого трико, поверх белой русской рубашки с поясом. Одной рукой слегка облокотился на пианино; лицо вдохновенное, строгое; никакого следа нет от только что сказанной шутки; полное преображение. Ждет момента вступления. Преобразился в того, чью душу сейчас раскроет перед нами, и заставит всех чувствовать то, что сам чувствует, и понимать так, как сам понимает...

Такого шаляпинского концерта, как был этот, экспромтный, мы никогда не слыхали. Я переслушал его, кажется, во всех операх, где он пел, присутствовал на многочисленных его концертах, но такого вдохновенного пения я не запомню. К сожалению, правдивы слова и полны глубокой грусти, что никогда и никакой рассказ о том, как исполнял артист, не восстановит его чарующие образы,— как никакой рассказ о солнце пламенного юга не поднимет температуру морозного дня.

Шаляпин был смелый нарушитель всех традиционных приемов, всех трафаретных образов. В нем было все по-новому, все глубоко обдумано, верно, неожиданно и в полном смысле слова — прекрасно.

В один из шаляпинских бенефисов, по его настоянию, был поставлен в Большом театре «Демон». Спектакль прошел всего лишь несколько раз, так как партия была не по голосу Шаляпина. На этом спектакле я был, слышал и видел Шаляпина. А по окончании спектакля, помню, состоялся ужин в ресторане Тестова, почти напротив театра. Участвовало много народа,

по приглашению, человек до ста. Много здесь было всяких речей и выступлений, но особенно значительной была речь знаменитого историка, профессора Василия Осиповича Ключевского, который рассказал, как готовился к своим ролям Шаляпин, как просил он помочь ему уяснить образы Годунова и Грозного, психологию этих образов, как он вдумчиво вникал во все и как работал, как просиживал часами в Третьяковской галерее перед полотном Репина, перед исступленной фигурой грозного царя, думая глубокие думы. Этого никто не знал, никто не понимал огромной творческой работы над самим собою великого артиста, думая, что все дается ему случайно и без особого труда. А талант, помимо своей врожденности, есть труд, и огромный, прежде чем он заблестит на людях.

Это был человек высокоодаренный самой природой: высокого роста, статный, стройный, к которому шли всякие костюмы — и парадный фрак, и будничная русская поддевка, и простой пиджак, и всякое театральное средневековье — разные мундиры, тоги и демонские плащи. В каком бы костюме он ни появился, он был всегда великолепен. Во всех гримах, которые он сам себе намечал, он умел выявить самые существенные черты того, кого изображал на сцене. У меня хранятся некоторые подлинники его зарисовок, им самим набросанные: голова Дон Кихота, голова Мефистофеля и другие... Не говоря о том, что это был великий артист, всецело обязанный всеми достижениями только самому себе, он был еще, между прочим, и скульптор, и художник, хорошо рисовавший эскизы для своих разнообразных гримов.

В опере «Борис Годунов» я видывал его во всех трех ролях, в трех образах: и царем Борисом, и летописцем Пименом, и пьяницей-монахом Варлаамом. Кто слышал, а главное — видел Шаляпина, тот никогда не забудет его, и особенно в роли Бориса Годунова. Федор Иванович сам мне рассказывал, что в сцене с призраком убитого царевича, когда он кричит: «Чур меня!» — он нередко доходил до такого состояния, что не помнил себя и, задыхаясь от пережитого ужаса, выходил на вызовы публики почти бессознательно в первые минуты.

Шаляпин высоко ценил Мусоргского как композитора, писавшего свое славное произведение и нуждав-

шегося в то же время в копейках, которые ему почти приходилось вымаливать у современников-бюрократов, как их называл Шаляпин, и умершего нищим в больнице в 1881 году.

Его замечательную оперу «Борис Годунов» Шаляпин прославил по всей Европе и Америке, считая ее великой, и действительно — имя Мусоргского имеет теперь высокое признание повсюду в мировых театрах.

Шаляпин обладал редкой музыкальной памятью. Когда он выступал в какой-либо опере, он помнил и знал не только свою партию, но и всю оперу. «„Годунов" до того мне нравился,— говорил Шаляпин,— что, не ограничиваясь изучением роли, я пел всю оперу, все партии, и мужские и женские, с начала и до конца. И когда я понял, как полезно такое полное знание оперы, я стал так же учить и все другие целиком, даже те, которые пел раньше».

Он не выносил никаких отклонений, и если кто-нибудь из участвующих «вольничал», Шаляпин закипал гневом. Этим уважительным отношением к делу и объясняются некоторые его резкие выступления, именовавшиеся в газетной уличной сплетне «шаляпинскими очередными скандалами». Был случай, когда на репетиции хор разошелся с оркестром, но капельмейстер продолжал дирижировать. Шаляпин остановил оркестр и потребовал согласования. Дирижер обиделся и бросил репетицию. Но Шаляпин все-таки добился согласованного исполнения оперы. Всеми этими так называемыми «скандалами» он так подтянул и хор, и оркестр, и всех своих партнеров, что репетиции и спектакли при его участии стали проходить без всяких небрежностей.

Работать он любил в одиночестве, по ночам, ложась спать только поутру, когда город начинал уже свой трудовой день.

Своим наставником в искусстве пения, как писал С. Н. Дурылин, Шаляпин называл русский народ с его песнями.

— К пению,— говорил он,— меня поощряли простые мастеровые русские люди... Ведь русские люди поют с самого рождения. От колыбели, от пеленок. Поют всегда... Пели в поле, пели на сеновалах, на речках, у ручьев, в лесах... Вот почему я так горд за мой певческий народ.

Но вот не стало и Шаляпина... Остались только граммофонные пластинки с его голосом, но они дают слишком недостаточное представление о том, чем он был на самом деле. Остался еще безмолвный фильм пьесы «Псковитянка», где Шаляпина можно увидеть в роли Ивана Грозного и хоть несколько почувствовать силу его игры. Но все это не то, и далеко — не то...

Говорят, остался еще звуковой фильм «Дон Кихот» с Шаляпиным в заглавной роли, но мне не приходилось его слышать и видеть, и сказать о нем я ничего не могу.

Умер Шаляпин в 1938 году за границей. Но последняя, предсмертная его мысль была о родине.

— Где я? — говорил он уже в бредовом состоянии.— В русском театре? Чтобы петь, надо дышать. А у меня нет дыхания... В русский театр! В русский театр!..

С этими словами и умер великий артист. Именно то, что слова эти были последними, за минуту до смерти, и выражает его истинное отношение к родине, несмотря ни на что.

Рахманинов пережил своего друга Шаляпина ненадолго. Как пианист, как дирижер и композитор он был восторженно оценен в Европе и в Америке.

В годы Отечественной войны он организовал в Нью-Йорке большой концерт и всю выручку с этого концерта, около пяти тысяч долларов, переслал через советского генерального консула, на помощь русским, пострадавшим от войны. На эти деньги был оборудован отличный рентгеновский кабинет и передан со следующей скромной припиской:

«От одного из русских посильная помощь русскому народу в его борьбе с врагами. Хочу верить и верю в полную победу.

*Сергей Рахманинов. 25 марта 1942 г.»*

## III

С Москвиным я познакомился полвека тому назад. Ему, двадцатитрехлетнему актеру, только что попавшему из провинции на службу в московский частный театр Корша на маленькие водевильные роли, было

предложено его бывшим учителем по драматическим классам филармонии, Немировичем-Данченко, перейти в новый театр. Театр этот он и Станиславский, известный «любитель»,— как именовались тогда все не профессионалы,— играющий с своей труппой в Охотничьем клубе, имеют в виду организовать в ближайшее время. Театр будет называться «Общедоступным».

Молодой актер, еле устроившийся в Москве, задумался, боясь уходить от Корша.

— Эти любители, того гляди, в три месяца прогорят с своим «общедоступным» театром, и я останусь на бобах.

Так рассказывал сам Москвин о лестном предложении своего профессора и о своем серьезном колебании, хотя ничтожные водевильные роли мало что сулили ему в будущем.

— Немирович очень тянет меня к себе и даже заручился письмом от Корша, что тот в случае прогара Общедоступного возьмет меня обратно к себе,— сообщал Москвин своим друзьям, не зная, на что решиться.

А задумываться было над чем. Сын бедного часового мастера, посланный отцом для будущего заработка на бухгалтерские курсы, юноша Москвин, увлеченный театральным искусством, попытался вместо бухгалтерии держать экзамен в школу Малого театра, но крупный и прославленный артист и режиссер того времени А. П. Ленский не счел возможным принять его. Тогда Москвин решил попытать счастья в другом месте и пошел экзаменоваться в школу филармонии, куда и был принят. Но через полгода профессор Немирович-Данченко ему сказал:

— Из вас вряд ли что выйдет. Уходите из школы.

Но увидев, как побледнел юноша, добавил:

— Впрочем, оставайтесь еще на полгода. Посмотрим.

И вот в эти полгода Москвин делает такие успехи, что становится заметным учеником. Верное толкование пьесы и раскрытие индивидуальных качеств учащихся — вот что было здесь положено в основу преподавания; не копии по хорошим образцам, не подра-

жание крупным актерам, а собственное творчество, исходящее от жизни,— вот на что было обращено главнейшее внимание.

Благополучно окончив курс, Москвин уезжает в провинцию, затем участвует в гастрольной поездке в Тамбов с знаменитой артисткой Малого театра Г. Н. Федотовой.

— Здесь я впервые узнал,— рассказывает Иван Михайлович,— что значит правда на сцене, настоящая правда, которая заставляет жить со мною вместе одним чувством весь зрительный зал.

И эту великую, настоящую правду он пронес через всю свою артистическую жизнь.

С гарантийным письмом от Корша, что в случае краха Общедоступного театра он будет принят обратно, Москвин и поступил в будущий Художественный театр. Здесь, на открытии первых репетиций, он выслушал знаменательные слова «любителя» и великого энтузиаста Станиславского, призывавшего всех участников подойти к новому делу «с чистыми руками», как к делу не частному, а общественному, и посвятить этой высокой цели свою жизнь.

Эти слова навсегда остались в душе молодого Москвина. Он весь отдался предстоящему новому делу, с отношением не профессиональным, а скорее идейным и жертвенным, равно как и многие другие его сотоварищи.

На первом же спектакле, в день открытия Художественного театра, Москвин в ответственной и чрезвычайно трудной роли царя Федора настолько захватил внимание и чувства всех зрителей, дал такой трогательный образ человека, желающего всем добра, но попавшего не на свое место, человека кроткого, любвеобильного, но вокруг которого против его воли творится зло и насилие, что зрительный зал ловил каждое его слово, понимал каждое движение его души. И все единогласно признали в молодом, не ведомом никому Москвине крупного артиста.

Много лет прошло с тех пор — чуть не полвека. И вот я вижу того же Москвина в той же роли царя Федора, но уже в день семидесятилетия этого замечательного русского актера, за которым числятся значительные победы и достижения в области театрального

искусства, образы которого бесконечно разнообразны и всегда полны настоящей жизни и правды. Не то благодушный, не то лукавый старик Лука в «На дне», и ханжа Опискин, и безобразник Хлынов в «Горячем сердце», и мятущийся духом униженный и оскорбленный человек Снегирев в «Карамазовых», и множество иных замечательных образов прошло перед нами в исполнении Москвина. Но трогательно было видеть его снова в роли Федора, чей образ пронесен был им через целую жизнь. И сколько нового и мудрого было в этом образе, подсказанном житейским опытом, сколько благостного и душевного внесено было в этот трагический образ безвольного и неспособного самодержца всея Руси. У него и голос звучал теперь по-новому, чуть нараспев, от которого веяло стариной и церковностью, характерной для Федора, любителя звонить на колокольне, которого Грозный царь Иван называл пренебрежительно «пономарем».

Еще не так давно, в сорокалетнюю годовщину смерти Чехова, в 1944 году, мне довелось не однажды участвовать с Иваном Михайловичем в литературных вечерах: я читал свои воспоминания о встречах с Чеховым, а Москвин читал его веселые рассказы. И как читал! Без всякого грима, одною только мимикой он давал полный образ изображаемого человека. Публика покатывалась от хохота, а Москвин был строг и серьезен.

Крупный самородок, артист разнообразный, глубокий и душевный, Москвин был всегда трогательно прост и добр и искренне предан родному искусству.

Оба они — и Художественный театр и Москвин — в памятный вечер 14/27 октября 1898 года стали вдруг знаменитыми. Наутро вся Москва заговорила о них.

Актер и режиссер МХАТ, народный артист СССР, трижды орденоносец, Москвин был избран в 1937 году депутатом в Верховный Совет и всей душой отдавался своим новым обязанностям.

После смерти Немировича-Данченко он был назначен директором Художественного театра. На этом посту и застала его смерть. Скончался он в феврале 1946 года.

## IV

Вспоминается замечательный царь Берендей... Это была первая встреча Москвы с крупнейшим актером нашего времени — Василием Ивановичем Качаловым.

Полвека тому назад, осенью 1900 года, в Художественном театре поставлена была «Снегурочка», пьеса Островского, наполненная красотой русского эпоса. Мощный режиссерский талант К. С. Станиславского выявлен был здесь во всей его силе.

— Весело придумывать то, чего не бывает в жизни, но что существует в народе, в его поверьях, в воображении,— говорил Станиславский, увлекаясь сказочной постановкой. И он создал такой пролог, о котором все газеты и журналы писали, что в театрах «за десятки лет ничего подобного не бывало по силе впечатления».

Понадобилось Станиславскому изобразить в прологе леших, и он не задумался изобразить их в виде пней с торчащими во все стороны ветвями. Сначала и подумать и подозревать нельзя было, что это не самые обыкновенные пни, а когда они вдруг начинали шевелиться и двигаться, то действительно в зрительном зале становилось как-то жутко. И когда вспомнишь лешего казенной сцены, одетого в меховой фрак, то чувствуешь, как далеко ушел Станиславский от традиционных постановок.

Лично мне довелось присутствовать на первом представлении «Снегурочки», когда молодой в то время МХТ помещался еще в театре «Эрмитаж» в Каретном ряду.

С особой ясностью вспоминается мне теперь второе действие этого прекрасного спектакля. В начальных сценах пролога и первого акта участвовали артисты, уже ставшие известными за два года существования Художественного театра, как Лилина, Андреева, Москвин, Вишневский... После леших, после Весны и Мороза в полночном лесу, после веселой народной толпы мы увидели палаты царя Берендея, этого — по словам Станиславского — эстета, философа, покровителя искусств, молодежи и их страстной и чистой любви к прекрасным девушкам-берендейкам, в сердцах которых бог Ярило зажигает весной бурные страсти...

Высокий, стройный и красивый старец с длинной белой, почти серебряной бородой расписывает кистью одну из колонн своего строящегося дворца, в окружении приближенных, также работающих по художеству,— кто на полу, кто на подоконнике, кто в люльке под потолком выводит сусальные звезды... Со сцены раздается чудесный, исключительный по красоте голос артиста. Зрительный зал насторожился. Помню, и я невольно заглянул в программу, бывшую у меня в руках: кто это?.. Напечатано: «Царь Берендей — г. Качалов».

Имя, не встречавшееся мне никогда раньше.

— Не все у нас благополучно,— говорит царь своим очаровательным голосом.— Сердит на нас Ярило... Сердечности любовной не вижу я давно у берендеев, исчезло в них служенье красоте... Не вижу дев задумчивых...

В ответ Берендею докладывают, что в селе появилась красавица Снегурочка, что восточный гость Мизгирь изменил уже своей невесте Купаве, что обижено этим девичье сердце, нарушена клятва.

Приходит и сама Купава к царю с жалобой на изменника.

— Сказывай, слушаю. Сказывай, умница,— раздаются ласковые слова Берендея.— Сказывай, сказывай!..

Чудесный, обворожительный голос вызывает обиженную девушку на откровенность.

— Встретилась с юношей, роду Мизгирьева...

— Знаю, красавица.

— Парень-то ласковый. Надо ль любить его?

— Надо, красавица.

Голос царя Берендея переходит из говора почти в пение.

Зрители очарованы. В антракте только и разговоров, что о Качалове:

— Вот артист! Вот находка для Художественного театра!

Герои вечера — Станиславский как замечательный режиссер и Качалов как новый замечательный артист.

Та же «Снегурочка», в том же сезоне поставленная на казенной сцене «Нового театра», не выдержа-

ла сравнения, и победа осталась за Художественным театром.

С этого вечера имя В. И. Качалова заблистало в искусстве.

Монологи Берендея, его сцена с Купавой и со Снегурочкой, его суд над изменником Мизгирем и приговор об изгнании с каждой минутой все более поднимали настроение в зрительном зале. Со сцены веяло такой очаровательной простотой и красотой, что все восторженно и долго рукоплескали режиссеру, артистам и молодому дебютанту, еще час тому назад никому не ведомому в Москве Качалову, вскоре ставшему любимейшим артистом.

А за несколько месяцев перед этим победным вечером тот же Качалов, приехав из провинции на службу в Художественный театр, читал здесь в виде пробы отрывки из ролей Грозного и Годунова, желая блеснуть перед Москвой своими успехами в Казани. Но заслужил такой приговор Станиславского:

— Нет. Мы чужие друг другу люди. Мы говорим на разных языках.

Все эти месяцы Качалов ежедневно посещал репетиции, всматривался в актеров, вдумывался в то особенное, что составляло самую суть Художественного театра. Никаких ролей ему предложено не было, и он, несмотря на годовой контракт, оставался совершенно бездеятельным и чужим. Но он целые дни просиживал на репетициях «Снегурочки», слушая возгласы и замечания режиссера, молчал и думал, пока однажды не предложил ему Станиславский попробовать роль Берендея.

— У нас ничего не выходит из Берендея. Все пробовали — не ладится. Попробуйте хоть вы.

И Качалов попробовал.

После первых же монологов и сцены с Купавой раздался взрыв аплодисментов репетирующих актеров, и Станиславский, сияя от радости, обнял его и воскликнул:

— Вы — наш! Вы всё поняли! У нас теперь есть царь Берендей!

С этого и началась слава В. И. Качалова.

Он исполнял самые ответственные и ведущие роли, разнообразные и многочисленные, и всегда был на исключительной высоте.

Когда он был уже знаменит, ему было предложено, на условиях крайне заманчивых, перейти в иной театр. Но Качалов ответил отказом.

«Станиславский,— писал он в ответ,— разбудил во мне художника, он показал мне такие артистические перспективы, какие никогда мне и не мерещились, какие никогда без него не развернулись бы передо мной. Это дорого, это обязывает, это вызывает благодарность».

Все это так характерно для прекрасного нравственного облика Василия Ивановича Качалова, для его огромного артистического, кристально чистого и честного имени.

## V

В жизни Александр Родионович Артемьев, на сцене Артем, прослужил в Художественном театре шестнадцать сезонов со дня первого спектакля, в котором он участвовал в роли Курюкова в «Царе Федоре». Артем — не только артист в буквальном смысле этого слова, а редкая художественная индивидуальность, которые рождаются единицами. Конечно, его роли будут хорошо играть другие артисты, но так играть, как Артем, никто не будет, ибо творчество его было полно оригинальности. «Комизм Артема, выливавшийся ярко в жесте, мимике, не был сух и груб, а сдабривался чертами, ему одному свойственными, претворяясь в истинно художественное творчество» — так характеризует его К. С. Станиславский, с которым они когда-то в ранней юности выступали вместе на подмостках любительской сцены в «Лесе».

Станиславский играл Несчастливцева, а Артем — Аркашку. По словам художника М. В. Нестерова, он играл Аркашку так потрясающе хорошо, что, по настоянию Ермоловой, ему предложено было поступить на сцену Малого театра на амплуа только что умершего тогда Шумского. Но для этого нужно было оставить службу в гимназии, где Артем был учителем чистописания, да и жена отговаривала: «Театр дело неверное; выслужи сначала пенсию, тогда и поступай в театр». И Артем остался учителем, но любимого дела своего не бросал и подвизался на любительских сценах вплоть до основания МХТ, куда он вступил с

первого дня его основания в возрасте пятидесяти семи лет и ушел из него и одновременно из жизни семидесятидвухлетним стариком. Умер он 29 мая 1914 года. Очень любил его и ценил А. П. Чехов, считал Артема выдающимся исполнителем ролей русского репертуара. К театральной работе Артем относился с щепетильной аккуратностью, никогда не опаздывал на репетиции, никогда не являлся, не зная роли, а ролей он переиграл много. Встреча с Чеховым и работа в Художественном театре дали Артему материал для создания специфически «артемовских» ролей чеховского репертуара. Исполнение Артема, в свою очередь, влияло и на творчество Чехова: Фирс «Вишневого сада» был задуман и написан — по Артему и для Артема.

Говорят, что юноша Артемьев начал свою карьеру с должности истопника в петербургской Академии художеств. Очень нуждаясь, он всегда соглашался быть натурщиком и так, живя среди учеников, в их обстановке, в их кругу и богеме, стал увлекаться живописью и сам начал рисовать пейзажи и раскрашивать фотографии,— тогда была в моде так называемая «гелиоминиатюра»; и вот его пригласили в Москву в крупную фотографию для такого раскрашивания. Здесь он поступил в школу живописи, выбиваясь из тисков нужды всеми силами. Вскоре его можно было увидеть в дружеской беспечной компании молодых художников: Коровина, Левитана и Симова. Из них вышли крупные художники, а Артем оставался как бы в тени. Но и в нем жил высокий художник, в иной только сфере — актерской. И этот дар выявлялся в нем сначала в простых россказнях для приятелей сценок и анекдотов, потом в любительских спектаклях, и, наконец, талант его достиг своего расцвета и завершения под старость уже на сцене Художественного театра.

## VI

Георгий Сергеевич Бурджалов, инженер по образованию, родился в Астрахани в 1869 году и умер в 1924 году 10 декабря. По окончании местной гимназии он приехал в Москву, поступил в Инженерное училище и начал играть в любительских спектаклях. Затем

Бурджалов стал участником Алексеевского кружка и Общества искусства и литературы. В Художественном театре он выступает в основной его труппе с 1898 года в наиболее заметных ролях, выполняя их с истинным артистическим талантом.

Театру Бурджалов был полезен не только своей актерской деятельностью, он был еще очень ценен как человек безукоризненный и преданный энтузиаст. Что бы ни затевалось — общежитие ли в Пушкине, касса ли взаимопомощи, колония ли для артистов в Крыму или лазарет для раненых,— Бурджалов являлся первым осуществителем, стараясь всех сблизить и подружить. По словам Станиславского, театр потерял в нем дорогого человека, которого трудно заменить.

Он был первым инициатором музея МХАТ, в котором теперь собрано много ценных коллекций из истории театра. Когда в Астапове умер Л. Н. Толстой, по мысли Бурджалова, эту историческую комнату с тенью Льва Николаевича на стене зарисовывает художник В. А. Симов, и затем толстовский музей устраивает у себя по этой зарисовке знаменитую теперь «Астаповскую комнату».

Бурджалов был одним из учредителей четвертой студии МХТ и ее вдохновителем до последних дней своих. Он записывал на валиках фонографа для звуковых эффектов рычание зверей в зоологическом саду, что пригодилось для спектакля «Юлий Цезарь», для его римского войска. Записывал шум ветра, лай собак, пение птиц, пастушью свирель — для иных пьес или просто на всякий случай.

Среди артистического мира, и особенно среди деятелей МХТ, он пользовался самым глубоким уважением и общей любовью как человек прямой и правдивый. Умер он почти внезапно, еще полный энергии и стремления к деятельности.

## VII

Бутова Надежда Сергеевна — крестьянка Саратовской губернии. С восьми лет она осталась сиротой и ходила босая и в драном пальтишке. Она умела ткать и прясть и знала всю крестьянскую работу, но

в школе шла первой, и крестьяне решили отвести полоску земли, чтобы всем миром отрабатывать ее «на сиротское счастье» — на продолжение ее учения. И вот по окончании училища Бутова приехала в Москву с тремя рублями в кармане... Это была настоящая волжская красавица.

Рослая, сильная, свежая, с яркими голубыми глазами и великолепными вьющимися каштановыми волосами — такой вспоминалась она своему личному близкому другу писательнице Т. Л. Щепкиной-Куперник. В. И. Немирович-Данченко говорил, что, когда она пришла к нему в школу, в филармонию, это была рослая, плотная крестьянская девушка, прошедшая всего несколько классов грамоты. Она отдалась театру со всем пылом прекрасной и здоровой натуры и со всей самоотверженностью. Скоро поняла она, какая громадная связь между искусством и культурой собственной личности, и занялась самообразованием так, как это делают единицы из сотен тысяч. Личная ее жизнь была замкнутой, и мало кто знал ее, но это была жизнь, полная глубокого содержания. Если бы кто-нибудь познакомился с ее блестящим литературным изложением, огромной осведомленностью и пылкой отзывчивостью на самые глубокие идеи, то изумился бы тому, что может сделать человек с собой на протяжении двенадцати — пятнадцати лет.

Бутова унесла с собой не много образов, но кто знаком с спектаклями МХТ, тот не забудет ее проникновенного таланта, яркого, красочного своеобразия сыгранных ею ролей. Это было то, что называется праздником искусства.

Болела Бутова давно; какой-то скрытый недуг подтачивал ее силы. Скончалась она в 1921 году 21 января. Имя ее появляется впервые на программах МХТ с 1900 года, сначала как ученицы филармонии и в дальнейшем как артистки, значение которой ценилось и театром, и публикой, и прессой.

## VIII

Савицкая Маргарита Георгиевна вошла в труппу МХТ в 1898 году — прямо из драматической школы, когда театр только зародился. До этого она три года

пробыла в филармонии на драматическом отделении по классу В. И. Немировича-Данченко, а еще ранее жила в Казани, где была народной учительницей, затем преподавала в частной школе, потом в казанской гимназии вела класс по русскому языку и словесности. Но это не удовлетворяло ее, не могло захватить. Повинуясь своему истинному призванию, она инстинктивно рвалась в Москву, подобно чеховским «Трем сестрам», одну из которых, Ольгу, она так чудесно играла. В 1895 году она приезжает в Москву и держит экзамен в императорское театральное училище. Там не находят в ней никакого таланта. Но это не обескураживает ее. Она идет в филармонию, к В. И. Немировичу-Данченко, который и зачисляет ее на первый курс. И вот что через год мы читаем среди отзывов по первому курсу: «Прекрасная дикция; одна из самых усердных учениц; фигура не совсем сценическая и голос иногда слишком низкий; глаза выразительные; чтение чрезвычайно толковое и не лишенное темперамента». Еще через год о Савицкой уже пишут: «Отличные для сцены глаза, дикция прекрасная, большой голос, безукоризненная отчетливость; темперамент есть, и сильный». Еще через год, уже на третьем курсе: «Большой, красивый, исключительно богатый голос и прекрасные глаза — ее яркие внешние достоинства; и темперамент сильный; одна из тех актрис, которые всегда выигрывают в спектакле, по сравнению с репетициями, где они чувствуют себя связанными; добросовестность исключительная, такова же и интеллигентность...»

За двенадцать сезонов театрального служения Савицкая переиграла множество ролей. Особенный успех имело ее выступление в царице Ирине («Царь Федор»). Во время ее выступлений в Берлине и Праге ее забрасывали цветами, газеты отзывались о ней как о выдающейся европейской артистке, а знаменитые немецкие драматурги, Зудерман и Шницлер, писали ей восторженные приветствия.

Но она оставалась все тою же «скромнейшею из скромных». В простом платье темных цветов, с зачесанными назад волосами она напоминала скорее учительницу, чем актрису. В МХТ она имела всегда облагораживающее начало: в ее присутствии смолкали недружелюбные пикировки и фривольности. В день ее

погребения, 9 апреля 1911 года, на многочисленных венках были надписи: «Светлой, родной», «Чистой душе», «Светлой памяти»... А товарищи артисты принесли от имени МХТ огромный венок из живых цветов, выше человеческого роста, перевитых бледно-зеленой широкой лентой, на которой серебром было выткано: «Тихому, ясному свету, сиявшему нам на всем пути нашем»... Эти слова были от всего Художественного театра, которому Савицкая была действительно близка и родна и который сама нежно любила и относилась с благоговением.

## IX

Нередко вспоминается мне чудесная итальянская актриса Элеонора Дузэ, имевшая в моей юности огромное на меня влияние как артистка совершенно исключительная и не похожая ни на каких иных приезжих знаменитостей. В ее игре была сама жизнь. В пьесе «Дама с камелиями» это была очаровательная страдающая женщина, искренняя, милая, погибающая от своей любви к Арманду и от навязанного ей призрачного долга перед чужой семьей.

Трагедия женской души, такой прекрасной и честной, выявлялась Дузэ с необыкновенной силой. Не понимая ни слова по-итальянски, я все понимал, когда она говорила, жила, страдала. Никакой театральной «техники» не чувствовалось в ее исполнении, как, например, у Сары Бернар, тоже знаменитой и примерно в те же годы бывавшей у нас в Москве. У Дузэ были жизнь, чувство, искренность, и я, в то время еще юный зритель, был в полном смысле увлечен и очарован.

Прошло немало лет, и Дузэ снова приехала в Москву. В это время я был уже директором Литературно-художественного кружка, и мне было поручено на одном из спектаклей — как раз «Дама с камелиями» — приветствовать ее и поднести ей от кружка золотой венок. Дело было за кулисами во время антракта. Я что-то говорил ей по-русски, она отвечала мне что-то по-итальянски, положив на мое плечо руку. Но мы поняли друг друга.

С тех пор я ее уже более не видел.

Вскоре она исчезла и навсегда погибла для театрального искусства, где была так велика и очаровательна. Трагедия женской души, изумительно показанная ею на сцене, теперь внедрилась в ее личную жизнь. Она решила покончить все и уехать в Венецию, охваченная душевным недугом, так называемой «смарой» — венецианским сплином: грустью прошедшего, горечью настоящего и неизвестностью будущего. Она решила уйти в маленькую комнатку под самой крышей дома, чтобы забыть о мире и славе и о земных благах. Она говорила:

— У меня великое богатство в том, что я не ищу богатства.

Дочь бедного странствующего актера, Дузэ родилась в 1859 году в вагоне, на ходу поезда. Бедность, холод, недоедание окружали девочку с первых же дней ее жизни. Оставаясь одна весь вечер до конца спектаклей, она, боясь темноты, вылезала на крышу дома, дрожа от озноба и ужаса перед тьмой. Эта «смара», уже тогда овладевшая душою ребенка, наложила свою печать на всю ее жизнь.

С двенадцати лет она начала играть на сцене, а в двадцать лет успешно выступала в театрах Неаполя и Турина. Позднее — в поездках в Россию, Америку, Англию, Париж — ее сопровождал великий успех и триумф. Но все кончилось тем, что «смара» задушила огромный артистический талант.

Когда я вспоминаю о нашей последней встрече, мне невольно рисуется образ чудесной актрисы с чутким и простым сердцем, со странными прекрасными большими глазами, охваченной до глубины души «грустью прошедшего, горечью настоящего и неизвестностью будущего», у которой к концу ее жизни осталось одно великое утешение и истинное богатство:

— Не искать богатства!

## X

Жил-был актер — по сцене Россов, а в жизни Николай Петрович Пашутин. Он странствовал по всей России, был известен и даже знаменит до некоторой степени. Набирал свою труппу и ехал на юг, на се-

вер, восток и запад. Репертуар его был исключительно классический — Шекспир, Шиллер... Несомненно, он любил всей душой искусство, хотя понимал его несколько по-своему, но честно, рыцарски. Мне никогда не доводилось видеть его на сцене. Говорят, исполнение его бывало очень условно и неровно; одним нравилось, иным — нет, но и те и другие ценили в нем чистоту и искренность его толкований. Во всяком случае, в свои молодые годы это был оригинальный и заметный артист.

Я стал знавать его уже стариком, пережившим не только былую известность, но и не знающим, куда склонить свою старую, когда-то гордую голову.

Он пришел ко мне в конце двадцатых годов в музей Художественного театра, где я работал в качестве директора. Пришел — бедный, забытый, пришел не за какими-нибудь благами, но, по его выражению, пришел как «к писателю — за добрым словом»:

— Поговорить об искусстве!

Только в этом одном и была цель его посещения: поговорить не об актерах, не о театре, не о капризах судьбы, но — об искусстве.

Это был рослый, сухощавый старик, довольно стройный, с бритым лицом и чуть розовыми щеками; волосы были седые, а глаза голубые и ясные. Одет он был в то время еще порядочно, и белый шарфик мягкими складками лежал от горла до половины груди.

Я лично считаю себя глубоким стариком, а Россов был еще старше меня. Интересно, что этот отживший артист, чья деятельность была, безусловно, кончена, все еще жил какими-то надеждами, потому что горячо любил искусство, классическую литературу, боготворил Шекспира и к современному актерству относился по-стариковски, скептически, как к заболевшему самообожанием.

— Ложный путь! — говорил старик.— И ненадежный! Кто любуется самим собою, тот не любит искусство. А раз нет искренней любви, то и все дело в таких руках ничего не стоит.

Себя он любил называть не актером, а «комедиантом», придавая этому слову какое-то особое и возвышенное значение.

Он нередко стал заходить ко мне, но всегда ненадолго, минут на десять — пятнадцать. Изольет передо мной свои горести, вздохнет о том, что среди актерской братии, как он выражался, было слишком мало «искателей идеалистической окраски ролей» и уйдет куда-то — одинокий, забытый, ненужный...

Человек он был культурный, много читавший, много писавший в свое время в журналах критических статей по вопросам искусства. Но все это уже пережило свой срок.

В начале 900-х годов, когда Художественный театр задумал ставить «Юлия Цезаря» и искал актера, которому можно было бы поручить роль Брута, А. А. Стахович указал на Россова — бродившего по городам известного трагика-гастролера. Возник вопрос о приглашении его на эту роль как «искателя возвышенного и героического».

Немирович-Данченко встретил его в театре очень внимательно и радушно.

— Но,— сказал он,— раньше вы приглядитесь к нам, познакомьтесь с нашей системой. Совпадут ли наши взгляды и вкусы?

По словам самого Россова, на одной из репетиций, где он присутствовал в качестве зрителя, он был «ошеломлен и очарован», по его собственному признанию, «импровизационной техникой» Немировича-Данченко, который вначале отсутствовал; до его прихода актеры бились, бились над одним местом — ничего не выходило, не ладилось. А Немирович, как только вошел, сразу все распутал, и дело пошло как по маслу.

Однако, как ни приглядывались один к другому Россов и Художественный театр, роль Брута отдана была не ему, а Станиславскому. Театр и актер не сошлись. Но, несмотря на это, Россов до конца дней своих считал МХАТ единственным настоящим театром — храмом действительного искусства. Ни тени обиженного самолюбия. Любовь истинного артиста к искусству была у Россова превыше всего.

О себе он рассказывал немало горького, особенно в последний год своей жизни:

— Я, как актер транса и вдохновения, всегда играю разно: «или, или...». Это дает право говорить обо

мне что угодно. Бывал успех стихийный на сцене, бывали и падения. Никто же не обязан ждать вдохновенных актерских минут!

Незадолго до его смерти я встретился с ним на улице. Он остановил меня, взял за руку и молчал. Потом поник головой и проговорил почти шепотом:

— Все кончено!.. Последнее выступление мое под Москвой решило мою судьбу. Это было в Перове. Я был совершенно больной. От безобразных нервов меня внезапно скрючило, пригнуло к земле. Произошел невероятный ужас: я моментально забыл всю роль Отелло — от первого слова до последнего. Нужный момент пропал, был упущен, и я навеки потерял все. Все!

Между прочим, в руках у него была тетрадь-черновик с воспоминаниями о Немировиче-Данченко. Я взял эту тетрадь и сказал, что хотел бы купить ее для нашего музея. Он был рад, что рукопись попадет в музей, но оплатой был смущен:

— При чем тут деньги?! Это же писано от души.

Я его успокоил:

— Как со всеми иными поступает в таких случаях музей, так должно быть поступлено и с вами.

На другой день МХАТ переслал ему надлежащую сумму за эту небольшую рукопись, чтобы оказать хоть чем-нибудь старику поддержку.

Но все это уже не помогло ему. Бывший «комедиант», «актер транса и вдохновения», неугомонный «искатель возвышенного и героического» в искусстве и в жизни перестал жить.

## XI

Говоря о Художественном театре, я во многих местах вспоминаю попутно о таких крупных деятелях, как К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко, не решаясь писать о них подробно, так как значение их и жизнь их в искусстве общеизвестны. Однако всякий раз, когда заходит речь о МХАТ, невольно хочется сказать хоть несколько слов о личных встречах и впечатлениях.

Перед раскрытой могилой в день похорон Станиславского в 1938 году Немирович-Данченко произнес

слово, замечательно верное и глубокое по чувству и мысли. Он говорил, что Станиславский имел гениальную способность вести за собой других людей так, что человек действительно отдавался искусству весь, целиком, отдавал ему всего себя и всю свою жизнь.

Все те артисты и работники, которые начинали дело Художественного театра, все они беззаветно вложили в любимое дело свои жизни, как прежде всего и сам Станиславский. Года через два принесли сюда же свои жизни Качалов и Леонидов. Это был первый пласт, охваченный напряженной волей Станиславского к созиданию искусства благородной красоты, реально честного, глубоко правдивого искусства, захватывающего все существование артистов. Это стихийное стремление отдавать себя всего целиком делу осуществления глубоких идей, которые его волновали, это жертвенное отношение, охватившее всех остальных, и было самым подлинным залогом успеха Художественного театра.

Не только актеры, как ближайшие созидатели успеха и славы, но и люди, приглашаемые для выполнения специальных задач, как декоратор Симов, как композитор Сац, как в дальнейшем архитектор Шехтель,— все они тоже отдавались целиком общему делу и по призыву и примеру Станиславского свое творчество сливали воедино с творчеством театра.

И Симов и Сац, увлеченные истинным искусством, отдали свои силы и свои дарования театру и помогли создать, каждый в своей сфере, то замечательное, что отличало МХТ от всех иных театров.

В истории Художественного театра художнику Симову Виктору Андреевичу принадлежит значительное и почетное место. В декоративном искусстве он явился не только новатором, но и, бесспорно, создателем стиля МХТ. Знаток и любитель русской старины, он дает замечательное оформление первой постановке театра в «Царе Федоре»; в пьесах Чехова он чувствует и ощущает то новое и характерное, что они несут, и создает обстановку, наполненную необходимым содержанием и настроением, как в «Чайке», «Дяде Ване», «Трех сестрах», «Иванове», «Вишневом саде». Когда театр ставит «Снегурочку», Симов едет на Крайний Север, к Архангельску, и привозит оттуда

зарисовки видов, характерных народных сцен, подлинные народные одежды, уборы, материи, а также подлинного идола, замечательно сделанного рукой неведомого лопаря. И все это дает нечто небывалое и невиданное на театральных сценах. Для пьесы «На дне» Симов идет ночью в трущобы Хитрова рынка и затем подносит театру не только внешний образ ночлежки, но и внутреннее содержание этого образа. Замечательные декорации в «Юлии Цезаре»,— как улица Рима, сенат, поле битвы,— навеяны поездкою в Рим и в Помпею. Он умел разрешать самые сложные проблемы реальной театральной постановки, как бы ни были они загадочны по замыслу. У него не было ни на что ответа: «нельзя»; был один ответ: «надо».

Он интересовался не только декорациями, но и самой пьесой, ее толкованием, режиссерскими и актерскими заданиями; он умел, когда нужно, приносить и самого себя как художника в жертву общей идее постановки.

— На наше счастье, в лице Симова мы нашли художника, который шел навстречу режиссеру и актеру,— говорил о нем Станиславский.— Он являл собою редкое в то время исключение, так как обладал большим талантом и знанием не только в области своей специальности, но и в области режиссуры.

С открытия Художественного театра в течение десяти сезонов Симов был единственным декоратором МХТ и дал оформление тридцати семи пьесам. Это был не только одаренный и уважаемый художник, но и близкий друг театра — что называется, «свой человек», и не напрасно на его юбилее говорил ему Москвин от лица «стариков артистов МХАТ»:

— Ты тридцать пять лет дышишь с нами одним воздухом искания большой правды в искусстве, для которого ты так много и талантливо поработал...

Композитор Сац Илья Александрович также был для Художественного театра замечательным работником, слившим свое творчество с творчеством МХАТ.

Не успев закончить свое музыкальное образование, Сац в ранней молодости по политическому делу попадает на несколько лет в Сибирь. Но и там, востор-

женный поклонник музыки и сцены, организует огромный хор, оригинальный по составу певцов: частью из ссыльных, частью из представителей власти, из крайних бедняков, с одной стороны, и местных богачей — с другой, и устраивает в Иркутске грандиозный концерт.

По возвращении в Москву знакомится со Станиславским и начинает давать по его предложениям музыкальные иллюстрации к постановкам МХТ. Его работы к пьесам «Драма жизни», «Жизнь человека», «Синяя птица», «Анатэма», «Мизерере», «У жизни в лапах», «Гамлет» в полной мере подтверждают о нем мнение как о человеке высокого дарования. Как и при каких условиях приходилось ему творить, лучше всего дают представление рассказы его спутников и современников по театру.

Сацу говорит режиссер: «Вот тут во время диалога нужна музыка; отсюда и досюда в музыке должно чувствоваться мучительное влечение одной души к другой — порывистое и страстное влечение; а другая душа, как змея, ускользает от нее. Диалог может длиться минуты четыре, четыре с половиной... А вот в этом месте музыка должна стихнуть, быть еле слышной, потому что вот эти четыре строчки ведутся шепотом; и чтобы музыка не длилась ни секунды дольше, как вот до этих слов, иначе пропадет вся сцена».

И Сац чувствовал и учитывал сам каждую сценическую секунду; для него эти жесткие ограничения не были стеснительны. И театр видел в Саце действительно «своего», смотрел на него как на желанного участника каждой постановки, знал, что Сац участвовал в создании пьесы шаг за шагом, понимая и переживая все подводные течения чувств, настроений и темпа, в которые в конце концов выливалась пьеса.

Для достижения необходимых настроений Сац прибегал нередко к исключительным мерам: иногда заставлял хор петь с закрытыми ртами, присоединял к оркестру шуршание брезентов, применял медные тарелки, ударами воздуха из мехов заставлял звучать гонг — и добивался, наконец, надлежащего впечатления. Нежные, почти «неродившиеся» мелодии «Синей птицы» и изысканно-томительная полька в «Жизни

человека», трагический вальс погибающих «У жизни в лапах», и рыдающая музыка «Мизерере» или гамлетовский марш и многое другое, что бросал в публику среди пьес сацовский оркестр, где-то в тайниках сцены затаившийся от нее,— все было эстетически огромно и все же не договаривало чего-то до конца; томило скорее, как намек, волновало, как предчувствие. В польке на балу «Человека» никому не услышится полька, а услышится глубочайшая, последняя тоска человека. Не услышится и свадебного вальса в «Мизерере», потому что под каждым тактом этого единственного в музыкальной литературе вальса слышится трагилирический аккорд, вопль несчастной любви человеческой.

Надо ли театру написать музыку к «Синей птице», где должно вскрыть тайники наивного детского сердца, где нужно найти музыку для превращения душ воды, огня, хлеба, собаки, кота,— и Сац целыми часами льет воду на железные листы, ходит на мельницу, прислушивается к каплям дождя и, уловив самую жизнь и суть этих явлений, в своей музыке передает именно ее, эту жизнь, а не сопровождающие ее звуки. Вместе с детьми он бродит по полям и лесам, танцует и поет с ними, выдумывает вместе с ними игры и песни — и это общение с детской душой дает ему прекрасный по изяществу и наивности мотив для первого акта «Синей птицы». Для музыки к пьесе «Анатэма» Сац бросается в еврейские города юго-западного края, знакомится с канторами синагог и местными музыкантами, посещает еврейские свадьбы и из всего этого извлекает то ценное и типичное, чем захватывающе полна в музыкальных иллюстрациях вся драма. Работая над музыкой для «Драмы жизни», Сац мало-помалу выбрасывает всю середину оркестра и оставляет для достижения нужного впечатления только края оркестра: флейту и контрабас, скрипку и барабан, вводит английский рожок и валторну с сурдинкой, и оркестр в таком составе, исполняющий сложные широкие темы, полные неожиданных модуляций, звучит зловеще, порой до жуткости мрачно.

Обо всем этом с любовью рассказывают его сотоварищи и современники по театральным работам. И не только сотоварищи, но и весь театр относился к нему так же искренне и сердечно и на прощальном

венке в день похорон Саца написал: «Дорогому товарищу, красоте тревожной жизни, мятежному духу исканий».

Оба они, и Сац и Симов, под влиянием энтузиазма Станиславского так слились с искусством Художественного театра, так восприняли идеи и заветы этого нового, чистого и прекрасного дела, что имена их навсегда будут связаны с мировым значением МХАТ.

Со Станиславским лично я был знаком с 1884 года, когда впервые встретил его юным любителем в одном из домашних спектаклей в знакомой семье. Выступал он тогда в роли Подколесина в гоголевской «Женитьбе». Если не ошибаюсь, он участвовал в пьесе русского классического репертуара тогда впервые. Спектаклем руководил крупный артист Малого театра — Решимов.

Из очень отдаленного прошлого вспоминается мне курьезный, хотя и мелкий случай, как однажды у наших общих знакомых ночевали мы на даче в Одинцове и наутро большой компанией поехали в Звенигород любоваться видами, о которых так много все говорили.

По предложению Константина Сергеевича при осмотре монастыря решили взобраться на колокольню, чтобы оттуда с высоты поглядеть на окрестные дали.

Тут и произошло нечто, заставившее нас поскорее сойти вниз: Константин Сергеевич запутался в колокольных веревках, зацепил головой какую-то петлю, дернул что-то неведомое — и колокола зазвонили в неурочное время.

## XII

Все реже и реже становится круг старых друзей и спутников. Почти уже никого из них не остается в живых. В 1945 году умер Викентий Викентьевич Вересаев (Смидович), с которым мы были в самых добрых отношениях в течение почти полувека. Мы ровесники с ним. Каждому из нас было лет под тридцать, когда мы впервые встретились в Петербурге, в Обуховской больнице, где он служил врачом.

Как сейчас, его вижу в белом халате спускающимся по широкой каменной лестнице. Мы вместе с Буни-

ным только что приехали из Москвы и пошли к нему по какому-то литературному делу — по какому, сейчас не вспомню. Помню только, что именно здесь, в вестибюле больницы, он сообщил нам, что в настоящее время увлечен работой над большой книгой, которая будет называться «Записки врача», которую он не то уже написал, не то накапливает для нее материалы.

В это время он был уже известным молодым писателем-беллетристом, чьи рассказы появлялись в лучших журналах, и его имя называлось не только в литературных, но и в читательских кругах как многообещающее.

Тогда возлагались большие надежды на трех молодых писателей: Горького, Вересаева и Чирикова. О них везде говорили, их читали, в них верили. Книга Вересаева «Записки врача» наделала много шума и упрочила за автором литературное имя.

Вскоре Вересаев приехал в Москву, где уже существовал наш кружок молодых писателей — «Среда».

По приезде Вересаев, конечно, сделался немедленно членом «Среды» и неустанным ее посетителем. Не однажды и сам он читал нам свои новые произведения, а также с присущей ему прямотой критиковал новинки товарищей.

Время было ответственное. Назревали мало-помалу события, волновавшие молодежь. На наши «Среды» стал нередко наезжать Горький, затеявший в Петербурге издательство «Знание». В первом же сборнике «Знание» участвовала вся наша «Среда», в том числе, конечно, и Вересаев.

К этому времени некоторые из молодых товарищей наших, как Леонид Андреев, Куприн, Бунин, Скиталец, успели создать себе крупные писательские имена, которые вместе с именами Горького и Вересаева загремели по всей стране. Чем туже затягивали правительственные круги петлю на шее народной, чем безответственней вели себя черносотенцы, тем резче проявляла общественность свои протесты.

У нас в «Среде» общественностью ведал главным образом Вересаев, которому все доверяли. Писались от имени «Среды» резкие статьи, подписывались петиции, устраивались публичные выступления. Чем ближе к 1905 году, тем усиленнее проявляла себя «Среда». Мы издавали свои книжки и сборники, а деньги

от них шли на общественные нужды. И в этих изданиях Вересаев всегда принимал близкое участие.

Во время японской войны Вересаев был отправлен в качестве врача в Маньчжурию, по возвращении откуда и поделился с нами своими жуткими воспоминаниями.

Шли годы за годами... Члены «Среды», крепко связанные долговременной дружбой, не расходились в разные стороны. Когда «Знание» замерло, товарищи по «Среде» немедленно основали в Москве «Книгоиздательство писателей», где Вересаев был одно время председателем правления, а каждый из нас по очереди редактировал наши сборники «Слово». Кроме того, и Вересаев и я были много лет членами дирекции Литературно-художественного кружка и вместе делали и там наше общее дело.

На протяжении огромной полосы жизни я встречался с Викентием Викентьевичем постоянно и часто и привык уважать в нем неизменно преданного делу работника, прямого и смелого в правдивости, человека честных и светлых взглядов.

Я не вхожу здесь в оценку его литературных работ, которые говорят сами за себя. Я вспоминаю только наши долголетние товарищеские отношения, что никогда не бывали омрачены никакой размолвкой.

Совсем незадолго до своей смерти он читал мне отрывки из своих новых воспоминаний о некоторых членах нашей «Среды». Мне было непонятно, почему он характеризует одного из старых товарищей только как «Николая Ивановича», не называя его фамилии.

— Ведь это же — Тимковский,— возражал я.— Почему вы не называете его по фамилии?

— Так лучше,— отвечал Викентий Викентьевич.— Я о нем наговорил немало горького.

Ушел спутник чуть не всей моей писательской жизни, человек талантливый и высококультурный, верно и славно прослуживший шестьдесят лет родной литературе.

В течение всей своей жизни он сохранял свою писательскую индивидуальность. Каким был вначале, таким же остался и до конца — прямым и верным, сохранившим до конца дней свое писательское лицо.

## XIII

Сохранить свою индивидуальность, свое лицо в искусстве — будь это литература, музыка, живопись, сцена — считалось большими мастерами искусства в минувшее время очень существенным и важным.

С этим пришли к нам Щепкин и Станиславский, Глинка и Чайковский, Репин и Левитан, Толстой и Горький. Никто из них не угождал временным требованиям сторонних судей или казенным вкусам чиновного влияния.

На этой почве сейчас вспомнился мне родоначальник русского жанра, крупный художник Павел Андреевич Федотов, столетний юбилей со дня смерти которого отмечался в 1952 году. Не знаю, известен ли этот любопытный случай, но мне передавал о нем Я. Н. Жданович (в свое время работавший в архиве Института мировой литературы имени М. Горького), в чьих руках был рисунок Федотова, о котором речь впереди.

Перед Федотовым было поставлено в свое время требование в академических классах, для него весьма затруднительное. На конкурсное испытание дана была общая классическая тема: «Похищение огня с неба».

Имелся в виду, конечно, легендарный Прометей, похищающий огонь у Зевса из его очага или, по иной версии, из солнечной колесницы. Открывался большой простор для фантастических группировок, за что и принялись молодые художники, каждый по-своему, но в пределах казенных требований.

Федотов, однако, остался верен себе. Обязательную тему «Похищение огня с неба» он как жанрист-сатирик в своем рисунке изобразил совершенно оригинально и неожиданно.

Он нарисовал: в мягком кресле в домашнем халате сидит чиновный человек с чубуком в руке. За окном ярко сияет солнце. Чиновник взял лупу и навел через увеличительное стекло солнечный луч на табак, от которого уже начинает виться легкий дымок. В этом он и видел похищение огня с неба, без всякого участия Прометея и Зевса.

Я не знаю дальнейшей судьбы этого оригинально задуманного эскиза. Но он долгое время находился на Украине, в семье Ждановичей, близких знакомых

художника. Портреты некоторых из них работы Федотова общеизвестны.

По словам Вл. В. Стасова, Федотов умер, произведя на свет едва лишь маленькую крупинку из того богатства, каким была одарена его натура. Но эта крупинка была чистое золото и принесла потом великие плоды.

## XIV

Писатель Александр Серафимович Попов — в литературе Серафимович — родился в 1863 году в казачьей семье, а умер в 1949 году. Он прожил долгую и содержательную жизнь и за последнее время считался старейшим советским писателем: ему минуло восемьдесят шесть лет.

В юные годы, еще студентом математического факультета, за написание политической прокламации он был сослан на Дальний Север, к Белому морю, в уездный городок Мезень, где и началась его литературная деятельность рассказом «На льдине». Его первые опыты были напечатаны в московской газете «Русские ведомости»; затем, в дальнейшем, он сотрудничал в лучших наших журналах того времени; а также такие издательства, как «Посредник» и «Донская речь», выпускавшие специально для народа и для деревни в огромнейшем количестве дешевые, копеечные брошюрки, напечатали его рассказы.

Отбыв срок невольного пребывания в Мезени, он приехал в Москву и здесь, рекомендованный Горьким, был привезен Леонидом Андреевым к нам на «Среду» и с тех пор был постоянным ее посетителем. Под своим портретом в день своего восьмидесятипятилетия Серафимович написал мне на память следующее: «Когда оборачиваюсь назад, в прошлое, ярким воспоминанием проступают «Среды» Телешова. Здесь я встретил много ласкового товарищеского внимания со стороны ее членов».

Почти все произведения Серафимовича рисуют быт рабочего народа и невыносимо тяжкие условия труда. Эпохе первой революции 1905 года им были посвящены многие памятные рассказы, как «На Пресне», «Похоронный марш», «Живая тюрьма» и другие, а в

двадцатых годах был создан им знаменитый роман «Железный поток» — одно из первых ярких произведений советской литературы, обошедшее чуть ли не все страны Европы и увлекавшее молодежь.

— Истинное творчество тогда только не мертво, когда оно глядит на жизнь, на борьбу революционными глазами восставшего класса, а не померкшим взглядом уходящего в забвение,— говорил Серафимович в последние годы своей жизни.

В свое время к «Среде» он имел близкое отношение и был долголетним нашим товарищем. Когда возникло издательство «Знание», возглавляемое Горьким, и начали выходить знаменитые сборники «Знание», то Горький всегда просил напомнить Серафимовичу о присылке ему поскорее нового рассказа. Первые два тома собрания сочинений Серафимовича тоже изданы были «Знанием», а когда впоследствии «Знание» прекратилось, книги Серафимовича издавались нашим «Книгоиздательством писателей».

О своих первых выступлениях в литературе сам он рассказывает полусерьезно, полушутливо на одном вечере в Союзе писателей следующее, записанное в стенограмме в 1944 году:

— На старости лет приходится вспоминать о заре туманной юности. Последний царь послал меня в Архангельскую губернию: поезжайте и покушайте там рыбку из Ледовитого океана. Ну, поехал, кушал, смотрел. И знаете, что меня особенно поразило? Северное сияние! Я его прежде никогда не видел. И вот я начал писать про северное сияние, про самоедов, про то, как там на оленях ездят. Напечатали три рассказа в «Русских ведомостях». Это была тогда самая заметная либеральная газета. Прочел товарищам, они в восторг пришли. Говорят: «Ну, Серафимович, здорово ты написал! Подаешь надежды!» Один только товарищ заметил: «Верно, ты здорово написал. Но зачем ты у Короленко все лупишь?!!» — «Как у Короленко?» — «Вот у тебя страница, а вот у Короленко: до чего же похоже!..» Я был поражен. Я вдруг почувствовал, что написать я могу, но что мне нужно к кому-то обратиться за помощью, у кого-то поучиться. У меня были милые товарищи по ссылке, но не могли они дать мне той изюминки, которая есть в литературе. Правда, один указал на влияние Королен-

ко. Это была учеба,— но как быть дальше?.. Я затосковал. Кончился срок, разрешили мне поехать в Москву. Когда я приехал в Москву, я очень боялся писателей, не зная, как к ним подойти. И вот Леонид Андреев, с которым я, уж не помню как, познакомился, говорит: «Пойдем к Телешову на «Среду». У него собираются по средам писатели. Бывают и Чехов, и Горький, и целая плеяда писателей». Я боялся идти, но Андреев меня потащил. Я пошел. И вот почувствовал, что здесь я могу поучиться. И стал я жадно присматриваться ко всему; я не только учился, как строить свою вещь, но и тому, как оценивать другие вещи, выяснять недостатки и достоинства. Там были первые знаменитости, но это совсем не чувствовалось во взаимоотношениях. На «Средах» я чрезвычайно много приобрел. Меня привлекала атмосфера близости и товарищеской искренности. Это играло колоссальную роль.

Так рассказывает сам Серафимович о первых шагах своей литературной работы.

Но все это было только началом. В дальнейшем Серафимович овладел всем, что необходимо для писателя. А главное в нем было то, что он всецело, всем своим существом принадлежал интересам народа, рабочего класса и революции. В годы первой мировой войны он увидел бессмысленную гибель миллионов рабочих людей и крестьян, гибель за чуждые и враждебные им интересы капиталистов и помещиков.

В эпоху реакции после 1905 года Серафимович разоблачал литературное мещанство декадентов, забиравших тогда силу и влияние. Вспоминаю, как в Литературно-художественном кружке он читал публично лекцию, громя безыдейную литературу и пошлость новейших поэтов и прозаиков, призывая писателей вернуться к здравому реализму.

Характерно и значительно для Серафимовича письмо к нему В. И. Ленина: «...ваши произведения и рассказы сестры внушили мне глубокую симпатию к Вам, и мне очень хочется сказать Вам, как нужна рабочим и всем нам Ваша работа...»

Вспоминается мне еще и последняя наша встреча в день его восьмидесятипятилетия. В этот день трое старейших писателей — Щепкина-Куперник, Гладков и я — собрались в его квартире, принесли ему позд-

равления, а потом засняли нас общей группой. По шуточному выражению самого юбиляра и по его же шуточному подсчету, всем нам четверым, вместе взятым, с самим Серафимовичем, было к этому времени 304 года.

Город, где он родился, и улица в Москве, где он жил, названы в его память городом и улицей Серафимовича. Он был награжден орденом Ленина и орденом «Знак Почета».

## XV

Знакомство мое со Спиридоном Дмитриевичем Дрожжиным началось очень давно; когда именно, затрудняюсь даже сказать.

Помню, вошел я однажды в книжный магазин Суворина, в Москве, на Кузнецком мосту, и обратился к одному из продавцов, стоявших за прилавком, с просьбой показать мне только что вышедшие какие-то издания.

Продавец взял с полки книгу и положил передо мною, видимо сам любуясь изданием и говоря о нем что-то хорошее. Потом предложил мне просмотреть несколько самых последних книжных новинок современных авторов, только что полученных магазином. Об авторах этих книг он отзывался с таким уважением и с такой искренней любовью к литературе, что все его поведение, все отношение к книге было для меня неожиданно и непривычно. Таких продавцов я еще никогда не встречал в магазинах. Было ясно, что это редкий любитель и почитатель книги.

Об этом редкостном продавце я как-то рассказал поэту И. А. Белоусову.

— Да ведь это знаешь кто? Это — Дрожжин. Поэт-крестьянин. У него вся душа в литературе, в книге, в писателях. Интереснейший человек! Пойдем, я вас познакомлю.

И мы пошли.

За тем же прилавком стоял Дрожжин и занимался с покупателем. Выждав момент, когда он освободился, Белоусов нас познакомил. Я уже знал его как поэта, а он знал меня как беллетриста, но оба мы не знавали друг друга в лицо. Однако беседовать в ма-

газине во время рабочего дня было неудобно, и разговор наш мог продолжаться каких-нибудь две-три минуты. Решили встретиться вечером у того же Белоусова, где ни мы никому, ни нам никто не мешали.

Помню, мне очень нравилось его хорошее русское лицо, и простая, тоже хорошая речь, и добрая улыбка, сопровождавшая нашу беседу.

Поэт-крестьянин, не получивший никакого школьного образования, производил впечатление вполне интеллигентного человека. К литературе, к книге, к авторам, которых он хорошо знал по их произведениям, он относился с такой трогательной любовью, с таким искренним уважением, что было радостно слышать его рассказы и впечатления. О чем бы ни заходила речь, он умел всегда среди этой речи вставить словечко о зеленой травке, о роще, о пашне. Природу он любил и понимал, и для его духовного облика очень характерны строчки из его же стихотворения:

Я для песни задушевной
Взял лесов зеленых шепот,
А у Волги в жар полдневный
Темных струй подслушал ропот,
Взял у осени ненастье,
У весны благоуханье,
У народа взял я счастье
И безмерное страданье...

Пятилетним ребенком повели его однажды на богомолье, за Волгу, на расстоянии суток ходьбы. Ранним весенним утром вышли они из дома, переправились в лодке через Волгу и пошли по дороге среди большого леса.

С какой любовью рассказывал Спиридон Дмитриевич об этом первом путешествии, открывшем ему впервые красоты родной природы, полей, реки, цветов, смолистого лесного аромата!

— Я вошел в лес, точно в открытый храм живого бога!

И эти впечатления зародили в детской душе его то, что впоследствии воспевалось им с такой любовью в его стихах.

В течение нашей долгой жизни мы множество раз встречались, и я с большим интересом слушал, когда он вспоминал что-либо из своего далекого прошлого.

А прошлое его было сложно, невесело и трудно. Из бедной крестьянской семьи, ученик сельского дьячка, Дрожжин в двенадцать лет был отдан в «мальчики» в петербургский трактир, на службу за два рубля в месяц, причем попал в самую смрадную часть, называвшуюся «Капказ», где, кроме пьяных побоев и таски за волосы, мало что видел.

Однажды буфетчик застал его за чтением рукописи «Царь Максимильян» и так рассвирепел, что не только побил мальчика, но и сжег его рукопись. Тогда Дрожжин перешел на службу в табачный магазин, где было свободнее, где стало возможно читать. Здесь пристрастился он к стихам Некрасова и в первый раз попал в театр. Здесь же, на семнадцатом году жизни, написал свое первое стихотворение.

В дальнейшем, в течение долгого ряда лет, ему приходилось менять места и специальности; случалось голодать и спать под открытым небом. Был он и пахарем в деревне, и магазинным приказчиком в столице, служил и лакеем у помещика. Любопытно, как, по рассказу самого Дрожжина, аттестовал его этот помещик:

— Ты, братец, отличный человек. Но как лакей — ни к черту не годишься!

Когда ему было предложено ехать на службу в Ташкент, в магазин табачной фабрики, ему прежде всего вскружило голову не предложенное условие, не предстоящая работа, а то, что в Ташкенте зреют в садах виноград и персики. Как это характерно для Дрожжина, для его поэтической души! И, очарованный этим, он бросается в путь очертя голову и почти месяц плывет по рекам, трясется в тарантасах, едет на верблюдах по голодным степям, откуда через год, обманутый хозяином, еле выбрался и снова попал в свою деревню Низовку на крестьянскую работу.

А в это время стихи его уже начали печатать в журналах, и завязались литературные знакомства.

Серые тучи висят над селом,
Стелется снег серебристым ковром,
И, распевая про буйную волю,
Крутится вьюга по чистому полю...
Будто бы слушая зимнюю вьюгу,
Жмутся родные избенки друг к другу,
В окна глядится мороз молодой
И убирает их в иней седой...

Так писал Спиридон Дмитриевич, бросив Ташкент и столицу и перебравшись в свою Низовку на крестьянскую работу. Сюда он привез свою любимую библиотеку и портреты писателей, до которых всегда был большой охотник. Он давал книги односельчанам и радовался, когда те не только прочитывали их, но и рассказывали ему о прочитанном.

Моя муза родилась крестьянкой простой
И простым меня песням учила...

Но вскоре и домик его и библиотека сгорели. Пришлось опять ехать служить. На этот раз его устроили в большой книжный магазин Суворина в Москве, на Кузнецком мосту, где я с ним и познакомился. Имя Дрожжина было уже в то время известно в литературе. Собравшись с некоторыми средствами, он снова построил себе избу и уже навсегда перебрался в родную Низовку, где жил и работал до самой смерти.

Как и все писатели-самоучки, Дрожжин перенес немало нужды и горя, как и все они, стремился к свету, к счастью и к свободной трудовой жизни.

Это был действительно одаренный поэт, любивший всей душой литературу, писателей, книгу, всякое творчество, в чем бы оно ни выражалось. Не только любил, но и чтил все это, ценил выше всего на свете. Испытывая нужду, а иногда и голод, но стремясь к свободе и к счастью, которые понимал он шире, и глубже, и лучше, чем многие его окружающие, Спиридон Дмитриевич, нередко выбиваясь из сил, не бросал любимого дела — усердно читал книги, писал стихи и песни и стал близок к литературным кружкам.

Многие стихи его положены на музыку. Старейшее литературное Общество любителей российской словесности избрало его действительным членом, Суриковский кружок поднес ему звание почетного члена, а Академия наук за его сочинения присудила ему денежную премию.

Помню, я встречал его в заседаниях Общества любителей российской словесности — старейшей литературной организации при Московском университете, по словам устава — «хранилища чистоты отечественного языка», где бывал в свое время сам Пушкин. И Дрожжин действительно хранил эту чистоту народного языка. В его стихах и песнях нет нигде ни вы-

чурности, ни искажений, точно так же как нет в его письмах ни одной грамматической ошибки.

«Если б не было на свете хороших людей, если бы не было искусства и литературы, тогда не стоило бы и жить».

Так написал он мне в альбом в 1905 году.

Встречался я с ним и в кассе взаимопомощи литераторов и ученых, и в Суриковском кружке писателей из народа, и в московском Литературно-художественном кружке, где мы торжественно и сердечно отпраздновали его сорокалетний писательский юбилей.

На этом празднике было много народа. Много говорилось речей, читалось приветствий, подносилось подарков. От нашей товарищеской литературной «Среды», насколько помню, был поднесен ему бюст Пушкина, а два старшие сына Льва Николаевича Толстого, Сергей Львович и Илья Львович, устроили здесь же прекрасный музыкальный концерт. Вечер закончился многолюдным банкетом с новыми речами и сердечными воспоминаниями. Кто-то очень кстати процитировал отрывки из журнальной статьи о его творчестве, относящейся к раннему периоду, чуть ли не к восьмидесятым годам прошлого века. Помнится, эта цитата произвела тогда большое впечатление на все собрание.

«В среде народа русского,— говорилось в этой статье,— таится много духовных сил. Из него выходят такие дарования, как С. Д. Дрожжин, не прошедший ни одной школы, с самого нежного возраста брошенный в разные вертепы кабацкой жизни, но сохранивший всю чистоту своей нравственной природы... Многие его произведения блещут несомненной свежестью, искренностью чувства... Бодро смотрится на жизнь и будущность русского человека в виду таких явлений...»

На этом памятном вечере присутствовало много писателей с крупными именами, пришедших поздравить уважаемого пахаря-поэта, который, точно в предвидении будущего раскрепощения родины и народа, писал о великой русской реке, о родной Волге, как «она, родная, разлилась широко вешнею порой»:

После злой неволи у зимы суровой
Весело вздохнула вся равнина вод,
Ледяных объятий сбросила оковы,
С ревом устремилась бешено вперед...

И поэт дожил до таких вешних дней своей родины, когда она вздохнула свободно. Он своими глазами видел это освобождение от ледяных оков и объятий, он на самом себе испытал эту великую радость и умер счастливым и свободным гражданином Советской страны.

## XVI

В начале воспоминаний я говорил о писателях из народа, говорил, что из всех, которых я знавал лично, не осталось уже никого в живых.

Но — нет: жив и здоров оказался Иван Петрович Малютин, давнишний мой знакомый, которому теперь уже восемьдесят два года.

После долгого перерыва я получил от него дружескую весть из далекого и глухого северного угла нашей родины — Кежмы, где в январе, как он пишет, недели три была «теплая погода — градусов в тридцать». А то здесь нередко бывает и свыше пятидесяти градусов, когда, по его словам, «в воздухе стоит белый морозный туман, в котором спрятался лес, и весь горизонт словно выбеленная известкой стена, за которой скрылось все интересное и привлекательное».

Из малоземельных крестьян, смолоду рабочий на фабриках, Малютин научился читать и писать самоучкой, потому что для школьного обучения в бедной семье отца — деревенского сапожника — не было ни средств, ни свободного времени. В юности гонял плоты и баржи, сплавляя дрова по Шексне и Волге, а то писал и печатал свои стихи в местных газетах и, наконец, благодаря исключительной своей любви к книгам и чтению сделался библиотекарем и переплетчиком при большой фабрике в Ярославле.

За свою трудовую и нелегкую жизнь он сумел дать всем своим сыновьям и дочерям хорошее, а некоторым из них и высшее образование. Многие из них теперь заметные педагоги и работают в областях, а сам Малютин под старость ездит по разным городам и весям — близким и очень далеким, навещая своих детей и внуков и продолжая до сих пор печатать стихи в областных изданиях. В его архиве за долгие годы накопилось немало интересных писем от писателей, как

Короленко, Дрожжин, Белоусов, Щепкина-Куперник, Шишков и другие, от ученых, как Глазенап и шлиссельбуржец Н. А. Морозов, от народного артиста В. И. Качалова, актера П. Н. Орленева. Интересно отметить, что этому скромному самоучке-поэту присылали свои книги с дружескими надписями крупные писатели: Горький, Серафимович, Всеволод Иванов, с которым он связан тридцатипятилетней дружбой, Фадеев, Подъячев и многие другие.

Вспоминая о своем далеком минувшем времени, поэт между прочим говорит:

Вот она, милая Волга, широкая!
Вот он, синеющий бор!
Берег обрывистый, заводь глубокая,
Синь поднебесная, ясно далекая,
Жизнь, красота и простор!

Часто сидя над обрывистой кручею
В ясные ночи весной,
Там любовался я жизнью кипучею,
Волгой привольной, широкой, могучею,
Залитой полной луной.

Слушал я песни на барках народные,
Говор и шепот волны,
Слушал, как стонут свистки пароходные,
Видел, как носятся чайки свободные,
Зорко добычу следя с вышины...

Его стихи и рассказы на разнообразные темы, от картин родной природы, от призывов к труду и к борьбе до военных впечатлений последнего времени, появлялись в изданиях и Алтайского края, и Западной Сибири, и на Урале, на Волге, в Суздале, Москве, в Ленинграде...

Вот одно из недавних его стихотворений о советской женщине, присланное мне в письме:

Она была в цепях доныне
Века бесправною рабой,
Теперь гражданка-героиня
С поднятой гордо головой.
Кто правит трактором в колхозе,
Кто гордо реет в облаках,
Кто мчит стрелой на паровозе,
Кто отличается в боях?
Кто управляет на заводах,
Кто лечит раны на фронтах,
Кто изучает жизнь природы
В полях, лесах и рудниках?

Кто поднимает новь родную,
Кто едет в глушь учить детей,
Несет любовь свою живую
В тайгу и ширь родных степей?
Все это ты! В Стране Советов
Тебе, как матери родной,
От всех почет, от всех приветы —
Все это дал советский строй!

Много поработал на своем веку этот скромный самобытный поэт, вышедший из народных глубин, и сам себе заработал в жизни хорошую и счастливую старость.

В 1952 году, в день моего восьмидесятипятилетия, он прислал мне стихотворный привет в дружелюбно-шутливой форме, прочитанный публично в Центральном Доме литераторов и вызвавший веселые улыбки и гром аплодисментов.

Привожу эти стихи:

Милый Митрич! Неужели
Вам уж восемьдесят пять?!
Так, должно быть, в самом деле
Мне-то Вас и не догнать...

Обижались Вы, что ноги
Стали плохи, не резвы,
А по жизненной дороге
Обогнали многих Вы.

Ваши книги сердцу близки.
Их читают нарасхват.
И «Писателя записки»
В магазинах не лежат.

Я как искреннему другу
Шлю Вам пламенный привет.
Плюньте Вы на все недуги
И живите до ста лет!

## XVII

Всегда интересовался я русскими самородками и так называемыми самоучками, интересовался их успехами, их судьбою и бывал рад, когда эти труженики, искренне преданные своему любимому делу, начинали выходить на дорогу, более или менее широкую.

Однажды поэт Белоусов привез ко мне незнакомого человека, очень скромного и тихого, за какой-то

справкой о литераторах, членах кассы взаимопомощи, где я в то время был председателем. В комнате у меня уже сидело несколько человек моих литературных товарищей: помню С. Я. Елпатьевского, Юлия Бунина, И. С. Шмелева и В. В. Вересаева... Разговор шел о писательских псевдонимах, о шуточных подписях раннего Чехова, вроде «Человека без селезенки» или «Брат моего брата», а также о «Иегудиилe Хламиде» Горького и других.

Пока я искал в папках нужную справку, Белоусов, прислушиваясь к беседе, рассказал, что псевдоним «Горький» был одно время его личным псевдонимом, одним из самых ранних, вскоре им оставленным.

— Да вот спросите Ивана Филипповича,— указал Белоусов на привезенного им гостя.— Он все эти дела хорошо знает.

Все мы взглянули на Ивана Филипповича, а тот, скромно опустив глаза, молчал и даже не пошевелился.

— У меня в молодости тоже был псевдоним,— сказал Елпатьевский, обратясь к незнакомцу.

— Да. Я знаю,— тихо ответил Иван Филиппович,— вы подписывались: «Е — ский», когда в восьмидесятых годах сотрудничали в «Северном вестнике».

— Совершенно верно,— подтвердил удивленный Елпатьевский.

— А вот про меня,— улыбнулся Бунин,— вы уж, наверно, ничего не знаете.

— Нет, Юлий Алексеевич, и про вас кое-что знаю,— в свою очередь скромно улыбнулся Иван Филиппович.— Вы писали о революционном движении, тоже в восьмидесятых годах... Издание было нелегальное. Печаталось в Харькове, я помню. А псевдоним ваш был «Алексеев».

— Откуда же вы знаете об этом?!

— У меня картотека. Всю жизнь ее собираю. Несколько тысяч карточек уже есть. Тысяч тридцать... Обо всех вас имею сведения. Вот Иван Алексеевич Белоусов подписывался иногда под стихами тоже, как и вы,— «Алексеев»,— улыбнулся он Бунину.— Да у него много было псевдонимов — и «Белый Ус», и «Брянцев», и «Брянцевский», и «Муравей», и много всяких других...

Все заинтересовались.

— Говорите: тридцать тысяч карточек? — изумился Шмелев.

— В настоящее время даже, пожалуй, больше. Всю жизнь интересовался библиографией... Собираю все, всякие сведения о литераторах и других заметных наших людях...

— Неужели у вас имеется даже и мой псевдоним, о котором я сам давно забыл? — продолжал допытываться Шмелев.

— Имеется. Вы подписывались одно время «Варламов»... На память не берусь назвать эти годы, но подписи такие бывали.

— Все это очень интересно и для меня неожиданно,— заметил Вересаев.— Вот я пишу тоже всегда под псевдонимом... А известно ли вам мое настоящее имя?

— Кто же вас не знает! — ответил незнакомец.— Вы — Викентий Викентьевич Смидович. Но, кроме вашего громкого псевдонима «Вересаев», бывали и у вас в девяностых годах такие подписи: «В — ев». Это мне точно известно.

Вересаев весело рассмеялся и развел руками:

— Ну, это что-то изумительное!..

Тихий и скромный гость, никому, кроме Белоусова, не известный, сделался центром внимания, героем вечера.

Получив от меня нужную справку, он хотел было уходить, но его все задержали:

— Погодите! Побеседуйте! Расскажите что-нибудь о себе. Прежде всего: как ваша фамилия?

— Масанов,— был тихий ответ.— Я всегда интересовался писателями. И вашей «Средой» очень интересуюсь. Обо всех о вас имею сведения — и о молодых и о старых ваших товарищах — обо всех!

— Например, о Боборыкине?.. О Златовратском?..— спросил кто-то.

— Обо всех... У Златовратского был псевдоним в семидесятых годах «Золотой человек», когда он писал сатирические рассказы. А теперь под критическими заметками подписывает только свои инициалы. С большим уважением отношусь я к этому прекрасному старцу!

С того вечера я ближе познакомился с Иваном Филипповичем Масановым. Иногда он приезжал ко мне вместе с Белоусовым, а то и я бывал у него в Черкизове, в маленьком его домике с крошечным садиком, где росли овощи и цветы.

У стен маленьких невысоких комнаток — спальни и кабинета — до потолка поднимались папки с надписями и ящики с десятками тысяч карточек. Все у него было в порядке. Иногда я заставал у него библиографов с известными именами, профессоров, искусствоведов, ученых исследователей по литературе, писателей — все они были обычными посетителями этого скромного уголка, таившего в себе ценные научные материалы, собранные в течение целой жизни с исключительной любовью человеком простым, бывшим крестьянином и ремесленником, а под конец жизни — почтенным библиографом Всесоюзной книжной палаты, автором научно-исследовательских работ и единственного в своем роде «Словаря псевдонимов» в трехтомном издании.

Когда во время спешной работы кому-нибудь требовалось для статьи немедленно найти дату рождения или смерти кого-либо из писателей, художников, ученых или узнать настоящее имя человека, известного лишь под псевдонимом, то, не роясь в архивах и не доверяя случайно чьей-то памяти, нужно было обратиться в Черкизово, на улицу Гоголя, дом 10, квартира 1, и там через несколько минут получить самые подробные и самые точные справки.

Бывая у Ивана Филипповича, я почти всегда встречал у него кого-нибудь из знакомых, получающих от него сведения для спешных работ. Да и сам я, когда печаталась моя книга «Записки писателя», зачастую обращался за помощью к Ивану Филипповичу, чтоб не ошибиться в указателе дат рождения и смерти упоминаемых лиц.

Профессор С. Д. Балухатый, известный литературовед и исследователь творчества Горького и Чехова,— особенно чеховских пьес,— многими сведениями обязан был Масанову, скромнейшему из скромнейших хранителей точных дат и справок — трудов целой жизни его.

Вспоминая сейчас об этом скромном труженике,

достойном большого уважения, хочется рассказать вкратце о его жизни, о его путях и трудах.

Сын крестьянина Владимирской губернии, окончив курс сельской школы, он был послан, как это бывало в то время обычно, в Москву на заработки, добывать «хлеб насущный». Здесь познал он ремесленные труды: был каменщиком, маляром и кровельщиком, затем перешел в торговую иностранную фирму на должность кладовщика товаров, рассыльного и, наконец, конторщика.

Влечение к книге и к знаниям у молодого Масанова было огромное. Необходимость самостоятельного заработка и тяжелая физическая работа в юности не только не убили в нем жажды знания, но, наоборот,— как бы укрепили ее. В период службы конторщиком Масанов особенно усиленно занимался самообразованием, знакомился с классической литературой и критикой, не щадя своих скромных заработков на приобретение необходимых книг и журналов. В эти же годы он старательно изучает немецкий язык и эсперанто, на котором впоследствии не только свободно говорил, но и вел переписку с корреспондентами самых дальних уголков земного шара; изучает историю, интересуется театром и шахматами, а также цветоводством.

Когда приходилось посещать его в Черкизове, то чего только не видывал я в его крошечном садике! Помимо овощей, необходимых для жизни, сколько и каких цветов, лишь по два-три экземпляра, не бывало на грядах у Ивана Филипповича! И в этих цветах, в этом уклоне от деловой прозаической работы была простая и скромная поэзия человека, любившего жизнь и ее красоту.

С 90-х годов Масанов начинает помещать мелкие историко-литературные и исторические заметки в небольших московских газетах, затем печатает ряд библиографических работ во «Владимирских губ. ведомостях», «Трудах Владимирской ученой архивной комиссии», затем в «Историческом вестнике» и в «Русском архиве». Эти выступления обратили на скромного автора должное внимание. Первая работа Масанова посвящена родному Владимирскому краю и вызвала положительную оценку современной критики,

как «бесспорно драгоценное приобретение и настольная книга для всякого желающего познакомиться с историей губернии». Вслед за ней выходит «Библиография сочинений А. П. Чехова». Строгий к себе Чехов большое количество сочинений не включил в прижизненное (марксовское) Собрание сочинений. Огромное наследство «начинающего» Чехова обнаружилось только после его смерти, и открыл его именно Масанов.

«Спустя два года после смерти Чехова И. Ф. Масанов предпринял нелегкий труд пересмотра всех юмористических журналов и всех московских иллюстраций поры чеховской молодости и подвел итог даже всем мелочам, вышедшим из-под его пера. Это было поистине целое открытие!» Так писал в своем предисловии А. А. Измайлов [1].

Вслед за публикацией библиографического указателя сочинений Чехова началось усиленное переиздание его «забытых и затерянных рассказов».

Такой строгий и крайне щепетильный к выбору сотрудников своего журнала «Русский архив», как П. И. Бартенев, счел необходимым опубликовать у себя эту выдающуюся работу библиографа-самородка, а затем поручил ему же составление указателя содержания «Русского архива».

Масанов не только любил и ценил высоко Чехова, но ему была дорога буквально каждая его строчка, каждая мелочь найденных сочинений. В процессе его библиографических исканий он с радостью заводил знакомство с людьми, близкими писателю,— сестрой Марией Павловной Чеховой, с женой О. Л. Книппер-Чеховой, с В. А. Гиляровским, Белоусовым, Лазаревым-Грузинским... На этой же почве сблизились и мы с ним. В 1929 году была напечатана «Чеховиана», где даны все сведения о жизни и трудах Чехова, обо всем, что было когда-либо написано о самом Чехове, кем и когда были эти статьи написаны и где опубликованы; даны сведения о всех произведениях Антона Павловича с указанием, где и когда они печатались.

В начале девятисотых годов Масанов приступает к составлению многотрудной своей работы «Словарь псевдонимов русских писателей и ученых» и с 1904 го-

[1] Полное собрание сочинений А. П. Чехова, второе издание А. Ф. Маркса, т. 22, с. 82.

да начинает частично опубликовывать собранные материалы, памятуя, что многие крупнейшие русские писатели, как Гоголь, Лев Толстой, Салтыков, Короленко и другие, начинали свою литературную деятельность под псевдонимом. Он рассылает работавшим в те годы писателям, независимо от их литературных взглядов, просьбы сообщить свои псевдонимы, и все отвечают ему, охотно раскрывая свои вымышленные имена. Один только Амфитеатров вознегодовал на Масанова и даже выступил со статьей в газете «Русь» с протестом против опубликования псевдонимов, усматривая в этом покушение на «литературную собственность» и даже «одно из самых тяжелых литературных преступлений». Это так повлияло на Масанова, что он остановил свою работу, но по просьбе друзей и большинства писателей, заинтересовавшихся такой работой, считавших выступление Амфитеатрова нелепостью, стал продолжать свои изыскания, поддержанные рядом историков и литературоведов, как дело нужное и дорогое при изучении истории нашей художественной литературы и публицистики.

В результате многолетнего неутомимого труда Масановым составлен словарь, охватывающий свыше 60 тысяч псевдонимов. Первый из трех томов словаря вышел в издании Всесоюзной книжной палаты в 1941 году.

За последнее время он с увлечением работал над словарем «Анонимов», выясняя авторов статей, брошюр и книг без всяких авторских подписей и обозначений. Он выявлял этих таинственных авторов, называя их имена, и труд его, существенный для библиографической науки, шел полным ходом. Не просто, но страстно работал над анонимами Иван Филиппович и все боялся не успеть закончить при жизни этот словарь — что и случилось: сердце не выдержало непосильной нагрузки.

Вспоминается последнее наше свидание с Иваном Филипповичем в день его семидесятилетия. Он был уже серьезно болен и лежал на диване в своем кабинете, накрытый одеялом. Странно было видеть этого неустанного труженика, чей день обычно начинался с шести часов утра и кончался не ранее полуночи, все время занятого работой, теперь лежащего и бессиль-

ного. В этот день перебывало у него немало друзей, немало литераторов, научных работников и библиографов, ценивших его деятельность. Все отмечали его отзывчивость, его всегдашнее стремление быть полезным всякому, кто нуждался в его сведениях, в его картотеке, доходившей в последние годы уже до восьмидесяти тысяч экземпляров. Он отвечал на запросы, давал сведения, указания источников — всячески помогал в работе всем, кто к нему обращался. За это и был он всеми любим и уважаем.

Благодаря неустанным трудам своим Масанов вышел на широкую дорогу и стал полезным своей родине, которую любил всей душой.

## XVIII

Многие годы я вращался среди крупных писателей и артистов с общеизвестными и прославленными именами, но мне довелось жить также среди людей без известных имен, искренних общественников, самых обыкновенных людей с гражданскими настроениями, прогрессивными взглядами и желанием быть полезными родине и народу. Это были подмосковные жители — земские врачи, железнодорожные служащие, учителя народных школ, зимующие дачники с их семьями, конторщики торговых фирм, разные служащие и рабочие большого Люберецкого завода, ремесленники и некоторые крестьяне окружных сел и деревень.

У всех у них были семьи, и большинство желало дать своим детям более широкое образование, чем давали сельские начальные школы. Жизнь в уезде, на расстоянии примерно часа езды от столицы по железной дороге, заставляла посылать ранним утром на поездах и ребятишек и подростков, как мальчиков, так и девочек, на целый день в Москву, без призора, и ожидать только к вечеру их возвращения. Все это и заронило мысль создать здесь же подмосковную гимназию, то есть среднеучебное заведение для детей обоего пола.

Инициатором этого явился популярный среди населения и всеми уважаемый земский врач Красковской больницы Михаил Самойлович Леоненко, мой

личный давний знакомый и друг нашей семьи. Он увлек многих, в том числе и меня, этой задачей — устроить первую в России деревенскую гимназию здесь же, среди нас, не посылая наших дочерей и сыновей ежедневно в город или не делая их нахлебниками в чужих квартирах и чужих семьях.

Устраивать два учебных заведения, отдельно для мальчиков и для девочек, было бы не под силу местному населению, да и не вызывалось необходимостью.

— Как тут быть? — спрашивал меня Леоненко.— Официальные круги явно против «двуполой» гимназии, как они выражались. Взгляд неверный, но что делать? Как быть?

— А вот что,— ответил я.— Давайте-ка завтра поедем с вами в Петербург, к министру народного просвещения, да и потолкуем.

— К Кассо?! — изумился Леоненко и даже усмехнулся.— Да ведь это же гонитель всего нового и культурного. Это дело вполне безнадежное.

— А все-таки поедем,— настаивал я.— Чем черт не шутит! Мы ему разъясним, мы ему так прямо и скажем: если он за просвещение, то должен разрешить, а если не разрешит, то он после этого...

Я не стал договаривать. Леоненко улыбнулся и махнул рукой. Однако поехать все-таки согласился.

Имя министра Кассо было очень громкое в смысле отрицательном. Это был гонитель всего общественного и народного. Действительно, казалось, незачем к нему ехать.

Но мы все-таки поехали.

Дня два ожидали мы приема. Наконец, нас впустили.

Перед нами был высокого роста, мужественный и властный человек, как мне показалось — несколько восточного типа.

— В чем ваше дело?

Леоненко вкратце сообщил нашу просьбу.

— А вы кто? — спросил он меня.

— Писатель. Очень сочувствую этой идее и прошу выслушать меня.

— Говорите.

Я стал говорить. Я вообще говорить не мастер, но тут на меня нашло какое-то вдохновение. Я так доказывал ему необходимость устройства гимназии в Ма-

лаховке, что он перестал возражать и только поинтересовался:

— А средства?

— Средства будут! У нас все готово. Организуем общество — вот и средства найдутся. Да у меня есть возле самой станции десятина земли, я ее отдам под гимназию в собственность обществу. Построим дом, откроем пока два класса, а затем каждый год будем прибавлять по одному — до полного восьмиклассного училища. Наладим горячие завтраки для ребят, и дело пойдет как нельзя лучше. Вы же будете потом гордиться, что разрешили первую в России деревенскую гимназию!

В конце концов он согласился. Но против «двуполой» школы продолжал возражать.

Мы уверяли его, что дети, начиная с первого класса, так сживаются друг с другом, как братья и сестры в семье, и никаких опасностей быть не может. Хуже, когда дети весь день отсутствуют в Москве и неведомо как себя ведут.

Я сам удивлялся своему красноречию, которым совершенно не обладал. Вижу, Кассо задумался...

— Ну, хорошо,— сказал он через минуту.— Вы меня уговорили. Но если...

— Не беспокойтесь,— возразил я.— Все будет благополучно. Да и наши жены станут поочередно дежурить в гимназии, наблюдая за порядком.

И 30 июля 1908 года последовало распоряжение на открытие среднеучебного заведения в Малаховке с курсом мужских гимназий, для совместного обучения детей обоего пола.

Немедленно организовали мы общество, в котором участвовало двести пятьдесят человек, вносящих ежегодно две тысячи пятьсот рублей членских взносов. Дело встретило горячее участие не только среди местного населения. Губернское земство прислало нам для начала три тысячи рублей на обзаведение. Бронницкое уездное земство ассигновало ежегодное пособие в две тысячи рублей. И дело, казавшееся безнадежным, загремело вокруг Малаховки.

Во всех слоях населения, и не только в Малаховке, но и на иных станциях Казанской железной дороги, как дальше от Москвы, так и ближе к Москве, проявилось горячее участие и сочувствие как среди

состоятельных людей, так и скромных трудовых. Все старались внести свою посильную лепту. Все стремились отдать своих детей в эту школу. Люди состоятельные приносили немалые пожертвования на постройку «своего дома на своей земле», местный театр два раза в лето отдавал нам бесплатно свое помещение и своих артистов, а артисты были интересные — из Малого театра и из Художественного. Билеты на такие вечера расхватывались моментально и по ценам повышенным. А в саду устраивали праздничное гулянье, разбивали палатки, где местные дамы торговали сластями и ягодами, устраивали аллегри, где можно было выиграть лампу или чайную чашку, а то и простой «пятачковый» карандаш. Никто не претендовал на ценные выигрыши, аллегри приносило за вечер большой доход. Между прочим, я закупал на «вербе» десятка два «морских жителей», которых нигде нельзя было достать, кроме как на вербном базаре, и они продавались здесь по высоким ценам, как на аукционе.

— Рубль! Кто больше?

— Два! — отвечает кто-то.

— Три! — перебивает другой.

— Пятерка!..

И так далее. Тут же открывался ларек, где продавалось в бокалах шампанское, тоже пожертвованное со стороны. В общей сложности такой вечер, весело проведенный, давал две-три тысячи дохода.

В первом вечере устраивался спектакль, а во втором — концерт. Благодаря моему обширному знакомству с многими артистами приезжали и пели именитые люди, и это снова, вместе с киосками и аллегри, давало обществу солидный доход.

Нашелся и талантливый архитектор, предложивший разработанный план будущего здания, да, кстати, и свое наблюдение за постройкой, совершенно бесплатно, из сочувствия. И через два года был выстроен прекрасный каменный двухэтажный дом с водяным отоплением, куда и перевели гимназию в 1910 году из небольшого наемного помещения. Через год здесь уже открыты были кабинеты: физический, географический, исторический, библиотека и классы рисования.

Кто-то из членов общества подарил рояль, кто-то прислал два верстака с наборами столярных инстру-

ментов, кто-то привез большие дубовые библиотечные шкафы, а старик Пальмин внес десять тысяч рублей на устройство физического кабинета, и был немедленно создан кабинет, с приборами для изучения космографии, с астрономической трубой и метеорологической станцией первого разряда.

Для правильного питания детей устроены горячие завтраки, по шесть копеек в день, что возможно было только при добровольном участии членов общества. Нуждающиеся ученики пользовались еще и скидкой, а беднейшие получали даровые завтраки.

Крестьянин-печник из Краскова наблюдал за отоплением, а кузнец из Вереи следил за замками и за ремонтом.

Мало-помалу накопилось четырнадцать стипендий для более даровитых учеников и для неимущих. Старшие ученики привлекались к поддержанию порядка среди младших и несли разные дежурства по чистоте и гигиене.

Октябрьская революция признала малаховскую гимназию и назвала ее школой показательной.

Сын инициатора гимназии, доктора Леоненко, учился и окончил курс в этой гимназии, затем перешел в университет, на медицинский факультет, и теперь, после смерти отца, занимает место в Краскове, в той же больнице, окруженный такой же любовью и уважением, как его славный отец.

Малаховская гимназия сыграла свою роль в жизни страны и была первой деревенской гимназией, по примеру которой в дальнейшем возникали и в других местах такие же школы.

## XIX

Километрах в двенадцати от Москвы, по Калужскому шоссе, в левой стороне дороги, раскинулось селение Узкое, на старинных картах называемое почему-то «Ускное». При въезде над широкими каменными столбами, вероятно бывшими воротами, была надпись, извещавшая, что здесь находится санаторий Цекубу (сокращенное название Центральной комиссии по улучшению быта ученых).

Неширокое гладкое шоссе, обсаженное высокими красивыми лиственницами, длинной и совершенно прямой линией ведет, незаметно снижаясь, к великолепной усадьбе, бывшему владению князей Трубецких, из семьи которых я знал двоих братьев,— один был ректор Московского университета, другой — ученый и писатель,— и еще родственника их, известного скульптора Паоло Трубецкого, жившего всегда за границей и только изредка приезжавшего в Россию.

Огромный двухэтажный дом с колоннами, с просторными залами и большими жилыми комнатами стоит среди цветника и парка, в конце которого блестят три пруда: верхний, средний и нижний. Они по прямой линии спускаются террасами один за другим, пересеченные липовыми аллеями. Позади дома и по сторонам его — службы, кухня, дом управляющего, далее идут оранжереи, фруктовые сады.

С 1924 по 1929 год я бывал в «Узком» ежегодно летом и жил там по месяцу. Это были незабываемые дни действительного отдыха — и душой и телом: чудесный воздух, образцовый порядок, вкусные и сытные обеды и ужины, чаи и завтраки, а самое главное — интересные, милые люди, гостившие там тоже по одному месяцу; лодки, ближние и дальние прогулки, музыкальные вечера, веселые забавы, теннис, бильярд и оживленные беседы запросто, по-домашнему, с носителями крупных имен в области науки и искусства, литературы — все это делало жизнь в «Узком» прекрасной, легкой и в полном смысле слова очаровательной.

В нижнем этаже был большой зал для работ и занятий, с длинным мягким диваном, над которым висела надпись, что здесь, на этом диване, скончался Владимир Сергеевич Соловьев, близкий друг семьи Трубецких. В просторной прихожей, где вешались пальто и фуражки, стоял на задних лапах большой медведь, убитый когда-то охотниками в окрестностях «Узкого», держа в передних лапах булаву и блюдо для визитных карточек.

День начинался красивым мягким звуком гонга, призывавшим к утреннему чаю, и кончался ровно в 11 часов вечера, когда запирались входные двери и гасились огни. Жители заблаговременно поднимались наверх и разбредались по спальням.

Помимо почтенных и маститых профессоров в «Узкое» съезжались и молодые научные работники, писатели, музыканты, актеры, художники; некоторые приезжали с женами. Все было просто, по-семейному. За обед садились обычно человек семьдесят, а то и больше. Шутки ради избирался из приезжих так называемый «правитель» — на весь месяц, и его воле беспрекословно все подчинялись, тоже, конечно, весело и шутя. С его разрешения произносились за столом веселые речи, остроты, а в зале устраивались чтения и разные вечера и концерты. Вступительное слово избранного правителя обычно начиналось постановлением:

— Всякий въезжающий с шоссе в ворота Цекубу должен тут же забыть о своем возрасте, сколько бы лет ему ни было — двадцать ли, восемьдесят ли, все равно! Забыть и не вспоминать об этом впредь до выезда обратно.

Это постановление имело свой резон, так как среди гостящих были преимущественно старики, которые здесь чувствовали себя действительно «вне возраста», что, конечно, очень содействовало приятному отдыху.

За целый ряд лет во время моих пребываний правителем избирался профессор Филиппов Александр Никитич, историк, милый и остроумный человек, лет уже под семьдесят, с которым мне доводилось обычно помещаться в одной комнате, и наши кровати стояли по соседству.

Внизу, в огромном светлом зале с выходом на террасу, накрывались скатертями безукоризненной чистоты три стола: большой овальный — за который садились самые почтенные лица. Затем тянулся во весь зал длиннейший стол для остальных, семейных и иных «маститых». А для тех, кому не доставалось места за этими двумя столами, накрывался добавочный, тоже довольно длинный стол, и он именовался «камчаткой». Это был самый веселый, самый шумный стол, на который с завистью поглядывали многие с своих более почетных мест.

В читальной комнате лежали на столе две толстые книги в черных переплетах: одна уже вся исписанная и другая — недавно начатая. Сюда заносились краткие впечатления гостящих, рекомендовались малоизвестные дальние прогулки и описывались подроб-

ности пути, нередко с приложением чертежей и плана местности, что было интересно для новичков. Но главным образом вписывались стихи и экспромты: тут и лирика, и сатира, и дружеская пикировка; бывали зарисовки местных пейзажей, портреты живущих, безобидные карикатуры; словом, как говорится: кто во что горазд! Немало было здесь стихов не только случайных доморощенных поэтов, но и людей с известными в литературе именами. Бывали тут и ноты, и виды окрестностей, и коллективные приветствия. И все было корректно, нередко остроумно и во всяком случае интересно. Обычно за целый год перебывает здесь много людей знаменитых из мира ученых, композиторов, артистов и певцов, художников, писателей, актеров Малого, Художественного и других театров; большинство из них оставляли в книге свои автографы, стихи или шутки. Приезжали сюда не однажды и Станиславский, и Васнецов, и Вересаев, и нарком Луначарский... Кто-кто только не перебывал здесь!

Помню, я был приятно изумлен, когда встретил в саду популярного астронома, старого профессора Сергея Павловича Глазенапа, имя которого знакомо мне было почти с детства. Когда-то, еще в семидесятых годах, он участвовал в экспедиции в Восточную Сибирь для наблюдений прохождения Венеры через диск Солнца, а в восьмидесятых годах за работы по двойным звездам получил от парижской Академии наук почетную премию. Когда все это было!.. Много с тех пор воды утекло! Никак не ожидал встретить его живого и здорового. Это был очаровательный старичок лет под восемьдесят, маленького роста, бодрый, приветливый и веселый, приехавший сюда из Ленинграда отдохнуть. Все «санузцы» его полюбили и даже накануне его отъезда устроили ему торжественные проводы. Кто-то из поэтов сочинил крошечную оду, упомянув в ней о планетах и кометах; кто-то из гостивших музыкантов наскоро написал к ней ноты, а молодежь исполнила кантату хором. На мою долю досталось чтение приветствия, подписанного всеми собравшимися. Старик был очень растроган — даже прослезился.

В 1929 году двадцать пятая годовщина смерти А. П. Чехова застала меня в «Санузе». Мы решили отметить этот день общими силами. Составили наско-

ро программу; художник Ап. М. Васнецов нарисовал афишу с видом санатория, другой художник написал по памяти красочный портрет Антона Павловича. Если не изменяет мне память, это был С. Д. Милорадович, старый «передвижник», чьи заметные работы хранятся в Третьяковской галерее. Музыканты и певцы взяли на себя концертное отделение, актеры согласились прочитать отрывки из пьес и мелкие рассказы. На мою долю выпали воспоминания о личных встречах с Чеховым, которые я как раз там писал. Не хватало только вступительного слова. День клонился уже к вечеру, и через два часа надо было начинать, а начального слова нет и нет.

Вдруг узнаю, что к вечернему чаю приехал с женой А. В. Луначарский, в то время нарком просвещения, которого я высоко ценил как талантливого человека, как прекрасного оратора, обладавшего огромными познаниями и замечательной памятью. О нем нередко говорили, конечно в шутку: если Анатолия Васильевича разбудить среди ночи, часа в четыре, и сказать ему: «Выручайте: необходимо сию минуту произнести речь на такую-то тему», причем называлось что-нибудь малознакомое и трудное, то он вскочил бы с постели и без всяких возражений начал бы сию же минуту доклад своим спокойным тоном и наговорил бы, несомненно, много интересного и значительного, полного содержания, полного остроумных обобщений и даже цитат. Несмотря на шутку, это было очень похоже на правду и было характерно для Луначарского, для его редких способностей и огромных познаний.

Я застал его в бильярдной за пирамидкой. Выслушав меня, он положил кий и сказал, что приехал сюда просто отдохнуть на часок, но, если это нужно, он готов пробыть здесь и еще лишний час и не отказывается от выступления.

— А когда выступать?

— Минут через пять.

— Пойдемте.

Дело было сделано, и вечер памяти Чехова вышел благодаря блестящей речи Луначарского удачным и содержательным.

Вспоминается мне присутствие здесь таких интересных людей, как профессор П. Н. Сакулин, как

академик М. Н. Розанов, старинный мой знакомый, спутник и многолетний соучастник по присуждению Грибоедовских премий за лучшие пьесы сезона; вспоминается писатель и врач С. Я. Елпатьевский; художник Аполлинарий Михайлович Васнецов, чьи полотна по старой Москве значительны и интересны; пианист А. Б. Гольденвейзер, врач и профессор А. Б. Фогт, большой любитель и знаток русской литературы, хороший чтец классических стихов, а также чеховских рассказов; сколько сообщал он нам интересного о встречах с многими прежними писателями за свою долгую жизнь!

Житье в «Узком» «вне возраста», отсутствие в течение целого месяца всяких забот о самом себе, взваленных на плечи администрации, простота взаимных отношений, веселые развлечения — все это, вместе взятое, невольно влияло и на ученых, маститых мужей, чьи имена были окружены уважением и произносились с серьезной почтительностью. Они сами менялись здесь и охотно становились простыми людьми, как бы без всяких степеней, и сами с удовольствием смеялись вместе со всеми, когда бывало что-нибудь смешное, вместе гуляли, собирали грибы и принимали участие в общих беседах и шутках, не забывая в то же время и о трудах, которым отдавались обычно в утренние часы. Когда нужно было работать, то уходили в читальный зал, где строго соблюдалась безусловная тишина, где стояли отдельные столики для индивидуальных занятий и большой общий стол — где кому больше нравилось, где кому было удобней и приятней. Здесь читали, писали и рисовали; для трудовых часов все было здесь обставлено внимательно, и работать ничто никому не мешало.

В течение месяца не всегда бывали солнечные дни и ясные вечера, бывало ненастье и дожди, когда из комнат некуда деваться. Тогда затевались экспромтом зрелища и увеселения. Все устраивалось немедленно и быстро. Большой зал, отделенный на одну четверть двумя белыми колоннами, представлял большое удобство для всякого рода представлений. Вешались на длинной веревке две простыни, и этим отделялась «сцена» от зрителей. Чего здесь только не бывало! И живые картины, и шуточные сцены, и «волшебные тени» — всего не перечтешь и не упомнишь

В устройстве таких экспромтных развлечений принимали живое участие буквально все. Помню, один почтенный профессор устроил собственноручно, к великому изумлению всех санузцев, в зале, для какой-то живой картины, бьющий фонтан, проведя воду из недалекой ванной комнаты. Успех был от такой неожиданности — величайший.

Ближе к осени, когда вечера уже рано становились темными, санузцы любили выходить за пределы парка по березовой аллее и смотреть с холмов на далекие огни Москвы. Это было чудесное зрелище, и мы простаивали здесь подолгу, любуясь огненными точками, линиями и группами сотен, а может быть, и тысяч фонарей, сиявших алмазами над столицей. Прямо перед глазами, и слева и справа, точно золотые брызги по темному бархату, сияли над Москвой отдаленные огоньки среди окрестного простора и темного неба над головой, тоже усеянного звездами. Это были любимые прогулки перед отходом ко сну.

В течение ряда лет я бывал в «Узком», в этом очаровательном «Санузе», как прозвали его, шутливо сокращая слова «Санаторий „Узкое"».

Книги с автографами, о которых я говорил выше, свидетельствовали о тех людях, которые, вне моего месячного пребывания, гостили здесь в осенние, зимние и весенние месяцы. Сколько было здесь интереснейших людей, работников искусства, науки, литературы! Не все, конечно, но многие из них оставляли в памятной книге свои автографы и впечатления.

Среди записей есть, например, такое шуточно-благодарственное восклицание:

Бывал в Венеции, жил в Андалузии,  
Но нет мне местности милей Санузии!

## XX

В 1944 году исполнилось сорок лет со дня кончины А. П. Чехова, справедливо признанного великим писателем. Создан был общественный комитет по увековечению его памяти, решено было открыть государственный музей Чехова, поставить в Москве памятник на площади, назвать одну из улиц его именем, и много-много намечено было иных хороших начинаний.

В Московской области, близ города Лопасни, уцелела небольшая усадьба, где жил и работал А. П. Чехов с 1892 по 1899 год, где были написаны им многие выдающиеся произведения: пьеса «Чайка», повести «В овраге», «Черный монах», «Мужики», «Человек в футляре»,— где развернулась широко и благотворно его общественная деятельность по народному образованию и по народному здравию. Здесь он заботился о деревенских школах и в качестве врача участвовал в борьбе с холерой, в борьбе с голодом.

Народным учителям Чехов придавал всегда очень большое значение и нередко говорил, что русской деревне необходим хороший народный учитель. У нас в России его необходимо поставить в какие-то особенные условия, если мы понимаем, что без широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный из плохо обожженного кирпича.

Чехов никогда и никому не отказывал в медицинской помощи. С мелиховским периодом связано многое из жизни Антона Павловича и его друзей, таких, как художник И. И. Левитан и многие другие.

В первый же год приезда в Мелихово весной Левитан увлек Чехова на ружейную охоту. Они вдвоем пошли вечером на тягу. Левитан подстрелил вальдшнепа в крыло, и тот упал в лужу.

«Я поднял его,— пишет Антон Павлович в одном из писем в 1892 году.— Длинный нос, большие черные глаза и прекрасная одежда. Смотрит с удивлением. Что с ним делать? Левитан морщится, закрывает глаза и просит с дрожью в голосе: «Голубчик, ударь его головкой о ложу...» Я говорю: «Не могу». Он продолжает нервно пожимать плечами, вздрагивать головой и просить. А вальдшнеп продолжает смотреть с удивлением. Пришлось послушаться Левитана и убить его. Одним красивым, влюбленным созданием стало меньше, а два дурака вернулись домой и сели ужинать...»

Этот случай сильно охладил Чехова к охоте.

И вот в 1944 году меня позвали к 25 сентября на открытие музея в Мелихове. Прислали за мной машину, и в три часа дня я был уже там, где когда-то стоял дом, перенесенный теперь на другое место. Но тот маленький домик, почти беседка, где написана была «Чайка», где Чехов принимал больных крестьян,

давал им не только советы, но и лекарства, уцелел в полной неприкосновенности. Это совершенно крошечные комнатки в несколько шагов. Их всего три: прихожая, размером вроде вагонного купе, где выдавались пациентам бесплатные лекарства и где сейчас развешаны фотографии и рисунки прежних времен, такого же размера другая комната и третья — рабочий кабинет Антона Павловича, где уцелело кресло, в котором он сидел, и письменный стол. Инициатива сохранения этого памятного домика и превращения его в музей еще в 1940 году принадлежит директору Серпуховского краеведческого музея С. И. Аристову. Но война помешала осуществлению этой хорошей мысли, которая, однако, не умерла.

Художественный театр отпустил целую группу артистов для чтения на митинге произведений Чехова. На площади усадьбы, на зеленой траве, полукружием расположились приехавшие на лошадях и пришедшие пешком колхозники — до пятисот человек, с женами и стариками, с подростками и детьми. Они сидели перед уцелевшим крошечным домиком, откуда с балкона под самой крышей, размером в три шага, начались речи приехавших гостей. Выступали — от Лопасненского райкома, от областного отдела народного образования; от Художественного театра — я и артист Кудрявцев, от Союза писателей — В. В. Ермилов. Очень интересной была речь бригадира мелиховского колхоза имени Чехова т. Симанова, лично знавшего здесь, на месте, Антона Павловича. Он рассказал много интересного и хорошего о времени пребывания здесь Чехова.

После митинга тут же, на крыльце, состоялся концерт. Артисты МХАТ читали рассказы Чехова. Особенным успехом пользовался рассказ «Дорогая собака», исполненный Блинниковым и Кудрявцевым. Слушатели хохотали от всей души.

Затем осматривали домик с его коллекциями фотографий и рисунков, с портретами современников, осматривали хорошо подобранную библиотеку с книгами самого Чехова и других авторов, с их автографами, с воспоминаниями и проч. Затем гостей покормили колхозным завтраком, состоявшим из местных овощей, и повели нас осматривать соседние посевы,

уцелевшие аллеи и пруды, где когда-то ловили карасей и купались писатели, друзья Чехова.

Я нашел то самое место, где стоял когда-то дом Чеховых; теперь оно заросло травой. Я нашел там цветок полевого клевера, сорвал его и засушил, а впоследствии сделал альбом с фотографиями, вырезками из газет об этом дне, сюда же приложил и засушенный простенький цветок и передал все это в музей МХАТ, как воспоминание о ближайшем театру писателе, дорогом ему Антоне Павловиче.

Несомненно, что без «Чайки» и без «Дяди Вани» Художественный театр не был бы тем и таким, каким стал в свое время, не нашел бы таких верных путей к вниманию и к сердцу зрителя. Несомненно и то, что без Художественного театра Чехов не написал бы своих «Трех сестер», выдвинувших целый ряд замечательных артистов, не написал бы и «Вишневого сада» — своей лебединой песни. Чехов и МХАТ слились воедино и стали немыслимы один без другого.

Вечером в Лопасне в переполненном зале районного Дома культуры состоялось торжественное заседание. Читались пьесы Антона Павловича, читались воспоминания о нем, о встречах с ним, и вечер был наполнен прекрасным и трогательным настроением.

Весь этот день остался в моей памяти одним из лучших, если не самым лучшим, по чествованию памяти Чехова в дни сорокалетия его смерти.

Эта совершенно исключительная по своему составу аудитория из крестьянской молодежи, стариков и детей, приехавших сюда на телегах, это внимание к чтению и воспоминаниям о великом писателе, эти веселые лица слушателей, это полукружие на зеленой траве перед домиком «Чайки»— все это было так радостно и приятно, что лучшего отношения к памяти Антона Павловича, по сердечности и простоте, я себе не представляю.

В ноябре 1952 года Союз советских писателей оказал мне большое внимание, отметив день моего восьмидесятипятилетия.

В Центральном Доме литераторов был организован вечер под председательством И. А. Новикова, давнишнего друга моего. В своем вступительном слове он сказал перед переполненным залом много приятного и почетного для меня, что я отношу в значи-

тельной степени не лично к себе, но к тому званию писателя, работника русской литературы, которое я ношу вот уже шестьдесят восемь лет — от ранней юности до глубокой старости.

Много было произнесено речей и прочитано адресов. От президиума Союза советских писателей приветствовал меня Л. В. Никулин, от Всероссийского театрального общества поднесла и прочитала адрес А. А. Яблочкина, от Малого театра говорила Е. Д. Турчанинова; приветствовали МХАТ и его музей, Институт мировой литературы, Центральный литературный архив, издательства, музеи и др. Говорили профессор Дурылин и товарищи-писатели, читались стихи, телеграммы, письма, подносили цветы. Затем выступали артисты — пели, играли, читали. В общем, было оказано такое внимание и почет, какого я и не заслужил. Все это останется навсегда в моей благодарной памяти как исключительная радость в жизни.

Мои воспоминания близятся к концу. Не могу не сказать, что на склоне лет возобновилась моя переписка с Буниным, который нет-нет да и радовал меня весточкой из своего далека... Лет пять назад получаю я открытку с изображением Ивана Алексеевича. Это был уже не тот Бунин, какого я знавал, с каким дружил много десятков лет. С открытки на меня смотрел глубокий старик с худым морщинистым лицом — видно, не сладко было ему за границей... На обороте открытки — письмо. Иван Алексеевич сообщает, что нашел в Париже поэму А. Т. Твардовского «Василий Теркин», прочитал ее и остался от нее в восторге. «Я (читатель, как ты знаешь, придирчивый, требовательный) совершенно восхищен его талантом,— это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный, солдатский язык — ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова!» — писал он мне. Бунин просил разыскать автора и сказать ему, что он — настоящий большой русский поэт и что он от души радуется за него.

Разумеется, мне было очень приятно исполнить просьбу Бунина. Я разыскал Александра Трифонови-

ча и передал ему в точности все, что просил меня Иван Алексеевич. Так я и познакомился с Твардовским. Здесь надо сказать, что литературная общественность Москвы тепло отметила в конце 1955 года 85-летие со дня рождения Бунина. В Гослитмузее состоялся вечер, на котором, в числе других, с воспоминаниями о Бунине выступал и я. На вечере был Твардовский, с которым мы и сфотографировались.

Оглядываясь на далекое мое прошлое, на долгий пройденный путь, я вижу, как много значительного дала мне литература, с которой так неразрывно связана вся моя жизнь. Она дала мне возможность глубже и пытливее заглянуть во все окружающее, заставляя невольно уяснять себе поступки других людей, наблюдать и догадываться о многом и видеть многое, чего, вероятно, никогда не увидал бы я, не вступивши на этот путь. Она раскрыла мои глаза, дала мне любовь и уважение к человеку, осветила для меня же самого мой внутренний мир и установила взгляды, от которых исходили многие мои поступки, и я с благодарностью и любовью вспоминаю теперь тех хороших, талантливых и высокоодаренных людей, с которыми я имел радость быть современником, среди которых мне довелось не только жить, но с некоторыми дружить и работать вместе. И мне хочется в заключение сказать молодым силам, пришедшим нам на смену и ставшим у руля, что гляжу на них с надеждой, верю в них и желаю им такой же уверенности в том, что быть русским писателем — есть великое счастье в жизни.



# Рассказы

## Петух

Захар Фомич лежал на постели в теплом халате и туфлях и, закинув за голову руки, глядел в потолок.

— Матреша!—сказал он старческим разбитым голосом.— Что-то на дворе Дружок лает: верно, стучится кто в калитку. Я давно слушаю. Лает.

— Сдурился и лает,— просто ответила Матрена, появляясь в дверях.— Кого теперь нелегкая принесет!

— Пошла бы взглянула: у нас ведь колокольчик оборван.

— Добрый человек в такую пору не пойдет.

Однако она накрылась платком и вышла. Захар Фомич тоже поднялся. Надел сапоги, поглядел на себя в зеркало, увидел в нем круглое бритое лицо с морщинами и складками, с седыми волосами, зачесанными по-старинному на висках к бровям, и только успел подумать: «Лет десяток авось еще протяну», как в прихожей заскрипела дверь и басистый голос ласково спросил:

— Могу ли на минуточку побеспокоить?

Гостям всегда бывал рад Захар Фомич, а потому приветливо ответил, идя навстречу:

— Милости просим. Добро пожаловать.

В комнату вошел очень высокого роста, сухопарый и сутулившийся человек, с огромными веселыми глазами и седыми усами, висевшими книзу, как у Шевченко. Скинув только калоши и не снимая пальто, он густым басом заявил:

— А я собственно за вами, Захар Фомич.

— Входите, садитесь, чайку сейчас попьем,— приветствовал его хозяин.

— Про охоту вашу хочу спросить: голуби ваши как поживают? Турманы ваши как кувыркаются? Козырные как погуливают?

— Все по-хорошему, благодарю вас. Молодежь вывелась — отличные голубочки, сердце радуется!

— Курочки как поживают?.. Помнится, петух у вас был великолепный... Знатный петух!

— И петух живет,— с удовольствием улыбнулся Захар Фомич.— Неужели петуха моего помните?.. Да войдите же, пожалуйста. Садитесь.

— Таких петухов как не запомнить,— пробасил Травников, садясь и распахивая на груди пальто.— На бои-то ходите?

— На какие бои?

— На петушьи бои. Неподалеку от вас, почти по соседству. А я как раз туда пробираюсь. Любопытно. Дай, думаю, зайду к Захару Фомичу по дороге, может быть вместе отправимся. Дело любительское. Неужели никогда не бывали? А я постоянно хожу. Денег наиграл там цельную кучу.

— Что ж там? — полюбопытствовал Захар Фомич и хоть слыхал, что в этих боях происходит какая-то травля, какое-то зверство, но не очень доверял слухам и рассуждал — что дерутся же петухи на дворе, что ж особенного, если на них играть вздумали?

— Как вам сказать,— задумался Травников.— Так не расскажешь. Ставят на пари: чей возьмет верх, тому и выигрыш,— вот и все. А любопытно. Пройдемтесь-ка, Захар Фомич: поглядели бы, обо всех любителях услыхали бы, у кого петухи знаменитые... Я себе там зашиб денежку.

— Ну, какую там денежку.

— Честное слово! В прошлую зиму каждый раз выигрывал. Пойдемте, Захар Фомич, одевайтесь-ка!— неожиданно предложил Травников, взглядывая на часы.— Как раз к началу попадем.

Захар Фомич нахмурился.

— Это рядом почти. На полчасика. Посидим, чайку попьем...

— Нет,— ответил старик.— Там, говорят, сидеть тошно. А я ведь, знаете, всякое создание люблю,

птицу люблю. Как я там буду? Как буду глядеть?

— Вот какой вздор! Кто сказал — сидеть тошно? Ничего не тошно, а даже весело и все равно как в цирке: такой же круг на полу, а вокруг него барьер, а за барьером скамейки — колесом в два яруса. Интересная, заманчивая штука. Всегда спасибо говорить будете.

— На полчасика, говорите?

— Самое большее. Одевайтесь-ка, не теряйте золотого времени.

Вздыхая и сомневаясь, Захар Фомич все-таки оделся, сказав Матрене, что скоро вернется, положил в карман кошелек — на всякий случай, и вышел с Травниковым на улицу. Идти было действительно недалеко, и вскоре они остановились у дверей трактира.

— Пожалуйте, Захар Фомич!

Они прошли грязной и дымной комнатой, наполненной людьми, потом свернули налево, где было просторнее и светлее, и сели за столик.

— Здесь почище,— сказал Травников,— эта зала для уважаемых.

В «уважаемой» — так называлась эта комната — сидела уже большая компания за общим столом. Дико здесь казалось Захару Фомичу, но он скоро освоился и начал вглядываться в людей и прислушиваться к беседе. Травников объяснял ему.

— Длинноволосый — это фельдшер. Пустой человек, больше пьет на чужие... А рядом — бритый — это кондитер, огромные дела делает. Петух у него был,— вот, я вам скажу,— петух! Непобедимый! Наполеоном звали... Сколько призов взял. Теперь околел.

Вокруг беседа между тем позатихла. Но почти сейчас же явился откуда-то трактирщик, низкорослый, юркий и не столько толстый, сколько крепкий, налитый здоровьем человек, с бегающими глазами, с глянцевитой лысинкой и небольшой, выстриженной вроде пряника, бородкой. Войдя, он остановился почти на пороге. Улыбаясь, подпирая руками бока и растопырив ноги, он развязно обратился к окружающим, уверенный в силе своего слова:

— Что ж, господа хорошие, разговариваете мало и тихо? Скучно так сидеть. Беседа веселит соседа!

Улыбка его стала еще шире и благосклонней, красноватые пухлые щеки упруго надулись, как резино-

вое литье, и из-за тонких губ показались белые частые зубы. Поиграв серебряной цепочкой, окружавшей его воловью шею, спускавшейся по всей груди до половины живота, он оправил конец розовой рубахи, которая виднелась под широким пиджаком, закрытая до горла высоким жилетом, и подсел к столу.

— Петушок ваш как здравствует? — обратился он к фельдшеру.

— Ничего, поправляется. Уж очень его потрепали жестоко; насилу залечил,— ответил фельдшер,— хорошо, что сам в лекарствах толк понимаю, а то бы не жить! — и сейчас же заспорил с кем-то о своем петухе.

Разговор оживился, и довольный трактирщик, громко засмеявшись на какую-то глупость, быстро исчез.

— Однако уж десять часов,— проговорил тощий рыжеволосый человек, похожий на лисицу, доставая часы.

— Ваши неверны,— возразил фельдшер.— У меня без четверти. Мои по университетским, самые правильные.

— Почтамтские вернее,— заметил кондитер.

— Ну, нет-с, извините! — авторитетно заявил фельдшер, с важностью ученого запрокидывая голову и выставляя словно напоказ свой маленький круглый и розовый носик.— Почтамтские совсем иное дело. В университете ученый народ заведует этим,— понимаете? Астрономы заводят часы: астрономы! А в почтамте кто?.. Просто чиновник.

— Да и тот небось пьяный! — острит кто-то и одиноко хохочет над своей остротой.

— Почему это непременно — пьяный? — задорно вопрошает его рыжий человек.

— Это я так-с... для смеху единственно.

— То-то, для смеху! Надо понимать, о чем говоришь.

Трактирщик заглянул снова, но, довольный шумом, исчез незаметно.

— Что ж, господа,— заговорил кондитер после небольшого молчания.— Начинать — так начинать, а не то по домам пора.

Он взглянул на Травникова и моргнул ему глазом.

— С кем на четвертную?

Травников встал и подошел к компании.

— На четвертную не стоит,— сказал он,— слишком мало.

Все обернулись.

— На сколько же?

— По крайней мере на полсотни. Мой петух дороже стоит.

— Надо петуха видеть,— сказал кондитер.

— Я привезу сейчас.

— Везите. Мой уж здесь. Везите. Посмотрим. Может быть, соглашусь.

Травников шепнул Захару Фомичу, что вернется минут через двадцать, надел шапку и вышел.

— Не господина ли Плуговицина имею честь видеть? — обратился к Захару Фомичу один из компании, одетый в кожаную куртку.— Я сосед ваш, Зазубрин; домов через пять от вас, в переулке, живу. Подсаживайтесь, Захар Фомич, веселее вместе. Ваших голубков знаю. Великолепные голуби! Турман у вас — вот кувыркается лихо. Давно знаю, что вы любитель. Рад познакомиться. Сам люблю всякую охоту. Слыхал тоже, петух у вас есть знаменитый.

— Простой петух,— скромно ответил Захар Фомич, чувствуя неловкость в незнакомом обществе.

— Как простой? Помилуйте. Все говорят, диковинный петух. Редкость! золото! Теперь, говорят, таких петухов и не встретишь.

Захару Фомичу приятно было услышать лестную похвалу. Он встал и подошел к Зазубрину пожать ему руку. Отвечая любезностью на любезность, тот усадил его за общий стол.

— Водочки не угодно ли? — предложил Зазубрин, наливая рюмку.

— Нет, благодарствуйте.

— Выпейте для первого знакомства. Вы ведь кушаете? Ну, так чокнемся за ваше здоровье.

Захар Фомич выпил.

— А не позволите ли нам взглянуть на вашего петушка? — спросил фельдшер, запрокидывая голову.— Здесь все любители да ценители. Приятно посмотреть хорошую птицу.

— Одолжили бы, Захар Фомич, очень одолжили бы,— вторил фельдшеру Зазубрин.— Говорили нам много, интересно самим взглянуть.

— Простой петух, господа,— снова заскромничал Захар Фомич, а самому было приятно, что все про его петуха знают.— Прошу ко мне, коль интересно; там мы и голубей посмотрим,— сказал он, обращаясь к одному Зазубрину, как к названному соседу.

— Благодарю вас,— поклонился Зазубрин.— Приду с радостью. Да вот и им всем посмотреть хотелось бы. Нельзя ли его сюда принести?

Захар Фомич в нерешительности замолчал.

— Хозяин! — крикнул сейчас же фельдшер.— Павел Спиридоныч! Пожалуйте на минутку.

Вошел трактирщик. Растопырив ноги и весело подбоченясь, он ожидал чьих-то распоряжений.

— Здесь Филимон? Вот господин желает за петухом послать,— предложил фельдшер.

— Это можно-с! — ответил хозяин, потирая руки.— Это сейчас... Филимон!

— Нет, нет, нет! — засуетился Захар Фомич.— Нет, этого нельзя. Я уж лучше сам его сюда принесу...

— Все одно: можно послать,— проговорил трактирщик,— только записочку к домашним.

— Нет, я сам принесу, сам принесу!

Захару Фомичу подали пальто и просили не обманывать, чтоб им не напрасно дожидаться. Когда он вышел на улицу, ему вспомнился Травников. Где он? куда девался? С ним было как-то удобнее, все-таки свой человек.

— Что это по ночам-то стали гулять? — сердито встретила Матрена Захара Фомича.— Спать пора!

— Это... Матреша... гм! Дай-ка мне фонарь... Зажги, я пойду тут... петуха погляжу.

— Какого еще петуха? Зачем понадобился? Идите, что ли, в горницу, а то надует, после кашлять будете. Идите, идите спать. Нечего!

В трактире между тем стоял шум. В первой комнате повздорили двое гостей и кричали один на другого; где-то весело спорили и смеялись; где-то нетерпеливо стучали стаканом...

Озираясь вокруг, Захар Фомич торопливо прошел этой комнатой, неся петуха под полою.

В «уважаемой» уже никого прежних не было;

только толстый краснощекий гость сидел одиноко за бутылкой пива и курил сигару.

— Туда пожалуйте,— многозначительно кивнул трактирщик, явившийся к Захару Фомичу.— Пожалуйте, провожу.

Они прошли через кухню и вышли на двор.

— Пожалуйте-с! — предложил трактирщик, отворив дверь небольшого дощатого балагана, освещенного яркой висячей лампой.

— А, принесли! Вот спасибо, Захар Фомич,— послышался голос Зазубрина.— Позвольте-ка полюбопытствовать.

Петух стал переходить из рук в руки. Нюхали его гребень, пробовали его зоб и ноги, делали различные замечания.

— Великолепный петух! — решил Зазубрин.

— Зоб-то хлебный,— не сухой зоб! — слышались голоса.— Хороший петух. Хороший, рослый! А клюв-то какой: орел настоящий!

— Садитесь, господа хорошие, что же так-то стоять! — предложил трактирщик.— В ногах правды нет; стоять — зря силу терять, а посидеть — отдохновение иметь!

Захара Фомича усадили на деревянную скамью и все разместились, продолжая говорить и расхваливать петуха. Они сидели вокруг трехаршинной круглой арены, огороженной невысоким барьером.

«И правда, точно в цирке»,— весело вспомнилось Захару Фомичу.

Вокруг арены высились в два ряда деревянные скамейки, на которых и сидели гости. Травникова еще не было.

Захар Фомич пустил на арену своего петуха под общие похвалы и восторг.

— Этому петуху нет соперника! — воскликнул фельдшер.— Что рост, что клюв — удивительное дело!

— А каковы у него шпоры!

— И красивый какой! — добавил хозяин.— Перо хорошее, и ноги здоровые. Петушок, можно сказать, аглицкий. Заморского фасона важная персона!

Захар Фомич умилялся все более: как же так — до сих пор он никого не знал, а о нем, оказывается, все слышали и даже знают, что у него петух замечательный.

Пётух одиноко и важно расхаживал по арене, повертывая вправо и влево голову, точно тянулся спросонья, и, очевидно, недоумевал, куда занесла его судьба. Он глядел и не думал, конечно, что значат эти кровяные брызги, запекшиеся на холсте барьера, что значат черные пятна на сером войлоке, по которому он так величественно ступал.

— А мой вот какой будет! — сказал кондитер, появляясь с черным петухом в руках.

— О, славный какой! — восторгался фельдшер, исподтишка толкая Захара Фомича.— Славный, славный! — А когда заговорили другие, он шепнул ему: — Дрянь петух против вашего!

Зазубрин тоже хвалил черного и тоже сказал на ухо Захару Фомичу:

— В суп его пора, а не в бой.

— Мой петух ничего себе, да вот беда: не пробован! Кто его знает, вдруг побежит? — неуверенно сказал кондитер.

— За хохол тогда! — пошутил кто-то.— Не бегай! Не вводи в убыток хозяина.

— Только попробовать хочется. Я бы уж, так и быть, поставил бы десятку. Только не с вашим, Захар Фомич. Мой вашему не ровня.

— Я ведь показать только принес,— ответил Захар Фомич.— Я драться не пущу.

— С вашим и я не стану. Разве возможно!

— Бейтесь, Захар Фомич, бейтесь! — зашептал опять фельдшер.— Бейтесь на всю четвертную. Что вам? Двадцать пять рублей положите в карман, вот и все. Только и дела!

Зазубрин с другой стороны толкал Захара Фомича, советуя спорить.

— Ваш забьет! Честное слово! По всему видно. Я за вашего держу! — сказал он громко, на весь сарай, и в голосе его был вызов.— Вот пять целковых за «Солового» петуха! Кто против меня за «Черного»?

— Я за «Черного»! — отозвался рыжий человек, и в его тоне также был задор.— Деньги за-руки,— отдавайте хозяину.

— При чем тут наличные? — возразил фельдшер.— Я думаю, можно и после рассчитаться.

— Никак нет-с! — деловито заметил на это трак-

тирщик.— Кредит отношениям вредит. Деньги за руки!

— Верно, Павел Спиридоныч! Забирай деньги! — нетерпеливо крикнул Зазубрин, махая в воздухе пятеркой.— За «Солового» по пяти рублей,— ай да тотализатор. Я за «Солового» держу!

Трактирщик весело и проворно собрал деньги и спросил, воровато поглядывая бегающими глазами и загибая рукой ухо, чтоб лучше слышать:

— А по скольку за петухов-то?

— По двадцать пять! — объявил фельдшер.

— По четвертной! — подтвердил Зазубрин.

— Дело хорошее-с! Четвертушка — не игрушка!

Захар Фомич удивленно огляделся и взял петуха на руки.

Боясь, что противник уйдет, кондитер притворно вздохнул и проговорил, махнувши рукою:

— Ну, будь что будет! Двадцать пять так двадцать пять! Черт возьми, пропадай мои денежки!.. Получи, Павел Спиридонович,— обратился он к хозяину, отсчитывая деньги.— Эх, петух-то неопытен... Ну, да ладно, где наша не пропадала!..

— Дозвольте получить-с? — протянул хозяин руку к Захару Фомичу.— По четвертной, стало быть, выходит?

Захар Фомич не отвечал. Он глядел во все глаза на трактирщика, будто не понимая, чего от него хотят.

Зазубрин опять толкнул его ногою и шепнул:

— Ставьте же, ставьте! Чего боитесь?

Фельдшер тоже нашептывал:

— Таких петухов во всей Москве не найдешь. Тот курица против вашего!

Захар Фомич не знал, что ему делать. Он уже колебался. С одной стороны — было жаль петуха, с другой стороны — интересно. Давно уже не испытывал он такого волнения, какое охватило его теперь. Он поднял глаза на Зазубрина, ища в нем поддержки. Тот уверенно тряхнул в ответ головою, как бы говоря: ставьте, ставьте!

— А это чем же должно кончиться? — спросил Захар Фомич, начиная чувствовать в себе дрожь.

— Который побежит, тот и проиграл.

— А не то, чтобы до смерти биться?

— Зачем до смерти! Бывают такие, что и до смер-

ти не побегут, только это редко случается. Да «Черный» через десять минут лыжи навострит — по всему видно!

— Ну, коли не до смерти...— Захар Фомич опять задумался.— Ну, получите деньги! — проговорил он, пересиливая себя и чувствуя, как трясутся руки, усиливается волнение и занимается дух от ожидания.

Кондитер перегнулся через барьер и поставил черного петуха на арену, придерживая его пока за спину.

Захар Фомич тоже перегнулся и тоже держал за спину своего «Солового», в ожидании сигнала. Петухи уже глядели друг на друга враждебно и тихо ворчали.

— Ну, пускайте! — скомандовал фельдшер.

Петухи остались одни.

Участники и зрители насторожились, все замолчали и стали напряженно следить — что будет. Сделалось совершенно тихо, как в пустой комнате.

«Черный», с подстриженным хвостом, весь напряженный и стройный, нагнул голову, точно готовясь к налету, и, слегка оттопырив крылья и не спуская глаз с противника, стоял в выжидательной позе.

«Соловой», тоже нагнув голову, сердито глядел на него и вдруг, неожиданно прыгнув, ударил крылом по голове и сильно толкнул ногами по зобу.

«Черный» взлетел в свою очередь и так же ударил противника.

Борьба медленно разгоралась.

Петухи то кружились на месте, долбя друг друга в головы, то стояли неподвижно, опустив клювы почти до земли, то взлетали одновременно и тяжело сшибались в воздухе. Пух летел от них, садясь на картузы и одежду.

— Так! так, «Соловой»! — весело подговаривал Зазубрин.— В голову его! Ну... э... э... так! так!

Фельдшер, облокотясь на барьер, следил за «Черным» и тихо бормотал:

— Верный петух; верный!

Петухи продолжали сшибаться.

«Соловой» кружился уже не так уверенно, не с прежней легкостью и не всегда удачно отражал удары, подставляя часто голову, на которой уже сочилась кровь. «Черный» был много бодрее, чаще и чаще взлетал, поражая соперника.

— Ишь ты, боец какой! — воскликнул трактирщик.— Даром что худерьба!

«Черный» опять взлетел и ударил с такою силой, что «Соловой» не удержался на ногах. Это вызвало общий восторг. Но «Соловой» быстро поднялся, вывернулся из-под удара и в свою очередь насел на врага и яростно долбанул его несколько раз в голову так, что Зазубрин крикнул в восторге:

— Ай да петух!

Захар Фомич сидел неподвижно, дрожа внутренно и еле переводя дыхание.

— Молодец, «Соловой»! — поощрял Зазубрин.— Слева его бери! Слева... слева!

— Не учи: учить уговора не было! — засмеялся кто-то.

Зазубрин, встретясь глазами с фельдшером, улыбнулся углом губ в ответ на его подмигивание, обращенное в сторону Захара Фомича.

— О! Ловко! — воскликнули сразу два голоса, а затем заговорили и зашептали все:

— На шпору надел!

— Смял!

— Пропал «Соловой»!..

Но «Соловой» еще не пропал. Оба борца были измучены и, разинув клювы, кружились друг за другом, шумно и хрипло дыша. Кружась, они отдыхали, но в то же время следили один за другим и за самими собою, готовясь или напасть внезапно, или отразить удар,— пока же бессмысленно и беспорядочно долбили друг друга в головы. На войлоке краснели свежие кровяные следы, валялись обломанные перья, которые шевелились при всяком повороте бойцов.

— А у какого-то клюв гремит,— заметил трактирщик, загибая рукою ухо.

— Да, да. Кто-то разбил себе клюв.

— «Соловой» разбил! Это у него гремит,— слушайте,— подтвердил фельдшер, указывая пальцем на петуха, который изнемогал и еле защищался.

Зазубрин, взглянув исподтишка на Захара Фомича, наклонился к нему, чтобы что-то сказать, но не сказал ни слова, а только усмехнулся и покрутил головой.

— Долго что-то они,— заметил, наконец, фельдшер.— Все равно, теперь ясно: «Соловому» конец.

Захар Фомич поднял голову и долгим тяжелым взглядом посмотрел на фельдшера, потом на Зазубрина, как бы говоря: что ж вы уверяли-то?

— Ошибся, Захар Фомич! — ответил Зазубрин, виновато вздыхая.— Будь сухой зоб — совсем дело иное. А у него хлебный... кто ж виноват?

Захар Фомич еще раз поглядел на всех — все лица были недоброжелательны — и как-то сразу опустил голову, точно она сама обессилела и повисла на грудь.

— Петенька! — жалобно и нежно прошептал он.

Вокруг сдержанно засмеялись.

«Соловой» напрягал последние силы. Ноги и голова его были в крови. Кровавыми пятнами пестрел войлок. «Черный» между тем взлетал и прыгал и наносил «Соловому» новые раны.

— Верный, верный петух! — одобрял его фельдшер.

— Конец «Соловому»! Кончено! — заговорили все, глядя на бой.

— С выигрышем, Гаврила Михайлович! — поздравил кто-то кондитера.

Кондитер хотел было улыбнуться, но, завидя, как «Соловой» стал круто заходить, очевидно с каким-то серьезным и обдуманным намерением, вдруг закричал на поздравителя:

— Молчать раньше времени!

Намерение «Соловго» заметили все — и все забеспокоились.

Позволяя долбить себе голову и не защищаясь, он все круче и круче заходил, меняя направление и обманывая зоркость врага.

— К глазу... к глазу пошел! — зашептали вокруг, одни с тревогой, другие с одобрением.— К глазу идет!..

Захар Фомич задыхался; сердце в нем усиленно колотилось, немел язык, дрожали губы и щеки, моргали глаза.

Кондитер стоял, ухватив себя обеими руками за виски, с остановившимися выпученными глазами, трактирщик по-прежнему благодушно улыбался, подпирая руками бока и растопырив ноги.

— К глазу... к глазу,— шептали Зазубрин и фельдшер вместе, среди общего затишья и напряжения.

— Эх! — взвизгнул кондитер, махнув по воздуху кулаком.— Черт проклятый!

— Глаз вышиб! глаз! — зашумело все собрание.

После напряженного ожидания все вздохнули свободней, точно свалилась гора с плеч. Никто не поморщился. Только Захар Фомич закрылся на секунду руками и прошептал что-то.

Петухи вновь запрыгали один на другого.

«Соловой» часто падал и, видимо, изнемогал совершенно.

Кондитер и все ободрились.

— Схитрил! — проговорил Зазубрин, с усмешкой взглядывая на Захара Фомича.— А все-таки не взять! Силенки не хватит.

— Ну-ка, «Черный», хвати еще разик! Так! Ну, еще... так! Ха-ха-ха! — залился фельдшер самодовольным смехом.— Не вывернешься!

«Соловой», однако, вывернулся из-под «Черного» и перескочил на сторону слепого глаза.

Снова они закружились в клубке.

Кондитер стоял с побледневшими губами: он сознавал опасное положение своего петуха.

— Хитрый черт! Хитрый дьявол! — шипел он, следя за каждым движением «Солового».

— Теперь ему слева не страшно,— заметил трактирщик.— Ишь как с левой руки заворачивает!

— Опять... опять... опять путает,— шептал чей-то трепетный голос.— Обманывает... заводит...

Все поднялись на ноги в ожидании близкой развязки. Кондитер кусал губы, ерошил волосы и ничего не видел, кроме петушьих спин, ног и красных гребней.

— Обошел... обошел! — раздался тихий дрожащий голос.

— К другому лезет... К другому глазу...

Высшее напряжение овладело всеми.

— Тьфу! — отчаянно плюнул вдруг кондитер и, весь красный, визгливо ругаясь, выбежал из сарая: «Соловой» выклюнул «Черному» второй глаз.

«Черный» зашатался от боли и тьмы и неуверенно побежал по кругу, касаясь боком барьера.

«Соловой», напрягая остаток сил, весь израненный, победоносно помчался за ним вслед, гогоча и хлопая крыльями.

В «уважаемой» все обступили Захара Фомича. Тот, рассеянно глядя, держал на руках «Солового», бережно завернутого в носовой фуляровый платок. Трактирщик, улыбаясь и поздравляя, подал ему пачку мелких кредитных денег.

— Пожалуйте-с: пятьдесят рублев! Десять прòцентов за помещение удерживаю,— мягко говорил он, щеголяя иностранным словом и выговаривая с ударением на первом слоге.— Великолепнейший петушок-с! С выигрышем, может, спрыснуть желаете? Егорка! Приготовь стол!.. Водочки, закусочки, Захар Фомич, желаете? Винца холодненького: белого, красного... мадерки, портвейнцу? Может, шампанчику, на радостях?..

Захар Фомич сунул деньги в карман и молча повернулся, чтобы уйти.

— А с выигрышем-то? — остановил его фельдшер, точно требовал долг.— Куда ж вы, батенька? С выигрышем! Обычай — что закон.

За стеной где-то визгливо ругался кондитер и слышался чей-то оправдательный лепет.

— Прочихали четвертную, дьяволы, а? Говорили, дрянной петух; где ж он дрянной?.. Где подлец Травников? Заманили старика, черти, облапошили? Только доброго петуха изгадили — у, сволочи!

Захар Фомич недоумевающе глядел на фельдшера, а тот, ухватив его за рукав, требовал угощения. Трактирщик искоса поглядел на них и куда-то исчез, приложив к носу палец.

— Обычай таков—понимаете?—убеждал фельдщер.

Старик готов был уже сдаться, но петух задергался у него в руках.

— Петенька! — сочувственно прошептал Захар Фомич, наклоняясь к петуху, как к больному ребенку, и, невзирая на общее неудовольствие, вышел на улицу.

*1888*

## *Против обычая*

### I

Дорога вела сибирской заимкой. По сторонам за крестьянскими усадьбами раскидывались пашни, а впереди, где начинался березовый лес, на самом краю чернела одинокая землянка.

Уже вечерело, когда к этой землянке подошли двое молодых людей. Один из них был лет тридцати, красивый брюнет, с тонкими чертами лица, хорошо сложенный, одетый в охотничью куртку и высокие сапоги; за поясом у него висел пустой ягдташ, за плечами — ружье; это был земский заседатель Василий Михайлович Волынцев, только что прибывший сюда из Петербурга. От страшной ли усталости, или от неудачной охоты он был не в духе и торопился домой, где его дожидалась масса дел, надоедливых и безынтересных. Спутником его по охоте был волостной писарь, бывший псаломщик Услышинов, уроженец здешнего села, знавший наизусть все пути и дороги и провожавший Волынцева «пур пассэ летан» — как он сам выражался, хотя и не знал в точности, что это обозначает; вместо ружья он ходил с сучковатою тростью, курил вместо своих волынцевские папиросы и очень гордился, что «петербургский аристократ и первое лицо здесь» ни с кем, кроме него, не ведет компании; его пестрый пиджак и брюки навыпуск с обкусанными задками, и сапоги на высоких кривых каблучках, и набекрень надетый картузик, на котором виднелась на месте кокарды запыленная дырочка, его закрученные усы и на мизинце колечко — все обнаруживало в нем местного сердцееда и франта, хотя Ус-

лышинов по серьезности и по костюму надеялся не отстать от Волынцева и быть ему «под пару».

Двери землянки были не заперты. Чтобы спросить напиться, Волынцев отворил их, но внутри никого не было, хотя у самого порога стоял «туяз», берестовый бурак, с молоком, покрытый большим куском хлеба, а рядом лежали яйца и творог.

— Где же хозяин? — досадливо сказал Волынцев.— Я хочу пить.

— Сколько угодно-с,— отвечал писарь и потянулся за кринкой.— Вы сами здесь хозяин!

— Погоди,— остановил Волынцев.— Может быть, люди приготовили себе ужин... Странные люди: двери настежь, самих ни души... Этак всякий придет, мало ль здесь народа шатается. А после плакаться будут: обокрали!..

Услышинов вежливо усмехнулся.

— Это нарочно так делают. Для того и поставлено, чтобы прохожие ели и пили... Не беспокойтесь, Василий Михайлович, кушайте, сколько угодно.

— Для прохожих? — усомнился Волынцев.— Кто же это делает для прохожих? И с какой стати?

— Все делают, во всех деревнях,— отвечал с удовольствием писарь.— Обычай старинный, спокон веков; его всякий себе, можно сказать, священной обязанностью ставит. Здесь, по заимкам, реже случается, а в деревнях — прямо выносят еду каждую ночь на улицу, за окошко. Поставят на полочку, а ночью бродяга придет, отыщет — ну и сыт!

— Бродяга?.. Какой бродяга?

— А вот которые с ссылки... из каторги бегут, из рудников там... Бродягами здесь называются.

Волынцев удивленно взглянул на писаря.

— Да-с! Это и есть для них пропитание! — добавил тот, радуясь неизвестно чему.— Ведь через наши места этих беглых идет-идет, счету им нет! Может, сто лет все идут. Ну жители и привыкли.

Услышинов продолжал рассказывать, а Василий Михайлович стоял задумчивый, наморщив лоб и закусив губу. Он вспомнил, что слыхал об этом обычае еще в Петербурге, даже что-то читал или видел какую-то картину на выставке, но, не интересуясь тогда Сибирью, не обратил на это внимания и скоро забыл. Только теперь, столкнувшись лицом к лицу с фактом,

он вспомнил прежние рассказы, горячие споры по этому поводу и недоумевал, даже более того — поражался, как могла водвориться такая бессмыслица, как могло население идти так открыто против закона, его же самого охраняющего, как могло, наконец, начальство допускать такой странный обычай и дать ему укорениться в народе.

— Ты говоришь, жители привыкли? — с полузаботой, с полуусмешкой спросил он писаря, перебивая его рассказ.

— Да-с. Привыкли.

— И кормят? и поят?..

— Да-с... Да это еще что! а вот бывает даже так, что некоторые за старостью или больные в лесах укрываются и не ходят в деревни, так этим многие прямо в лес на указанное место приносят и еду и даже, бывает, одежду... Очень хорошее обыкновение!

— Да ты с ума, что ли, сошел?! — почти крикнул Волынцев.— Еще хвалит!.. Разве законно потакать разбойникам, укрывать и кормить беглецов?.. Это черт знает на что похоже, мой милый!

— Кто знает...— смутился писарь.— Старинный обычай... как его разбирать будешь? Оно, конечно... А с другой стороны, везде так делают.

— Ну и пусть везде делают! — разгорячился Волынцев.— А у меня не бывать этому безобразию!

Глаза его засверкали.

— Ты меня знаешь: что сказано — тому быть! — добавил он запальчиво.— Ну, спасибо, Иван Петрович, ты задал мне превосходную задачу. Пусть это будет моим дебютом! Интересное и новенькое дельце... Видно, сама судьба за меня!

И усталость и неудачная охота — все было мгновенно забыто. Горячие мысли вихрем закрутились в голове Василия Михайловича, слагаясь в неясный, но грандиозный план. Он быстро вышел на дорогу, свистнул собаке, и Услышинов еле поспевал за ним, не понимая ничего, но побаиваясь его гнева.

## II

Село, где поселился Волынцев, стояло на тракте; оно славилось отличными лошадьми и обильной охотой. На селе было много богатых мужиков. Домик

Волынцеву отвели на почетном месте — против церкви, вблизи волостного правления.

По каким причинам заехал сюда этот «российский барин», как его называли крестьяне, не было никому известно, но было по всему заметно, и по лицу и по манерам, что он не из тех, которых привыкли здесь видеть на службе: у него и тон не таков, и письма он получает с какими-то гербами, ни с кем не бранится, не дерется, но требует всего так быстро и настоятельно, что не поспеешь одуматься, хорошо это или худо. «У меня сказано — сделано! Иначе здесь нельзя! — твердил он постоянно Услышинову, которого нередко брал к себе для письменных занятий.— У меня — чтобы все было по-моему!»

Писарь был единственным человеком, с кем Волынцев позволял себе частную беседу и даже посвящал его в тайну своего пребывания в захолустье.

— Я здесь ненадолго. Я здесь только учусь,— говорил он писарю, приятно и загадочно улыбаясь.— Ну, год, ну, два проживу — а там...

И писарю мало-помалу становилось известно, что Волынцев — петербургский чиновник, что у него громадные связи и блестящая будущность. Как было не дорожить вниманием такого человека, особенно если он приглашает к себе чай пить, берет на охоту, угощает вином!.. Он даже заметил однажды Услышинову:

— Что ты меня все «благородием» величаешь? Меня зовут Василий Михайлович.

Даже это обращение на «ты», иногда с прибавлением «голубчик» или «мой милый», казалось писарю не только безобидным, но и приятным.

— Извините меня, Василий Михайлович,— говорил ему писарь.— Что за охота вам при вашем образовании и, так сказать, при всем положении да в этакой должности находиться? Низко-с для вас! Нашему брату пить-есть надобно, а уж вам, кажется...

— Э, братец! — возражал с удовольствием Волынцев.— Черная работа необходима. Петр Великий — и тот был, когда учился, простым рабочим. Всякое дело нужно в корню изучать... в корню!.. Разумеется, это не мое место, но ведь я здесь, повторяю, не навек!..

«Конечно,— рассуждал после сам с собою Услышинов,— Василий Михайлович желает поучиться, вы-

двинуться... Может быть, его через год и рукой не достанешь: увезут его в Петербург, куда-нибудь в министерство посадят... А вдруг он возьмет да и вспомнит тогда сибирского компаньона?.. А прогуляться с ним на охоту да про здешние порядки поговорить — мне наплевать!.. Сколько угодно!»

Так рассуждал Услышинов, стараясь оказывать Волынцеву всевозможные услуги.

— Как ты думаешь, Иван Петрович,— спросил его на другой день заседатель,— ради чего крестьяне кормят этих бродяг? У меня это просто из головы не идет.

— Как сказать, Василий Михайлович: бродяга все же есть человек, и коль ему не подашь, так бог и самим ничего не даст,— вот как думают наши крестьяне... Любую бабу спросите — этими делами у нас все больше бабы заведуют,— она вам сейчас скажет, что дорога, мол, ихняя дальняя, идут под страхом, сердешные, точно звери... Оно и жалко: каждому человеку пить и есть надобно... От любой бабы это самое услышите, честное слово-с!.. Да, кроме того, имеется и еще одно соображение...

— Какое?

Писарь пожал плечами и, видимо, стеснялся.

— Ну, говори, какое соображение! — настаивал Волынцев.

— Не обижают никого... Их не трогают, и они не трогают!..

— Мило!..— возмутился Василий Михайлович.— Возможно ли тогда хоть какое-нибудь уважение к власти? Ведь допускать это — значит, сознаваться в своем бессилии, войти с ними в стачку!.. Нет, мой друг, этому не бывать!.. Я не позволю мужикам откупаться от этих сорванцов. Ни за что на свете! Завтра же положу запрет. У меня шутки плохи!

В назначенный день собрались старшины волынцевского участка и покорно ожидали «штучки», какую заблагорассудится выкинуть их новому начальству. Уже заранее они не были с ним согласны, хоть и не знали еще, в чем дело.

Когда же к ним вышел Василий Михайлович, в новом мундире, стройный, красивый, с блестящими глазами, они сразу смутились и оробели. Он упрекнул их за беспорядки и объявил, что за такие дела самих

сажают в острог, что, укрывая и помогая беглым, они действуют против закона и что если он только узнает, что где-нибудь кто-нибудь ослушается его приказания,— всех под суд отдаст как сообщников. Старшины молча поклонились, и только один старик, покрутив головой, осмелился проговорить:

— Слушаем... Прикажем, ваше высокоблагородие... Только ладно ли будет?

— Чтоб было! — рассердился Волынцев и топнул ногою.

Старшины опять поклонились и разошлись с понурыми головами.

## III

Весь вечер лил дождь. Волынцев шагал из угла в угол по своим небольшим комнатам, обдумывая возникший вопрос и проверяя самого себя.

«Конечно, я прав! — мысленно решал он.— Конечно, прав!»

Однако недовольство собою, чувство чего-то неладного, как будто внутреннего разлада и сомнительной правоты мешали ему успокоиться.

«Вот почему,— думал он,— не страшит и Сибирь закоренелых преступников: они знают, что могут убежать, что в бегстве будут сыты, одеты, а главное — расчет на сочувствие и поддержку в народе».

То смущаясь, то ободряясь надеждой искоренить преступление — вековое и общее, вошедшее в местный обычай, даже, по словам писаря, в священный долг населения,— Волынцев видел в этом необыкновенный подвиг. В мыслях его порою вспыхивала радость, потому что борьба совпадала с целью — учиться и выдвинуться, ради чего он покинул Петербург, родных и забрался в эту глушь, отделив себя добровольно от всего цивилизованного мира.

В волнении и раздумье он подошел к окну.

Там, за окном, было серо и мутно: дождик бился в стекла, где-то чудилась однотонная песня ветра, и было скучно везде и сиротливо. Волынцев засмотрелся. Он видел перед собой пустынную улицу сквозь густые сумерки, видел грязную, потемневшую дорогу, постепенно сливавшуюся с дождем и вечерними тенями. Мысли его мало-помалу становились бессвяз-

нее, уносясь куда-то, возвращаясь и перепутываясь. Манила предстоящая борьба, соблазняла почетная будущность, а в душу просилось что-то далекое, минувшее и позабытое... Ему вспомнилось вдруг иное, лучшее время, когда он сам был моложе, лучше, отзывчивее... Он так же стоял однажды перед окном, так же упорно глядел на дорогу — только это был Петербург, людные улицы, морозная звездная ночь, а за столом шумела молодая компания, споря и горячась, защищая любовь, милосердие и жалость ко всем униженным и несчастным. Он и сам тогда сочувствовал этому и, обернувшись, увидел добрые разгоряченные лица товарищей, увидел свою сестру, которая молча слушала, не сводя блестящих глаз с говорившего студента... Словно желая и теперь увидеть те же лица, Василий Михайлович обернулся, но маленькая неуютная комната была пуста, на столе тускло горела свечка, и повсюду чувствовался запах тулупа и дегтя, занесенный только что ушедшими мужиками.

«Как все это было давно!» — вздохнул он, припоминая прежнее время, прежние верования, мечты и надежды, и опять в душе его смутно, точно эхо, отозвалось что-то старое, доброе...

Дождь монотонно шумел за окном. Одиночество, скука и ночное безмолвие настраивали на свой лад воображение Волынцева, и ему стало казаться, что такое же тусклое небо, которое моросило теперь беспрерывным дождем, раскинулось всюду, над всей Сибирью, залило ее мутными потоками, и нигде нет защиты в эту черную ночь от ливня, от сырости, от грязи и холода; вряд ли даже звери не попрятались в свои норы; неужели только люди, бездомные и голодные, бегут в это время, бегут лесами, окольными дорогами, пользуясь темнотой и прячась от других людей...

Волынцев живо представил себе такого беглеца, промокшего, проголодавшегося, который ночью среди мрака подходит к избе, ищет и находит хлеб и снова скрывается, боясь попасться на глаза такому человеку, как, например, он — Волынцев.

— Вздор! — резко перебил он течение своих мыслей и снова зашагал по комнате.— Все это сентиментальность и фразы, из которых ничего не может быть путного!

Так думал Волынцев, решив не поддаваться минутным увлечениям и во что бы то ни стало искоренить вредный и беззаконный обычай.

— Нужно покончить разом и навсегда!

Твердый в своем решении, он не допускал уже более, чтобы жалость закралась к нему в душу.

## IV

Близилось к осени.

Василий Михайлович не мог на себя нарадоваться: то, что слагалось десятками и сотнями лет, что вошло уже в кровь и плоть населения, он разрушил единым словом, единым взмахом пера.

«Так и впредь буду делать!» — думал он с удовольствием и при случае расспрашивал старшин о бродягах, строго-настрого подтверждая приказ.

Увлеченный первым успехом, Волынцев писал о своем подвиге в Петербург родным, когда к столу подошел Услышинов и молча поклонился.

— Ты что? — спросил Волынцев, не отрываясь от письма.

— Да что, Василий Михайлович, опять лошадь украли,— отвечал писарь.

— Черт знает что такое! Это ни на что не похоже! — разгорячился Волынцев и, отбросив письмо, взволнованно зашагал по комнате.— Конечно, теперь осень... самое воровское время...

— Никак нет, Василий Михайлович, осень здесь ни при чем,— со вздохом проговорил писарь.— Никогда у нас этакого безобразия не бывало.

Что ни день, то приходила новость: уводили лошадей, резали телок, обирали проезжих. Глухой ропот поднимался в народе: боялись за хлебные амбары, за избы, а поджог, по общему мнению, был неминуем. Но Волынцев твердо стоял на своем. Борьба увлекла его; он лично производил дознания, разъезжал по всему участку, нанимал на свои деньги сторожей и совершенно забыл об отдыхе.

«Дорого мне это обходится, и возни очень много, но без того не расстанусь, чтобы не вышло по-моему!» — писал он в письмах к матери, нередко хвалясь, что имя его пронеслось грозой по Сибири.

По его, однако, не выходило. Воровство усилива-

лось, не стало сладу. Наконец, у самого Волынцева увели ночью верхового коня, а любимую собаку его удавили и назло повесили ее перед окошком спальни.

Волынцев рассвирепел. Целую ночь он ворочался в постели без сна и чуть не плакал от обиды и злости. Он не мог примириться с мыслью, что его любимец, черный понтер,— повешен.

«Ну, зарежь, застрели — все легче! — думал Василий Михайлович.— А то повесили!..»

— Это ужасно! Это бесчеловечно! — возмущался он и поклялся, что теперь уже ни за что не отступит и всех переловит.

## V

Прошел год... Волынцев успокоился. Крестьяне его боялись, о бродягах было почти не слышно... Из Петербурга ему уже писали, что скоро он получит высшее назначение, а он писал в Петербург, чтобы на лето приезжали к нему мать и сестра.

«У нас полное раздолье, воздух чистый, домик мой просторный, все крайне дешево и всего сколько хочешь. Реки кишат рыбою, а дичи так много, что некуда девать,— писал он домой, соскучившись без родных.— Дело мое теперь уладилось, все тихо, и я буду при вас почти неотлучно...»

— Иван Петрович, пойдешь со мной на охоту? — предложил однажды он писарю, выбрав свободное время.

— С восторгом-с, Василий Михайлович!

Они снарядились по-прежнему: Волынцев пошел с ружьем, Услышинов с своей дубинкой.

Проходя по заимке, они заглянули в землянку. Там было пусто.

— А помнишь, Иван Петрович,— сказал заседатель,— как в прошлом году мы здесь расшумелись? Теперь видишь — ничего нет! Во всем необходима смелость и твердость: уступи я тогда хоть на волос, испугайся воровства или пожара — ну и кончено! Те же мужики меня в грош не ставили бы. А теперь — нет! Теперь на меня как на грозу все смотрят!

— Стойкость характера — дело великое! — похвалил писарь.— Оно, конечно, если не себя показать, так для чего было и беспокоиться вам ради этакой должности... Вам впору быть губернатором либо

в министерстве что-нибудь этакое... а не здесь, не у нас!

— Я говорю, что и Петр Великий сначала был добровольно корабельным мастером... Что ж делать, нужно учиться... Нужно всегда начинать с первой ступеньки, с нижней, чтобы в точности изучить дело, а там шагай себе хоть через десять, но первая ступенька необходима — это мое правило. Единственно, о чем я тужу,— продолжал Волынцев,— что собаку мою повесили. Вот подлецы! Ничего мне больнее не могли придумать, разбойники!

— Еще бы-с!

— Главное, повесили — вот что обидно!

— Чего хуже!

— Я вот сейчас с ружьем иду... Конечно, убивать буду, но ведь смерть смерти рознь: застрелить я могу, но повесить — нет! Рука не поднимется. Здесь хлоп — и баста. А там эта петля, эти судороги, этот высунутый язык...

Волынцев нервно содрогнулся, а писарь из сочувствия плюнул и махнул рукою.

Весь день бродили они по полям и рощам и, наконец, утомленные, расположились близ озера отдохнуть. Услышинов развел костер, а Василий Михайлович приготовил фляжку.

Солнце клонилось к западу, пламенем и золотом отражаясь в воде. Вокруг цвели травы желтыми, белыми, розовыми цветами; кое-где возвышались над ними одинокие сосны или торчала седая полынь. Было тихо, безлюдно и таинственно, точно деревья, травы и цветы, прощаясь до завтра с солнцем, обменивались с ним приветствием. Все мирно ликовало, все было полно жизни, все, казалось, понимало друг друга, и только задымившие костер два охотника с их окровавленной добычей казались здесь чужими и лишними.

Вдруг позади их в кустах послышался говор:

— Этот вон самый?

— Он! Тот самый!

Охотники оглянулись. Шагах в двадцати от них на опушке леса стояли три человека. Один из них глядел в упор в их сторону, а другой показывал пальцем.

— И этого-то молодчика знаем!

Услышинов заметил на себе пристальный взгляд и, испугавшись, схватился за палку.

— Вам что? — крикнул Волынцев, видя, что оборванцы подходят ближе.

Продолжая сидеть на траве, он внимательно и спокойно разглядывал их фигуры. Все трое были плечисты и крепки, с загорелыми, обветренными лицами: видно, что не один день и не одну ночь провели они под открытым небом. Высокий парень с шрамом на лице шел впереди; одет он был поверх рубахи в рваный пиджак, в зимнюю шапку и сибирские бродни; у второго на ногах были надеты шерстяные пимы; третий был бос, но вокруг шеи повязал грязный платок и на голову надел фуражку.

— Вам что? — строго повторил Волынцев и выпрямился во весь рост, быстро поднявшись с травы.

— Да нам что... Ты наших обидел, а теперь сам становись к расчету.

Только тогда Волынцев понял, в чем дело. Он нервно схватился за ружье и отскочил на шаг.

— Прочь, негодяи!!

— Чего ж гонишь,— возразил с насмешкой бродяга.— Место небось божеское: ни ты, ни я ему не хозяин.

Писарь с трясущимися руками и побледневшим лицом глядел во все глаза на Волынцева, ожидая от него защиты.

«Стреляйте! Спасайте!» — хотел закричать он, но не мог выговорить ни слова.

Выстрелить — Василию Михайловичу и самому приходила мысль. Но как будешь стрелять, когда стоят безоружные люди и нет причин убивать их!

Держа наготове ружье, он снова крикнул:

— Прочь! Или всех перебью на месте!

Лицо его было бледно, глаза горели.

— Давненько с тобой посчитаться хотелось! — продолжал бродяга.

— Больно много обиды от тебя видели, барин! — сказал другой.

— И сжечь тебя давно собирались, да мужиков, соседов твоих, было жалко! — добавил третий.

Все они заговорили сразу, обступив Василия Михайловича с трех сторон.

— Считаться?!.— вскрикнул Волынцев, и голос его зазвенел.— Я вам дам считаться, разбойники!!

И в одно мгновение переменилась картина: обом-

левший писарь видел, как блеснуло вскинутое ружье, грянул выстрел, кто-то вскрикнул, все перемешалось — и Волынцев стоял с поднятым кверху дулом ружья, за которое крепко схватился бродяга, а второй сдавил заседателю горло. Еще мгновение — и ружье было вырвано, а руки Волынцева загнуты назад и затянуты шарфом. Он пытался вырваться. Хрипел, кусал зубами одежду, бил ногами о землю, вертел головою.

— Нету, барин, прочно! — засмеялся бродяга.— А ты чего с палкой стоишь? — крикнул он писарю.— Или тоже подохнуть хочешь?

Больше он ничего ему не сказал и даже отвернулся, как от не стоящего внимания. Но Услышинов уже сам бросил трость и нервно гладил ноги, которые у него подгибались от ужаса.

— Разбойники!! Негодяи!! — хрипел Волынцев, все еще надеясь высвободить руки.

Потом он перестал биться, гордо выпрямился и сказал глухим, но твердым голосом:

— Что нужно?..

— Да ничего не нужно. А чтобы ты знал, как порядки нашему брату заводить, так вот получи!

Он снял с себя ременный пояс и подал Волынцеву.

— Дарю тебе его навечно! А сучок сам себе выбирай: потолще или потоньше, пониже или повыше — твое дело, укажи, где знаешь. Нам все равно.

Волынцев молчал. Блестевшие глаза его сразу потускнели, голова повисла на грудь, и голос осекся.

— Такой ладно будет?—спросил бродяга, указывая на сосновый сучок.— Место хорошее: у всех на виду.

Василий Михайлович стоял бледный и силился что-то выговорить, но губы его дергались в разные стороны.

— Ну что ж, барин? Этак тебя до завтра не прождешь. Прощай! Не поминай лихом.

— Да как же это так?! — вскрикнул не своим голосом Услышинов, трясясь и не попадая зуб на зуб.— Что ж это!..

В глазах у него потемнело от ужаса.

— Брысь ты, песья душа!! — раздалось в ответ, и чья-то крепкая рука хлопнула его по затылку. Он пошатнулся, потом упал на колени, потом снова вскочил и бросился бежать неизвестно куда, падая и поднимаясь, не чувствуя под собою ног, без оглядки, без пути и без отдыха.

— Ну что ж, барин? — повторил спокойно бродяга, держа Волынцева за воротник.— Не стоишь ты сам того, чтоб нам из-за тебя на нашу душу твою душонку брать. Черт с тобой! Ложись на травку. Выпорем как следует — и развязка на первый случай! Скидывай свою амуницию! А ежели глупостей своих напредки не оставишь, тогда уж не прогневайся: обязательно повесим, где бы ты ни был!

Уже свечерело, когда Услышинов прибежал к старшине, потеряв дорогой фуражку.

— Заседатель повешен! — кричал он и плакал и, задыхаясь, едва мог передать о случившемся.

Когда миновало первое впечатление и старшина собрался с мыслями, то перекрестился и вымолвил:

— Ну, вечная ему память...

Потом он вздохнул и в раздумье добавил:

— Да и то сказать — не жилец он был здесь!

А еще позднее, когда путь уже освещала луна, добрался кое-как до дома и Волынцев, без ружья, без охотничьих доспехов и без тужурки, опираясь на палку Услышинова. Никогда и никому он не рассказывал о том, что с ним было. Несколько дней он даже избегал встречаться с людьми и не мог свободно ни садиться на стул, ни вставать со стула.

Стал он мрачен и молчалив. Даже Услышинов на свои сочувственные вопросы не получал ответа.

Когда пришла, наконец, телеграмма с разрешением отъезда в Россию и когда Волынцев сидел уже в тарантасе, окруженный чемоданами, с двумя револьверами за поясом и с вооруженным стражником при ямщике, он, подавая руку писарю, сказал ему на прощанье, как всегда загадочно:

— Обо мне вы здесь еще, надеюсь, услышите, черт возьми!!

А когда тройка мчалась уже по безлюдной дороге мимо того леса, где Волынцев недавно охотился, он приподнялся в своем тарантасе, презрительно сощурил глаза, вынул из кобуры револьвер и два раза выстрелил в лес.

Эхо ответило ему из леса громкими раскатами, а встревоженные кони помчались вскачь.

*1894*

# *Елка Митрича*

## I

Был канун рождества...

Сторож переселенческого барака, отставной солдат, с серою, как мышиная шерсть, бородою, по имени Семен Дмитриевич, или попросту Митрич, подошел к жене и весело проговорил, попыхивая трубочкой:

— Ну, баба, какую я штуку надумал!

Аграфене было некогда; с засученными рукавами и расстегнутым воротом она хлопотала в кухне, готовясь к празднику.

— Слышь, баба,— повторил Митрич.— Говорю, какую я штуку надумал!

— Чем штуки-то выдумывать, взял бы метелку да вон паутину бы снял! — ответила жена, указывая на углы.— Вишь, пауков развели. Пошел бы да смел!

Митрич, не переставая улыбаться, поглядел на потолок, куда указывала Аграфена, и весело сказал:

— Паутина не уйдет; смету... А ты, слышь-ка, баба, что я надумал-то!

— Ну?

— Вот те и ну! Ты слушай.

Митрич пустил из трубки клуб дыма и, погладив бороду, присел на лавку.

— Я говорю, баба, вот что,— начал он бойко, но сейчас же запнулся.— Я говорю, праздник подходит... И для всех он праздник, все ему радуются... Правильно, баба?

— Ну?

— Ну вот я и говорю: все, мол, радуются, у всякого есть свое: у кого обновка к празднику, у кого

пиры пойдут... У тебя, к примеру, комната будет чистая, у меня тоже свое удовольствие: винца куплю себе да колбаски!.. У всякого свое удовольствие будет,— правильно?

— Так что ж? — равнодушно сказала старуха.

— А то,— вздохнул снова Митрич,— что всем будет праздник как праздник, а вот, говорю, ребятишкам-то, выходит, и нет настоящего праздника... Поняла?.. Оно праздник-то есть, а удовольствия никакого... Гляжу я на них, да и думаю; эх, думаю, неправильно!.. Известно, сироты... ни матери, ни отца, ни родных... Думаю себе, баба: нескладно!.. Почему такое — всякому человеку радость, а сироте — ничего!

— Тебя, видно, не переслушаешь,— махнула рукой Аграфена и принялась мыть скамейки.

Но Митрич не умолкал.

— Надумал я, баба, вот что,— говорил он, улыбаясь,— надо, баба, ребятишек потешить!.. Потому видал я много народу, и наших и всяких людей видал... И видал, как они к празднику детей забавляют. Принесут, это, елку, уберут ее свечками да гостинцами, а ребятки-то ихние просто даже скачут от радости!.. Думаю себе, баба: лес у нас близко... срублю себе елочку да такую потеху ребятишкам устрою, что весь век будут Митрича поминать! Вот, баба, какой умысел, а?

Митрич весело подмигнул и чмокнул губами.

— Каков я-то?

Аграфена молчала. Ей хотелось поскорее прибрать и вычистить комнату. Она торопилась, и Митрич с своим разговором ей только мешал.

— Нет, каков, баба, умысел, а?

— А ну те с твоим умыслом! — крикнула она на мужа.— Пусти с лавки-то, чего засел! Пусти, некогда с тобой сказки рассказывать!

Митрич встал, потому что Аграфена, окунув в ведро мочалку, перенесла ее на скамью прямо к тому месту, где сидел муж, и начала тереть. На пол полились струи грязной воды, и Митрич смекнул, что пришел невпопад.

— Ладно, баба! — проговорил он загадочно.— Вот устрою потеху, так небось сама скажешь спасибо!.. Говорю, сделаю — и сделаю! Весь век поминать будут Митрича ребятишки!..

— Видно, делать-то тебе нечего.

— Нет, баба! Есть что делать: а сказано, устрою — и устрою! Даром что сироты, а Митрича всю жизнь не забудут!

И, сунув в карман потухшую трубку, Митрич вышел во двор.

## II

По двору, там и сям, были разбросаны деревянные домики, занесенные снегом, забитые досками; за домиками раскидывалось широкое снежное поле, а дальше виднелись верхушки городской заставы... С ранней весны и до глубокой осени через город проходили переселенцы. Их бывало так много, и так они были бедны, что добрые люди выстроили им эти домики, которые сторожил Митрич. Домики бывали все переполнены, а переселенцы между тем все приходили и приходили. Деваться им было некуда, и вот они раскидывали в поле шалаши, куда и прятались с семьей и детьми в холод и непогоду. Иные жили здесь неделю, две, а иные больше месяца, дожидаясь очереди на пароходе. В половине лета здесь набиралось народа такое множество, что все поле было покрыто шалашами. Но к осени поле мало-помалу пустело, дома освобождались и тоже пустели, а к зиме не оставалось уже никого, кроме Митрича и Аграфены да еще нескольких детей, неизвестно чьих.

— Вот уж непорядок, так непорядок! — рассуждал Митрич, пожимая плечами.— Куда теперь с этим народом деваться? Кто они такие? Откуда явились?

Вздыхая, он подходил к ребенку, одиноко стоявшему у ворот.

— Ты чей такой?

Ребенок, худой и бледный, глядел на него робкими глазами и молчал.

— Как тебя звать?

— Фомка.

— Откуда? Как деревню твою называют?

Ребенок не знал.

— Ну, отца как зовут?

— Тятька.

— Знаю, что тятька... А имя-то у него есть? Ну,

к примеру, Петров или Сидоров, или, там, Голубев, Касаткин? Как звать-то его?

— Тятька.

Привычный к таким ответам, Митрич вздыхал и, махнув рукою, более не допытывался.

— Родителей-то, знать, потерял, дурачок? — говорил он, гладя ребенка по голове.— А ты кто такой? — обращался он к другому ребенку.— Где твой отец?

— Помер.

— Помер? Ну, вечная ему память! А мать куда девалась?

— Померла.

— Тоже померла?

Митрич разводил руками и, собирая таких сирот, отводил их к переселенческому чиновнику. Тот тоже допрашивал и тоже пожимал плечами.

У одних родители умерли, у других ушли неизвестно куда, и вот таких детей на эту зиму набралось у Митрича восемь человек, один другого меньше. Куда их девать? Кто они? Откуда пришли? Никто этого не знал.

«Божьи дети!» — называл их Митрич.

Им отвели один из домов, самый маленький. Там они жили, и там затеял Митрич устроить им ради праздника елку, какую он видывал у богатых людей.

«Сказано, сделаю — и сделаю! — думал он, идя по двору.— Пускай сиротки порадуются! Такую потеху сочиню, что весь век Митрича не забудут!»

## III

Прежде всего он отправился к церковному старосте.

— Так и так, Никита Назарыч, я к вам с усерднейшей просьбой. Не откажите доброму делу.

— Что такое?

— Прикажите выдать горсточку огарков... самых махоньких... Потому как сироты... ни отца, ни матери... Я, стало быть, сторож переселенский... Восемь сироток осталось... Так вот, Никита Назарыч, одолжите горсточку.

— На что тебе огарки?

— Удовольствие хочется сделать... Елку зажечь, вроде как у путных людей.

Староста поглядел на Митрича и с укором покачал головой.

— Ты что, старик, из ума, что ли, выжил? — проговорил он, продолжая качать головой.— Ах, старина, старина! Свечи-то небось перед иконами горели, а тебе их на глупости дать?

— Ведь огарочки, Никита Назарыч...

— Ступай, ступай! — махнул рукою староста.— И как тебе в голову такая дурь пришла, удивляюсь!

Митрич как подошел с улыбкой, так с улыбкой же и отошел, но только ему было очень обидно. Было еще и неловко перед церковным сторожем, свидетелем неудачи, таким же, как и он, старым солдатом, который теперь глядел на него с усмешкой и, казалось, думал: «Что? Наткнулся, старый хрен!..» Желая доказать, что он не «на чай» просил и не для себя хлопотал, Митрич подошел к старику и сказал:

— Какой же тут грех, коли я огарок возьму? Сиротам прошу, не себе... Пусть бы порадовались... ни отца, стало быть, ни матери... Прямо сказать: божьи дети!

В коротких словах Митрич объяснил старику, зачем ему нужны огарки, и опять спросил:

— Какой же тут грех?

— А Никиту Назарыча слышал? — спросил в свою очередь солдат и весело подмигнул глазом.— То-то и дело!

Митрич потупил голову и задумался. Но делать было нечего. Он приподнял шапку и, кивнув солдату, проговорил обидчиво:

— Ну, так будьте здоровы. До свиданьица!

— А каких тебе огарков-то?

— Да все одно... хошь самых махоньких. Одолжили бы горсточку. Доброе дело сделаете. Ни отца, ни матери... Прямо — ничьи ребятишки!

Через десять минут Митрич шел уже городом с полным карманом огарков, весело улыбаясь и торжествуя. Ему нужно было зайти еще к Павлу Сергеевичу, переселенческому чиновнику, поздравить с праздником, где он рассчитывал отдохнуть, а если угостят, то и выпить стаканчик водки. Но чиновник был за-

нят; не повидав Митрича, он велел сказать ему «спасибо» и выслал полтинник.

«Ну, теперь ладно!— весело думал Митрич.— Теперь пускай говорит баба, что хочет, а уж потеху я сделаю ребятишкам! Теперь, баба, шабаш!»

Вернувшись домой, он ни слова не сказал жене, а только посмеивался молча да придумывал, когда и как все устроить.

«Восемь детей,— рассуждал Митрич, загибая на руках корявые пальцы,— стало быть, восемь конфет...»

Вынув полученную монету, Митрич поглядел на нее и что-то сообразил.

— Ладно, баба! — подумал он вслух.— Ты у меня посмотришь! — и, засмеявшись, пошел навестить детей.

Войдя в барак, Митрич огляделся и весело проговорил:

— Ну, публика, здравствуй. С праздником!

В ответ раздались дружные детские голоса, и Митрич, сам не зная чему радуясь, растрогался.

— Ах вы, публика-публика!..— шептал он, утирая глаза и улыбаясь.— Ах вы, публика этакая!

На душе у него было и грустно и радостно. И дети глядели на него тоже не то с радостью, не то с грустью.

## IV

Был ясный морозный полдень.

С топором за поясом, в тулупе и шапке, надвинутой по самые брови, возвращался Митрич из леса, таща на плече елку. И елка, и рукавицы, и валенки были запушены снегом, и борода Митрича заиндевела, и усы замерзли, но сам он шел ровным, солдатским шагом, махая по-солдатски свободной рукой. Ему было весело, хотя он и устал. Утром он ходил в город, чтобы купить для детей конфет, а для себя — водки и колбасы, до которой был страстный охотник, но покупал ее редко и ел только по праздникам.

Не сказываясь жене, Митрич принес елку прямо в сарай и топором заострил конец; потом приладил ее, чтобы стояла, и, когда все было готово, потащил ее к детям.

— Ну, публика, теперь смирно! — говорил он, устанавливая елку.— Вот маленько оттает, тогда помогайте!

Дети глядели и не понимали, что такое делает Митрич, а тот все прилаживал да приговаривал:

— Что? Тесно стало?.. Небось думаешь, публика, что Митрич с ума сошел, а? Зачем, мол, тесноту делает?.. Ну, ну, публика, не сердись! Тесно не будет!..

Когда елка согрелась, в комнате запахло свежестью и смолой. Детские лица, печальные и задумчивые, внезапно повеселели... Еще никто не понимал, что делает старик, но все уже предчувствовали удовольствие, и Митрич весело поглядывал на устремленные на него со всех сторон глаза.

Затем он принес огарки и начал привязывать их нитками.

— Ну-ка, ты, кавалер! — обратился он к мальчику, стоя на табуретке.— Давай-ка сюда свечку... Вот так! Ты мне подавай, а я буду привязывать.

— И я! И я! — послышались голоса.

— Ну и ты,— согласился Митрич.— Один держи свечки, другой нитки, третий давай одно, четвертый другое... А ты, Марфуша, гляди на нас, и вы все глядите... Вот мы, значит, все и будем при деле. Правильно?

Кроме свечей, на елку повесили восемь конфет, зацепив за нижние сучки. Однако, поглядывая на них, Митрич покачал головой и вслух подумал:

— А ведь... жидко, публика?

Он молча постоял перед елкой, вздохнул и опять сказал:

— Жидко, братцы!

Но, как ни увлекался Митрич своей затеей, однако повесить на елку, кроме восьми конфет, он ничего не мог.

— Гм! — рассуждал он, бродя по двору.— Что бы это придумать?..

Вдруг ему пришла такая мысль, что он даже остановился.

— А что? — сказал он себе.— Правильно будет или нет?..

Закурив трубочку, Митрич опять задался вопросом: правильно или нет?.. Выходило как будто «правильно»...

— Детишки они малые... ничего не смыслят,— рассуждал старик.— Ну, стало быть, будем мы их забавлять... А сами-то? Небось и сами захотим позабавиться?.. Да и бабу надо попотчевать!

И не долго думая Митрич решился. Хотя он очень любил колбасу и дорожил всяким кусочком, но желание угостить на славу пересилило все его соображения.

— Ладно!.. Отрежу всякому по кружочку и повешу на ниточке. И хлебца по ломтику отрежу, и тоже на елку. А для себя повешу бутылочку!.. И себе налью, и бабу угощу, и сироткам будет лакомство! Ай да Митрич! — весело воскликнул старик, хлопнув себя обеими руками по бедрам.— Ай да затейник!

## V

Как только стемнело, елку зажгли. Запахло топленым воском, смолою и зеленью. Всегда угрюмые и задумчивые, дети радостно закричали, глядя на огоньки. Глаза их оживились, личики зарумянились, и, когда Митрич велел им плясать вокруг елки, они, схватившись за руки, заскакали и зашумели. Смех, крики и говор оживили в первый раз эту мрачную комнату, где из года в год слышались только жалобы да слезы. Даже Аграфена в удивлении всплескивала руками, а Митрич, ликуя от всего сердца, прихлопывал в ладоши да покрикивал:

— Правильно, публика!.. Правильно!

Затем он взял гармонику и, наигрывая на все лады, подпевал:

Живы были мужики,
Росли грибы-рыжики,—
Хорошо, хорошо,
Хорошо-ста, хорошо!

— Ну, баба, теперь закусим! — сказал Митрич, кладя гармонику.— Публика, смирно!..

Любуясь елкой, он улыбался и, подперев руками бока, глядел то на кусочки хлеба, висевшие на нитках, то на детей, то на кружки колбасы и, наконец, скомандовал:

— Публика! Подходи в очередь!

Снимая с елки по куску хлеба и колбасы, Митрич оделил всех детей, затем снял бутылку и вместе с Аграфеной выпил по рюмочке.

— Каков, баба, я-то? — спрашивал он, указывая на детей.— Погляди, ведь жуют сиротки-то! Жуют! Погляди, баба! Радуйся!

Затем опять взял гармонику и, позабыв свою старость, вместе с детьми пустился плясать, наигрывая и подпевая:

Хорошо, хорошо,
Хорошо-ста, хорошо!

Дети прыгали, весело визжали и кружились, и Митрич не отставал от них. Душа его переполнилась такою радостью, что он не помнил, бывал ли еще когда-нибудь в его жизни этакий праздник.

— Публика! — воскликнул он, наконец.— Свечи догорают... Берите сами себе по конфетке, да и спать пора!

Дети радостно закричали и бросились к елке, а Митрич, умилившись чуть не до слез, шепнул Аграфене:

— Хорошо, баба!.. Прямо можно сказать: правильно!..

Это был единственный светлый праздник в жизни переселенческих «божьих детей».

Елку Митрича никто из них не забудет!

*1897*

# *Между двух берегов*

## I

Одиноко кричит где-то пароход... Голос его разносится далеко окрест по пустым берегам, по широкому лону реки. Непонятно, для чего он кричит, когда вокруг не видно ни жилья, ни хижины, ни человека. Непонятно и то, куда торопится так Иртыш, стремительно гоня по простору свои быстрые бурые воды. Крутыми холмами извилисто тянется на много верст правый берег, весь обросший березами и тальником, где в тени плодятся рыжики да на припеке — морошка, а левый берег раскидывается до горизонта зеленым ковром от самой воды до самого неба. И ни жилья вокруг не видно, ни хижины, ни человека. Иногда лишь среди тишины всплескивается большая рыба и, как камень, идет ко дну, в илистые глубины, оставляя на поверхности широкий струйчатый круг — на минуту; иногда поперек, через реку, дикие утки перелетают, вытянув шею и нос в одну линию; редко-редко на крутом берегу встретится татарский поселок с длинным дощатым минаретом, серым от непогод, или русская деревушка с плетнями, с горшками на кольях и с тряпками на веревках. И опять пустота, безлюдие, песчаные откосы и зелень — на много верст, на много часов.

Одиноко кричит пароход... Нет ему ни встречного, ни попутчика, но он кричит уже час — настойчиво, протяжно и громко, точно воет, жалуясь на непосильное бремя.

Называется он «Сокол». Сам он маленький, окрашенный в белый цвет, с большой черной трубою. На-

прягаясь изо всех сил, он старательно тащит на длинном канате за собою огромную баржу с тяжелым грузом и кричит только раз в сутки, задолго оповещая окрестные села о своем приближении. В сутки раз он кричит и в сутки раз останавливается: брать дрова и провизию.

На пароходе была кухня и был повар Иван Михайлович, сухощавый, благообразный старичок, ходивший в белом халате и белом колпаке. Человек он был крайне угрюмый и признавал только одни обязанности.

— Я-с обязан накормить команду,— строго говорил он пассажиру, пытавшемуся получить у него обед,— а вы обязаны о себе сами заботиться. Пожалуйте провизию,— я должен ее изготовить, а запасаться провиантом — это уже ваша-с личная обязанность.

— Да где же я ее возьму, провизию? — вскипал голодный пассажир.

— Будет остановка и берите-с.

— Да когда ж она будет? Едем, едем, точно по океану. Когда она будет?

— Завтрашний день-с.

— Да я с голоду подохну! Что за безобразие!

На это Иван Михайлович спокойно пожимал плечами.

— Что ж делать-с, граманжа пуста,— указывал он на запертый чулан с лаконической вывеской «Граманжа».— Обязаны сами о себе заботиться. Кипятку, извольте-с, дам,— говорит он в утешение.

Проморив пассажиров за первые сутки, он достиг того, что все начали ежедневно вступать с ним в ласковые переговоры и вежливо просить о себе позаботиться.

— Уж, пожалуйста, Иван Михайлович, на завтра мне супцу оставьте... немного... тарелочку. Потом еще чего-нибудь на мою долю купите... Что найдете... все равно. Я все люблю.

Тоскливо и медленно проходили дни и вечера. Из плывших на пароходе в большинстве были крестьяне, старухи, женщины с детьми и рабочие, ютившиеся на деревянных нарах возле машины, где было тепло и тесно. Пассажиров второго класса было немного, но и те прятались по отдельным каютам, так что «Сокол»

мог показаться безлюдным. Иногда лишь на палубу выбегал офицер с всклокоченной бородой и, ежась от холодного ветра и потирая руки, решительными быстрыми шагами проходил взад и вперед по палубе и снова скрывался. Иногда являлся капитан, высокий молодой человек, почти юноша, в кожаной куртке, валяных сапогах и в оленьей шапке: он молча подходил к стеклянной вышке, где лоцманы вертят рулевое колесо, молча и тоскливо глядел вперед несколько минут и, посиневши от холода, уходил обратно к себе. Нередко появлялся на палубе человек средних лет, одетый в ватное пальто и широкополую шляпу, с редкой русой бородкой, в очках и теплых перчатках. Накинув на шею плед, он долго простаивал на одном месте и глядел на бесконечную линию берега, на сменяющиеся холмы и откосы.

— Вы не доктор? — неожиданно спросил его офицер, выбежав из своего подполья.

— Нет, я учитель.

— А в карты вы не играете?

— Нет.

— Ну, до свидания!

Офицер побежал обратно вниз по лестнице, и когда осталась видна только его голова, он крикнул учителю:

— Не прозевайте: сейчас остановка!

Действительно, «Сокол» вскоре остановился. Часа два стоял он у бревенчатого помоста. По перекинутым сходням все время ходили взад и вперед матросы с носилками, ссыпая в люк дрова с грохотом и прибаутками.

Не напрасно, однако, кричал «Сокол» так задолго до своего прихода: окружные жители успели принести сюда кто что мог. Остяки-рыболовы привезли в челноках стерлядей и нельмы, бабы захватили хлеба, ватрушек и молока, мальчишки притащили уток и огурцов, девочки — яиц и ягод, а старики — домашней браги в берестовых бураках.

Пассажиры повеселели. Только повар, Иван Михайлович, был недоволен чем-то и, заложив руки в карманы, угрюмо пробирал двух мужиков, а те молча и виновато чесали затылки и глядели вкось, оба в разные стороны.

После долгого ненастья к вечеру погода переменилась, и когда «Сокол» тронулся в путь, ветер уже затих, стало тепло и ясно, и пассажиры вышли на палубу. Их было всего четверо: молодой семинарист, ехавший в Москву в университет, старый чиновник с кокардой, учитель и турист — иностранец, говоривший свободно по-русски. К ним подошел капитан, стал рассказывать туристу об Иртыше, об инородцах — и разговор вскоре сделался общим.

— Не желаете ли сегодня на палубе поужинать? — ласково спросил Иван Михайлович, подходя к капитану.— Ишь господь какую благодать посылает,— добавил он, указывая на берег и на небо и нюхая чистый речной воздух.— Очень хорошую нельму приобрел по вашему поручению и сливок хороших... Могу бламанже предложить.

Капитан хотел что-то ответить, но в это время на палубу вбежал офицер; вид у него был возбужденный, глаза растерянные.

— Иван Михайлович! — обратился он прямо к повару.— Голубчик! Случилось несчастие!

— Что такое-с? — забеспокоился тот.

— Водка вся вышла!

Они глядели молча друг другу в глаза, как бы желая проникнуть один другому в самую душу. Затем Иван Михайлович пожал плечами и проговорил обычным угрюмым тоном, сразу утратив свое недавнее добродушие:

— Не обязан об этом беспокоиться.

— Знаю, милый. Но нет ли бутылочки?

— Спиртного не держу и держать не имею в виду-с. Бламанже могу предложить.

— Ну, дорогой мой... Иван Михайлович! — продолжал умолять офицер.— Вместо блян-манже дайте мне блян-буар!

Но Иван Михайлович, пристально поглядев на взлохмаченную голову офицера, на его просительно протянутые руки, ответил решительным тоном:

— Сам не пью-с и вам не посоветую.

И с этими словами, искоса поклонившись, он ушел вниз.

Офицер развел руками и, не то про себя, не то обращаясь к компании, проговорил:

— Вот чертов характер!.. Кабы мне такой, я бы навил веревок из жизни!

— Хотите браги? — предложил капитан.— Я себе целый туяс купил.

— И я купил браги,— хотите? — предложил учитель.

Офицер поклонился учителю и капитану, как бы благодаря, но отказываясь от предложения, и, уловив на себе пристальный взгляд иностранца, поспешил ему объяснить:

— Брага, видите ли, вроде пива, только похуже, и вроде, пожалуй, кваса, но получше его; а в общем — бурда! Кто желает разводить в желудке лягушек, пускай пьет эту самую брагу. А я насчет водочки: о-де-ви, как говорят французы, то есть «вода жизни». И действительно, это так!

Все улыбнулись.

— Плохо жить нам без вина: жизнь печалями полна! А у нас Иван Михайлович самого-то главного и не держат... Ох, эти мне нравственные люди! — вздохнул офицер и вдруг обернулся в сторону.

— Ты чего на меня радуешься, Душков? — спросил он, увидя пред собою рослого солдата в белой рубахе, в накинутой на плечи шинели.

Солдат, только что подошедший, стоял перед офицером, улыбаясь, сверкая весело глазами и зубами и приложив к козырьку руку, как бы отдавая честь по-военному.

— Ты чему-то рад?

— Так точно, ваше высокородие: подо́зрел! — ответил Душков.

В его тоне и в голосе слышалась фамильярность, приятельская нота.

— Что подо́зрел?

— Водки полон туяс!

— Водки?! Где?!

— Старичишка у машины греется... Самосидку везет.

— Самосидку?.. Арестовать!

— Наложил арест, ваше высокородие. В каюту поставил.

Офицер весело потер руки.

— Мой адъютант,— рекомендовал он Душкова.— Фельдфебель, ближайший сотрудник мой и секретарь. Способнейший человек!.. Господа,— обратился он к попутчикам,— водочку, слава богу, достали; вот теперь, значит, можно и побеседовать.

— А что это такое — самосидка? Я не понимаю,— заинтересовался иностранец.

— Самосидка,— объяснил офицер,— это самая сквернейшая водка в мире! В России она самогоном называется, а у нас в Сибири — самосидкой. Это одно и то же. Ее гонят здешние бабы... деревенские женщины... пейзанки... Гонят в лесу, в хлеву — контрабандой, без акциза... Из пуда муки выходит целая четверть, да за работу двугривенный... Дешево и сердито! Можете судить, что это за нектар получается. Сама она крепчайшая, цветом зеленая, на вкус противная... Пьешь — точно гвозди глотаешь. А наши сибирские остяки-инородцы ее очень правильно называют: «огненная вода». Ловко сказано! Именно — огненная... Ну-с,— обратился он снова к Душкову,— где ж старичишка?

— Обмер, ваше высокородие. Очень перепугался,— отвечал солдат прежним веселым тоном.

Оба они, видимо, ликовали. Оба улыбались, глядя друг на друга, но, несмотря на улыбки, вид у них был какой-то сумрачный. Воротники у них и околыши на фуражках были черные, канты на шинелях и на погонах тоже черные, и оба они производили впечатление чего-то мрачного и траурного.

— Что за полк? — спросил иностранец, наклоняясь к капитану и разглядывая мрачные мундиры.

— Тюремная команда,— шепнул в ответ капитан и громко обратился к офицеру: — Водки не дурно бы выпить... Только уж вы старика-то не трогайте. Шут с ним!

— Зачем трогать! Мы с ним по-приятельски войдем в соглашение. Я заплачу ему хорошо... Честью клянусь, хорошо заплачу, да еще спасибо скажу. И его самого напою. Эй, Душков! Айда! Веди к старику.

Они ушли, а на палубе начали накрывать для капитана обеденный стол.

## II

Когда свечерело, на мачте у «Сокола» и на задней барже подняли по фонарю. Они висели высоко над рекою среди сумерек и простора ясными точками, как две новые планеты. Из-за холмов поднималась луна огромным бледно-розовым шаром, легким и золотистым, почти прозрачным. Пароходные колеса монотонно шумели и будоражили воду, и далеко за «Соколом» тянулся по Иртышу волнистый след. Дальний огонек баржи и луна отражались в реке, и серая зыбь и темные стремнины сверкали, чернели и дробились на бегу золотыми брызгами.

На палубе вокруг стола сидели с капитаном прежние пассажиры. Перед ними был чай в стаканах, перед некоторыми брага, а перед офицером в чайнике стояла водка, которую он иногда разливал по чашкам и, выпивая, закусывал огурцом. Рядом с офицером сидел владелец водки, кудрявый старик, крепкий и низкорослый, в теплой поддевке татарского покроя.

— Для меня вы очень интересный человек,— сказал, обращаясь к нему, иностранец.— Все, что вы говорили о себе, так для меня неожиданно... Как ваше имя, чтобы я мог называть вас?

Старик крякнул, покосился на офицера и на учителя, потом взглянул на чиновника и, привставши, отрекомендовался:

— Прежде был переяславский мещанин Николай Саввич Щеголихин, а теперь, как уже доложил, являюсь ссыльным Российской империи... ограничен в правах и могу присутствовать только на той стороне реки, а вот на этой — не могу. Еду хотя посередке того и другого, между двух берегов, но контрабандой... И вот господин офицер меня давеча в дрожь вогнали: думал, сейчас меня схватят за мою самосидку и — конец моему беззаконному путешествию! Оказалось же, господин офицер, вы приятный человек и зла мне нисколько не желаете. Давайте поэтому — еще по чарочке?..

Офицер, видимо захмелевший, взял чайник, налил две чашки, потом поднял высоко над головою руку и, погрозив в воздухе пальцем, сказал Щеголихину:

— Какие там ссыльные... какая там контрабанда...

Не болтайте пустого! Вы ничего не говорили, я ничего не слыхал. Пьем — и никаких разговоров!

Оба выпили. Офицер потряс головой и, обмакнув огурец в солонку, откусил половину, а Щеголихин осторожно, почти нежно, отломил от черного хлеба кусок корки, поднес его к одной ноздре, потом к другой, понюхал обеими ноздрями и положил обратно.

— А вас, позвольте узнать, как величают? — спросил Щеголихин, глядя на иностранца ласковыми глазами.

— Меня зовут Хельсн... Марк Хельсн. Родина моя Норвегия, моя специальность — химия. Я давно знаю Россию, люблю ее язык, люблю русских людей, кроме тех, которые сами называют себя «истинно русскими». Извиняюсь, я, может быть, говорю резко, но от этих слов веет чем-то затхлым, недоброжелательным, и я не люблю их.

— Русский язык — прекрасный язык,— похвалил Щеголихин, рассматривая на свет пустую чашку и подвигая ее к офицеру.— Особенно, знаете, ежели сердце излить, то ни на каком языке так не объяснишься. Впрочем, я никакого языка и не знаю, кроме русского.

— Например, некоторые слова у вас удивительно красивы в звуковом отношении,— продолжал Хельсн.— Возьмем хоть слово «заподозренный». Как звучит!

— Заподозренный?.. Да, хорошо,— согласился учитель.— Никогда не обращал внимания на это слово. А хорошо.

Щеголихин перебил его:

— Вот тоже прекрасные есть слова... Например: «угрызение». Или, например: «подстрекательство».

— Есть и такие слова,— добавил чиновник,— как «перереформированный», где сам черт ногу сломает, или не ногу, а язык.

На пустынном берегу вдалеке пылали костры. Увидев их, все замолчали и стали глядеть...

Учитель поднялся вдруг со стула, прошелся возле компании взад и вперед быстрыми шагами, нервно потирая руки, и опять сел на прежнее место. Потом опять вскочил и, ни к кому не обращаясь, проговорил почти нараспев:

— И подстрекательство, и заподозренный, и переформированный — все это слова, и только слова!.. И совесть и доблесть, идея и люди — все это тоже слова! И только одни слова. И разум и вера — слова и слова!

— Даже самое слово «слово» есть тоже только слово! — добавил офицер.

Все подняли головы.

— Вы правду сказали,— внезапно остановился учитель возле Хельсна, не обращая внимания на офицера.— Правду сказали, что у нас, у русских, много хороших слов. О, к сожалению, слишком много хороших слов! Но слова так словами и остаются! А есть слова... хорошие! драгоценные!.. А черта ли из того?..

Все удивленно глядели на учителя и молчали. Только чиновник, предчувствуя что-то неладное, вслух пробормотал:

— Вот так история!

— Хуже географии! — добавил офицер и весело поглядел на компанию.

Учитель не был расположен шутить и, пользуясь репликой, ответил презрительно:

— Дело не в географии.

И вдруг загорячился, возвышая голос почти до крика:

— А хоть бы и в географии!.. Я вашу сибирскую географию-то четыре года изучаю. Четыре лучших года из жизни! Тоже вот как и он,— указал он на Щеголихина,— нахожусь между двух берегов. Не знаю, как он, а я никому зла не сделал. Я хотел только счастья народу... Может быть, он виноват перед обществом... может быть, на его душе есть грех...

Учитель невольно остановился на полуслове: Щеголихин изменился в лице и медленно вставал, опираясь обеими руками о стол.

— Простите, простите! — горячо крикнул учитель.— Я не хотел вас обидеть. Я не то сказал, что хотел.

Но Щеголихин уже начал говорить. Он говорил тихо, почти шепотом, с расстановкою и внятно, хотя волнуясь:

— Видите ли... нужда бывает на свете... Нужда!.. Что же мне делать было: дочь свою, что ли... родную

дочь продать? Вот и сделал я дело... Скверное одно дельце сделал. И сделал я его, а дочь свою... не продал! Утвердился во мнении — и не продал!

Он опять сел. Руки у него дрожали, взгляд растерянно блуждал по столу. Увидав чайник, Щеголихин налил себе в чашку, молча выпил и, понюхав обеими ноздрями корку, положил ее обратно.

— А что вы изволили сказать «грех перед обществом»,— добавил он,— так это все пустяки. В своем позоре ничего я особенного не вижу... Стеснение для себя вижу, неудобство вижу, но чтобы душой скорбеть — этого во мне нет. Потому что я, извините, это самое общество-то... не уважаю!

Последнее слово он как-то выкрикнул, точно оно не сходило свободно у него с языка, как другие слова. Выкрикнул — и замолчал.

— Сказано смело,— зло усмехнулся чиновник.

Щеголихин поглядел на него и продолжал, но более спокойно, более уверенно:

— Я человек неученый... За три фунта баранок меня учили... в год за три фунта баранок. Но все же я кое-что знал в свое время и любил кое-что. Людей выдающихся ценил и сейчас ценю. А ваше общество, позвольте вас спросить, как ценит своих лучших людей?

— Памятники им строит.

— Памятники... Вон Федор Михайлович Достоевский вместо памятника-то на каторгу угодил... Зимою, в мороз, в реку лазил за упавшим топором... падучую болезнь себе нажил... А уж то ли не человек был!

— Ну, это дело особое,— возразил чиновник.

— Пусть будет особое,— согласился Щеголихин.— Ну, а вот Никитин Иван Саввич, известнейший поэт русский... по бедности двор постоялый держал. Это тоже дело особое? Щи варил да подавал всяким кулакам да извозчикам, водку откупоривал жуликам да всяким, может, грабителям... Горевал, страдал!.. А Суриков Иван Захарыч? Желудок с голоду в комок у него ссыхался, старое железо на морозе пудами ворочал. Кольцов Алексей Васильич — свиней пас! Кричал он нам, бедняга: «Тесен мой круг, грязен мой мир, горько мне жить!» А мы вот все свое говорим: дело особое! Помяловский — крупный талант — спил-

ся с тоски от вашего общественного мнения, да так и погиб ни за грош. Успенский Николай — этот в ночлежных домах пресмыкался, милостыню просил. Дочь родную плясать заставлял под гармонью; на улице бритвой горло себе перерезал... Э-эх! А ведь головы-то какие были! Души-то! Сердца-то какие!.. Писатели были, поэты! Печальники наши народные!..

— Откуда вы все это знаете? — удивился учитель.

— Да это ни для кого не секрет. Это в книжках написано. Откуда все люди об этом знают, оттуда знаю и я. Вычитал из книжек — вот и знаю.

Он, видимо, волновался и бесцельно шарил по столу обеими руками, точно нащупывая себе опору.

— Шевченко был тоже — Тарас Григорьевич — украинский певец... Гений! Талант! А какое гонение видел? В солдатах был не в зачет, в степи оренбургской да в тамошних крепостях содержался, а уж про нужду его и говорить нечего! Как про него господин Некрасов великолепно выразился: «Был оскорбляем он всяким невеждою...» Вот они, памятники-то ваши каковы!

В голосе его дрогнули слезы.

— Нравится вам людей хороших травить, травить, а затравивши, начать уважать: вот, мол, как перестрадал человек. И хороший был, и умный был, а — пострадал. Давайте, мол, начнем его теперь почитать! А уж он-то, человек-то, давно умер, и ему на все ваши почести, извините за выражение: тьфу! И больше ничего..

— Браво, браво, господин Щеголихин! — воскликнул Хельсн, вставая и протягивая старику руку.— Я вас искренне уважаю за эти слова. Вы правы: ваше общество любит жертвы и требует себе жертв. Я пришелец, чужой для вас человек, но я не хотел бы быть сыном вашей родины, которую я, повторяю, очень люблю. Я люблю ее, но виню: вы не цените ваших лучших людей, вы злорадствуете над ними, травите их, любуетесь их агонией и величаете их же, но уже умерших да заключенных.

— Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры,— тихо и грустно добавил Щеголихин, перебивая речь Хельсна.— К вам посылаются мудрые и пророки, а вы иных убиваете, иных будете бить и гнать из города в город... Да! — вздохнул он.— Приходили и к нам

хорошие люди, приходили открыть нам свет истины, а мы...

— А вам надобно жертв, лишений, чужих страданий и мук,— вновь заговорил горячо Хельсн, обращаясь в сторону чиновника.— Для вас это какое-то удовольствие. Но я хотел бы вас спросить: как смеете вы требовать всего этого? Как смеете вы насиловать чужую жизнь, чужую и лучшую? Надо шире дорогу вашим талантам, а не уже. Легче им жизнь, а не тяжелей. А вы умиляетесь: как претерпел! И заморив одних, требуете и сейчас от других, чтоб и они претерпели ненужные гонения. Для чего? Вы требуете от ваших талантов, чтоб они были нищи, были в ссылке... Нет! Культурные нации этого не желают для своих лучших граждан!

Щеголихин поправил его:

— У нас, я вам скажу, очень много почетных граждан. Особенно потомственных почетных. А настоящих-то граждан и нету. Нет ли у вас взаймы, у варягов? Потому что земля наша велика и обильна, а граждан в ней нет. Уж извините, ваше высокоблагородие,— обратился он к офицеру,— это говорит человек ссыльный...

— Для меня вы сейчас человек не ссыльный, а... а пьяный! — пробормотал в ответ офицер.

— Покорнейше благодарю! — улыбнулся Щеголихин.— Действительно, вы сказали сущую правду. Только, не в обиду будь сказано: водка — великое дело! За водку любой остяк довезет меня в челне — куда захочу, хоть до Петербурга. Вот и вы, господа: не будь у меня водки, вы бы меня, может, схватили: не езди, мол, человек бесправный! Теперь же я чувствую себя обеспеченным... Вот она, сила-то какая заключается в водочке-то на русской земле!

— Неужели только в водочке видите вы всю силу? — почти вскрикнул учитель.

— Большущая в ней сила по нынешним дням и людям,— ответил, не смущаясь, Щеголихин.— Но подождем, не долог уж срок. Скоро разом все станет кверху ногами.

— А головами куда? — презрительно спросил чиновник.

— Головами-то?..— переспросил в свою очередь старик.— Известно — рогами вниз!

— Вы проповедуете ересь, господин ссыльный!

— Это он спьяну! — заступился офицер.

— Будь пьян, да умен, говорит пословица! — не унимался чиновник.

Хельсн тоже вступился:

— Давайте лучше говорить о достоинствах вашей страны. Какие громадные возможности у вас впереди! Сколько у вас всюду и всяких самородков: то глыба магнита, то медь, то самородок золота чуть не в обхват, а то самородки-люди, один другого интереснее, один другого значительней — мечтатели, мыслители, поэты, изобретатели, и все это, все они от земли, от корней самого народа!.. Да, страна ваша покажет в будущем всем небывалый пример!

— Нам только толчок нужен! — добавил Щеголихин.— Знаете, как на бильярде: кием по шару,— крепкий удар: трах! — и дело сделано. Вот!

После этого все задумались и долго молчали.

## III

Ночь становилась все красивее: река играла и золотилась, и звезды точно купались в ее зыби; черной зубчатой стеной тянулись по берегу холмы; ни звука не доносилось с земли, не виделось нигде огня, не чувствовалось близости человека; только внизу под бортами шумела вода, которую бил неустанно крыльями «Сокол» и тяжело раздвигал ее своею грудью.

Отвернувшись от компании, офицер сидел без фуражки, с расстегнутым воротом мундира и глядел на луну, на речные стремнины, на берега. Одной рукой он приглаживал волосы, разлезавшиеся в разные стороны, а другой рукой придерживал холщовый мешок, только что принесенный ему Душковым.

— Это гусли... простые дешевые гусли,— проговорил он, развязывая мешок и вытаскивая нечто похожее на большую треугольную чиновничью шляпу.— Два с полтиной на Волге были заплачены. А как поют!..— Эй, вы, гусли-мысли! — воскликнул он неожиданно и всем корпусом повернулся вновь к компании. Он тронул струны ловким и легким движением пальцев и приложил ухо почти к самым гуслям, любовно прислушиваясь к их голосу.

Засучив немного рукава мундира, он начал что-то играть, что-то грустное, легкое, точно сказочное. Все притихли.

Никто не ожидал, что этот офицер с грубым лицом и грубым голосом, выпивший чайник водки, мог извлекать из дощатого ящика такие звуки, полные тоски и вместе неги. Даже лицо его преобразилось в эти мгновения; оно потеряло выражение грубости, власти и довольства, оно стало кротким, задумчивым и ясным.

Все с удивлением глядели на офицера, а он, не обращая ни на кого внимания, играл и, видимо, наслаждался.

— Вот дак так, ваше высокоблагородие! — воскликнул Щеголихин, когда офицер положил ладони на замолкнувшие струны.— Вот так превращение случилось!

— А что? — спросил офицер.

— Да как вы играете-то удивительно!

— Что ж такое: ведь вы вон за три фунта баранок учились, а про литераторов русских того наговорили, что и мне не все было известно. А ведь я корпус кончил, юнкерское кончил... в академию собирался... А теперь вот — конвойным служу... каторжников с места на место переправляю... Мало ль чего в жизни не случается!

Он протер глаза, точно после долгого глубокого сна, и добавил:

— А я, собственно говоря... композитор... в душе. Музыка — моя жизнь. Только заниматься ею не приходится... И ноты, бывало, писал, и песни сочинял... А теперь арестантов вожу... От тюрьмы до тюрьмы вся моя дорога... Дайте-ка еще самосидочки: она, проклятая, помогает.

Хельсн, долго вглядывавшийся в офицера, встал и заговорил, прерывая молчание, овладевшее было всеми:

— Удивляюсь... Понять не могу... Все вы какие-то несчастные, безвольные... Точно у вас у всех есть в запасе еще несколько жизней: не удалась одна — не беда, будет другая, и третья, и пятая, и десятая... А ведь жизнь — только одна, и, кроме нас самих, никто ей не хозяин.

— Э, все у нас здесь таковы,— вздохнул капитан.— У всех на душе лежит какой-нибудь камень.

Где у нас счастливые? Нет их. У всякого изломана жизнь, у всякого и на душе камень и за пазухой камень. Человек человеку — волк! Все мы плывем между двух берегов: от одного берега отошли, а к другому не подошли. Ну, и «плывет наш челн по воле волн». Глупо, конечно. Но что ж поделаешь!

Все молчали; все приуныли. Все задумались о жизни — о своей, о чужой и об общей, о той жизни, которая связывает всех людей, бывших и будущих, во что-то единое.

— Бывало, романсы писал... а теперь — тюремщик!..— вздохнул офицер.— Бывало, в Омске у острога Достоевского плакал от чистого сердца... А теперь...

— А я вам скажу,— перебил его Щеголихин,— я баням Коробейникова поклонялся в Омске!.. Да! Баням, в которых Федор Михайлович бывал арестантом... Да. Поклонялся им — баням! Вот как! А вы давеча про памятники говорили. Вот вам и весь у нас памятник великому человеку: бани! Да и те не такие уж, как в его были время.

— Странно мне, господа, очень странно все это слышать,— сказал Хельсн с искренней грустью.

— Да. Чуть не целую ночь все сидим да друг другу на что-то жалуемся. Конечно, это странно,— согласился учитель.— Все жалуемся да плачемся, точно евреи на реках вавилонских... Только нет у нас, как у них, одного общего Вавилона: у нас у всякого свой Вавилон! Все мы разрознены и одиноки, потому мы так и бессильны. Нет у нас общей веры, одного для всех общего дела. Жалкие мы люди!

Он закрыл рукою глаза и замолчал.

— Да. Продали мы черту души! — подтвердил офицер и начал рассеянно перебирать струны, потом откашлялся, выкрикнул снова: — Эй вы, гусли-мысли! — и тихо запел густым надтреснутым басом:

На реках вавилонских
там сидели мы и плакали,
когда вспоминали о Сионе...

Голос его был груб, но струны заливались своей особой песней — печальной, и нервной, и прекрасной.

Там пленившие нас требовали
от нас слов песней и притеснители

наши — веселья: пойте нам из
песней сионских...

Щеголихин следил за мотивом с напряженным вниманием и, уловив момент, подтянул офицеру высоким тенором, с дрожью в голосе:

— Како воспоем песнь господню на земли чуждей!»

— «Как нам петь песню господню на земле чужой!» — продолжал офицер, прислушиваясь к Щеголихину.

И оба они — один по-русски, другой по-церковнославянски — продолжали псалом, то поджидая один другого, то обгоняя. Выходило странно, но хорошо.

Все слушали. Но каждый думал о чем-то своем.

Всякому становилось больно за свою надломленную изъязвленную жизнь; всякому грезился свой Иерусалим, который он и оплакивал.

Все молчали и слушали

— Если забуду тебя, Иерусалим, да будет забвенна тогда правая рука моя!» — угрюмо басил офицер, с любовью перебирая звучавшие нежно струны и внимательно прислушиваясь к голосу Щеголихина.

А тот, словно в каком-то самозабвении, восторженно напрягаясь и боясь как бы не отстать от совместного пения, покрывал своим трепетным тенором голос офицера и восклицал по-церковному:

— «Аще забуду тебе, Иерусалиме, забвенна буди десница моя!..»

И все мало-помалу стали чувствовать друг в друге случайных и чужих людей, у которых не было до сих пор и теперь еще нет общего единого горя, нет общего Вавилона. И радость, и плен, и надежды — у всякого свои.

Хельсн понял это раньше других и ему стало жаль их. Он хотел встать и крикнуть им:

«Проснитесь! Проснитесь же, русские люди!»

Но прежде чем он успел сказать, чиновник громко зевнул и проговорил лениво:

— Пойдемте... спать!

*1903*

## *Слепцы*

Это было в глухом уголке России.

Я ехал уже несколько дней на перекладных. Перед моими глазами чередовались деревни, поля, леса и пустынные проселки. Лошади были тощи, люди угрюмы, а избы нередко разорены.

Неурожай чувствовался повсюду. Приближалась голодная зима. Лишние рты уже двинулись по миру с сумой и с рукой.

И вот однажды, когда путь наш уперся в холодную серую реку и было нужно переезжать ее на пароме, я встретил на барке среди других попутчиков слепого старика лет семидесяти, с седой бородой, с седыми вьющимися на висках волосами; они выбивались у него из-под картуза и странно шевелились по ветру, точно трепетали, как осенние листья. И борода у него и брови были седые; облезлый кафтан, и холщовая сумка через плечо, и старые валенки на ногах казались тоже седыми и ветхими; даже высокая трость, с которой слепец не разлучался, была из какого-то дерева мутного тона и тоже казалась седой и древней.

Окруженный молчаливыми попутчиками, дед стоял посредине парома, опираясь на палку, точно на посох, и держа ее впереди себя обеими руками; спина его сгорбилась, слепые глаза устремились бесцельно и неподвижно куда-то вперед, будто видели что-то перед собою, чего не видел никто другой.

Глядя куда-то — ввысь и вперед — молодыми ост-

рыми глазами, стояли возле старика по обе стороны двое детей — мальчик и девочка, лет по десяти. Старик пел, а дети вторили ему тихими несмелыми голосами. По его морщинистому лицу, по суровым складкам над носом было заметно, что он напрягает всю свою память, чтобы не перепутать песню, которую слыхивал он в юности от таких же дедов, как теперь сам, слыхивал и запомнил, может быть, полвека тому назад — о святом Егорье Храбром и о злодее царище Сам-Демьянище, о насилиях одного и о победном шествии другого.

— Ты, святой Егорий Хорабрай! — вытягивал дед бесстрастным голосом.— Сказывай, которую веру ты веруешь, которому богу ты молишься?..

Что заставляло его петь, я не знаю, но думаю, что не только голод, но и стыд перед семьей за свой лишний рот.

И вот все трое они покинули дом, вышли на реку, на большие дороги и бродят среди чужих, сбирая в шапку гроши и копейки и недоеденные куски,— но нет им попрека от близких и родных за даровой хлеб.

Долго пели они о козням Демьянища, пели о том, как велел он Егорья во пилы пилить, в топоры рубить, на воде топить, во смоле варить,— но:

— Ничаво Егорью не вредилося...

Чем дальше, тем все более и все ярче сказывалось в песне бессилие царища Демьянища покорить Егория, и он повелел закопать его в глубокий погреб, а закопавши, сам над ним землю притаптывал и сам себе в веселье приговаривал:

— Не видать теперь Егорью свету белого, ни свету белого да ни солнца красного!

Старик остановился на этих словах, замолчали и дети. Не то он забыл, что поется далее, не то умышленно, прикрыв ладонью рот, покашлял в руку и вдруг заголосил быстро, отчетливо и громко, и дети закричали за ним тоже громко и быстро:

— Как по божьему повелению, по Егорьеву умолению восходила туча гремучая, подымалися ветры буйные на святой Руси, подымалися ветры со вихорем...

И я заметил, что все слушатели насторожились, когда старик запел о том, как разметались от бури

пески и всякие защиты, погибли все старания Демьянища — и святой Егорий, снова свободный, гневный и храбрый —

По верху земли стоит,
По верху света русского.

Барка плыла уже посредине реки; кругом нас была вода, зыбкая, холодная и блестящая; впереди лежал берег, а по нему, разрезая его поперек, вилась проезжая дорога и исчезала за недалеким холмом.

— Бла-сло-ви, родитель-матушка! — восклицал старик дрожащим тягучим голосом.— Бла-сло-ви пойтить на царищу на Демьянищу, отплатить ему его хлеб-соль.

И дети наивными бесстрастными голосами, подпевая за дедом, рассказывали вместе с ним про Демьянищу, рассказывали, как «настращался» он Егорием и насылал на него стадо серых волков.

— И ни пройти Егорью, ни проехати.

Голос певца был слаб и стар и как будто надорван, но это даже усиливало впечатление, словно голос этот долетал до нас откуда-то из глубины веков.

— А святой Егорий, он волкам сказал: ой вы, волки, волки серые, разойдитеся, разбредитеся по двое, да по трое, да по единому!

Все мы сидели вокруг и глядели на деда, а он глядел куда-то выше и дальше нас своими сощуренными слепыми глазами. Когда он ошибался или, забывая песню, замолкал, то вместе с ним ошибались или замолкали и дети, и оба с надеждой взглядывали на старика, а тот еще крепче сдвигал морщины на лбу, точно насилуя свою непокорную память.

Долгая песня все еще не кончалась, все еще журчали три тихих голоса, как три ручья, сливаясь с разных сторон в одно русло.

Пели уже о том, как приблизился гневный Егорий ко дворцу Демьянища.

— И забросался царь, заметался царь по своим белым каменным палатам: ты, святой Егорий Хорабрай, дай ты мне сроку на три года!

— Не даю тебе сроку ни минутаю! — воскликнул старик угрожающим голосом, и дети повторили за ним:

— Ни минутаю!

Наступило молчание.

Плескалась о барку холодная вода, тянулся из рук в руки мокрый канат, и казалось, будто не мы плывем к берегу, а берег подплывает к нам с его лугами, дорогами и серой деревней на верху холма, куда понесет старик свою суму и свою песню.

Думалось: что ждет его на берегу? И хотелось пожелать, чтоб на его пути скорее разбежалось врозь все серое, все алчное, все злое, что держало в холоде, в голоде, во мраке и его и других. И невольно вспоминались мне простые, почти ласковые слова его песни:

«Разойдитесь вы, разбредитесь вы по двое, да по трое, да по единому...»

Барка причалила к берегу. В шапке у старика зазвенели мелкие деньги.

Над пустынной рекой носились голодные чайки, иногда падая в зыбь и выхватывая с налета голодную рыбу.

Было холодно и уныло.

Впереди лежали тихие деревни, и жил тихою жизнью голодный народ.

*1905*

## Петля

### I

Все то мрачное и тяжкое, что висело тучами над страной в течение долгих лет, еще более сгустилось и придавило жизнь; дышать становилось нечем. Одни сознавали все это, другие еще не сознавали, но и они начинали чувствовать, что в жизни что-то неладно, что жить так, как теперь живут, долго нельзя. Даже в кругах, охраняющих такую жизнь, начиналось разложение, и самые верноподданные стали заболевать общей болезнью. Петля затягивалась все туже.

За последнее время, всякий раз приходя на дежурство в полицейский участок, околоточный надзиратель Лыжин чувствовал себя не так, как раньше; знакомые предметы казались ему не теми, какими были и какими будут опять для него завтра; даже сам себе он начинал казаться не тем, каким был в прошлом году, и этого впечатления перемены он не мог изгнать из своего мозга.

Одинокий среди ночного затишья, Лыжин шагал из угла в угол по дежурной комнате, чувствуя тревогу в душе, шагал обыкновенно всю ночь до рассвета. Иногда, уставая ходить, он ложился в изнеможении на длинный и широкий клеенчатый диван, где черная клеенка давно уже растрескалась и облупилась и под нею торчало что-то жесткое, как шишки. И Лыжину стало казаться, что в диване этом спрятаны недоброжелатели, которые подставляют кулаки под клеенкой то под спину, то под бок, то под ляжки всяко-

му уставшему человеку, желающему отдохнуть. И он избегал ложиться, а если когда и ложился, то раздвигал сзади фалды мундира, клал себе на живот болтавшуюся у пояса шашку и с укором думал о воображаемых недоброжелателях. Думал он и о своих детях, к которым не притащить бы заразу с этого дивана; думал и о портных, берущих за костюм все дороже и дороже; думал о своем жалованье, на которое невозможно становилось существовать с семьей. Думая усиленно обо всем этом, он желал в сущности отогнать другие мысли, преследовавшие его неотвязно вот уже почти год.

Прошло то время, когда ему было неприятно сознание, что его совершенно незаслуженно называют «крапивным семенем» и вместо «околоточного» величают «около-водочным» надзирателем, а должность самого пристава производят от слова «приставать». Все это было пустяками и шуткой сравнительно с теперешними названиями. Теперь уже не стало шуток. Теперь все, носящие серебристый узкий погон на плечах и городской герб на фуражке, заподозрены в стремлении наравне с темными, нерассуждающими людьми избивать и увечить докторов, студентов, учителей, курсисток и даже гимназистов.

Пока не доходило до дела, Лыжин и сам не имел ничего против того, чтобы «поучить» немножко беспокойных людей, надоедавших так много лет полиции и всякому начальству. Но когда он своими глазами увидел толпу, двигавшуюся по улице с пением, с красными флагами, когда на этих флагах он увидел небывалые надписи: «Долой самодержавие!», «Да здравствует свобода!», когда перед его глазами вырвался из переулка спрятанный там взвод казаков с нагайками в руках и ринулся на толпу, когда вместо песен послышались крики, вопли, щелканье бичей, свист плеток, стоны раненых, проклятия, когда люди, стоявшие вокруг Лыжина, обнажили вдруг шашки навстречу толпе и по чьей-то команде бросились бить вправо и влево без разбора по одеждам, по головам и шапкам, по спинам, по поднятым тростям, по упавшим на мостовую людям,— Лыжин почувствовал, что в эту минуту решилась его судьба и вся его жизнь. Лоб его стало жечь, как огнем, язык щипало, а сердце колотилось в груди так сильно, точно хотело про-

рвать грудь и мундир и вылететь вон, куда-то вперед и на волю.

Он стоял в рядах тех, которые били. Он поднимал руку с обнаженной шашкой и указывал ею повелительно на толпу. Он помнил одно молодое лицо с горящими глазами, на которое он указал кому-то своей шашкой. Почему он это сделал и для чего, он до сих пор не может дать себе отчета. Он видел, как сверкнула перед ним серая полоса стали, видел, как вместо горящих глаз и пылающего прекрасного лица стало вдруг что-то дряблое, темное, мокрое и рухнуло на мостовую, а на месте его образовалось на мгновение в толпе небольшое пустое место.

Более он ничего не помнил. У него у самого остановилось сердце; ноги его вдруг ослабли, шашка вывалилась из рук, и сам он, теряя сознание, упал почти рядом с тем молодым, с прекрасными горевшими глазами, на которого он указал.

## II

Лыжину было стыдно потом за то, что у него такие слабые нервы, за то, что он упал в беспамятстве, как женщина. Он вел себя даже недостойнее женщин, потому что в толпе было немало девушек, которые видели то же самое, что и он, однако не падали в обморок и шли вперед... А он упал от впечатления, упал в мундире, с шашкой в руках. По счастью, когда он упал, кто-то из своих зацепил его по носу каблуком — и из носа потекла кровь, залившая ему усы и бороду, воротник мундира и серебристый погон. И он всем стал говорить впоследствии, что был ранен; даже жене своей говорил, что его кто-то ударил по переносице, но наедине с собой он не отрицал своего малодушия и с упреком называл себя мысленно бабой.

С этого же времени Лыжин стал замечать за собою что-то неладное: нервы его стали больными, сердце не давало покоя иногда по целым суткам, и обедать он стал без аппетита и к службе относиться рассеянно и небрежно. Он начал искать уединения; чем труднее оно доставалось ему, тем более он искал его и желал.

Однажды в участке один из арестованных сказал о себе приставу:

— За родину и пострадать не обидно.

«Как за родину? — молча удивился Лыжин и даже смутился.— Ведь это мы — за родину, а как же они?..»

В инструкции чинам корпуса жандармов он сам читал, что их обязанность «утереть слезы несчастных, быть государевым оком...». А ведь жандармы и полиция в сущности заодно: против — тех.

Не проходило почти ни одного дежурства, чтобы в участке не появлялись писанные или печатные листки, взывавшие то к сердцу, то к рассудку народа. Их поднимали на улице, отбирали у прохожих, арестовывали на квартирах. Иногда за день скоплялись в участке целые вороха таких листков, а один раз даже привезли их ночью в двух огромных тюках. Лыжин читал их и, читая, видел перед собою все то же молодое прекрасное лицо, все те же горящие, живые глаза и видел темное пятно вместо лица, и рухнувшее тело, и серую полосу стали, сверкнувшую между ним и тем юношей, на которого он указал тогда.

Бывало раньше, он брал с собой, идя на дежурство, одеяло и подушку, говядины с солью и хлебом и фляжку, а теперь он ничего не хотел брать. Когда наступало его одиночество, когда он оставался один среди опустевших комнат с пустыми столами, с пустыми стульями, с пустыми скамейками, с погашенными лампами, с обсохшими перьями в грязных ручках, с печатями и сургучами, точно осиротевшими до утра,— он сначала садился на свое место за столик и при свете одинокой лампы подготовлял пробный рапорт, чтобы показать дежурному сторожу, будто он занят делом.

— Ступай к себе,— говорил он ему, исписав страницу,— я люблю заниматься один.

И сторож уходил за перегородку.

Когда же все стихало, когда становилось слышно, как шуршат по обоям тараканы, когда глухая ночь наполняла участок мраком и чуткой тишиной, тревогой и покоем, Лыжин вставал и начинал ходить по канцелярии осторожными большими шагами, придерживая рукой шашку и стараясь не шуметь. Он останавливался иногда у перегородки из сетчатой прово-

локи, за которой днем сидит, точно узник, паспортист Виноградов и подкладывает и проверяет адресные листки. Теперь же, в темноте и тишине, Лыжину казалось, что на месте Виноградова сидит кто-то другой, с прекрасным лицом и прекрасными глазами, и что он сейчас обратит к нему это светлое лицо и эти глаза и скажет ему:

«Утирайте слезы несчастных, будьте государевым оком, а вот я — умер за родину».

И Лыжин стоял перед сеткой и ждал. Ему было жутко и страшно и в то же время хотелось, чтобы это страшное сейчас же сбылось.

С замиравшим сердцем он чиркал спичку и подносил ее слабый огонь к проволоке и заглядывал с трепетным ожиданием внутрь, где видел пустой стул, пачки листков на стальных дугах, видел пустую комнату. А когда гасла спичка, ему опять казалось, что кто-то сидит за сеткой и разбирает листки, точно сортирует по спискам людей и откладывает: утирающих слезы в одну пачку, а умирающих за родину — в другую.

Нередко среди ночи случалась тревога: то звонил телефон, то приводили задержанных, то привозили пьяных. Лыжин с неудовольствием отрывался тогда от своих дум, лениво составлял протоколы, коротко и неохотно отвечал по телефону и, отделавшись, начинал вновь ходить из угла в угол, с сдвинутыми бровями, с сосредоточенным взглядом, обращенным в неведомую и неясную для него самого даль.

С половины ночи на него нападала тоска, страшная тоска, и он делался унылым и мрачным.

«Когда бесятся собаки, они становятся сначала скучными»,— вспомнилось ему почему-то из практики.

И сам он, и все знакомые, и вся Россия представлялись ему скучными и впавшими в тоску.

## III

Лыжин был у доктора, жалуясь на нервы и сердце. Полицейский врач дал ему капли, велел пить бром и перестать курить.

Рассказывать о себе все подробности Лыжин стеснялся, боясь навлечь неприятности по службе. Он

пил бром и капли, однако думы его оставались все те же и по ночам по-прежнему не давали покоя.

Из разных городов приходили все чаще известия об избиении молодежи. То там, то тут нападали на учащихся какие-то люди, увечили их и разбегались; при этом полиция, как писали в газетах, хранила благосклонный нейтралитет...

И Лыжин думал: неужели все это именно так и было? И сам себе не хотел верить, когда слыхивал от пристава:

— Я бы им, мерзавцам, и не то еще показал!

Читая обо всем этом, Лыжин, незаметно для себя оставлял иногда газету, клал на нее руки и, не моргая, долго глядел куда-то вперед, где рисовались ему знакомые лица, знакомые картины, пока звонок, или голос, или шум не выводили его из этого оцепенения.

Однажды в участок к Лыжину пришел какой-то человек, по виду рыночный торговец, с картузом в одной руке и с газетой в другой.

— Что вам угодно? —спросил Лыжин.

Тот отвечал, горячась и запинаясь:

— Потому как я, ваше благородие, истинно русский человек и патриот, а вот ведомости вон что пишут...

Он положил газету на стол и начал тыкать в нее крепким толстым пальцем, окруженным толстым обручальным кольцом.

Очевидно, текст он давно уже зазубрил наизусть.

— Извольте читать, сказано прямо: «Русские люди, родные наши, братья наши, откликнитесь! Дайте волю вашему сердцу, и оно подскажет вам, что надо делать... Как прежде уничтожали лжедимитриев-самозванцев, так и теперь надо русскому люду уничтожить гнусных крамольников... И первая казнь, которую народ совершит...»

— Это каких же крамольников? — перебил Лыжин.

— Студентов там, всяких других... Извольте сами читать,— нагнулся он над газетой и повернул ее к Лыжину, не отнимая от строк своего толстого пальца.— Изволите читать: инте-ли-ли...

— Интеллигенцию,— выручил его Лыжин.

— Вот, вот! Это самое!

— Так вам-то что же надобно! Вы кто такой сами?

— Я то-с?.. Мещанин Подрядышев... Хоругвеносец... На уголке здесь, наискось, от аптеки, мясом торгую. Изволите небось знать.

— Хоругвеносец? — переспросил Лыжин и более уже ничего не слыхал, что говорил ему посетитель. Он уставился в него своими неморгающими глазами, видел его коренастую фигуру, грубое, скуластое лицо с узким лбом и мясистым носом, с узкими злыми глазами, видел его крепкий указательный палец с толстым золотым кольцом, и мысленно представлял себе жену и детей этого мещанина, и думал: «Хорош же, должно быть, ты дома: страх и гроза; и жену свою бьешь по лицу и детей колотишь...»

— Так что же можете ответить, ваше благородие?.. Когда же назначено? Мы вас поддержим... мы всегда с удовольствием, как патриоты, истинно русские...

Лыжин продолжал глядеть на него в упор, не слыша его и не отвечая.

— Так вы — хоругвеносец?..

— Так точно.

«Хоругвь — ведь это знамя!» — подумал между тем Лыжин, глядя куда-то выше лица мещанина, выше его волос.

— И вы его носите?

— Так точно. В крестные ходы... на Иордань... в светлый день...

Лыжин опустил голову и замолчал.

Мещанин говорил еще что-то, чего Лыжин не слыхал или не понимал. Наконец, в голосе Подрядышева зазвучала сердитая, вызывающая нота.

— Нешто вы не здешний! Нешто вы не знаете-с, что такое хоругвеносец?.. Что же это такое-с после этого-с?

Не отвечая, не возражая, Лыжин пристально глядел опять в самые глаза хоругвеносца, а тот избегал его взглядов и старался смотреть в сторону, но взгляды их невольно встречались, точно сталкивались, и вновь расходились, и опять сталкивались.

«Носит хоругви, а глаза не горят,— думал Лыжин и, глядя на Подрядышева, воображал его в парадной форме: в поддевке с серебристой мишурной бахромой

по талии, по плечам, по вороту и обшлагам, воображал его несущим высоко над головою на тонком древке золотую хоругвь и думал: — Нет, не загорятся его глаза... Никогда не могут они загореться...»

— Чего же-с вы в меня так вонзились? — рассердился, наконец, Подрядышев.— Ежели не можете прямо ответить, так я зайду к приставу. Ваше дело, конечно, маленькое... очень понятно. Завтра я лучше к приставу. В ведомостях прямо указано: бить эту самую ан-те... Как ее?.. Антели-ли...

## IV

Дома в свободные вечера, каких бывало очень немного, Лыжин чувствовал себя лучше. Снявши мундир, он надевал простую синюю рубашку, подпоясывался ремнем и с удовольствием воображал себя обыкновенным человеком, которому не нужно никого ни теснить, ни хватать, ни рубить.

Кроме кухни, у него были две комнаты — детская и спальня. В спальне он выделил себе крошечный уголок, перегородил его ситцевой драпировкой и поставил стол,— это было его кабинетом и приемной. Но и с этим уединением пришлось вскоре расстаться: к жене приехала сестра, Екатерина Даниловна. У жены было много сестер, и дети называли их тетей Дашей, тетей Сашей, тетей Машей, а Екатерину Даниловну прозвали тетей Кашей.

Тетя Каша была низкорослая кругленькая женщина, лет тридцати, не живущая с мужем, очень веселая и говорившая, смеясь, про всех, кто бы ни был:

— Все врет!

Когда Лыжин рассказывал однажды о том, что совесть его неспокойна, тетя Каша хохотала и, указывая на него жене и детям, взвизгивала весело:

— Все врет! Все врет!

Про хоругвеносца Лыжин дома тоже рассказывал. Тетя Каша, услыхав, что хоругвеносец, как патриот, желает бить интеллигенцию, смеялась и возражала:

— Все врет!

Даже когда появилось в газетах известие, будто губернатор кому-то сказал, что уходит добровольно в

отставку, тетя Каша уже без смеха и с уважением заявила:

— Не может этого быть: все врет!

С приездом тети Каши Лыжин лишился последнего уголка, где мог бы найти уединение. И он поставил в сенях, возле стеклянной двери, простую тесовую табуретку. На ней, заложив ногу на ногу и подперев ладонями скулы, он просиживал в одиночестве два-три часа. Все спали вокруг него, а он сидел и думал. Так же, как и в участке, он слышал, как тараканы шуршали по обоям, как иногда хрустел или трещал пол, как пробегали мыши. Чтобы быть без людей, но не быть одному, он брал иногда на колени к себе Амку, собаку тети Каши, темную, длинную, на коротких ножках, с узкой мордочкой, помесь таксы.

Иногда ему хотелось кричать о своих думах, кричать, чтобы стало легче, но он знал, что кричать нельзя, потому что спят дети, спит жена, всегда больная, всегда несчастная, которой нужен покой, но которого нет и никогда не будет. Не только крикнуть, но даже шагать, как в участке, Лыжину было нельзя, и он сидел на табуретке одиноко и смирно, почти не шевелясь, иногда лишь схватывал собаку и гладил ее молча. Более этого он ничего не смел делать: он понимал, что он дома, где все спят...

Начинал он понимать также и то, что он болен, и иногда, прижимая к груди теплое мохнатое тело собаки, раскачивался с нею на табурете, точно с ребенком, и боясь хоть одним звуком нарушить ночную тишину, кричал мысленно:

«Амочка!.. Амка!.. Ведь мы с тобой — как два пса!..»

Иногда Лыжин заходил в детскую, где жили его три маленькие дочери и сын Володя, которому был только год; он умел уже смеяться, умел радостно и беспечно глядеть на отца своими светлыми молочными глазами и называть его «папой», когда Лыжин входил к нему в синей рубашке; когда же он входил в мундире, ребенок настойчиво и капризно тянулся руками к серебристому погону и называл отца уже не папой, а «дядей»...

Глядя на Володю, Лыжин думал, что и сам он, и губернатор, и социалист, и хоругвеносец были когда-то такими же... Все были так же доверчивы, так же

смеялись, так же называли кого-нибудь папой... И ему хотелось заглянуть в будущее, за двадцать, за тридцать лет вперед, чтобы увидеть, кем станет его Володя, как он будет думать, что делать, как относиться к отцу... И ему хотелось сказать Володе:

«Что будет с тобой, с твоими сестренками, с твоей мамой, что будет с тетей Кашей, даже с Амкой собакой, что будет, наконец, со мною самим, если я сорву сейчас с себя этот мундир и брошу его в печку и никогда более не пойду в участок? Что будет завтра же со всеми нами: и с тобой, и со мной, и со всеми?..»

Он закрывал глаза ладонями, крепко упирался в них всем лицом — скулами, щеками и лбом; потом, перекрестивши сына, шел на дежурство, или в наряд на улицу, или в обход по участку, козыряя встречным знакомым, сурово опрашивая городовых и вытягиваясь перед приставом, который за последнее время был строг и уже дважды делал ему замечания.

## V

Настали светлые, весенние ночи. В отворенные окна доносился запах тополей, доносился стук колес, говор и отдаленный, неясный шум, точно весь город ожил и загудел, как улей.

Запирая на ночь свой кабинет, пристав громко сказал дежурному:

— Надзиратель Лыжин! Ожидаются беспорядки: требую особого внимания на дежурстве; остальное вам все известно.

— Слушаю, ваше высокородие! — отвечал Лыжин, покорно опустив и вытянув по швам руки.

— Надеюсь принять от вас завтра рапорт вполне благополучный.

— Рад стараться, ваше высокородие!

Пристав вынул из кармана перчатки и, взмахнув небрежно около виска двумя пальцами, надел фуражку и вышел звеня шпорами.

«Чего ж еще ждать, как не беспорядков?» — подумал Лыжин, глядя равнодушно на захлопнутую дверь.

Отослав за перегородку сторожа и оставшись в одиночестве, Лыжин долго шагал по присутствию. В отворенные окна вносился свежий душистый воздух,

влетала пыль; на подоконнике шелестела газета, точно сама собой, точно была живая, а город сам по себе гремел таинственным непрерывным гулом.

Лыжин прислушивался и к шуму города, и к шелесту газеты, не мешавшим друг другу, и к скрипу своих шагов.

Первый раз в жизни почувствовал он себя глубоко несчастным человеком, обиженным и обманутым, точно его кто-то обворовал, хотя ничего особенного не случилось: так же хворала жена, так же не хватало денег, так же ели и пили дети, Амка и тетя Каша, только на улицах пахло тополями, и клейкими почками, и свежей землей...

Прислушиваясь к шуму, принюхиваясь к воздуху, Лыжин вдруг вспомнил, что он никогда не слыхал, как весной поют соловьи. Он не мог отличить дрозда от малиновки, не слыхивал ни весенних песен жаворонка, ни предзимнего клекота журавлей.

«А за каким мне чертом нужны журавли, соловьи и прочее?» — прервал он сам себя, однако понимал, что огромная сторона жизни, помимо журавлей и соловьев, оставалась для него неизвестной.

О журавлях и жаворонках, о счастье и свободе он знавал столько же, сколько об Австралии, где будто бы листья на деревьях растут не плашмя, как у нас, а ребром... Лучшие годы его жизни ушли на иные познания, и вот привычные образы стоят перед ним: помойные ямы, пьяные рожи, протоколы, начальство, извозчики и аресты... К ним прибавились еще новые образы: крамольники и нагайки... И из всей этой вереницы, как солнце из туч, глядели на него прекрасные молодые глаза, точно глядели они смело и радостно навстречу чему-то великому, и Лыжин знал, как зовут это великое, но не хотел называть его даже мысленно, но имя это слышалось отовсюду, звенело в его мозгу, в ушах и гулом неслось по всему городу:

— Свобода!.. Свобода!..

Булыжные мостовые под катящимися колесами, говор людей, окрики кучеров, свежесть и запах зелени и земли — все сливалось в одну волну, широкую и гудящую:

— Свобода!.. Свобода!..

Но вдруг из этой окружающей жизни вытягива-

лась серая узкая холодная полоса стали — и меркли перед нею горящие глаза, и кругом все темнело, и город гудел ровно и однотонно, будто вся мостовая, экипажи и голоса сливались, повторяя в ритм бесстрастно и бессмысленно:

— Анте-ли-ли...

И мгла, точно море, охватывала и заполняла все, и в ней, точно в море, плавали и купались толстые бородатые головы с жирными носами и злыми глазами, колыхались сжатые кулаки с золотыми обручальными кольцами на указательных пальцах, высовывались и прятались ноги в тяжелых смазных сапогах с подкованными каблуками, носились по волнам поддевки с серебристой бахромой, плавали ожиревшие животы, узкие, тупые лбы, и, точно щупальцы, показывались иногда на поверхности чьи-то пальцы с ладонями и жадно хватались за воздух, разжимались и снова хватались... И все это качалось, ныряло, тонуло и вновь всплывало под общий протяжный полусонный гул:

— Анте-ли-ли...

Тридцать восемь лет Лыжин считал все, что делается в жизни, хорошим и необходимым для чего-то и для кого-то, и только теперь он задумался: хорошо ли все это?

Он вспомнил своего дядю, пристава, которого недавно насквозь прострелили в Одессе; вспомнил и дальнего родственника жены — доктора; этого в Нижнем исколотили до полусмерти. Ни с тем, ни с другим он близок не был, не был почти и знаком, но жаль было скорее избитого доктора. Почему же?.. Впрочем, жаль было и дядю...

Течение его мыслей было внезапно нарушено. В участок привели буяна, которого надо было усмирить и посадить до утра за решетку для выяснения личности.

## VI

Луна глядела прямо в окна.

Бледные зеленоватые полосы, легкие и воздушные, светились в комнатах, пронизывая стекла, скользя по подоконникам и падая по полу то широкими квадра-

тами, то узкими линиями, вперемежку с тенями. Казалось, будто невдалеке от окон распластались по полу, немного наискось, такие же рамы, с темными переплетами, с форточками и скобами, только туманнее и длиннее...

Город затих; лишь изредка мимо дома проезжал, не торопясь, извозчик; но Лыжину казалось, что где-то вдалеке все еще стоит над городом этот недавний гул и что тысячи людей, десятки тысяч чего-то ждут, чего-то просят, и требуют, и кричат в один голос об одном и том же.

Прижимая ладонью шашку, Лыжин мягкими шагами, почти крадучись, останавливаясь и чуть приседая, ходил по безлюдным комнатам, то освещенный луной, то окутанный тьмой, то вновь освещенный, и думал, крепко сдвинувши брови и глядя вперед неморгающими глазами.

Он опомнился на мысли о своей матери, которая лежит в глубине рощи за монастырской оградой, далеко отсюда, в другом городе.

Он вспомнил, как однажды заказал панихиду на ее могиле, как среди рощи в летний жаркий полдень странно звучал басистый голос дьякона... Каркали на деревьях вороны, шумели листья, дул ветер, и дьяконовский бас был похож на жужжание шмеля...

Лыжин остановился и прислушался.

Это буян за решеткой тоном дьякона, густым тихим басом, точно за версту отсюда, возглашал ектенью, гудел мерно, как шмель, без всякого задора, спокойно и серьезно:

— Долой насилие... да здравствует свобода...

Лыжин улыбнулся, но потом бросился к решетке и затопал ногами.

— Цыц, ты! Негодяй!! — крикнул он, задыхаясь от волнения.

Лежа на полу, буян приподнял голову и узкими глазами с недоумением взглянул на Лыжина, потом повернулся задом и стал сопеть, как бы вновь засыпая.

В дверях стоял сторож и тоже удивленно глядел на Лыжина.

— Орать вздумал,— строго, но с смущением заметил сторожу Лыжин, кивнув на буяна.— Ничего... иди к себе; я это только так... для острастки...

Принявши позу победителя и грозно глядя на решетку, Лыжин постоял с минуту, пока сторож не скрылся за своей перегородкой, но как только он ушел, Лыжин опустил плечи и закрыл руками лицо. Ноги его задрожали, задрожали спина, руки и голова, и он бросился в дежурную, упал ничком на диван, затаивая в себе слезы и стыд.

«Беспорядки!.. Боже мой... Опять ожидаются беспорядки...»

И пристав, сказавший на прощанье это страшное слово, начал казаться Лыжину черным, маленьким и крылатым, с длинным клювом, на тонких ногах с цепкими когтями — как ворон, каркающий над его головою.

«Ожидаются беспорядки!»

И Лыжину воображалась толпа с красными флагами... Ее сзади хлестали нагайками, а спереди встречали они — с обнаженными шашками, а над всеми ними носился в весеннем пахучем воздухе черный ворон и каркал... Из кожаной казенной подушки, в которую Лужин уткнулся лицом, глядели опять на него в упор ясные радостные глаза, дышало жизнью и смелостью молодое лицо, и, точно в телефон, гудели прямо в уши ему торжествующие голоса толпы:

— Свобода! Свобода!

Лыжин начал улыбаться в ответ этим голосам, этому лицу, как будто никогда и ничего не было между ними враждебного, как будто вместе и всегда шли они заодно, как будто вместе умирали за родину, вместе страдали, ненавидели и любили и никогда не утирали ничьих слез, кроме своих, которых было много, очень много...

Лыжин встал, протер себе глаза и сильным движением распахнул окно.

С улицы сразу потянуло воздухом, влагой и клейкими душистыми почками тополей. Луна глядела прямо в лицо Лыжину, холодная, блестящая и чуждая, как и все, что он встречал в своей жизни блестящего; все это было чопорно, грозно и жадно; и он служил всему этому, продавался за пустяки, хватал и губил все, что борется и умирает с улыбкой за свободу. А он всю жизнь стоял против свободы, всю жизнь стоял и ежился, точно в каком-то плену, а от плена чего же и ждать, кроме страха и горя, либо милости.

— Не надо милостей! — вскрикнул вдруг Лыжин, отпрянув от окна, точно именно оттуда и сыпались на него ненужные милости и тяжкие несчастья.

— Ничего не надо,— сказал он сам себе спокойно и тихо.— Не надо ничего.

Так же спокойно, точно раздеваясь перед сном, он отстегнул ремень, на котором висела шашка, не торопясь выдернул его из-под погона, смотал в клубок и положил вместе с шашкой на свой дежурный стол; потом снял мундир и положил на диван, на котором было передумано так много дум; потом вынул лист, приготовленный для рапорта, и написал крупным решительным почерком.

«Ваше высокоблагородие господин пристав!

Сколько вам будет угодно — утирайте слезы несчастных; желаю от души, чтоб это было именно так. А я перед родиной виноват и умираю. Да здравствует свобода, господин пристав!»

Затем он пошел в канцелярию, где висела на стене карта России, вставленная в тяжелую золоченую раму, в которой был когда-то старый портрет.

Сгорбившись и опустив руки, Лыжин долго глядел на карту пристальным взглядом. При мягком свете луны он видел прихотливые очертания границ своей родины, похожие на узоры, какими иногда мороз расписывает стекла. Вон — Балтийское море: точно женщина стоит на коленях перед Петербургом... а Швеция и Норвегия бегут от него в образе какого-то зверя... вон Камчатка — вроде пики... вот Каспийское море, похожее на коня, вставшего на дыбы.

«Да,— думалось ему,— все у нас так, все взвивается на дыбы, все бежит от нас, все пику нам показывает либо на коленях стоит...»

Он чиркнул спичку и, осветив на минуту карту, отыскал на ней точку, называвшуюся его родным городом. Как она была мала и ничтожна перед всей родиной! А ведь в ней заключались площади и дома, церкви и тюрьмы... жило множество людей, рождалось и умирало... Одни из них желали чего-то и куда-то стремились, другие ничего не желали и никуда не стремились. Одни шли вперед, другие их били...

рубили!.. И все это заключалось в одной точке. Только в точке!.. А вокруг лежали пустыни, по которым разбросаны были другие такие же точки...

Потом он влез на стул, снял со стены раму, бережно отнес ее и прислонил к противоположной стене лицом в комнату; потом отвязал от рамки перекрученную двойную веревку, зацепил ее крепко за костыль, на котором она раньше висела, с другого конца сделал короткую петлю, надел ее себе на шею и, как только надел, ударом ступни вытолкнул из-под ног далеко от себя стул и повис прямо против карты, с которой глядела на него вся Россия, с ее городами и деревнями, со степями и болотами, с безлюдными пространствами, с безмолвными морями...

До самого утра, пока не вошел сторож, Лыжин глядел холодными, остановившимися глазами в лицо своей родине, точно в удивлении созерцая ее всю, точно ожидая от нее чего-то большого, огромного — такого же, как она сама.

И так они молча глядели один на другого: Лыжин на родину, а родина на него, как будто понимая и упрекая в чем-то друг друга...

*1905*

# *Цветок папоротника*

*(Летняя сказка)*

## I

В ночь на 24 июня, когда в траве и под кустами, на пнях и на листьях светятся ивановские червячки, словно крошечные звезды, упавшие на землю, в ту единственную ночь, когда, по народной молве, лесной папоротник зацветает волшебным огненным цветком, возвращался с пирушки в свое село дьячок Терентий Васильевич.

Было тихо и душно. Приближалась полночь. Небо заволоклось тучами, но летнее небо не бывает черно; пыльная колеистая дорога пролегала по лесной опушке и была видна далеко впереди.

Заломив на затылок картуз и бесцельно размахивая палкой, дьячок шел не очень торопливыми и не очень верными шагами, то стараясь удержать в голове разбегавшиеся мысли, то желая освободиться от всяких дум. Тогда он тяжело и решительно взмахивал рукой, точно кого-то отгоняя, и принимался орать диким голосом нараспев:

— Ска-жи мне, го-спо-ди, кон-чи-ну мою!

И, когда голос его вспугивал сову или летучую мышь, он вызывающе кричал вслед:

— Кого убоюся?

Иногда он останавливался в раздумье и поворачивал голову, грустно глядя назад в темноту, на пройденный путь. Лицо его с узкими заплывшими глазами и реденькой желтой бородкой пылало и лоснилось, будто вымазанное теплым салом, а в мыслях была такая путаница, что Терентий Васильевич чувствовал, как от множества дум шевелятся в его голове мозги.

— Есть ли нечистая сила на белом свете? — горь-

ко и страстно вопрошал он самого себя.— Или все это только так... одни разговоры?.. Требую ответа!

Но, вслушиваясь в ночное эхо, он не удовлетворялся, и вопрос для него оставался не решенным. Тогда он опять вскрикивал на весь лес, точно спрашивая у ночи и сумрака:

— Где она, нечистая сила?! Ну?..

По-прежнему было темно и глухо в лесу.

— Нету? — задорно спрашивал Терентий Васильевич, не решаясь, однако, заходить в чащу.— Ну нету, так нету! На нет — и суда нет. А жалко... Я бы его, окаянного... Я бы его... Эх!

В огорчении он сильно махнул рукою, отчего едва устоял на ногах, и, спотыкаясь и пошатываясь, побрел дальше, угрожая кому-то левым кулаком.

Он знал, что вскоре будет фабрика с длинной кирпичной трубой, откуда ранним утром долетает до него настойчивый протяжный гудок, точно трубит архангел перед светопреставлением. Потом будет шоссе, а потом село и церковь Преображения. Ничего иного ему и знать не хотелось.

Не торопясь, мало-помалу он миновал лес и вышел к берегу реки.

Над водой стоял прозрачный туман в странных неуловимых формах; местами он был похож на сказочный город, местами походил на длинную вереницу лебедей, бесшумно улетающих в пустынную даль, а местами казалось, будто из глубины вставал седой царь воды в белой воздушной мантии, с протянутыми руками...

— Хорошо! — похвалил Терентий Васильевич, чувствуя, как туман обвевает прохладой его пылающее лицо.— Хорошо освежиться!

Он поглядел на траву, медленно опустился в нее и начал не спеша обшаривать свои карманы, нащупывая в них табак.

«Чего ее бояться, нечистую силу? — храбро думал он, свертывая папироску, которая, словно нарочно, все развертывалась.— Нечистый креста боится. Уж я бы его закрестил, только попадись он мне, рожа свиная! Я бы на нем залетел куда ворон костей не носил, куда Макар телят не гонял... Я бы его оседлал, нечистого духа!..»

Страстный охотник поспорить, Терентий Васильевич с удовольствием вообразил, что с ним кто-то сейчас не согласен.

— Вы не согласны? — спрашивал он вслух, продолжая закручивать папироску.— Вы утверждаете, что нечистого нет на свете?.. Хорошо!.. Однако посмотрим, что вы теперь будете мне говорить.

Не родился еще такой человек, который в спорах одержал бы верх над Терентием Васильевичем. По понедельникам, когда у него обыкновенно трещало в голове, он так вразумительно доказывал вред и пагубу водки и так неотразимо убеждал по воскресеньям в необходимости выпить, что все удивлялись. Попадаясь даже на глаза своей супруге, которая в этих случаях не жалела ни его спины, ни волос и совсем не ценила его дарований, он даже и ей умел доказывать всю несправедливость отношений к его трудовой жизни, хотя все эти доказательства нисколько не влияли на жену, и она с женской жестокостью продолжала делать свое женское дело. Но у Терентия Васильевича на словах выходило всегда как-то так, что если бы он сегодня не выпил лишнего, то многим от этого было бы очень и очень плохо.

— Вы утверждаете, стало быть, что нечистого нет? — продолжал он свой воображаемый спор.— Ну, а как же это, по писанию-то, Иоанн Новгородский черта в рукомойнике закрестил? Что вы можете на это ответить? А как же это, позвольте спросить, Иоанн Новгородский в старый Иерусалим на этом черте съездил между утреней и обедней в светлый день да из Иерусалима привез просфору? Да еще на лету клобук потерял — вон как скоро летели!.. Ага?! Стало быть, есть нечистый на свете. И не только в папоротнике может явиться, но даже вот в этой самой папироске, если захочет... Однако его возможно закрестить, и тогда его дело — дрянь.

Терентий Васильевич чиркнул серною спичкой о сапог и, когда та вспыхнула и затлелась, загородил ее руками и приник к ней папиросой, сделав сердитое лицо. Огонь на минуту озарил его сощуренные глаза, сдвинутые брови, нос и усы.

— Я бы его отучил по свету болтаться... Я бы его рожу свиную... Я бы его, нечистого духа...

Заложив под голову руки, дьячок растянулся на траве во весь рост и зажмурил глаза. От табаку в голове у него совсем помутилось.

— Я бы его,— бормотал Терентий Васильевич.— Я бы ему...

Долго ли так пришлось пролежать, дьячок не заметил, но когда он открыл глаза, то увидал, что на самом крутом месте берега, где росла ежевика, вдруг что-то вспыхнуло и засветилось.

«Э-ге! — радостно подумал Терентий Васильевич.— Папоротник?!. Ну, теперь, голубчик, ты у меня не уйдешь. Теперь я тебя сию минуту сцапаю! Ты мне покажешь, где клад драгоценный зарыт».

Стараясь не шуметь, он слегка приподнялся и, стащив с головы картуз, прочертил на нем крест-накрест серною спичкой.

— Теперь я тебя сцапаю!

Он весело глядел на картуз, по которому среди ночного сумрака слабо мерцали дымящимся зеленым огоньком две скрестившиеся полоски, и думал:

«Теперь не уйдешь!.. Снесу поутру в алтарь, там ты у меня завертишься, нечистая сила!»

Не отводя глаз от папоротника, на котором вспыхнул огненный цветок, Терентий Васильевич осторожно поднялся на ноги, половчее взял в руку закрещенный картуз и начал подкрадываться к берегу, как кошка. Не доходя двух шагов, он вдруг подпрыгнул и что было духа рванулся вперед.

Все это случилось в одно мгновение.

Цветок не успел еще и погаснуть, как Терентий Васильевич с разбегу взмахнул над ним картузом и, ударяя изо всех сил, закричал во все горло.

— Аминь, аминь, рассыпься!

Но, потеряв равновесие, промахнулся.

Затрещали прибрежные кусты, посыпался с кручи песок, и Терентий Васильевич со всего размаху полетел головою вниз — в реку.

## II

Как только он попал в воду, сейчас же почувствовал холод и дрожь; потом ему сделалось душно; потом вода залилась в нос и в рот, наполнила все горло, весь желудок и остановилась под сердцем; Терентий Васильевич поперхнулся, закашлял и, недолго побарахтавшись руками и ногами, обессилел и, как камень, пошел ко дну.

«Вот так оказия!» — было его первою мыслью.

Он чувствовал себя все тем же, прежним Терентием Васильевичем и с недоумением и страхом глядел

на другого Терентия Васильевича, безгласного и недвижимого.

«Вот так история,— подумал он опять, соображая, в чем суть.— Вот оно что значит по писанию: душа и тело!..»

Он несколько растерялся и даже струсил. Потом оглянулся и струсил еще больше: на него глядела какая-то скверная рожа и, улыбаясь, говорила:

— Здравствуйте!

Терентий Васильевич еще при жизни считал себя человеком неглупым, находчивым и способным выйти сухим из воды. Сколько раз, развалившись на свежем, пахучем сене, он мечтал о том счастливом времени, когда судьба пошлет ему случай проявить свои силы и таланты. Мечтания для него были сладким отдыхом, они наполняли его душу радостью, бодрили его и волновали кровь. Нередко он фантазировал: случись, например, нашествие врагов на родину, он явился бы перед войском, повел бы его на неприятеля, победил бы его непременно, потом попался бы в плен, где его стали бы мучить, а он убежал бы однажды. Или, случись гонение на веру,— он постоял бы и здесь. Или, случись какой-нибудь суд или следствие,— сколько удовольствия было бы для Терентия Васильевича! Как попало бы от него обвинителю и председателю! Лежа на сене, он весь отдавался любимым мечтаниям, но так как он до сего дня не был замешан ни в каком деле, то приходилось поневоле выдумывать какую-нибудь небывалую историю, воображать себя перед грозным исправником, перед судьями и прокурорами и от души ругаться с ними, забрасывая их текстами из писания. Мечтая, он представлял себя вездесущим героем, таким героем, которого можно убить и замучить, но переспорить которого — невозможно. Он так увлекался своим красноречием, что отгонял и переламывал сон и все мечтал и спорил, пока не наступало время взлезать на колокольню и ударять к заутрене.

Никогда Терентий Васильевич не ожидал, что может струсить, однако теперь, увидев скверную рожу, смутился и оробел и чуть не испортил дела: разве мыслимо перед чертями или перед начальством показывать свой страх? Только покажи, что боишься, потом от них и не отделаешься.

— Где тут дорога прямо в рай? — спросил он деловым тоном.

— Кому в рай, за теми ангелы посылаются,— ехидно ответила скверная рожа.— А вам, Терентий Васильевич, не угодно ли пожаловать с нами?

— Зачем же с вами? — возразил дьячок, однако голос его был нетверд и нерешителен.— Я, чай, духовного звания, вы это примите в соображение.

— Не мое дело. Пожалуйте садиться.

Чертенок согнул спину и дожидался, точно Терентий Васильевич собирался с ним играть в чехарду.

— Неведомо куда не желаю я ехать.

— Как неведомо?

— Тебе, может, и ведомо, а мне нет. Да и шуток я не люблю. Я человек деловой.

— Садись, садись! — неотступно требовал тот.

— Сказал — не желаю садиться.

Однако Терентий Васильевич против своей воли растопырил вдруг ноги и сам собою въехал на закорки, точно по рельсам.

Видя, что ничего не поделаешь, он проворчал, усаживаясь покрепче.

— Ну, погоди ж ты! Будет время, я тебе припомню!

Не успел он этого еще и додумать, как взвился куда-то вихрем. Замелькали по пути звезды, точно искры из-под кузнечного молота, блеснула и померкла луна, вспыхнула радуга разноцветными огнями и тоже померкла; сыпались только звезды среди черного холодного мрака.

Терентий Васильевич хотя и понимал, что утонул, и что душу его несет теперь куда-то на закорках чертенок, и что от этой поездки ничего хорошего не предвидится, все-таки по старой привычке к жизни боялся упасть и на всякий случай держал крепко за уши того черта, на котором мчался неизвестно куда с неимоверной быстротой.

«Дело дрянь»,— соображал он, и, сколько ни старался придумать себе какое-нибудь оправдание, ничего путного не шло на ум.

«Нехорошо, брат!» — сознавался он сам перед собою.— Нехорошо, Терентий!..

Долго ли, коротко ли пришлось лететь, дьячок не заметил; только чертенок вдруг остановился и приказал слезать. Тогда Терентий Васильевич на всякий случай сказал ему:

— Тпрру!

Хотя он и понимал, что это несколько поздно и бесполезно, но, прежде чем слезть и выпустить из рук его уши, пришпорил чертенка пятками в оба бока и похвалил:

— Проворен же ты, анафема! Вот бы тебя нашему уряднику в дрожки.

В эту же секунду, как только он слез, со всех сторон, с боков, сверху и снизу слетелось тучей так много всяких чертей, уродов и чертенят, что у Терентия Васильевича в глазах зарябило. Его окружили и, не давши опомниться, повели в палату.

А там стояло вечное страшное зарево от адского пламени; торчали вилы и рога, шипели раскаленные сковороды, ползали змеи, крутясь, оглядываясь и высовывая жала. По пути к трону, точно нищие на паперти, стояла в два ряда нечистая сила, а на высоком черном троне сидел сам Сатана и грозно глядел вперед, не мигая, синими огненными глазами; на груди его висела тяжелая цепь, вроде той, какую видывал Терентий Васильевич у земского начальника, только вместо герба на цепи качалось адамово яблоко, сделанное, должно быть, из меди.

Вокруг Сатаны, словно черви, кишели дьяволы, демоны, бесы и всякая нечисть; рожи корявые, спины горбатые, на макушках рога; груди волосатые, на ногах копыта, а через плечи перевиты хвосты — у одних, как у лошади, у других, как у собаки, а у иных, как у ящерицы.

— Тьфу! — вымолвил Терентий Васильевич свое вступительное слово.— Вот она какова, нечистая сила!

— Это ты — Терентий Догадкин? — раздался мрачный голос, от которого дьячок даже попятился.— Это ты умер без покаяния?

Терентий Васильевич оглядывался и молчал.

— Не отвечаешь?.. Эй, черти! Вставьте ему в бок горячие вилы!

— Я, я! — поторопился ответить подсудимый, а сам подумал про Сатану: «Какой серьезный!»

— Это ты утонул в пьяном виде?

Дело было, очевидно, им всем хорошо известно, и скрываться не стоило.

— Действительно, я выпил,— сознался дьячок,— только утонул я вовсе не по собственному желанию.

У меня дел целая куча. А если вы на меня обижаетесь, что я хотел закрестить нечистую силу, так это моя священная обязанность, на то я и псаломщик, а не то чтобы что!

— Ха-ха-ха-ха! — рассмеялся вдруг Сатана, но мрачно, грозно и безнадежно. И, точно эхо, раскатился вокруг дружный хохот всей адской силы; от этого хохота вздрогнули даже острые вилы и грозней зашипели раскаленные сковороды.

— Хо-хо-хо-хо! — грохотало кругом Терентия Васильевича, и только мелкие чертенята подвизгивали трусливо и подло.

— Позвать свидетелей!

«Все пропало!» — подумал дьячок и, не зная, что сделать, покорно опустил голову.

Снова поднялся визг, и вой, и крики:

— Это он! Это он утопился!

— А ежели он,— распалился вдруг Сатана, засверкавши очами,— то и бросить его, подлеца и пьяницу, в огненную реку на веки вечные. Быть по сему! Аминь!

## III

Терентий Васильевич обмер от ужаса, выслушав это. Однако как только он понял свое положение, то вдруг вознегодовал:

— Все равно!..

Он махнул рукой и в свою очередь так рассвирепел, хуже самого Сатаны, что страха в нем и следа не осталось. Он затопал ногами и пугнул чертенят, бросившихся к нему со всех сторон, такими словами, что те на минуту опешили.

— Брысь, вы... такие-сякие! — крикнул он им во все горло.— Брысь! Я с самим Сатаной желаю считаться. Чего вы мне в самое рыло лезете? Брысь!

Черти переглянулись и в недоумении поджали хвосты.

С Сатаной он хотел быть вежливым, поэтому, приложив к груди руку, начал так:

— Это вы можете еще и подождать с рекой-то огненной, господин Сатана...

Но вдруг загорячился, потерял тон и неожиданно для самого себя закричал на всю палату, как становой на базаре:

— Что ты здесь за судья такой выискался? Что ты мне за владыко?!

Выкрикнув это сгоряча, он увидал, что теперь уже нет отступления, что теперь все пропало и что теперь не миновать ему кипятиться в аду, как раку в котле, а потому очертя голову бросился к подножию трона и ударил кулаком по ступеньке.

— Нисколько ты здесь не хозяин и не владыко, а просто ты черт и мошенник! И на весь твой суд я чихаю и никаких твоих решений знать не хочу! Вот тебе и весь сказ! Вот тебе и река огненная, вот тебе и веки вечные, вот тебе и твои вилы в бок!.. Нет, милый, не на того напал! Это ты над своими чертями командуй, а то надел цепь, да и думаешь, что судья. Чтоб тебе на ней удавиться, проклятому!

Он опять ударил кулаком по ступеньке.

— Ничего вы со мной не сделаете. Ежели меня за грехи в рай не пустят до поры до времени, ну и ладно; подожду. А к вам я все-таки не пойду: пожалуйте после второго пришествия!

Терентий Васильевич чувствовал вдохновение и, не смущаясь, продолжал:

— Что я, писания, что ли, не знаю? В писании прямо указано, что судить человеков будешь не ты, да и судить-то их будут после второго пришествия. А второе пришествие было?

Видя, что Сатана озадачен, он еще повысил тон:

— Я спрашиваю: было второе пришествие? Или не было? А?

Он подождал и опять с отчаянной твердостью набросился на Сатану:

— Так как же ты смеешь меня судить? Да я сам тебя засужу, козья душа!.. Это кто писания не знает, тому заговаривай зубы, а я, милый друг, не таков! Я сию минуту пойду в твой ад, да и крикну во все горло: — Эй, грешники! Чего вы тут кипятитесь? Или писания не знаете? Уходите все вон отсюда впредь до светопреставления!.. И уйдут, милый друг. И остановить их не имеешь ты права и от всего твоего ада получишь — вот что!

Он показал ему кукиш и засмеялся:

— Видал?!. А там, когда будет светопреставление, ну тогда твое счастье: подбирай, кого следует. А без суда, любезнейший, это называется произволом. Прощай!

Терентий Васильевич повернулся и пошел к выходу среди общего молчания.

Сатана все еще стоял с нахмуренным челом и опирался на спинку трона. Теперь Терентий Васильевич видел, что Сатана не что иное, как высокий сухощавый человек, похожий на монаха, весь в черном, с черной жидкой бородкой и с темным, землистым лицом; глаза его только сначала казались огненными и синими, а теперь это были обыкновенные человечьи глаза, очень грустные и умные.

Тучи чертей теснились у подножия, поджавши хвосты. Терентий Васильевич оглянулся на них и разочарованно покачал головой: все эти бесы и гады и всякая нечисть показались ему такими мелкими, трусливыми и ничтожными, что было даже неприятно глядеть, точно перед ним столпились мелкие мошенники, потерявшиеся перед первым твердым словом.

— Эх вы, мухоморы! — бросил он им свое презрение, и махнул на них, и отвернулся.

— А тебе какой же интерес грешников у меня возмущать? — остановил его Сатана.

Терентий Васильевич замедлил шаг и, повернув через плечо голову, ответил в свою очередь вопросом:

— А тебе какое удовольствие их поджаривать да в котлах кипятить?

— Нет, тебе-то какая польза?

— Нет, тебе-то какое удовольствие?

Сатана задумался.

— Вот что, дьячок,— сказал он решительно.— Вижу, переговорить тебя нет никакой возможности, да и разговаривать с тобой долго мне некогда. Поэтому — хочешь или не хочешь,— отвечай сразу. Предлагаю тебе договор: мы обязуемся тебя оставить в покое, а ты обязуешься в ад не ходить и никаких речей про писание грешникам не болтать.

— Гм?..— задумался Терентий Васильевич.— Вежливые слова приятно слышать.

— И мне приятно слышать от тебя вежливое слово.

— Значит, в аду мне не место? Значит, трогать меня ты не смеешь?

— Сказано.

— А я твоих грешников возмущать не имею права?

— Сказано.

— А куда же я денусь?

— Иди на свободу. Отыскивай себе место, какое нравится.

«Гм? — задумался опять Терентий Васильевич.— Дело, кажется, подходящее».

— Согласен! — сказал он, торжественно протягивая вперед руку.

— Согласен! — ответил Сатана и тоже поднял над головою ладонь.

— Аминь! — подтвердил дьячок.

— Аминь! — прокричали свидетели.

— Аминь! — закрепил Сатана.

Они раскланялись друг с другом, как добрые знакомые, и Терентий Васильевич с удовольствием ушел.

Теперь он был на свободе и в полном одиночестве.

Вокруг него был только воздух, сквозь который виднелась вдалеке земля со всеми людьми. Она казалась отсюда обыкновенной площадью, вроде рынка в торговый день, если глядеть на него с колокольни.

## IV

Время летело. Проходили ли это сутки, или года, или столетия, разобрать было невозможно. Время мчалось, и шаг за шагом приближался конец мира.

Терентий Васильевич это понимал и много раз пытался найти дорогу туда, где его судили, но дорога эта была потеряна, и ни ада, ни Сатаны найти он не мог. Было противно находиться одному где-то в пространстве или вообще в незнакомом месте, где некого было даже спросить.

— Ну и порядки!

Он устремлялся и туда и сюда, но всегда и везде был один. Его начинало смущать все это. Он с удовольствием вернулся бы теперь в ад, если бы знал дорогу, чтобы так наскандалить, несмотря на договор, чтобы все грешники выскочили с ним вместе на волю.

— Был случай выручить миллионы людей, а я не выручил,— сокрушался Терентий Васильевич.

Здешних порядков он не знал и боялся, как бы его за это не записали в предатели.

Вспомнилось ему и земное дело: у него на столе остался сверток, а в свертке были бумаги священни-

ка. Человек он молодой и горячий, не то что отец Сергей, который служил в приходе около сорока лет и которого Терентий Васильевич боялся более, чем теперь всей нечистой силы и огненной реки. Да и все мужики его боялись.

Молодой священник уже не таков, да и крестьяне стали не таковы, особенно молодые. Священник, да учительница, да еще какой-то молодой человек собирают их то и дело в лесу, и такие слова там говорятся, что со страха волосы встают под картузом. И страшно и любопытно; и послушать хочется и убежать хочется.

И понял теперь Терентий Васильевич всю правду, которую не понимал на земле, и ужаснулся.

«Ах вы, мошенники, мошенники! — подумал он про двоих новых знакомых.— Ах вы, жулики! Целый месяц вы меня водкой напаивали, а голова у меня старая, слабая... Что я теперь натворил из-за вас?..»

Он знал, что священник держит какие-то бумаги и прячет их в алтаре под жертвенник, о чем никто не должен знать. Да и кому могло прийти в голову, чтобы поп, да в алтаре, такие вещи прятал. Но Терентий Васильевич был не из тех, которые ничего не замечают. И он эти бумаги стащил из-под жертвенника, и со вчерашнего вечера они лежат у него в комнате, а завтра их нужно передать новым приятелям, как обещано.

«Теперь, батька, ты у меня в руках! — думалось ему еще вчера вечером.— Как бы тебе да еще кой-кому не понюхать бы за это Сибири...»

Да какое там «вчера»... Какое там «завтра». Может быть, этому «завтра» теперь более тысячи лет!

Он чувствовал себя глупым и мерзким и терзался теперь мыслью, что продал и предал людей, которые ничего дурного ему не сделали.

— Погубил я их всех! — в горе восклицал Терентий Васильевич.— Своих же людей предал, собственными руками. Ах я животное! Ах я пьяница! Пропил я свои мозги, пропил я свою душу!.. Как все весело началось и как печально кончилось... Кабы не эти два жулика, не утонул бы я вчера в пьяном виде!

И опять это «вчера» показалось ему таким отдаленным, а «завтра» таким безнадежным, что Терентий Васильевич поник головой и заплакал.

И он вспомнил, что всегда, когда у него проходил, бывало, хмель, он начинал также плакать.

Печальный и одинокий побрел он по бесконечному пространству, сожалея, что нельзя удавиться подобно Иуде Предателю.

Вот было бы счастье, если б всего, что случилось, не было на самом деле! Он бегом побежал бы домой, чтоб поскорей повиниться перед священником, вернуть ему украденный сверток и рассказать всю правду про себя и про своих новых таинственных друзей.

И он блуждал в мире, потерянный и потрясенный, презираемый даже чертями, которые не желают встречаться с ним, и это одиночество угнетало его и наполняло презрением к самому себе.

## V

Блуждая в пространстве, он был поражен однажды необычайным зрелищем: откуда-то сверху, куда не дерзал он еще и заноситься, пробился внезапно широкий луч света. Это не был резкий и жгучий луч, но был он чист и ясен и бесподобно светел, как восходящее летнее солнце; он не слепил и не жег, а блестящей воздушной дорогой спускался вплоть до земли, и по этой дороге торжественно и плавно опускались на землю крылатые светлые ангелы в белых одеждах и пели, как птицы, что-то восторженное и неведомое на весь мир.

Дивно и величественно было их шествие. Но вдруг, заглушая их хор, раздался продолжительный трубный звук, похожий на тот гудок, который ежедневно в шестом часу утра привык слышать дьячок с соседней фабрики. Только звук этот был громок, призывен и властен и раздавался на всю вселенную.

И когда он замолк, херувимы и серафимы продолжали свои торжественные гимны.

И вторично раздался призывный голос трубы:

— У-у-у-у!

И, повинуясь этому призыву, в беспорядке посыпались звезды, погасая и рассыпаясь на лету.

И в третий раз загремела архангельская труба, и на зов ее стали стекаться со всех сторон человеческие толпы, и, когда люди заполнили собой все пространство, теснясь и прижимаясь друг к другу, раздался громкий повелительный голос:

— Братопродавцы и предатели! Выходите вперед!

И увидел дьячок, как закишела людская масса, выделяя из себя с презрением немногих. И среди этих немногих он узнал двоих — своих недавних друзей, которые его одуряли и погубили.

— Ну-ка, идите, мошенники! — сердито проворчал он им вслед.

— Ну-ка, пойдем, приятель! — раздался вблизи Терентия Васильевича мрачный знакомый голос.

Он похолодел от ужаса.

Глядя на него строгими, печальными и умными глазами, снизу восходил по лучезарному свету черным длинным пятном Сатана, точно паук.

— Пойдем считаться!

— Разве я... предатель?..— хотел было выговорить Терентий Васильевич, но не мог сказать ни одного слова.

— Предатели и братопродавцы,— загремел снова призывный неотразимый голос, исходивший с небес.— Идите первыми на суд!

Таинственная сила подхватила Терентия Васильевича и, точно перо ураганом, повлекла его ввысь, в ту страшную неведомую высь, откуда исходил свет, все дальше и дальше от людей, которых он не выручил из лап Сатаны, и от тех, которых продал за водку, которых предал на земле накануне своей смерти.

И нечего ему было сказать в свое оправдание, и душа его изнемогала перед ужасом беспредельной вечности.

Предателей ждал суд.

Страшный суд.

Дьячок очнулся... Но не сразу понял, где находится. Было раннее летнее утро, сияло солнце, пели птицы, а в голове трещало от вчерашнего хмеля, в горле хрипело.

«Един бог без греха!» — первое, что пришло ему на мысль в свое оправдание.

С трудом поднялся он, весь влажный от росы и ночного тумана, вздохнул, перекрестился и поплелся домой, твердо решив положить украденные бумаги на прежнее место, под жертвенник, а новых друзей, ежели придут, послать туда, где и самому Сатане было бы тошно.

*1907*

## *Содержание*

Т 31 **Телешов Н. Д.**

Записки писателя. Рассказы. / Вступ. ст. К. Пантелеевой; Ил. С. Ермолова.— М.: Правда, 1987.— 464 с., ил.

Н. Д. Телешов (1867—1957) — старейший русский советский писатель, основатель литературного кружка «Среды». Наиболее значительным произведением дооктябрьского периода является его книга «Записки писателя», правдиво повествующая о жизни русской культуры на рубеже двух столетий. В книгу вошли также рассказы разных лет.

Т $\frac{4702010200 - 1331}{080(02) - 87}$ 1331 — 87 84 Р 7

**Николай Дмитриевич**
**ТЕЛЕШОВ**

ЗАПИСКИ
ПИСАТЕЛЯ

РАССКАЗЫ

Редактор
Т. В. Лодяная

Оформление художника
А. Н. Жилина

Художественный редактор
Т. Н. Костерина

Технический редактор
Т. В. Мешкова

ИБ 1331

Сдано в набор 21.10.86. Подписано к печати 9.02.87. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 24,36. Усл. кр.-отт. 24,78. Уч.-изд. л. 24,41. Тираж 500 000 экз. (2-й завод: 250001—500000). Заказ № 00114. Цена 1 р. 60 коп.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва. А-137, улица «Правды», 24.
Отпечатано в типографии издательства Удмуртского обкома КПСС, 426000, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 10-й км.

1 р. 60 к.

